This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

8 24488

H. C.

102905

1 экз

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАСПАДЪ

КРИТИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ

1 кн.
БИБЛІОТЕКА А. Е. СЕРЕБРЯКОВОЙ

Второе изданіе

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

С.-Петербургъ
Изд. „Т-ва Издательское Бюро“
1908

Высшая школа
подготовки кадров при ЦК ВКП(б)
102905

ПРЪ ВЪ ПАМЯТЬ
П.П., Д.П. и А.П.
ПЫРОВЫХЪ

Типографія „Печатный Трудъ", СПБ., Надеждинская ул., № 38.

1385

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.

Участники предлагаемаго вниманію читателей сборника стоятъ на почвѣ пролетарскаго міровоззрѣнія въ его единственно научной формѣ—марксизма.

Это, конечно, еще не предопредѣляетъ единообразія въ оцѣнкѣ отдѣльныхъ явленій современной литературы но читатель замѣтитъ, что общимъ для всѣхъ сотрудниковъ является признаніе принципіальнаго разрыва между творчествомъ современнаго декаданса и творчествомъ будущаго.

Цѣнности литературнаго модерна созданы расколотымъ міромъ, чующимъ надвигающуюся гибель. Грядущее творчество будетъ преодолѣніемъ цѣнностей, созданныхъ эпохой идейнаго и моральнаго распада.

Ю. Стекловъ

Соціально-политическія условія литературнаго распада.

ЦѢЛОСТЬ и СОХРАННОСТЬ КНИГИ
ВВѢРЯЕТСЯ ПОПЕЧЕНІЮ ЧИТАТЕЛЯ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Наблюдаемыя въ настоящее время литературныя уродливости, подобно прочимъ явленіямъ нашего непосвященнаго міра, имѣютъ свое „достаточное основаніе“ и объясняются опредѣленными сторонами современной соціально-политической эволюціи. Правда, литературная богема, задающая тонъ какъ въ салонахъ, такъ и на задворкахъ новѣйшей словесности, горделиво мнитъ себя превыше всѣхъ историческихъ законовъ; она воображаетъ, что шумъ, поднятый модернистами и упадочниками всяческихъ толковъ, объясняется „бунтомъ духа“, свободно возставшаго противъ традицій и условностей старыхъ художественныхъ школъ. Но еще Спиноза замѣтилъ, что еслибы камень, пущенный человѣческой рукой, способенъ былъ разсуждать, то онъ непремѣнно рѣшилъ бы, что летитъ по собственной волѣ. Такъ и современные новаторы, гордые рыцари и аристократы духа, представляютъ безвольный продуктъ современнаго буржуазнаго общества; имъ съ большимъ правомъ, чѣмъ кому бы то ни было, можно сказать: „du glaubst zu schieben, und du bist geschoben“!

1.

Современное капиталистическое общество характеризуется быстрымъ развитіемъ производительныхъ силъ и связанныхъ съ нимъ общественныхъ отношеній. Необузданная конкурренція, лихорадочная смѣна формъ, война всѣхъ противъ всѣхъ, гибель неприспособленныхъ и неудачниковъ, жадное стремленіе спастись отъ несущейся впередъ колесницы капиталистическаго Джаггернаута, выбиться въ люди, отвоевать себѣ теплое мѣстечко за пиршественнымъ столомъ жизни — таковы характерныя черты этого общества. Наряду съ возросшимъ рискомъ существованія жизнь страшно обогатилась и усложнилась. Возникли и сложились новыя потребности, и выработаны различные способы ихъ удовлетворенія. Возражая оптимистамъ указывавшимъ на улучше-

ніе положенія современнаго рабочаго сравнительно съ прошлымъ, Лассаль вѣрно замѣтилъ, что какой-нибудь африканскій царекъ обходится, быть можетъ, безъ куска мыла; для рабочаго же культурной страны мыло сдѣлалось предметомъ первой необходимости. И такихъ насущныхъ потребностей у цивилизованнаго человѣка расплодилось теперь столько, что существованіе его, какъ физическое, такъ и духовное, чрезвычайно обогатилось; но вмѣстѣ съ тѣмъ ему приходится затрачивать гораздо больше силъ для ихъ удовлетворенія, а расходъ нервной энергіи неизмѣримо возросъ.

Изолированность человѣка, составлявшая характерный признакъ патріархальнаго уклада, такъ называемаго „добраго стараго времени", давно уже отошла въ область преданій. Въ настоящее время отдѣльная личность связана матеріальными и идейными узами не только со своей націей, но и со всѣмъ человѣчествомъ. Желѣзныя дороги и телеграфъ дѣйствительно стремятся сдѣлать человѣка гражданиномъ всего міра, и мы быстрыми шагами приближаемся къ тому времени, когда каждый членъ цивилизованнаго государства вправѣ будетъ сказать; „ничто человѣческое мнѣ не чуждо". Просыпаясь утромъ и просматривая газету, цивилизованный человѣкъ пріобщается къ жизни чуть ли не всего земного шара; онъ читаетъ про дебаты русской Государственной Думы, прусскаго ландтага и французской палаты депутатовъ; узнаетъ про событія, имѣвшія вчера мѣсто во всѣхъ концахъ земли: сраженіе въ Марокко, крахъ сѣверо-американскихъ банковъ, послѣднюю рѣчь Жореса, послѣдній тостъ Вильгельма II, землетрясеніе на югѣ Италіи, драку въ венгерскомъ парламентѣ, сенсаціонное убійство въ Парижѣ, курсъ процентныхъ бумагъ на главныхъ европейскомъ биржахъ, виды на урожай въ Аргентинѣ, катастрофу въ Новой Зеландіи и т. д., и т. д.: все это онъ воспринимаетъ и на все это ему приходится реагировать, по крайней мѣрѣ, посредствомъ чисто душевныхъ эмоцій. Безъ преувеличенія можно сказать, что современный человѣкъ ежедневно получаетъ гораздо больше впечатлѣній и имѣетъ болѣе широкій кругъ общественныхъ и политическихъ интересовъ, чѣмъ повелитель обширной территоріи въ древности или въ средніе вѣка.

Въ 1845 г. въ Европѣ было всего 9.159 километровъ желѣзныхъ дорогъ, а въ 1906 г. свыше 325 тысячъ килом.; въ томъ же году въ Соединенныхъ Штатахъ имѣлось около 350 тыс. кил. рельсовыхъ путей и въ Канадѣ около 30 тыс. Пассажировъ было перевезено въ 1892 г. по европейскимъ желѣзнымъ дорогамъ свыше 2.247 милліоновъ; при тогдашнемъ населеніи Европы въ 365 мил. это составляетъ на каждаго жителя по 6 съ лишнимъ переѣздовъ въ годъ, а вѣдь слѣдуетъ принять во вниманіе, что пассажирское движеніе сильнѣе всего въ старыхъ культурныхъ и промышленныхъ странахъ, задающихъ тонъ въ области искус-

ства (въ Германіи свыше 500 милл. пассажировъ, во Франціи 305, въ Великобританіи 865, въ маленькой Бельгіи 88 милл.). и что передвигается-то главнымъ образомъ городское населеніе, то самое, изъ среды котораго преимущественно и вербуются какъ читатели, такъ и пишущая братія. Вдобавокъ процентъ этого городского населенія, особенно интенсивно испытывающаго на себѣ дѣйствіе капиталистическаго развитія, прогрессивно растетъ. Далѣе; въ 1905 г. было переслано писемъ въ Германіи 3.152 милліона, во Франціи 1.020 милл., въ Великобританіи 3.359 милл., въ Австро-Венгріи 1.273 милл., а во всей Европѣ больше 11 милліардовъ! Къ этому присоединяется еще дѣйствіе телеграфной и телефонной сѣти, волнующей и раздражающей нервы современнаго культурнаго человѣка. Но мы не станемъ приводить больше цифръ, чтобы не утомлять читателя.

Жизнь цивилизованнаго человѣка протекаетъ при обстановкѣ, менѣе всего благопріятной для физическаго здоровья и душевнаго равновѣсія. Нездоровая атмосфера комнатъ, насыщенная газомъ и керосиномъ, сидячій образъ жизни, недостатокъ солнечнаго свѣта и чистаго воздуха, медленное отравленіе фальсифицированными съѣстными продуктами, нервное потрясеніе, вызываемое современными способами передвиженія, шумъ, гамъ, трезвонъ на улицахъ, переполненныхъ бѣшено снующими по всѣмъ сторонамъ экипажами, трамваями, моторами и лихорадочно спѣшащей толпой, нездоровый и несвоевременный отдыхъ, часто слишкомъ короткій для массы пережитыхъ за день и непереваренныхъ впечатлѣній,—вотъ при какихъ условіяхъ приходится въ настоящее время жить и работать современному горожанину.

БИБЛ. Г. СЕРЕБРЯКОВ.

Но этого мало. Къ дѣйствію перечисленныхъ, такъ сказать, механическихъ, физическихъ и культурно-техническихъ факторовъ присоединяется еще вліяніе факторовъ соціальныхъ.

Капиталистическое общество представляетъ гигантскую арену ожесточенной борьбы между отдѣльными личностями, группами, классами, націями и цѣлыми расами: въ желѣзной бронѣ или въ бархатныхъ перчаткахъ, здѣсь кипитъ вѣчная война не на животъ, а на смерть. Цѣлые народы безпощадно истребляются во славу капиталистическаго Молоха, цѣлыя цивилизаціи стираются съ лица земли, безжалостно приносятся въ жертву цѣлыя поколѣнія. Объ отдѣльныхъ жертвахъ нечего и говорить; онѣ не идутъ въ счетъ. Необузданная конкурренція, заставляющая напрягать всѣ силы и взвинчивающая до крайности нервы въ свирѣпой борьбѣ за существованіе, составляетъ основной законъ буржуазнаго общества. И надъ бездонной пропастью, въ которой копошатся поверженные борцы, возносится торжествующій хоръ побѣдителей на аренѣ экономической свалки. Впрочемъ, и побѣдителямъ приходится иной разъ страдать отъ въ общемъ выгоднаго имъ соціальнаго строя. Подъ жерновами капиталистической

мельницы перемалываются какъ сами капиталисты, такъ и многочисленные бѣлые рабы капитала. При современныхъ условіяхъ ни одинъ рыцарь накопленія не застрахованъ отъ разоренія, подчасъ самаго неожиданнаго и безсмысленнаго. Отдѣльная личность, безвольная и безсильная, безпомощно стоитъ передъ могучими и страшными въ своей слѣпой стихійности производительными силами новаго времени. Естественно развивается страхъ жизни, безсознательный ужасъ слабой человѣческой песчинки передъ гигантскимъ аппаратомъ усложнившейся дѣйствительности. Обострившаяся соціальная и политическая борьба усугубляетъ тяжесть положенія отдѣльной личности, особенно не принадлежащей къ классу, который самыми условіями своего существованія властно толкается къ единству и солидарности. Завоеванія демократіи и расширеніе избирательнаго права втянули широкія массы населенія, до тѣхъ поръ стоявшія въ сторонѣ отъ политической жизни, въ активную политическую борьбу со всѣми связанными съ нею треволненіями, азартомъ, страстнымъ увлеченіемъ, озлобленіемъ противъ соперниковъ и страхомъ пораженія. Вмѣстѣ съ тѣмъ началась сперва слабая, а затѣмъ все болѣе ожесточенная, широкая и интенсивная борьба за новый соціальный укладъ, въ корнѣ подрывающій основные устои старой соціальной организаціи, борьба за соціальную революцію; въ эту великую борьбу, задѣвающую самые разнообразные интересы, посягающую на традиціонныя вѣрованія и міросозерцаніе, съ каждымъ днемъ втягиваются все новые и новые соціальные элементы, одни съ ужасомъ и негодованіемъ, другіе съ горячей надеждой ожидающіе наступленія общественнаго катаклизма. Отдаленные раскаты надвигающейся соціальной грозы еще усиливаютъ душевное смущеніе и растерянность людей, вышедшихъ изъ рядовъ буржуазіи и сжившихся съ ея психологіей. На этой почвѣ складываются различныя пессимистическія, идеалистическія, и мистическія системы.

Безспорно, самой ужасной бѣдой въ современномъ обществѣ является полная неувѣренность массы въ завтрашнемъ днѣ. Еще старый Бабэфъ говорилъ, какъ о главномъ недостаткѣ общежитія, построеннаго на частной собственности, о „грызущемъ червѣ общаго, вѣчнаго и частнаго безпокойства каждаго изъ насъ относительно того, что ждетъ насъ завтра. черезъ мѣсяцъ, черезъ годъ, въ дни старости, относительно участи нашихъ дѣтей и внуковъ“. И отъ этой бѣды, которая главной тяжестью ложится, конечно, на рабочій классъ, страдаетъ отнюдь не одинъ пролетаріатъ. Сильнымъ ударамъ подвергается въ капиталистическомъ обществѣ и мелкая буржуазія, и, быть можетъ, для нея, проникнутой горделивой спесью собственника и привыкшей къ почетному положенію въ обществѣ, эти удары еще чувствительнѣе, еще больнѣе бьютъ ее по нервамъ. Мелкую буржуазію со всѣхъ сторонъ бьютъ и биржа и

крупная фабрика и гигантскіе базары большихъ городовъ, и рабочія кооперативы. Психика этого класса, до сихъ поръ составляющаго многочисленный и вліятельный элементъ среди европейскихъ націй, испытываетъ самыя жестокія и хроническія потрясенія. Толкаемый въ ряды пролетаріата, въ прямой ли формѣ, то есть въ видѣ потери орудій производства и превращенія въ наемныхъ рабочихъ, или въ скрытой формѣ, то есть въ смыслѣ утраты прежней хозяйственной самостоятельности и все большаго усиленія его зависимости отъ капитала, этотъ классъ мелкихъ производителей и торговцевъ утрачиваетъ свою былую жизнерадостность, свой прежній соціальный оптимизмъ, начинаетъ ворчать на прогрессъ и проникается все большимъ недовольствомъ, все растущимъ озлобленіемъ противъ новыхъ временъ и всѣхъ связанныхъ съ ними идеологическихъ формъ, доходя при этомъ до идеализаціи даже средневѣковья. Естественнымъ удѣломъ приходящаго въ безнадежный упадокъ класса является мистицизмъ, страхъ передъ таинственными грозными силами, безъ его вѣдома и участія рѣшающими его судьбу, болѣзненное ожиданіе чуда, которое одно только и можетъ спасти его отъ неминуемой гибели,—будетъ ли эта чудесная сила называться реакціонной партіей,—католической церковью или какъ нибудь иначе. Taedium vitae, болѣзненная впечатлительность, быстрый переходъ отъ отчаянія къ неосновательной вѣрѣ, страхъ жизни, нервность, озлобленный пессимизмъ, безнадежная унылость—таковы черты такого класса.

Не слѣдуетъ забывать, что изъ мелкобуржуазной среды главнымъ образомъ и вербуются представители либеральныхъ профессій, въ томъ числѣ и служители искусства. Чувствуя возросшую неустойчивость соціальнаго положенія и желая лучше вооружить своихъ дѣтей для предстоящей борьбы за существованіе, всякій мелкій лавочникъ, ремесленникъ, служащій или зажиточный крестьянинъ старается вывести своихъ сыновей въ люди и дать имъ образованіе. Въ результатѣ либеральныя профессіи переполняются, интеллигентный трудъ обезцѣнивается и „мыслящіе пролетаріи“ запружаютъ рынокъ, на которомъ предлагаются продукты головной работы. Всѣ отрицательныя стороны господствующаго порядка ощущаются образованными людьми еще живѣе, чѣмъ ихъ отцами, благодаря повышенной впечатлительности, обусловленной умственнымъ развитіемъ и болѣе утонченной психикой; стремленіе къ комфорту и обезпеченному существованію, широкіе аппетиты—продуктъ знанія—не находятъ удовлетворенія. Въ результатѣ получаются безпокойная неуравновѣшенность, нервное раздраженіе, озлобленное отношеніе къ дѣйствительности, бунтъ противъ науки, не оправдавшей возлагавшихся на нее надеждъ, бунтъ противъ существующаго строя вообще. Но этотъ бунтъ имѣетъ характеръ серьезнаго соціальнаго возмущенія только у части интеллигенціи, съумѣв-

шей и пожелавшей понять основную причину общественнаго неустройства и связавшей свою судьбу съ судьбой класса—протестанта par excellence. У большинства же буржуазной интеллигенціи, не съумѣвшей отдѣлаться отъ мелко-буржуазныхъ предразсудковъ и сохранившей вѣрность идеологіи мѣщанства, этотъ бунтъ „гордаго духа“ есть не болѣе, какъ злобный протестъ неудачниковъ, не отказавшихся отъ жаднаго стремленія не мытьемъ, такъ катаньемъ добиться жирнаго куска за столомъ жизни.

Для достиженія своихъ цѣлей литераторы и художники этого рода перенесли въ область искусства всѣ тѣ пріемы, которые они могли изучить за прилавкомъ у своихъ отцовъ. Въ мірѣ буржуазной коммерціи побѣда обыкновенно остается за тѣмъ ловкачемъ, которому удалось потрафить на вкусы толпы и пустить громкую рекламу. Нужды нѣтъ, что нелѣпость и несуразность пущенной счастливымъ портнымъ моды бьетъ въ носъ, что узоръ на ткани рѣжетъ глазъ своей безвкусицей и аляповатостью,—конечнымъ судьей и цѣнителемъ является масса потребителей, котороя рѣшаетъ успѣхъ ходкаго товара. И вотъ натурализмъ, который вначалѣ явился здоровой реакціей реалистическаго чувства противъ вырождавшагося романтизма и мѣщанскаго сантиментализма, подъ вліяніемъ конкурренціи и въ погонѣ за сногсшибательной оригинальностью началъ превращаться въ „нана-туралиэмъ“, въ тенденціозное и противорѣчащее художественной правдѣ нагроможденіе мерзостей и накипи буржуазныхъ альковов и черныхъ лѣстницъ. Эта литература лишь отчасти отвѣчала назрѣвшей потребности въ безпощадной критикѣ отвратительныхъ пороковъ буржуазнаго общества; въ гораздо большей степени она шла навстрѣчу запросамъ разжирѣвшаго и пресыщеннаго мѣщанства, нуждавшагося въ сильныхъ впечатлѣніяхъ, способныхъ расшевелить его отекшіе члены и развеселить его заплывшую утробу. На всѣ разоблаченія его внутренней гнилости и испорченности, лицемѣрной и продажной любви, отравленныхъ въ корнѣ семейныхъ отношеній, нравственнаго пиратства и торговой нечестности, финансовыхъ хищеній и политическаго растлѣнія буржуазное общество, извиваясь въ сладострастныхъ корчахъ, какъ отъ пріятно раздражающей щекотки, отвѣчало истерическимъ воплемъ: „бей! любо!“. И романисты, сбывая по сходной цѣнѣ десятки и сотни тысячъ своихъ „человѣческихъ документовъ“, продолжали гнуть свою линію и бить по „обнаженнымъ нервамъ“ читателя; вынужденные въ силу извѣстнаго психо-физическаго закона, брать все болѣе визгливыя ноты для достиженія надлежащаго моральнаго эффекта, они все ускоряли свой стремительный бѣгъ съ вершинъ Парнаса въ грязные подвалы мѣщанскихъ лупанаровъ, и такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока книжный рынокъ не былъ забитъ зловоннымъ заторомъ нана-туралистическихъ

писаній и пока пищущей братіи не пришлось „перемѣнить валъ“.

На смѣну натурализму шли съ громомъ и трескомъ модернисты, представители „новаго искусства“, охотники за скальпами или, говоря ихъ языкомъ, за „новой мозговой линіей“, всякіе демонисты, декаденты, символисты, импрессіонисты, мистики, идеалисты и упадочники вообще. При всемъ различіи ихъ шутовскихъ нарядовъ и ливрей, всѣхъ ихъ объединяло общее настроеніе мистическаго идеализма, выступавшаго съ знаменемъ протеста противъ философскаго матеріализма и художественнаго реализма. Несмотря на всѣ грѣхи натурализма, въ немъ заключалось здоровое и чреватое художественными результатами зерно: объективное изученіе дѣйствительности и безбоязненная критика, составляющая основной импульсъ прогресса. Этими сторонами онъ примыкалъ къ тому широкому и плодотворному реалистическому движенію, которое со второй половины XIX столѣтія начало проявляться во всѣхъ областяхъ жизни цивилизованныхъ народовъ. Философскимъ его выраженіемъ былъ матеріализмъ, соотвѣтствующій настроенію здороваго и прогрессивнаго общественнаго класса, передъ которымъ открывается широкое будущее и который чувствуетъ въ себѣ огромный запасъ творческихъ силъ. Матеріализмъ это философія борьбы и активности; вотъ почему его нѣкогда исповѣдовала буржуазія, еще не поколебавшаяся въ своемъ оптимизмѣ и не потерявшая вѣры въ свое историческое призваніе; вотъ почему рабочій классъ усвоилъ матеріалистическую философію, когда отъ нея отказалась буржуазія послѣ того, какъ у нея подорванъ былъ жизненный нервъ. Общества нормальныя и развивающіяся проникнуты реалистическимъ и матеріалистическимъ настроеніемъ; общества же приходящія въ упадокъ и разлагающіяся склонны упиваться бреднями идеалистической философіи, обыкновенно съ мистической окраской. То же самое можно сказать объ отдѣльныхъ общественныхъ классахъ. Само собою разумѣется, что этотъ философскій идеализмъ въ большинствѣ случаевъ не имѣетъ ничего общаго съ практическимъ идеализмомъ; напротивъ, онъ по существу ему противорѣчитъ. Выступая противъ матеріалистическаго міровоззрѣнія въ эпоху общественнаго упадка, философскій идеализмъ носитъ въ корнѣ реакціонный характеръ. Практическимъ же или нравственнымъ идеализмомъ обыкновенно бываютъ проникнуты, какъ разъ тѣ общественные классы, которые въ области теоретической стоятъ на матеріалистической точкѣ зрѣнія.

„Новое искусство“ возстало, какъ разъ противъ положительныхъ сторонъ художественнаго реализма. Оно объявило хорошимъ то, на что искренно или притворно нападалъ натурализмъ, и провозгласило переоцѣнку всѣхъ цѣнностей. Атака на старую литературу велась со всѣхъ сторонъ, и со стороны формы, и со стороны цѣли, и со стороны содержанія. Лозунгомъ но-

ваго направленія въ искусствѣ провозглашенъ былъ символизмъ въ видѣ протеста противъ трезвой точности реализма и самодовольной размѣренности парнасцевъ: символъ долженъ былъ выражать самыя глубокія и тонкія полуинстинктивныя и почти безсознательныя душевныя воспріятія. Въ поэзіи, по мнѣнію символистовъ, всегда должна быть загадка: поэтому слѣдуетъ не давать точнаго обозначенія описываемыхъ предметовъ, а наводить на нихъ, внушать ихъ съ помощью символовъ. Но въ извѣстномъ смыслѣ литература всегда была символической [1]).

Вполнѣ признавая законность, болѣе того — неизбѣжность символизма въ поэзіи, нельзя однако признать нормальнымъ явленіемъ тотъ надуманный символизмъ, которымъ систематически угощали читателей декаденты и который заключался въ неожиданномъ сочетаніи словъ и мыслей, въ нарочитомъ примѣненіи эпитетовъ изъ одной области сознанія къ предметамъ и чувствамъ изъ другой области, ничего общаго, кромѣ каприза сочинителя, съ первой не имѣющей, какъ напримѣръ, характеристику настроеній, вещей или идей звуковыми и цвѣтовыми ощущеніями. „Голубая скука“, „бѣлое бездѣйствіе“, „фіолетовыя змѣи мечтаній“, „желтыя собаки грѣховъ“, „чуждый чарамъ черный челнъ“, „кинжальныя слова“, „лазурно-звонкіе колокольчики“, „тѣнь несозданныхъ созданій“, „черченіе звуковъ въ громко-звучной тишинѣ“, „мѣсяцъ обнаженный при лазоревой лунѣ“, алмазъ, какъ „всепроницаемая святыня луча божественнаго Да“, изумрудъ, какъ „Змій, царь зачатій Красоты“, — таковы по большей части тѣ образы, которыми обогатили поэзію символисты и которые свидѣтельствуютъ о безнадежно-мистической туманности пониманія. Наряду съ этимъ символизмомъ Бедлама шла безпринципная ломка всѣхъ установленныхъ правилъ стихосложенія и рифмы, писаніе рубленной прозой, чередованіе аршинныхъ строкъ со строчками въ одно слово, короче говоря, полнѣйшее издѣвательство надъ гармоніей, симметріей и здоровымъ художественнымъ чутьемъ. Наряду съ этимъ шло воскрешеніе старинныхъ формъ искусства, преднамѣренная и насквозь пропахшая литературщиной поддѣлка подъ наивные примитивы, возвращеніе къ первобытнымъ и устарѣлымъ рече-

---

[1]) Въ дѣйствительности символизмъ у модернистовъ въ большинствѣ случаевъ служилъ для замаскированія полной неопредѣленности и туманности мысли, а иногда просто для прикрытія безграмотности и безсмыслицы. Поль Верленъ, на котораго символисты любили ссылаться, какъ на основателя школы, крайне неодобрительно отзывался о поэтическихъ упражненіяхъ символистовъ: „Когда я страдаю, наслаждаюсь, плачу, я знаю, что это не символы.. Они мнѣ надоѣли, всѣ эти цимбалисты!.. Я и самъ когда-то шалилъ, но не имѣлъ претензіи обращать свои шалости въ законы... Я расширялъ дисциплину стиха, но не уничтожалъ его... Теперь пишутъ стихи въ тысячу стопъ! Это не стихи, а проза, иногда же просто ерунда“.

ніямъ и т. п. Но наивность примитивовъ подъ руками модернистовъ fin de siècle'я производила такое же впечатлѣніе ненужности и фальшивости, какъ румяна на впалыхъ щекахъ старой кокотки. „Представьте себѣ курицу,—говорилъ Гюисмансъ про одного изъ лидеровъ символизма, Мореаса,—которая клюетъ мелочи изъ словаря средневѣковаго языка. И если бы онъ еще красивыя слова выклевывалъ, — такъ нѣтъ, у него вкусъ караиба!". Такимъ же караибомъ, да еще на церковно-славянскій манеръ, является г. Вячеславъ Ивановъ, обогатившій сокровищницу русскаго языка такими квасно-лампадными реченіями, какъ „упрягъ", „сулица", „осіяваться", „вѣтвіе", „вони древесъ", и милые шутники, которымъ лавры этого „свѣтозрачнаго" „гіератиста" не даютъ спокойно спать и которые проводятъ безсонныя ночи надъ придумываніемъ такихъ словъ, не всегда находимыхъ даже въ словарѣ Даля, какъ „вѣдогонь", „медлище" и тому подобные „сумасшедшіе пустяки".

Рука объ руку съ этимъ бунтомъ противъ старыхъ формъ шло индивидуалистическое возстаніе противъ традиціонныхъ моральныхъ представленій. Прежнія нравственныя нормы, до которыхъ человѣчество постепенно доработалось среди нескончаемой соціальной свалки, подверглись безпощадному отрицанію со стороны проповѣдниковъ новой морали. Но любопытно, что главная аттака велась какъ разъ противъ тѣхъ альтруистическихъ принциповъ, которые направлены были къ защитѣ интересовъ рода отъ посягательствъ эгоистическаго индивидуализма. Въ этомъ сказалась вся буржуазная подоплека глашатаевъ новой истины, пытавшихся возвести интересы и стремленія разнузданной личности эпохи буржуазнаго вырожденія въ непререкаемую догму. Подъ флагомъ борьбы за самоцѣнность и всестороннее развитіе автономной личности велась въ сущности яростная борьба противъ начатковъ соціальной и соціалистической морали. Прикрываясь лозунгомъ бунта противъ нравственности филистеровъ, модернисты обѣими ногами стояли въ навозной кучѣ буржуазнаго міропониманія. Они были тѣми же буржуа, только въ еще болѣе оголенномъ, не прикрашенномъ, принципіальномъ видѣ.

Дѣло въ томъ, что въ современномъ обществѣ литературный цехъ за ничтожными исключеніями является идеологомъ буржуазіи, т. е. класса, проникнутаго индивидуализмомъ по существу, а идеологъ какой либо общественной группы, будь онъ хоть семи пядей во лбу, не можетъ вскочить выше психологіи этой группы. И если даже вся пишущая братія состояла изъ „мыслящихъ пролетаріевъ", то и въ такомъ случаѣ дѣло по существу очень мало измѣнилось бы, такъ какъ жизнь и дѣятельность умственнаго пролетаріата неизбѣжно воспитываетъ въ немъ индивидуалистическую психологію. „Процессъ производства" интеллигентнаго пролетарія за ничтожными исключеніями

носитъ чисто индивидуалистическій характеръ; изолированность интеллигентныхъ работниковъ обусловливаетъ ихъ разрозненность и въ сильнѣйшей степени мѣшаетъ имъ выработать практику и психологію массовой солидарности. Даже корпоративный духъ въ этой средѣ гораздо слабѣе, чѣмъ въ остальныхъ областяхъ промышленной дѣятельности. Умственнымъ пролетаріямъ приходится вести личную, неорганизованную борьбу; а эта изолированность ставитъ ихъ въ гораздо большую зависимость отъ хозяевъ, отъ работодателей, отъ потребителей продуктовъ ихъ труда, чѣмъ остальныхъ пролетаріевъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ вырабатываетъ въ нихъ способность легче и быстрѣе приспособляться къ требованіямъ момента, къ перемѣнамъ моды. Случайность играетъ въ ихъ жизни колоссальную роль, причемъ случайная удача мыслящаго пролетарія въ такой же степени объясняется гибкостью и приспособляемостью, какъ и дарованіями или дѣйствительными заслугами. Если прибавить къ этому, что массѣ мыслящаго пролетаріата приходится пробивать себѣ дорогу въ жизни умомъ, образованіемъ, способностями, то станетъ понятно, что эта соціальная группа склонна разсматривать себя какъ воплощеніе человѣческаго разума par excellence, какъ силу, стоящую внѣ классовъ и выше ихъ, а потому и призванную сыграть рѣшающую роль въ развитіи цивилизаціи. Отсюда одинъ шагъ до „духовнаго аристократизма“ до той „аристократической“ реакціи; которая выступая противъ мѣщанскаго „хамства“, быть можетъ безсознательно для себя возвращается къ психологіи побѣжденной старины и черпаетъ оружіе изъ арсенала отжившихъ идей и „превзойденныхъ“ этаповъ.

Противоборствуя напору демократіи, неудержимо вторгавшейся во всѣ области соціально-политической жизни, творцы новаго искусства горделиво провозгласили себя „аристократами духа“ и объявили цѣлью истинной поэзіи воспѣваніе утонченныхъ чувствъ и исключительныхъ переживаній. Здѣсь, какъ и въ большинствѣ случаевъ, проповѣдники новыхъ путей въ сущности тащили человѣчество назадъ, къ уже пройденной ступени умственнаго развитія; они воскрешали старую пѣсню о чистомъ искусствѣ, составляющемъ удѣлъ избранныхъ умовъ и великихъ душъ, выступая въ данномъ случаѣ реакціонерами, сознательно или безсознательно стоящими на почвѣ до буржуазнаго, феодальнаго міросозерцанія. Въ этомъ отношеніи они примыкали къ худшимъ традиціямъ романтизма и дворянской литературы начала XIX вѣка. И не только въ этомъ пунктѣ они проявили свой непобѣдимый атавизмъ, который, по мнѣнію Ломброзо и Нордау, составляетъ отличительную черту дегенератовъ. Декаденты (будемъ употреблять это слово, хотя и не совсѣмъ точное) ищутъ сюжетовъ и вдохновенія въ мышленіи и формахъ далекихъ эпохъ, когда мысль человѣка про-

зябала въ младенческомъ состояніи, напримѣръ, въ мышленіи и формахъ средневѣковаго искусства, а то и просто вдохновляются міросозерцаніемъ помѣшаныхъ ненормальныхъ людей, преступниковъ или дѣтей (большой частью — испорченныхъ дѣтей).

Всѣ эти уродливости находятъ свое объясненіе въ соціально-политическихъ условіяхъ новаго времени. Объ общемъ вліяніи капиталистической эволюціи на душевное состояніе и настроеніе современныхъ людей мы уже говорили. Но кромѣ этихъ общихъ причинъ мы должны еще указать на нѣкоторые спеціальные факторы, подготовившіе и обусловившіе явленія идейнаго распада послѣднихъ десятилѣтій.

Извѣстна та реакція противъ свободомыслія, которая охватила правящіе классы Европы послѣ революціонныхъ потрясеній конца XVIII вѣка. Именно тогда въ противовѣсъ матеріалистическимъ системамъ просвѣтителей выдвинулись различные виды идеалистической философіи и окрѣпъ мистицизмъ. Аналогичное явленіе наблюдается среди буржуазіи въ послѣдней четверти XIX вѣка. Грозное предостереженіе, данное господствующимъ классамъ парижской Коммуной, безостановочное развитіе соціализма среди пролетаріата промышленныхъ странъ поселили въ рядахъ буржуазіи тревогу за самое существованіе капиталистическаго режима. Снова началась широкая религіозная реакція противъ свободомыслія и матеріалистическаго міровоззрѣнія, снова потревоженныя слабыя души начали искать прибѣжища въ мистическихъ и идеалистическихъ системахъ всякаго рода, подчасъ самыхъ невѣроятныхъ, по просту граничащихъ съ изувѣрствомъ и ненормальностью. Мы не говоримъ уже о католической реакціи, обнаружившейся въ серединѣ 80-хъ годовъ на родинѣ свободной мысли и атеизма, во Франціи. Но вотъ въ великой французской столицѣ, этомъ „городѣ-свѣточѣ“, какъ французы любятъ называть Парижъ, наблюдается возвращеніе къ самымъ нелѣпымъ и грубымъ суевѣріямъ троглодитовъ. Здѣсь въ 80-хъ годахъ основаны были общины буддистовъ и поклонниковъ сатаны, которому попы—разстриги служили „черныя мессы“; размножились гадалки, колдуны, чародѣи хироманты, ассирійскіе маги и прочіе кудесники, дѣлавшіе прекрасныя дѣла и во всякомъ случаѣ находившіе убѣжденныхъ поклонниковъ. Въ этомъ мутномъ мистическомъ потокѣ сразу начала, конечно, пробиваться весьма замѣтная эротическая струя.

Религіозный мистицизмъ какими-то тайнами, но несомнѣнными путями связанъ съ половой психопатіей; вѣроятно въ томъ и другомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ какимъ-то разстройствомъ нервныхъ центровъ. Объ этой связи достаточно убѣдительно говоритъ намъ вся исторія человѣческихъ суевѣрій, начиная съ древнихъ халдеевъ и финикіанъ, проходя че-

резъ Византію и кончая французскими или англійскими модернистами и нѣкоторыми русскими сектами. Именно такими чертами характеризуется литературное творчество извѣстнаго французскаго романиста Гюисманса, бывшаго послѣдователемъ Золя, а затѣмъ сдѣлавшагося вѣрнымъ слугой католической церкви; этимъ же „духомъ перемежающагося горячаго благочестія и самаго крайняго разврата", какъ замѣчаетъ Михайловскій, характеризуется жизнь и литературная дѣятельность духовнаго отца декадентовъ, Поля Верлена. Въ одномъ сборникѣ стихотвореній этого талантливаго, но полу-преступнаго, полусумасшедшаго поэта, обратившагося къ вѣрѣ въ тюрьмѣ, куда онъ былъ посаженъ за покушеніе на убійство своего друга, воспѣваются педерастія и лесбійская любовь; но это не мѣшало тому же Верлену воспѣвать „мистическую мудрость, любовь къ сердцу Іисусову въ глубокомъ экстазѣ и мысль о дѣвѣ Маріи". А вѣрующій католикъ Гюисмансъ снабжаетъ своимъ предисловіемъ безумную книгу Жюля Буа о „Сатанизмѣ и Магіи", пишетъ романъ „На-выворотъ" (A rebours), въ которомъ выводится ненормальный „аристократъ духа", проявляющій отвращеніе ко всему естественному и здоровому въ личной общественной жизни, и наконецъ, сочиняетъ романъ „La-bas", въ которомъ герой романа, историкъ и эстетикъ Дюрталь, совершаетъ прелюбодѣяніе съ чужой женой, вѣрующей католичкой, старающейся придать особую пикантность своимъ приключеніямъ и для этого обставляющей ихъ всевозможными кощунствами, и въ этомъ романѣ, подъ предлогомъ ознакомленія читателя съ историческими изслѣдованіями Дюрталя, подробно смакуетъ дѣянія кровожаднаго эротомана XV вѣка, маршала Жиля-де-Ретца (между прочимъ, внушившаго Перро его знаменитую сказку о „Синей бородѣ").

Какъ справедливо замѣчаетъ Н. Кудринъ, послѣдній и немаловажный элементъ мистической реакціи это — желаніе придать лишнюю остроту разврату, приправляя его сознаніемъ грѣха". Черта чисто-аристократическая, буржуазный развратъ обыкновеннно лишенъ этой пряной природы, которая составляетъ удѣлъ вѣрующей аристократіи—и не даромъ „свѣтскіе" писатели, сторонники чистаго искусства и, ужъ конечно, убѣжденные „идеалисты", предпочтительно черпаютъ сюжеты для своихъ клубничныхъ произведеній изъ жизни „большого свѣта" и тысячею нитей связаннаго съ нимъ полу-свѣта. Впрочемъ, тема эта настолько популярна, что даже невѣрующіе писатели, напримѣръ, Катюллъ Мендесъ, останавливаются на ней съ особой охотой. Мотивы садизма съ особенною любовью разрабатываются большинствомъ декадентовъ и въ частности мистически настроенными. Ханжество и грязный развратъ—родные братья.

Иныя писанія мистиковъ и демонолатровъ граничатъ съ помѣшательствомъ. Но съ нимъ же или, по крайней мѣрѣ, съ

полнѣйшей безсмыслицей граничатъ многія произведенія декадентовъ вообще. Кстати. Любопытно, что обѣтованной землей мистическаго декадентства оказались Франція и Бельгія. Да и выступили декаденты на сцену приблизительно въ одно и то же время въ обѣихъ странахъ, въ концѣ 70-хъ и началѣ 80-хъ годовъ. Въ этотъ моментъ въ обѣихъ странахъ возобновлялось стихійное рабочее движеніе и началась организація соціалистическихъ партій; судорожныя движенія рабочихъ массъ разразились во Франціи многочисленными стачками 1878 г. и, наконецъ, извѣстной Деказвильской стачкой (1886 г.), а въ Бельгіи грандіозной забастовкой углекоповъ, сопровождавшейся рядомъ эксцессовъ и кровавыхъ столкновеній съ вооруженной силой (1886 г.). Въ обѣихъ странахъ классовыя противоположности и политическая борьба достигли крайняго напряженія, выражаясь въ самыхъ обостренныхъ формахъ; здѣсь и тамъ многочисленная и полная гордыхъ историческихъ воспоминаній мелкая буржуазія бурно протестовала противъ своей пауперизаціи и пыталась отчаянными усиліями пріостановить свое экономическое порабощеніе; здѣсь и тамъ переполненіе интеллигентныхъ профессій вело къ озлобленію и отчаянію мыслящаго пролетаріата. Во Франціи, предвосхищающей грядущія судьбы болѣе отсталыхъ націй, къ этому присоединялись еще другія условія: кошмарныя воспоминанія войны и Коммуны не успѣли еще изгладиться, потрясенная нервная система отзывчиваго и впечатлительнаго народа не успѣла еще придти въ равновѣсіе, а вдобавокъ рискъ усложнившейся жизни привелъ въ этой культурной странѣ, дорожащей благами комфорта, къ пріостановкѣ роста народонаселенія. И какъ-бы для того, чтобы сконцентрировать всѣ соціально-политическіе факторы, обусловившіе литературный распадъ fin de siécle'я, къ дѣйствію буржуазной реакціи присоединилась реакція католическая. Во Франціи республика, утвердившаяся въ борьбѣ съ роялистами, въ силу желѣзной логики вещей втянулась въ борьбу съ католической церковью и уже успѣла нанести ей первые тяжелые удары закономъ о народномъ образованіи и декретами противъ іезуитовъ и монашескихъ конгрегацій (1879—81); въ Бельгіи католическая партія потерпѣла пораженіе на выборахъ въ 1878 г. и вплоть до 1884 г. оставалась въ оппозиціи; вторая половина 70-хъ годовъ заполнена была ожесточенной борьбой между либералами и католиками, какъ бы воскресившей призракъ междуусобной религіозной войны и глубоко взволновавшей всю страну. И хотя въ 1884 г. клерикалы одержали верхъ надъ либералами, но католическая церковь чувствуетъ, что съ каждымъ днемъ власть постепенно ускользаетъ изъ ея цѣпкихъ рукъ.

И не случайно то обстоятельство, что двумя изъ главныхъ представителей декадентскаго символизма явились Метерлинкъ, бывшій питомецъ іезуитовъ и воспитанникъ Гентскаго католи-

Б... высшая школа
при ... ов при Ц. Вин...
102905

ческаго университета, уроженецъ благочестивой Фландріи, составляющей позвоночный хребетъ бельгійской католической реакціи, и Жоржъ Роденбахъ, происходившій изъ фламандской семьи. Роденбахъ, поэтъ тонкихъ, туманныхъ ощущеній, невнятныхъ шептаній и полунамековъ, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ мистикомъ и клерикаломъ, воспѣвавшимъ красоты католическаго культа и монашескаго благочестія. „Въ двухъ шагахъ отъ фабрикъ, гдѣ прогрессъ, нашъ новый богъ, приводитъ въ движеніе безсознательныя машины, а иногда, въ грозные моменты, разнуздываетъ грубыя и злобныя страсти, казалось исчезнувшія вмѣстѣ съ доисторическими чудовищами, въ нѣсколькихъ миляхъ отъ законодательныхъ собраній, въ которыхъ рычитъ демократія, обители бегинокъ (воспѣтыя Роденбахомъ) являются убѣжищами мира, небесной чистоты, радостнаго восхищенія и тихой прелести",—говоритъ Гастонъ Дешанъ (въ главѣ „Литературный Католицизмъ" своей книги „La Vie et les livres", часть II) по поводу Роденбаховскаго „Musée de béguines" и продолжаетъ: „Если только не быть членомъ батиньольскаго общества „Свободныхъ Мыслителей" или виднымъ дѣятелемъ сентъ-уанскаго „Авангарда", то невозможно не испытывать при чтеніи этой книги какого-то болѣзненнаго удовольствія". А восторгаясь его меланхолическими напѣвами, проникнутыми тихой грустью безнадежнаго умиранія, Дешанъ мѣтко замѣчаетъ: „Рискуя скандализировать вольтеріанцевъ, я открыто заявляю, что эта минорная мелодія мнѣ не ненравится. По мѣрѣ того, какъ прислушиваешься къ ея рыданію, испытываешь такое ощущеніе, какъ будто ты мягко и безшумно расплываешься, что твое „я" улетучивается капля по каплѣ, теряясь въ дождѣ и испаряясь въ туманѣ. Образованные римляне, жившіе въ эпоху дурныхъ императоровъ, вѣроятно, вкушали эту восхитительную форму самоубійства".

Итакъ, этотъ пѣвецъ мистическаго декадентства выразилъ унылое настроеніе періода, ищущаго самозабвенія въ сладострастномъ предвкушеніи Нирваны. Другой фламандецъ, символистъ и мистикъ, Метерлинкъ долго считался чѣмъ-то вродѣ декадентскаго папы. Въ послѣднее время онъ, повидимому, отрекся отъ „заблужденій молодости" и, можетъ быть, вскорѣ, подобно Л. Тайяду, начнетъ увѣрять, что до сихъ поръ онъ просто дурачилъ наивныхъ и слабоумныхъ поклонниковъ; но въ пору своего владычества въ лагерѣ неврастениковъ Метерлинкъ писалъ нарочито туманнымъ, безсмысленнымъ языкомъ, внушавшимъ скорѣе мысль о злой пародіи, чѣмъ о серьезномъ творчествѣ. Стоитъ припомнить хотя бы его стихотвореніе „Скука" („Беззаботные павлины, бѣлые павлины" и т. д.), въ которомъ авторъ, путемъ назойливаго повторенія носовыхъ звуковъ старается возбудить въ читателѣ-слушателѣ ощущеніе скуки. Въ другомъ стихотвореніи „Душа", крайне характерномъ для формы и содержанія

модернистской поэзіи, нѣтъ и этого внѣшняго, чисто механическаго смысла. Вотъ оно:

„Моя душа! О, моя душа, поистинѣ слишкомъ укрытая! И эти стада желаній въ теплицѣ! Въ ожиданіи бури въ лугахъ! Пойдемъ къ *самымъ больнымъ*: у нихъ странныя *испаренія*. Среди нихъ я прохожу по полю битвы съ моею матерью. *Хоронятъ* брата по оружію въ полдень, въ то время какъ стражи обѣдаютъ. Пойдемъ также къ *самымъ слабымъ*: у нихъ *страшный потъ*. Вотъ *больная* новобрачная, измѣна въ воскресенье и маленькія дѣти *въ тюрьмѣ* (и дальше сквозь паръ), это *умирающая* у дверей кухни? Или сестра чиститъ овощи у постели *неизлечимо больного?* Пойдемъ, наконецъ, къ *самымъ печальнымъ* (послѣ всѣхъ, потому что у нихъ есть яды). О, мои губы принимаютъ поцѣлуи *раненаго!* Всѣ владѣлицы *умерли съ голоду* этимъ лѣтомъ въ башняхъ моей души! Вотъ утро входитъ въ праздникъ! Я замѣчаю овецъ на набережныхъ и есть паруса на окнахъ *больницы*! Длиненъ путь отъ моего сердца къ моей душѣ! И всѣ стражи *умерли* на своемъ посту! Былъ некогда бѣдный маленькій праздникъ въ предмѣстьяхъ моей души! Тамъ косили *ядовитую траву* въ воскресенье утромъ, и всѣ монастырскія дѣвы смотрѣли, какъ плывутъ корабли по каналу въ постный солнечный день. Между тѣмъ какъ лебеди *страдали подъ ядовитымъ мостомъ;* подчищали деревья вокругъ *тюрьмы*, приносили *лекарства* въ іюнѣ послѣ полудня, и *пиршества больныхъ* распространялись на весь горизонтъ! Моя душа! И печаль всего этого, моя душа! И печаль всего этого!“ *)

У Гоголя жена городничаго читаетъ записку, написанную ей мужемъ на трактирномъ счетѣ. „Спѣшу тебя увѣдомить, что состояніе мое было весьма печальное; но уповая на милосердіе божіе, за два соленые огурца особенно и полпорціи икры рубль двадцать пять копеекъ“. Анна Андреевна спохватывается и откровенно заявляетъ, что „ничего не понимаетъ: къ чему же тутъ соленые огурцы и икра?“. Модернистскіе же писатели въ серьезъ сочиняютъ такіе трактирные счета и выдаютъ ихъ за новое слово, и находится публика, которая съ серьезнымъ видомъ читаетъ этотъ безсмысленный наборъ словъ и почтительно внимаетъ этому бреду, ища въ немъ глубокаго откровенія. Какъ не сказать при видѣ этого трагикомическаго зрѣлища: что за глаза, а главное, что за уши!

Не подлежитъ сомнѣнію, что многія черты изъ исторіи модернизма невольно внушаютъ мысль, что мы имѣемъ дѣло съ людьми ненормальными, психически разстроенными. Несмотря на всю филистерскую пошлость книги Макса Нордау о „Вырожденіи“, авторъ которой готовъ усматривать проявленіе ненормальности какъ въ чертобѣсіи маговъ и символистовъ, такъ и во всякомъ бунтѣ противъ установленныхъ буржуазныхъ обще-

*) Курсивъ нашъ. О значеніи его см. ниже.

ственныхъ отношеній, и поставить на одну доску безумства и ломанье декадентовъ и здоровый революціонный протестъ піонеровъ будущаго, несмотря на всю тупость и ограниченность этого типичнаго мѣщанина съ уравновѣшенной душой и сытымъ желудкомъ, онъ собралъ въ своей книгѣ цѣлый рядъ фактовъ, убѣдительно свидѣтельствующихъ объ утратѣ душевнаго равновѣсія многими носителями „новыхъ словъ". И для того, чтобы признать эту истину, вовсе не надо непремѣнно быть ограниченнымъ послѣдователемъ Ломброзо, какимъ является М. Нордау.

При этомъ мы даже не имѣемъ въ виду представителей сатанизма или черной магіи, хотя элементъ чертобѣсія и религіознаго мистицизма, граничащаго съ изувѣрствомъ, присущъ очень многимъ и многимъ декадентамъ и символистамъ. Въ кружкѣ „декадентовъ", вышедшемъ въ 1884 г. изъ кружка „гидропатовъ", *) состояли членами, между прочимъ, Стефанъ Малларме и Станиславъ Гаита. Малларме, бывшій парнасецъ, въ теченіе многихъ лѣтъ ничего не писалъ подъ тѣмъ предлогомъ, что современное общеество не можетъ дать великому поэту матеріала, достойнаго его глубокихъ внутреннихъ переживаній; но это горделивое молчаніе божка не мѣшало его послѣдователямъ, а напротивъ, побуждало ихъ признавать его поэтомъ, наиболѣе близкимъ къ „абсолюту", „живой совѣстью" и „строгимъ учителемъ", въ тиши подготовляющимъ какое-то невиданное, геніальное произведеніе. Конечно, ничего подобнаго міръ отъ Малларме не дождался. Продолжая мистификацію до конца, Малларме за два часа до смерти приказалъ своей дочери сжечь при немъ всѣ его рукописи. Но еще лучше въ своемъ родѣ Гаита, который въ концѣ концовъ оказался чернокнижникомъ и магомъ, велъ на разстояніи борьбу съ другимъ магомъ и волшебникомъ, аббатомъ Буланомъ или докторомъ Іоанномъ, жившимъ въ Ліонѣ (причемъ борьба эта кончилась якобы смертью ліонскаго чародѣя, пораженнаго „астральными силами" въ печень и сердце), и даже билъ, тоже на разстояніи, „флюидическими" ударами кулака по головѣ самого Гюисманса, разоблачившаго, дескать, тайны сатанизма въ своемъ романѣ „Là-bas". Мало того; у себя въ шкафу онъ держалъ какого-то „домашняго духа", появлявшагося изъ своего заточенія по его приказанію, и т. п. Вотъ къ какимъ нелѣпостямъ пришла мистическая реакція противъ философскаго реализма и „обанкротившейся" науки.

---

*) Нелѣпое „символическое" словечко, составленное, по язвительному замѣчанію Нордау, изъ „гидротерапіи" и „невропатіи". Въ кружкѣ „гидропатовъ" участвовали, м. пр., Гюи-де Мопасанъ, П. Бурже, Э. Гонкуръ, Ролина, Сарра Бернаръ и др. А эпитетъ „декадентъ" первоначально былъ брошенъ сторонникамъ „новыхъ путей" въ видѣ презрительной клички, но они съ гордостью подхватили его какъ боевой кличъ вродѣ нидерландскихъ „гезовъ".

2.

Конечно, не всѣ декаденты занимаются черной магіей или даже настроены мистически, хотя общая соціальная атмосфера, въ которой расцвѣло декадентство, несомнѣнно пропитана была духомъ мистицизма, искренняго или лицемѣрнаго, явившагося протестомъ противъ свободомыслія, разсудочности и матеріализма предшествующей эпохи. Не всѣхъ декадентовъ можно считать людьми психически неуравновѣшенными, хотя окружавшая ихъ среда умирающаго общественнаго строя несомнѣнно способствовала нарушенію душевнаго равновѣсія, какъ среди массы публики, составляющей аудиторію писателей и художниковъ, такъ и среди идеологовъ. Многіе декаденты извѣстны, какъ люди въ общемъ вполнѣ нормальные; нѣкоторые изъ нихъ занимаютъ даже привиллегированное положеніе въ обществѣ и, такимъ образомъ лично избавлены отъ риска и необезпеченности существованія, которые являются главнымъ зломъ современнаго соціальнаго строя, основаннаго на конкурренціи и гибели обездоленныхъ. Но представители и члены обреченной на смерть исторической полосы, выразители упадочнаго, предсмертнаго настроенія опредѣленнаго историческаго періода, они впитали въ себя весь ядъ этого вымиранія, весь страхъ жизни и боязнь дѣйствительности, присущіе умирающимъ классамъ. И весьма характерно въ этомъ отношеніи то обстоятельство, что тѣ немногіе представители декадентства, которые сумѣли освободиться отъ „модернистской“ мерзости запустѣнія, отъ символистическаго тлѣна и примкнули впослѣдствіи къ партіи активнаго протеста, старались объяснить свое мимолетное пребываніе въ лагерѣ ходячихъ труповъ не то промахами своей незрѣлой мысли, не то желаніемъ „помистифицировать“ молодыхъ глупцовъ, собиравшихся въ декадентскихъ кабачкахъ. Такое, напримѣръ, объясненіе далъ Лоранъ Тайядъ, впослѣдствіи перешедшій изъ декадентовъ въ анархисты.

Неоднократно указывалось на демонизмъ новаго искусства, на восхваленіе зла, которымъ оно видимо шеголяло на страхъ пугливымъ филистерамъ, сначала было не разглядѣвшимъ въ модернистахъ своего родного дѣтища. Философъ модернизма, полагавшій, что онъ борется съ мѣщанствомъ, но въ дѣйствительности идеализировавшій его сущность, сочетавши эту идеализацію съ апологіей аристократіи, Фридрихъ Ницше *), далъ

*) Самъ Ницше признавалъ себя „декадентомъ“, но наивно полагалъ, что его философская природа способна защитить его отъ этого. „Я, какъ и Вагнеръ, декадентъ,—писалъ онъ.—Съ той только разницей, что я это сознаю и отъ этого защищаюсь“. Въ дѣйствительности дѣло обстояло наоборотъ. Въ своей защитѣ отъ мнимаго декадентства Ницше все глубже погружался въ настоящее декадентство.

намъ подчасъ крайне смѣшное, подчасъ сильно написанное восхваленіе зла, властолюбія, насилія, эксплуатаціи и жестокости. Но прежде, чѣмъ выступить съ этой апологіей торжествующаго зла, переоцѣнщикамъ всѣхъ цѣнностей пришлось установить принципъ безразличія добра и зла. „Нѣтъ добра и зла, есть только факты", — гласило это положеніе чистаго искусства и чистой философіи, весьма удобныхъ для „чистой" публики и пытавшихся дать объективное оправданіе ея привиллегированнаго положенія. Нечего и говорить, что это оправданіе индифферентизма, это самодовольная философія сытыхъ ничего общаго съ истиннымъ объективизмомъ не имѣетъ. Но зато она служитъ незамѣнимымъ мостомъ для перехода отъ устарѣлаго служенія добру къ возвеличенію и идеализаціи зла, т, е. основного принципа существующаго строя. Вмѣстѣ съ идеей добра упраздняется и идея долга, эта идея родового характера par excellence, и замѣняется служеніемъ красотѣ въ индивидуалистическомъ смыслѣ этого слова. Какъ будто высшая красота, высшій идеализмъ (конечно, нравственный, а не философскій) не заключается въ подчиненіи личныхъ и групповыхъ интересовъ интересамъ коллективности, интересамъ рода! Какъ будто величайшія историческія дѣянія не связаны тѣснѣйшимъ образомъ съ идеей долга и рода и не являются вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе цѣнными также въ художественномъ смыслѣ, наиболѣе прекрасными, наиболѣе эстетичными, какъ будто они сильнѣе всего не повліяли на творчество великихъ художниковъ и не внушили имъ величайшихъ произведеній, вѣчно чарующихъ насъ своей нетлѣнной красотой!

Прерафаэлитъ Свинборнъ пѣлъ: „О стыдѣ я скажу: что есть стыдъ? О добродѣтели—мы ея не знаемъ. О злѣ—мы хотимъ его цѣловать; нѣтъ больше зла". На такой же по существу точкѣ зрѣнія стояли Бодлеръ, Оскаръ Уайльдъ и другіе болѣе или менѣе извѣстные упадочники, которыхъ извращенное зло влекло къ себѣ съ непреодолимой силой, особенно если оно было внѣшне красиво или „эстетично". Эстетика, въ ихъ извращенномъ пониманіи, вотъ цѣль жизни; она выше истины, выше добра, выше морали. „Міръ, по мнѣнію Малларме, существуетъ для того, чтобы доставить матеріалъ для прекрасной книги". Мрачнымъ демоническимъ голосамъ европейскихъ декадентовъ умильно вторитъ тоненькій фальцетъ русскаго декадента, г-на Бальмонта: его „духъ вампиромъ Сатану поетъ и славитъ", ему дорого всякое зло, „чума, проказа, тьма, убійство и бѣды, Гоморра и Содомъ"; восторгаясь тѣмъ, что предокъ его былъ палачомъ, онъ мечтаетъ о такой же почетной профессіи. Другой декадентъ, г-нъ Брюсовъ, посвящая г-ну Бальмонту свои стихи, характеризуетъ его такъ: „угрюмый обликъ каторжника взоръ... Но я въ тебѣ люблю, что весь ты ложь", Эти надуманные, вымученные пере-

пѣвы *) европейскихъ демонистовъ у маленькихъ русскихъ подголосковъ носятъ смѣхотворный характеръ, но у нихъ эта выдумка столь же омерзительна, неэстетична и столь же антисоціальна, какъ и у тѣхъ.

Для оправданія своей переоцѣнки цѣнностей, модернисты всякихъ толковъ не стѣснялись притягивать за волосы исторію, которая, при извѣстной ловкости рукъ, дѣйствуетъ какъ дышло: „куда повернешь, туда и вышло". Читатель знаетъ, конечно, про историческую фантазію Ницше о „великолѣпномъ, жаждущемъ добычи и побѣды бѣлокуромъ животномъ", покорившемъ слабую черноволосую расу, но въ концѣ концовъ побѣжденномъ моралью своихъ рабовъ и усвоившемъ отъ нихъ такія отрицательныя понятія, какъ любовь къ ближнему, обузданіе властолюбія, взаимопомощь и солидарность. На этой биржѣ переоцѣнокъ, гдѣ декадентскіе зайцы всѣми правдами и неправдами взапуски стремились уронить курсъ традиціонныхъ моральныхъ представленій (повторяемъ—въ ихъ альтруистической, родовой, а не индивидуалистической, эготистской сторонѣ), русскіе модернисты старались, какъ и въ другихъ областяхъ „новыхъ

---

*) Искреннимъ сатанистомъ среди русскихъ декадентовъ является, кажется, одинъ только Ѳедоръ Сологубъ, который производитъ впѣчатлѣніе дѣйствительно психически неуравновѣшеннаго человѣка и для котораго „лишь позоръ нагого преступленья заманчивъ, какъ всегда, и сладко нѣмое изступленье безумства и стыда". Въ одномъ стихотвореніи онъ признаетъ своимъ отцомъ дьявола, которому онъ далъ клятву служить злу.

Когда я въ бурномъ морѣ плавалъ
И мой корабль пошелъ ко дну,
Я такъ воззвалъ: „отецъ мой, Дьяволъ,
Спаси, помилуй—я тону.
Не дай погибнуть раньше срока
Душѣ озлобленной моей.—
Я власти темнаго порока
Отдамъ остатокъ черныхъ дней".
И Дьяволъ взялъ меня и бросилъ
Въ полуистлѣвшую ладью.
Я тамъ нашелъ и пару веселъ,
И сѣрый парусъ, и скамью.
И вынесъ я опять на сушу,
Въ больное злое житіе,
Мою отверженную душу
И тѣло грѣшное мое.
И вѣренъ я, отецъ мой, Дьяволъ,
Обѣту, данному въ злой часъ,
Когда я въ бурномъ морѣ плавалъ,
И ты меня изъ бездны спасъ.
Тебя, отецъ мой, я прославляю
Въ укоръ неправедному дню,
Хулу надъ міромъ я возставлю
И соблазняя соблазню.

Этой клятвѣ г-нъ Сологубъ остался вѣренъ до сихъ поръ въ мѣру отпущенныхъ ему отцомъ его дьяволомъ талантовъ.

словъ“, не ударить въ грязь лицомъ предъ своими европейскимъ наставниками и въ своемъ куцомъ, беззубомъ бунтѣ противъ „рабской морали“ рабски слѣдовали своимъ западнымъ образцамъ, по русскому обычаю подчасъ нещадно перевирая и утрируя ихъ взгляды. Г-нъ Мережковскій даже двинулъ въ защиту модернистской морали тяжелую артиллерію историческихъ изысканій въ своемъ изслѣдованіи о Леонардо-да-Винчи, гдѣ исторія фантастически перемѣшана съ „беллетристикой“ въ прямомъ и переносномъ смыслѣ этого слова и гдѣ великому итальянскому художнику приписывается мысль о безразличіи добра и зла предъ свѣтомъ вѣчной истины и красоты. У прихлебателей модернизма, пристающихъ ко всякому модному теченію и составившихъ декадентскую толпу, если угодно, чернь, эта мысль преломлялась въ головахъ слѣдующимъ образомъ:

Я хочу, я хочу быть порочнымъ!—

распѣваетъ отечественный фруктъ, Осипъ Яковлевъ:

Вѣрь: и совѣсть, и долгъ—только дымъ,
Рабской цѣпи ничтожныя звенья...
Годы, годы служенія имъ
Всѣ не стоятъ минуты паденья!

Паденья—съ дамой, разумѣется! Это ужъ изъ области юмористическаго „демонизма“. Не всегда, конечно, демонизмъ носитъ у декадентовъ такой смѣхотворный характеръ. Но даже тамъ, гдѣ модернисты не воспѣваютъ зла, ихъ взоръ съ особенной любовью останавливается на всемъ отвратительномъ, отталкивающемъ, ненормальномъ, уродливомъ и болѣзненномъ. Настоящіе гастрономы увѣряютъ, что особенно хороша только слегка испортившаяся дичь. Декаденты, эти гурманы тонкихъ и извращенныхъ ощущеній, также чувствуютъ непобѣдимую склонность къ гнили и уродливости, къ виду и запаху тлѣна и разложенія. Въ этомъ отношеніи они — истинныя дѣти больного вѣка, выразители вымирающей общественной формаціи.

При знакомствѣ съ декадентскими произведеніями бросается въ глаза то обстоятельство, что творчество ихъ съ особой предпочтительностью останавливается на уродливостяхъ и болѣзняхъ, физическихъ и нравственныхъ, на искалѣченности тѣлесной и душевной. Запахъ эфира и іодоформа проникаетъ творенія декадентовъ и образуетъ специфическій букетъ, невыносимый для людей нормально-чувствующихъ, но пріятно щекочущій ноздри „новыхъ людей“. Эфиръ, больница, предсмертный хрипъ, разложеніе, гніеніе, гной язвъ, болѣзненный выпотъ, судорожныя гримасы страданія,—вотъ образы, которыми съ чрезвычайной охотой пользуются декадентскія поэты, и тлѣніе всепобѣждающей смерти властно носится надъ ихъ произведеніями. При-

водимъ для примѣра еще стихотвореніе Метерлинка: „Теплица".

„О, теплица среди лѣсовъ! И твои навсегда запертыя двери! И все, что есть подъ твоимъ куполомъ! И подъ моей душой въ аналогіи съ тобой! Мысли принцессы, которая *голодна*, *тоска* матроса въ пустынѣ, мѣдная музыка подъ окномъ *неизлечимо-больныхъ*.—Идите въ самые теплые углы! Какъ будто женщина, упавшая въ *обморокъ* въ день жатвы, на *больничномъ дворѣ* почтальоны; вдали проходитъ охотникъ за оленями, ставшій *больничнымъ служителемъ*.—Разсматривайте при лунномъ свѣтѣ! (о, тогда *все не на своемъ мѣстѣ!*). Какъ будто *безумная* передъ судьями, военный корабль съ распущенными парусами на каналѣ, ночныя птицы на лиліяхъ, *погребальный звонъ* въ полдень (тамъ, подъ этими колоколами!), *этапъ больныхъ* на лугу, *запахъ эфира* въ солнечный день. Боже мой, Боже мой, когда будетъ у насъ дождь, и снѣгъ, и вѣтеръ въ теплицѣ!"

Оставляя въ сторонѣ элементъ настоящаго безумія, а также намѣреннаго шутовства и кривлянья (о которомъ ниже), мы должны признать, что въ самой психикѣ декадентскихъ писателей и сочувственно внимающей имъ аудиторіи имѣются извѣстныя черты надорванности, изломанности, смутнаго недовольства, которыя, быть можетъ, помимо ихъ воли, заставляютъ ихъ фиксировать свое вниманіе на проявленіяхъ изуродованности и истеріи. Аналогичный характеръ носятъ ихъ драматическія произведенія, какъ чисто декадентскія, такъ и такія, которыя только нѣкоторыми своими сторонами совпадаютъ съ плоскостью литературной неврастеніи, подобно двумъ пересѣкающимся кругамъ (напр., драмы Ибсена). Герои этихъ произведеній отличаются расшатанной нервной системой, несуразностью въ рѣчахъ и поступкахъ, психической растерянностью и издерганностью; почти никогда нельзя понять прямыхъ причинъ ихъ недовольства, во многихъ случаяхъ трудно понять, гдѣ они живутъ и чего хотятъ, но это не мѣшаетъ имъ постоянно „бунтовать" невѣдомо противъ чего и стремиться къ „тому, чего нѣту", да подчасъ и быть не можетъ. Въ противность классической трагедіи, гдѣ драматизмъ создается коллизіей могучихъ и жизненныхъ страстей, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ головными, надуманными терзаніями и мелкими, какъ по источнику своему, такъ и по своимъ результатамъ, страстями; въ отличіе отъ классической трагедіи, гдѣ пьеса часто кончается гибелью героевъ, но гдѣ мы видимъ дѣйственную смерть, дающую начало новой жизни и составляющую основное условіе этой жизни, здѣсь торжествующая смерть выступаетъ въ качествѣ непреодолимой силы, убивающей и жажду, и смыслъ, и источники жизни. Въ классической трагедіи смерть можетъ быть ужасной, но она прекрасна, какъ умираніе матери-природы зимой, когда подъ глубокимъ снѣжнымъ покровомъ подготовляется близкій и радостный расцвѣтъ весны; въ модернистской драмѣ смерть, вѣ-

нецъ созданья и неизбѣжная участь всего сущаго, гадка, безсмысленна и противна, какъ „запахъ эфира въ солнечный день“, какъ агонія умирающаго на грязной больничной койкѣ, какъ безнадежный конецъ вымирающаго міра. Получается театръ растерянныхъ масокъ и развинченныхъ маріонетокъ, поражающій своей ненатуральностью и ненормальностью огорошеннаго зрителя, который начинаетъ думать, что онъ попалъ въ Бедламъ или въ Шарантонъ, если только онъ самъ не принадлежитъ къ представителямъ fin de siècle'я и не зараженъ психикой распада, если онъ, однимъ словомъ, не почувствуетъ въ изломанныхъ герояхъ пьесы людей, близкихъ ему по настроенію и поступкамъ *).

Такая же неуравновѣшенность проявляется въ отношеніи модернистской литературы къ вопросу о любви. Что „вопросъ пола“ составляетъ одинъ изъ вѣчныхъ вопросовъ человѣчества, что поэтому онъ по всѣмъ законамъ божескимъ и человѣческимъ подлежитъ вѣдѣнію поэзіи,—доказывать это значитъ ломиться въ открытую дверь. И прибѣгая къ такимъ аргументамъ, когда рѣчь заходитъ о томъ направленіи, которое приняла трактовка этой темы у вѣщателей новыхъ словъ, декаденты и ихъ приспѣшники въ области критики и публицистики дѣлаются жертвой вольнаго или невольнаго лицемѣрія **). Конечно, этотъ вопросъ еще долго не перестанетъ волновать человѣчество; конечно, величайшіе поэты міра всегда подходили къ этому вопросу; конечно, величайшія произведенія искусства во многихъ случаяхъ трактовали этотъ вопросъ. Но какъ трактовали? такъ ли, какъ это дѣлаютъ эстеты, символисты, худосочные „эллинисты“ и тонконогіе „фавны“ нашего времени? Вѣдь въ этомъ все дѣло, и никакими отводами и лицемѣрными воплями противъ филистерской робости современнымъ Геростратамъ не удастся набросить покрывало на голову истины.

---

*) Оцѣнку Метерлинковской трагедіи съ соціально-критической точки зрѣнія см. въ брошюрѣ *Роландъ-Гольстъ*, Мистицизмъ въ современной литературѣ. Спб. 1906.

**) Такъ поступаетъ нѣкій г-нъ Дмитріевъ въ „Журнальномъ Обозрѣніи“ ноябрьской книжки „Образованія“ за 1907 г. Раздѣлавъ за „вакханалію мысли и чувства“ господъ Каменскаго, Кузмина, Сологуба, (совокупившаго въ „Любви“ отца съ дочерью), Ауслендера, Вал. Брюсова и Зиновьеву-Аннибалъ, г-нъ Дмитріевъ беретъ подъ свою неумѣлую защиту „Санина“ г-на Арцыбашева. Отвергая почти единодушные отзывы критики, не пожелавшей (и правильно!) проводить различіе между порнографіей упомянутыхъ господъ и порнографіей г-на Арцыбашева, г-нъ Дмитріевъ противопоставляетъ критикамъ, отличающимся „бойкостью пера“, но не обнаружившимъ „сколько нибудь „серьезнаго отношенія къ литературѣ“, отзывы столь „серьезной“ прессы, какъ „Биржевыя Вѣдомости“ и „Новости Дня“. Заставь г-на Дмитріева богу молиться, онъ и лобъ разобьетъ! Пикантность этой неудачной апологіи „Санина“ усугубляется еще тѣмъ обстоятельствомъ, что г-нъ Арцыбашевъ завѣдуетъ беллетристическимъ отдѣломъ того самаго журнала „Образованіе“, въ которомъ упражняется г-нъ Дмитріевъ. „Собственный критикъ его степенства пересаливаетъ.

У Толстого старый казакъ Ерошка, олицетвореніе животно-растительной жизни, стихійной силы, непосредственно сливающейся съ матерью-природой и отъ нея почерпающей свои нравственныя нормы, обѣщаетъ Оленину достать ему красавицу и на замѣчаніе раздвоеннаго скепсисомъ, утратившаго чувство непосредственности и надломаннаго горожанина, что вѣдь это грѣхъ, наивно отвѣчаетъ: „Грѣхъ? Гдѣ грѣхъ? На хорошую дѣвку поглядѣть грѣхъ? Погулять съ ней грѣхъ? Аль любить ее грѣхъ? *Это у васъ такъ?* Нѣтъ, отецъ мой, это не грѣхъ, а спасенье. Богъ тебя сдѣлалъ, Богъ и дѣвку сдѣлалъ. Такъ на хорошую дѣвку смотрѣть не грѣхъ. На то она и сдѣлана, чтобы ее любить, да на нее радоваться". Таково это примитивное сознаніе, которое, какъ это часто бываетъ въ исторіи, оказывается вмѣстѣ съ тѣмъ и недосягаемымъ идеаломъ для послѣдующихъ періодовъ. Но можно-ли признать, чтобы этотъ идеалъ оказался по плечу современнымъ проповѣдникамъ „стихійности" и непосредственности, нынѣшнимъ поклонникамъ веселаго, жизнерадостнаго Ярилы? тѣмъ самымъ неврастеникамъ-мѣщанамъ, которыхъ такой же, какъ они, стихотворецъ охарактеризовалъ въ слѣдующемъ отрывкѣ (напоминающемъ, впрочемъ, не поэзію, а плохую газетную прозу):

„Человѣченъ современный, низкорослый, слабосильный,
„Мелкій собственникъ, законникъ, лицемѣрный семьянинъ,
„Весь трусливый, весь двуличный, косодушный, щепетильный,
„Вся душа его, душонка—точно изъ морщинъ"?

Въ состояніи ли вообще современное общество, насквозь пропитанное лицемѣріемъ и извращенностью половыхъ отношеній, общество, въ которомъ проституція во всѣхъ формахъ возведена въ рангъ нормальнаго института, въ которомъ рабство женщины обусловливаетъ порабощеніе ея владыки-мужчины, въ которомъ естественные инстинкты и чувства систематически подавляются и искажаются во имя основныхъ его устоевъ, въ состояніи-ли такое общество не то что разрѣшить, но даже правильно поставить вопросъ о полѣ? Тѣмъ паче, могутъ ли правильно поставить и освѣтить его декаденты, являющіеся выразителями даже не прогрессивныхъ, а отмирающихъ сторонъ этого общества, проникнутые настроеніемъ и психологіей наиболѣе разложившихся его слоевъ, впитавшіе въ себя всѣ зловонныя испаренія этого стоячаго мѣщанскаго болота? И дѣйствительно, подъ предлогомъ новыхъ словъ декаденты произносятъ старыя, слишкомъ старыя слова; подъ предлогомъ бунта противъ предразсудковъ современности они воскрешаютъ наиболѣе уродливыя стороны умершихъ цивилизацій, въ Ерошкинскій періодъ человѣческой исторіи, быть можетъ, совершенно естественно и морально безразличныя, если даже не похвальныя, но въ наше время отдающія отвратительнымъ запахомъ

могильнаго тлѣна; подъ предлогомъ борьбы съ лицемѣріемъ правящаго класса они даютъ намъ апологію класса еще болѣе реакціоннаго и морально болѣе павшаго. На мѣсто психологіи трезвеннаго мѣщанства они пытаются подставить психологію пьяныхъ феодаловъ, гвардейскихъ офицеровъ, лумпен-пролетаріата и распущенной богемы. Отъ проповѣдуемой ими любви нестерпимо разитъ конюшней и низкопробнымъ лупанаромъ.

Въ современномъ буржуазномъ обществѣ половыя отношенія извращены до крайней ненормальности. Скученность гигантскихъ массъ населенія на сравнительно узкомъ пространствѣ въ большихъ городахъ сама по себѣ создаетъ ненормальныя условія жизни. Развитіе деревенскаго отхода бросаетъ въ городъ массу молодыхъ крестьянокъ и ставитъ ихъ въ положеніе, легко допускающее соблазнъ и развращеніе, и въ то же время стягиваетъ сюда толпы деревенскихъ пролетаріевъ, лишенныхъ возможности вступить въ бракъ и вмѣстѣ съ тѣмъ находящихся въ расцвѣтѣ физическихъ силъ. Въ томъ же направленіи дѣйствуетъ ростъ милитаризма, сосредоточивающій въ казармѣ сотни тысячъ цвѣтущей молодежи, поставленной при этомъ въ самыя ненормальныя условія. Возрастаніе риска и необезпеченности существованія дѣлаетъ для массы населенія невозможнымъ заключеніе раннихъ браковъ, а то и семейную жизнь вообще. Въ особенности это вѣрно относительно той же мелкой буржуазіи, класса, привыкшаго къ извѣстному комфорту и опасающагося терній брачнаго сожительства,—настолько вѣрно, что въ мелкобуржуазной Франціи наблюдается даже пріостановка въ ростѣ народонаселенія и уменьшеніе его численности. Zweikindersystem, двухдѣтная система, вліянію которой приписываютъ это явленіе, начинаетъ распространяться не только въ городѣ, но и въ деревнѣ, среди живущаго патріархально-религіозными традиціями крестьянства. Такимъ образомъ складывается все болѣе расширяющаяся прослойка мужчинъ и особенно женщинъ, лишенныхъ всякой возможности дать нормальное удовлетвореніе глубокимъ, вкоренившимся въ теченіе тысячелѣтій инстинктамъ, половому и семейному. Развивается интенсивное напряженіе этого могучаго инстинкта, обостряющееся по мѣрѣ его заглушенія и подавленія. На этой почвѣ возникаютъ различныя формы истеріи, въ томъ числѣ истеріи половой, переходящей въ эротоманію. Этому содѣйствуетъ цѣлый рядъ сопутствующихъ причинъ, куда относятся и современная система воспитанія, и сосредоточеніе капиталовъ въ рукахъ высшихъ классовъ, ведущее къ ихъ пресыщенію и дающее имъ возможность удовлетворять всѣмъ своимъ прихотямъ, даже самымъ противуестественнымъ, и обѣднѣніе широкихъ массъ населенія, выталкивающее на рынокъ любви массу женщинъ, которыя дѣлаются легкой жертвой и пресыщенной буржуазіи, и развратной аристократіи, и огрубѣлой солдатчины, и безбрач-

ной мелко-буржуазной молодежи. Въ этомъ же направленіи дѣйствуетъ и общая нервность и истерія вѣка, и общій моральный и психическій распадъ, отражающійся съ особенной силой на мелкобуржуазной молодежи по причинамъ, о которыхъ говорилось выше. Старая традиціонная мораль, основанная въ значительной степени на религіозныхъ нормахъ, была подорвана вмѣстѣ съ ослабленіемъ суевѣрій, но на смѣну ей, въ этой мѣщанской средѣ, не успѣла выдвинуться новая мораль, мораль соборнаго содружества и коллективнаго труда, та система нравственности, которая быстро распространяется среди пролетаріата и его идеологовъ и предохраняетъ ихъ отъ заразы общей болѣзнью неврастеническаго періода.

Декаденты услужливо пошли навстрѣчу этой потребности въ головныхъ эротическихъ впечатлѣніяхъ, которыя для многихъ и многихъ замѣняютъ въ настоящее время естественныя половыя впечатлѣнія, являясь въ этомъ смыслѣ чѣмъ-то вродѣ духовной мастурбаціи. Конечно, эротическіе мотивы разрабатывались въ литературѣ и до выступленія декадентовъ. Такой характеръ въ значительной мѣрѣ носила, напр., французская литература въ до-революціонный періодъ; тогда она служила дворянству и куртизанамъ, съумѣвшимъ, какъ никто, разработать и углубить „науку страсти нѣжной". Аристократія, избавленная отъ заботъ о снисканіи средствъ къ существованію и даже почти совершенно свободная отъ какого-либо непосредственнаго участія въ процессѣ матеріальнаго производства, можетъ на всей своей волѣ предаться вышиванію самыхъ замысловатыхъ узоровъ на извѣчной канвѣ властнаго біологическаго чувства. Это свойство она передала и буржуазіи, которая выступила въ качествѣ ея историческаго преемника. Когда буржуазія еще находилась въ оппозиціи и только боролась за политическую власть и за экономическое преобладаніе, въ ея психологіи выдѣлялся мотивъ естественности, „добродѣтели" (добродѣтельный Робеспьеръ), чистоты въ видѣ протеста противъ аристократической „испорченности". Но по мѣрѣ того, какъ она, добившись преобладающаго положенія въ обществѣ, сама начала все болѣе становиться классомъ-паразитомъ, она заимствовала у ненавистной аристократіи тѣ черты, за которыя буржуазные идеологи нѣкогда ее громили,—ханженство и (обратную сторону той же медали) эротику. Но въ отличіе отъ до-революціоннаго періода эротика въ развитомъ буржуазномъ обществѣ въ силу цѣлаго ряда опредѣленныхъ соціальныхъ факторовъ (на нѣкоторые изъ нихъ мы бѣгло указали) принимаетъ массовый характеръ.

Впрочемъ, средній буржуа, филистеръ, на котораго декаденты валятъ всѣ шишки, въ глубинѣ души сознаетъ всю омерзительность своей „реабилитаціи плоти" и во всякомъ случаѣ не рѣшается выставлять на всеобщее позорище своихъ похожденій, естественныхъ или ненормальныхъ. Онъ грѣшитъ,

но не считаетъ своихъ мерзостей геройствомъ; по крайней мѣрѣ, онъ таковымъ ихъ не объявляетъ. Только въ пьяномъ видѣ или для крайняго озорства онъ рѣшается выскочить нагишомъ на улицу или пройтись по городскому мосту въ чемъ мать родила. И только декаденты, эти идеологи эпохи морально-эстетическаго распада, посмѣли провозгласить самую пошлую „клубничку" героическимъ бунтомъ противъ мѣщанской нравственности и „новымъ словомъ" въ морали. Ихъ попытка прикрыться при этомъ увѣнчаніи клубнички традиціей жизнерадостной Эллады производитъ и комичное, и отвратительное по своему лицемѣрію впечатлѣніе. Французскій чиновникъ Гюисмансъ и россійскій Кузминъ, живописующіе содомскій грѣхъ, такъ же мало похожи на Алкивіада и царя Леонида съ его тремястами спартанцевъ, какъ Катуллъ Мендесъ, воспѣвающій сожительство брата съ сестрой, на царя изъ династіи Инковъ или г-жа Зиновьева-Аннибалъ, воспѣвающая лесбійскую любовь, на древне-греческую поэтессу. Ерошкино поведеніе не соотвѣтствуетъ у этихъ испорченныхъ дѣтей разлагающейся буржуазной цивилизаціи Ерошкину міросозерцанію и Ерошкиной убѣжденности въ своей естественности и правотѣ. И вотъ почему декаденты, съ причмокиваніемъ и сюсюканіемъ предпринявшіе свой крикливый походъ Аргонавтовъ для реабилитаціи плоти и мнящіе себя піонерами, прокладывающими новые пути, на самомъ дѣлѣ носятъ тлѣнъ смерти въ душѣ своей: они ниже филистеровъ, противъ мѣщанскаго лицемѣрія которыхъ они возстаютъ, будучи сами заражены гораздо большимъ лицемѣріемъ, пороки которыхъ они громятъ, проповѣдуя и прославляя гораздо бо̀льшую порочность; они вмѣстѣ съ тѣмъ ниже Ерошки, до звѣрской естественности и непосредственности котораго имъ далеко, какъ небу до земли, простота и элементарность котораго остается для нихъ недосягаемымъ идеаломъ. Больныя дѣти больного вѣка, они предлагаютъ голодному, имѣющему наивность обращаться къ нимъ за указаніями, камень вмѣсто хлѣба, и выдаютъ босяцко-аристократическую чувственность за лекарство отъ болѣзни буржуазно-мѣщанскихъ предразсудковъ.

И при всемъ томъ декаденты самаго высокаго о себѣ мнѣнія. Хвастовство этихъ господъ, пока еще не обогатившихъ умственной сокровищницы человѣчества, вошло въ поговорку. Эту черту декадентовъ, стяжавшую имъ со всѣхъ сторонъ (даже въ собственномъ лагерѣ) заслуженныя насмѣшки, можно было бы назвать маніей величія, еслибы это трагическое слово позволительно было примѣнять къ такому банальному явленію. Послушать декадентовъ, такъ всѣ они крупнѣйшіе таланты и геніи, правда, непризнанные геніи. У Гюре въ его анкетѣ приводится отзывъ одного декадента, перечисляющаго выдающихся геніевъ, характеризующихъ свою эпоху: это Моисей, Эсхилъ, Виргилій, Данте, Рабле, Шекспиръ, Гете, Флоберъ и Лафоргъ! (Для чи-

тателя, впервые услыхавшаго про существованіе такого генія, „характеризующаго свою эпоху“, скажемъ, что французъ Жюль Лафоргъ, родившійся въ 1860 и умершій въ 1887 г., былъ однимъ изъ самыхъ посредственныхъ декадентскихъ мистиковъ-виршеплетовъ). Сенъ-Поль-Ру, основатель „школы“ маньификовъ, самъ далъ себѣ прозвище „Великолѣпный“. Каждый изъ декадентовъ, набравши 2—3 послѣдователей въ силу правила, что самый глупый человѣкъ всегда найдетъ пару еще большихъ дураковъ, которые будутъ ему поклоняться, основываетъ свою школу. Одинъ изъ такихъ декадентскихъ пророковъ, основатель школы „эволюціоннаго инструментизма“, Ренэ Гиль, въ списокъ своихъ послѣдователей внесъ цѣлый рядъ писателей, которые ничего еще не написали: „Марсель Батилья, который скоро издастъ превосходную раціональную поэму; Александръ Бурсонъ, готовящій произведенія, проникнутыя эволюціонной идеей съ соціальной точкой зрѣнія“, и т. д. (кстати, этотъ Бурсонъ не кто иной, какъ нынѣшній депутатъ Зеваэсъ, „независимый“ соціалистъ и крайне антипатичный субъектъ). Но такими пустяками господа декаденты не смущаются. Вѣдь къ Малларме они, какъ мы видѣли, относились какъ къ великому вождю, несмотря на то, или вѣрнѣе, именно потому, что онъ не написалъ „великаго творенія“, котораго отъ него ждали. Русскіе сверхчеловѣки стараются и въ этомъ отношеніи не отстать отъ своихъ европейскихъ учителей. Эротоманъ и демонистъ Бальмонтъ, объявлявшій: „высшимъ знакомъ я отмѣченъ“, позволилъ себѣ сказать: „предо мной *всѣ* поэты предтечи“. Такія же горделивыя заявленія, граничащія съ мистификаціей, дѣлали и другія декадентскія знаменитости вродѣ Гиппіусъ, Брюсова, Сологуба и tutti quanti. Объявить Гете, Шекспира, Байрона, Пушкина, Лермонтова предтечами г-на Бальмонта—дальше этого идти некуда, кромѣ какъ въ гидропатію.

Но дѣйствительно ли мы имѣемъ здѣсь дѣло съ искреннимъ самохвальствомъ, съ извѣстнаго рода душевной болѣзнью? Конечно, современная истерія и неврастенія способны настолько извратить въ людяхъ чувство красоты и мѣры, что нѣкоторые декаденты, быть можетъ, вполнѣ добросовѣстно вѣрятъ въ то, что ихъ несуразныя по формѣ и содержанію произведенія стоятъ дѣйствительно выше твореній великихъ геніевъ. Чувства и формы, соотвѣтствующія героическому періоду буржуазіи, могутъ казаться устарѣлыми и неэстетичными изломаннымъ представителямъ эпохи буржуазнаго декаданса. Но при всемъ томъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, что добрую долю декадентскаго самохвальства и шума, поднятаго „литературными буланжистами“ (отзывъ Гонкура), слѣдуетъ приписать самому вульгарному стремленію добиться извѣстности хотя бы путемъ скандала, желанію создать себѣ рекламу во что бы то ни стало. Говоря словами Нѣмоевскаго объ одномъ изъ типичнѣй-

шихъ модернистовъ, Ст. Пшибышевскомъ, декаденты создали „теорію скандала“.

Въ оправданіе ихъ можно сослаться только на ограниченность искусства, вынуждающую декадентскихъ эпигоновъ пускаться на самыя рискованныя, чисто геростратовскія средства для снисканія извѣстности въ мірѣ идейнаго творчества. Имѣетъ ли искусство свои, точно опредѣленныя границы? Исчерпаемы ли его темы? Или же оно можетъ вѣчно творить изъ себя новую жизнь, подобно матери-Изидѣ? Поскольку искусство изображаетъ дѣйствительную жизнь, вѣчно текущую и измѣнчивую, постольку оно не можетъ исчерпать себя, постольку оно является вѣчнымъ и безграничнымъ. Однимъ словомъ, поскольку въ немъ пробивается общественно-описательная сторона, до тѣхъ поръ оно безпредѣльно и не можетъ изжить себя, тѣмъ болѣе, что развитіе новыхъ общественныхъ отношеній, вносящее глубокія измѣненія въ бытіе и психику старыхъ классовъ и выдвигающее на авансцену исторіи новые соціальные элементы, доставляетъ ему обширный матеріалъ, изъ котораго оно можетъ черпать полными пригоршнями. Вотъ почему передъ романомъ открыто по прежнему широкое поле. Иначе обстоитъ дѣло съ тѣми областями искусства, которыя носятъ по преимуществу индивидуальный характеръ и въ которыхъ преобладаютъ мотивы личныхъ переживаній. Сюда относится описаніе природы, точнѣе, тѣхъ впечатлѣній, которыя созерцаніе природы производитъ на душу человѣка; въ особенности же сюда относится область внутреннихъ чувствованій и борьба страстей, область лирики и трагедіи. Въ этой области послѣ великихъ геніевъ и „тайновидцевъ плоти“ новымъ художникамъ приходится довольно трудно; въ этой области почти невозможно удержаться отъ повтореній давно сказаннаго, отъ перепѣвовъ старыхъ мотивовъ.

Конечно, и литература въ той своей части, которая посвящена описанію природы, можетъ эволюціонировать, хотя бы потому, что воспринимающая ее человѣческая природа подвержена закону безостановочной эволюціи. Наша душа, какъ явленіе соціальное и историческое по существу, представляетъ продуктъ продолжительнаго развитія; наша психика все болѣе усложняется, обогащается и утончается. Соотвѣтственно этому процессу развитія расширяется и интенсифицируется область воспріятій, область впечатлѣній, получаемыхъ нами отъ природы; въ болѣе рафинированной и богатой психикѣ современнаго человѣка созерцаніе природы преломляется въ нѣсколько иномъ и болѣе сложномъ видѣ, чѣмъ въ прежнее, болѣе простое и непосредственное время. И дѣйствительно, декаденты устремились съ особенной охотой въ область описанія воздѣйствія, которое вѣчно юная природа оказывается на душу людей. Но мы никакъ не можемъ допустить, чтобы душа модерниста была болѣе тонкой и способной къ воспріятію красотъ.

природы, чѣмъ душа Шелли, Пушкина, Гете, чтобы для Метерлинка, Малларме или Бальмонта звѣздная книга была болѣе ясна, чѣмъ для Шиллера, Толстого или Лермонтова, чтобы морская волна говорила съ ними интимнѣе, чѣмъ съ титанами міровой поэзіи. Въ области нормальныхъ, общечеловѣческихъ воспріятій природы декаденты не могли дать больше, чѣмъ намъ дали старые гиганты искусства. Но поскольку рѣчь идетъ о преломленіи природы въ разстроенныхъ и отравленныхъ умахъ, о впечатлѣніи, производимомъ ею на изломанную и издерганную душу неврастеника, о совершенно неожиданныхъ реакціяхъ разстроеннаго мозга и измочаленнаго сердца на зовъ великой матери-природы, постольку модернисты дали кое-что свое, но это декадентское „свое" вполнѣ соотвѣтствуетъ общему характеру ихъ литературной дѣятельности, т. е. отраженію морально-художественнаго распада и разброда. Конечно, пряный привкусъ и рѣзкій запахъ „въ тиши отстоенныхъ отравъ" способенъ сильно дѣйствовать на чувства современнаго надломаннаго горожанина; пресыщенный и пессимистически настроенный буржуа можетъ упиваться утонченной поэзіей мистическаго модерна, напоминающей утонченныя формы самоубійства, къ которымъ прибѣгали римляне эпохи упадка (см. выше отзывъ Дешана о Роденбахѣ); конечно, скорбный плачъ декадентской музы надъ разбитыми идеалами, въ которомъ слышится унылое рыданіе осенняго вѣтра, срывающаго листья съ деревьевъ, находитъ сочувственный откликъ въ смущенной душѣ умирающихъ общественныхъ слоевъ. Въ остальномъ же декадентская поэзія представляетъ слабые, неудачные и надуманные перепѣвы великихъ пѣсенъ, но эти перепѣвы звучатъ фальшиво, какъ наигрываніе мелодіи великаго композитора на разбитомъ дребезжащемъ роялѣ, какъ пародія балаганнаго паяца, изображающаго трагедію великаго автора, какъ пиръ во время чумы, какъ кургузый фракъ на мощномъ бронзовомъ тѣлѣ здороваго варвара-кафра.

То же самое, и быть можетъ—въ еще сильнѣйшей степени, можно сказать про изображеніе великихъ, элементарныхъ человѣческихъ страстей. Конечно, гнѣвъ, властолюбіе, любостяжаніе, любовь, ревность и ненависть—это явленія, которыя далеко не остаются равными себѣ на всемъ протяженіи человѣческой исторіи; конечно, и здѣсь законъ эволюціи и видоизмѣненія остается въ полной силѣ. Однако, эти общія человѣческія страсти, особенно въ своемъ высшемъ напряженіи, въ своемъ пароксизмѣ, какими ихъ и беретъ трагедія, настолько просты въ своей стихійности и всеобщности, что трагедія грековъ и классическихъ драматурговъ вродѣ Шекспира, Шиллера, Гете дала въ этой области почти исчерпывающую художественную разработку. Что можно сказать о ревности болѣе художественно-убѣдительнаго и сильнаго послѣ Отелло? что можно сказать о

любви, коварствѣ, честолюбіи и пр. послѣ безсмертныхъ произведеній, извѣстныхъ теперь всякому грамотному человѣку? Я говорю: „что можно сказать?“, особенно имѣя въ виду мнѣніе модернистовъ, напр., Метерлинка, гласящее, что художественной разработкѣ подлежатъ не темы и типы текущей дѣйствительности, а перипетіи „вѣчныхъ“ человѣческихъ чувствъ, какъ любовь, ревность, гнѣвъ и т. д. Въ этомъ отношеніи индивидуалистическая шуйца модернизма обрекла его почти на полное безплодіе. Убѣгая отъ художественнаго воспроизведенія текущей дѣйствительности, поддаваясь тому страху жизни и реальности, которой присущи умирающимъ соціальнымъ элементамъ, въ особенности отказываясь отъ художественной разработки историческаго дѣйствія массъ, все болѣе становящагося центральнымъ явленіемъ переживаемой эпохи, однимъ словомъ—замыкаясь въ „башню изъ слоновой кости“, декаденты волей-неволей отрѣзывали себя отъ общенія съ идеей современнаго историческаго момента и придавали своему творчеству абстрактный, экзотическій характеръ. Только одну тему они разрабатывали въ своей трагедіи съ особенной охотой, а именно—мысль о неизбѣжномъ рокѣ, властно нависшемъ надъ существованіемъ человѣка, о неминуемой гибели и безплодности душевныхъ порывовъ. Послѣ всего вышесказаннаго это явленіе представляется намъ совершенно естественнымъ.

Кромѣ того буржуазное искусство получило сильный ударъ еще съ другой стороны. Соціализмъ подорвалъ, чтобы не сказать—убилъ вѣру въ провиденціальное значеніе свободы личности, воспѣваніе которой дало намъ высочайшіе образцы поэзіи, какъ въ твореніяхъ Байрона, Шиллера, Гюго и другихъ великановъ литературы. Этимъ же духомъ міроборства съ точки зрѣнія борьбы за индивидуальность проникнуты были вообще творенія крупнѣйшихъ представителей старой литературной школы. Съ распространеніемъ соціалистическихъ идей исчезла наивная вѣра въ свободу, какъ единую разумную устроительницу міра. Въ настоящее время истиннымъ великимъ поэтомъ можетъ быть только художникъ съ широкими соціальными симпатіями; иначе его эстетическое чувство постоянно приходило бы въ конфликтъ съ его соціально-политическимъ убожествомъ. И дѣйствительно, крупнѣйшіе художники современности, Гауптманъ, Горькій, Золя въ послѣдній періодъ своей жизни, Анатоль Франсъ, Мирбо, Э. де-Амичисъ, болѣе или менѣе опредѣленно выражали сочувственное отношеніе къ борьбѣ и надеждамъ рабочаго класса. И въ этомъ пунктѣ декаденты снова очутились въ неблагопріятномъ положеніи. Ихъ игра въ „духовный аристократизмъ“ связывала ихъ по рукамъ и ногамъ. Искусству въ значительной степени успѣвшему исчерпать вопросы личной психологіи и семейныхъ отношеній, приходилось теперь обратиться къ художественному изученію коллективной психологіи

и дѣйствія массъ. Въ этой области крупные образцы, къ сожалѣнію, носившіе характеръ лишь талантливыхъ намековъ на будущую литературу, дали намъ Золя („Жерминаль“, „Трудъ“). Гауптманъ („Ткачи“), отчасти Мирбо („Злые пастыри“). Но въ общемъ и цѣломъ пишущая братія, связанная своимъ буржуазнымъ происхожденіемъ и настроеніемъ, ушла въ сторону отъ этой великой надвигающейся проблемы. Особенно повинны въ этомъ устремленіи назадъ модернисты, поднявшіе во всѣхъ областяхъ—философской, литературной и критической—знамя бунта противъ вторгающейся на арену жизни демократіи. Ватой мистики и индивидуализма они пытались заткнуть свои „аристократическія“ уши, чтобы не слышать профанирующаго шума толпы, чтобы укрыться отъ кипѣвшей вокругъ нихъ политической и соціальной борьбы; они полагали, что общественно-политическій индифферентизмъ можетъ благопріятствовать поэтическому творчеству. Вмѣстѣ съ Оскаромъ Уайльдомъ они провозглашали, что „воспріимчивость къ краскамъ и цвѣтамъ для развитія человѣка гораздо важнѣе, чѣмъ понятіе о правѣ и безправіи“. Но этимъ они наносили себѣ смертельный ударъ, ибо политическіе и общественные интересы рождаютъ великія страсти, а послѣднія какъ и гнѣвъ, дѣлаютъ поэтовъ. Такимъ образомъ соціальному чувству декаденты въ эпоху, характеризующуюся „идеей четвертаго сословія“, противопоставляли мертвящую догму эстетическаго индивидуализма, въ нашъ вѣкъ болѣе безплоднаго въ художественномъ отношеніи, чѣмъ когда либо. А это естественно принуждало ихъ обратиться къ области чисто-личныхъ мелкихъ и тонкихъ душевныхъ переживаній. Здѣсь же, какъ мы видѣли, сказалось вліяніе больного вѣка и больного класса; здѣсь ихъ подстерегала безжалостная историческая Немезида, напитавшая запахомъ эфира сіявшую вокругъ нихъ солнечную атмосферу.

Въ этомъ смыслѣ они, какъ и все больное, заслуживаютъ не только суроваго осужденія, но и сожалѣнія. Жертвы собственныхъ предразсудковъ, они являлись вмѣстѣ съ тѣмъ жертвами исторіи, жертвами породившаго ихъ буржуазнаго общества. Но въ литературныхъ выступленіяхъ модернистовъ кромѣ болѣзненной неуравновѣшенности, паралича сдерживающихъ центровъ и болѣзненной извращенности, замѣчается еще другая сторона, свидѣтельствующая скорѣе объ ихъ здоровьѣ (мы имѣемъ въ виду физическое здоровье). Это самая беззастѣнчивая, необузданная и наглая реклама. Реклама—дитя вѣка и душа современной коммерціи. Реклама можетъ быть крикливой, глупой, несуразной—и тѣмъ не менѣе имѣть огромный успѣхъ. Болѣе того, чѣмъ она нелѣпѣе, несуразнѣе и крикливѣе, тѣмъ вѣрнѣе она достигаетъ своей цѣли—привлечь вниманіе публики, заинтриговать ее, огорошить, а затѣмъ, конечно, использовать. Реклама должна поражать зрѣніе, слухъ, воображеніе и даже

здравый смыслъ; воспоминаніе о ней должно гвоздемъ засѣсть въ головѣ потребителя. Лучше всего, если ей удастся его не только заинтересовать, но даже взбѣсить и раздражить.

Таковъ законъ рекламы. Само собою разумѣется, что художники, жрецы искусства, прибѣгая къ кричащей рекламѣ, далеко не всегда преслѣдуютъ узко-матеріальныя цѣли. Не подлежитъ сомнѣнію, что во многихъ случаяхъ они стремятся къ болѣе идеальнымъ и высокимъ цѣлямъ, къ извѣстности, славѣ, къ привлеченію сторонниковъ идеѣ, которую они считаютъ вѣрной и хорошей. Но суть дѣла, по крайней мѣрѣ формально, отъ этого ничуть не измѣняется. Изъ продуктовъ fin de siécle'я декаденты, наряду съ истеріей и неврастеніей, усвоили еще и духъ необузданной рекламы, которая въ сущности сама по себѣ также является результатомъ этой истеріи вѣка, ожесточенной борьбы за существованіе, лихорадочнаго стремленія всякими правдами и неправдами застраховать себя отъ риска жизни. Въ торговлѣ послѣднимъ словомъ рекламы недавно еще считалась электрическая реклама, рекомендующая патентованную горчицу или зубную пасту съ помощью кинематографа, который демонстрируетъ передъ уличными зѣваками какую-нибудь картинку соотвѣтствующаго содержанія. Декаденты пошли еще дальше. Они пустили въ ходъ духовную рекламу, задача которой сводится къ тому, чтобы путемъ воздѣйствія не столько на внѣшнія чувства, сколько на внутренній міръ читающей публики, путемъ извѣстнаго моральнаго „шока", рѣзкаго и неожиданнаго удара по нервамъ, привлечь вниманіе прохожихъ зѣвакъ къ своему литературному балагану, къ своей выставкѣ новаго искусства.

Для достиженія этой цѣли пускаются въ ходъ пріемы какъ внѣшніе, такъ и духовные. Первые сводятся къ особому выбору темъ и къ формѣ внѣшней разработки трактуемаго сюжета; вторые—къ посягательству на установленныя моральныя правила, къ провозглашенію небывалыхъ, уродливыхъ эстетическихъ и нравственныхъ нормъ. Тѣ и другіе связаны съ чрезмѣрной шумливостью и преднамѣренной экстравагантностью въ рѣчахъ и поступкахъ. Уже одни заглавія декадентскихъ твореній должны бросаться въ глаза и останавливать на себѣ вниманіе праздной толпы. „Оры. Кошница первая", „Зеленый Вертоградъ", „Мара-Марена", „Золотые вѣсы", „Ананке", „Киммерійскія сумерки", „Звѣзда-полынь", „Лѣсныя завѣсы", „Пѣвучій оселъ", „Горящія зданія", „Будемъ какъ солнце. Книга символовъ", „Только любовь. Семицвѣтникъ", „Литургія красоты. Стихійные гимны", „Chefs d'oeuvres. Сборникъ стихотвореній", „Me eum esse", „Tertia Vigilia", „Urbi et Orbi", „Лимонарь", „Посолонь", „Лѣствица", „Золото въ лазури" и т. д., и т. п.—таковы эффектныя заглавія, стремящіяся ошеломить, изумить, поразить потребителя и зазвать его въ свою лавочку. Къ этому присое-

диняются вычурныя и нелѣпыя виньетки съ чертями, вѣдьмами, длинноволосыми женщинами, голыми вакханками и всякой другой несусвѣтной чепухой. Внѣшняя форма не менѣе замѣчательна: декадентами стихи пишутся строчками то въ одно слово, то въ полтора аршина длиной; размѣръ и рифма намѣренно не соблюдаются (что кстати весьма удобно для бездарностей и лѣнтяевъ); неожиданные скачки мысли и самое неожиданное сочетаніе словъ, небывалые и неестественные эпитеты, анахронизмы и вообще всяческія преднамѣренныя отступленія отъ исторической, географической и логической правды надоѣдливо пестрятъ въ твореніяхъ декадентовъ.

Подкладку рекламы составляетъ мода. Извѣстно, что какая нибудь свѣтская дама предпочтетъ захворать опасной болѣзнью, чѣмъ быть одѣтой не по послѣдней модѣ. Здѣсь пустота, тщеславіе и стремленіе къ новизнѣ, свойственное нашей эпохѣ быстрыхъ превращеній, подаютъ другъ другу руки. „Великіе" портные, верховные законодатели модъ, изощряютъ всю свою изобрѣтательность, напрягаютъ всѣ силы своего ума, чтобы придумать какой нибудь новый фасонъ шляпки, новый покрой платья или жакетки. Но человѣческая фантазія не неисчерпаема, и великимъ законодателямъ грозитъ опасность впасть въ повторенія. Чтобы парализовать такой ужасный рискъ, они тщательно перелистываютъ старые модные журналы, роются въ архивной пыли, разсматриваютъ средневѣковые фоліанты и такимъ образомъ комбинируютъ новые чертежи и фасоны. Какая нибудь свѣтская красавица, одѣтая по послѣднему слову портняжной науки, и не воображаетъ, что она носитъ такую шляпу, какую носили сто лѣтъ тому назадъ въ Англіи, и что ея модное платье скопировано, быть можетъ, изъ стараго журнала эпохи Іюльской монархіи.

Суетная мода ворвалась и въ область искусства. Ограниченность искусства принудила художниковъ и писателей, обратиться къ изученію старинныхъ образцовъ и къ подражанію старымъ мастерамъ. Подобно „великимъ портнымъ", модные художники роются въ памятникахъ сѣдой старины, воскрешаютъ традиціи и формы средневѣковья и древней Эллады и настраиваютъ свои лиры на старинный ладъ *). Противъ такого направленія художе-

*) Тѣмъ болѣе, что съ ростомъ крупныхъ состояній ростетъ также и спросъ на продукты такого искусства. Уэльсъ замѣчаетъ въ своихъ „Anticipations": „Оставаясь въ сторонѣ отъ всякой дѣятельности (что будетъ случаться очень часто), большинство изъ этихъ богачей почувствуютъ непреодолимое влеченіе къ архаическому и роскошному стилю, который будетъ казаться имъ квинтэссенціей искусства. Обладая просвѣщеннымъ умомъ, погруженные въ шедевры прошлаго и незнакомые съ потребностями своего времени, они будутъ склонны къ всевозможнымъ преувеличеніямъ, культивируя искусство, какъ нѣкое дополненіе къ жизни, какъ роскошную мозаику изъ воспоминаній, а не какъ потребность дѣйствительной жизни". См. Вандервельдъ, Соціализмъ и искусство.

ственныхъ интересовъ, какъ противъ явленія совершенно законнаго, ничего нельзя было бы сказать, если бы оно не носило характера бѣгства отъ дѣйствительности, а съ другой стороны— не сопровождалось реакціонными по существу попытками противопоставить міросозерцаніе и мораль мертвыхъ стремленіямъ и запросамъ молодой, живой жизни *). Величайшіе поэты любили углубляться въ сѣдую даль вѣковъ и почерпать тамъ сюжеты для своего вдохновенія. Но равно предосудительны какъ стремленіе преподносить современникамъ прадѣдовскую мораль въ качествѣ отвѣта на запросы дѣйствительности, такъ и попытка приписать людямъ и дѣламъ далекаго прошлаго характеръ и окраску современности и такимъ образомъ исказить историческую дѣйствительность. Во всякомъ случаѣ стремленіе спастись отъ треволненій дѣйствительности въ скиты средневѣковья, сосредоточить всѣ свои умственные интересы на культѣ Діониса и т. п. характерно для эпохъ реакціи. Такой характеръ носилъ романтизмъ, такой же характеръ имѣютъ и увлеченія многихъ писателей декадентской школы. И подобно легкомысленнымъ дамамъ, готовымъ на все, лишь бы не отстать отъ моды, широкіе слои читающаго мѣщанства стараются не прослыть отсталыми и жадно, съ раскрытымъ ртомъ ловятъ послѣднія „стилизованныя“ слова художественной моды, мебель въ стилѣ „модернъ“, какъ бы она ни была неудобна, картины въ стилѣ „модернъ“, какъ бы онѣ ни были аляповаты и бездарны, литературу въ стилѣ „модернъ“, какъ бы она ни была нелѣпа и подчасъ безграмотна.

Модѣ и рекламѣ во внѣшнихъ проявленіяхъ соотвѣтствуютъ модничанье и оргинальничанье внутреннее. Ясно, что значительная доля тѣхъ безпрестанныхъ вылазокъ противъ здраваго смысла, нормальныхъ чувствъ и нравственности, которыми пестрятъ произведенія декадентовъ, объясняется просто желаніемъ

*) Что въ основѣ исключительнаго интереса къ старинѣ лежитъ реакціонное по существу настроеніе, это давно извѣстно. Но вотъ любопытное признаніе „Новаго Времени“, проливающее яркій свѣтъ на одну изъ причинъ нынѣшняго увлеченія „фольклоромъ“: „Но пришли Портъ-Артуръ и Цусима, и грохотъ маузеровъ, браунинговъ, бомбъ, адскихъ машинъ и пр. дьявольскихъ изобрѣтеній, которыми революціонеры посыпали всю страну отъ края до края, пробудилъ русское общественное самосознаніе... И наше общество, которое еще такъ недавно всю русскую исторію готово было разсматривать сквозь очки автора „Исторіи города Глупова“, вспомнило о славянофилахъ. Оно почувствовало вдругъ, что въ Россіи были не только городничіе, знавшіе одно слово „запорю“! но были „Мономахи“ и „Мудрые“, Сильвестры, Минины, Гермогены, Филареты и цѣлый сонмъ князей, воиновъ и святыхъ, собиравшихъ русскую землю, скрѣплявшихъ ее своей жизнью и кровью, освящавшихъ молитвами, просвѣщавшихъ ученіемъ и идеалами. Вспомнило это русское общество и вдругъ почувствовало, какъ ему все таки дороги и русская исторія, и русская поэзія, эти былины, сказки, пѣсни, вообще вся совокупность народнаго быта и уклада, который соціалисты хотятъ смахнуть, какъ мусоръ, и устроить жизнь „по Марксу“ (№ 11.417, 23 дек. 1907 г.).

рекламировать себя во что бы то ни стало. Весьма возможно, что писатели, воспѣвающіе педерастію или скотоложство, сами въ дѣйствительности не способны на такія дѣянія; очень даже вѣроятно, что писательницы, восхваляющія лесбійскую любовь, въ дѣйствительности являются примѣрными супругами и вполнѣ мѣщанскими мамашами. Вѣдь заявлялъ же недавно во всеуслышаніе одинъ писатель-порнографъ, что онъ имѣетъ одну пару брюкъ и блюдетъ супружеское ложе нескверно. Особенно это примѣнимо къ нашимъ доморощеннымъ модернистамъ, этимъ лягушкамъ, надувающимся изо всѣхъ силъ, чтобы сравняться въ дородствѣ съ европейскими волами. Какъ остроумно замѣтилъ Михайловскій, „условія русской жизни не даютъ достаточнаго простора нашимъ декадентамъ и ницшеанцамъ, и въ огромномъ большинствѣ случаевъ они просто смѣшны: напыщенныя рѣчи, глупые стихи, чисто словесная жестокость, мелкій и тоже больше словесный развратъ, грошъ аммуниціи при рублевой амбиціи, да и откровенность-то собственно вполголоса или въ интимномъ кругу единомышленниковъ“... Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что по большей части всѣ эти неблаговидныя выходки, заимствуемыя писателями-модернъ изъ курсовъ психопатологіи и половой психопатіи, предназначены для того, чтобы „épater le bourgeois“, заставить глупаго филистера ахнуть. Успѣхъ этихъ кривляній и сумасбродствъ въ извѣстной средѣ показываетъ, что усилія декадентовъ не пропадаютъ напрасно. И въ этомъ смыслѣ къ нимъ нельзя обратиться съ щедринскими словами: „нѣтъ необходимости, мой другъ, столь вяще изломиться“. Необходимость есть.

Съ этой точки зрѣнія декадентамъ-рекламистамъ рѣшительно безразлично, хвалятъ ли ихъ за несуразныя выходки или бранятъ. Послѣднее даже лучше, ибо привлекаетъ вниманіе скучающихъ зѣвакъ. Перифразируя извѣстное изреченіе римскаго тирана „oderint dum metuant“, они могли бы сказать: пусть насъ ругаютъ, лишь бы о насъ говорили, лишь бы читали! Читатель, слѣдящій за современными газетами, обратилъ, конечно, вниманіе на рекламы различныхъ „психологическихъ“, „спиритическихъ“ и вообще „кальвинистическихъ“ издательствъ, а также разныхъ гешефтмахеровъ, преимущественно варшавскихъ, сулящихъ за 3 рубля чуть-ли не 300 предметовъ, стоющихъ чуть-ли не 3 тысячи, и вообще обѣщающихъ размѣнять грошъ на рубли. Съ усложненіемъ общества, съ ростомъ потребностей, съ разложеніемъ традиціонныхъ устоевъ возникаетъ въ крупныхъ центрахъ масса плутовскихъ профессій, промышляющихъ сбытомъ всяческихъ поддѣлокъ и вообще эксплуатаціей невѣжества и легковѣрія. Въ доброе старое время народная масса стояла въ сторонѣ отъ этихъ операцій, распространявшихся главнымъ образомъ на привилегированные круги, которыхъ обирали всякіе алхимики, фокусники, чернокнижники, астрологи и

магнетизеры. Масса, предававшаяся грубымъ удовольствіямъ и не имѣвшая сложныхъ потребностей, служила объектомъ эксплуатаціи преимущественно для кабатчиковъ, шулеровъ и духовенства. Но по мѣрѣ демократизаціи общества, съ развитіемъ грамотности и печати, а значитъ, и рекламы, явилась возможность привлечь и широкія массы къ платежу дани въ пользу представителей плутовскихъ профессій. Начали въ широкомъ масштабѣ распространяться патентованныя средства,—морисоновы пилюли всякаго рода, излечивающія отъ подагры, чахотки, слабоумія, холеры, ревматизма, паралича, глухоты, слѣпоты и всѣхъ прочихъ болѣстей,—дешевые часы, граммофоны, кольца, брилліанты и пр., и пр. Такой же характеръ приняла, въ нѣкоторой своей модернизованной части, и литературная дѣятельность, опирающаяся на легковѣріе публики, на рекламу заинтересованныхъ газетчиковъ и особенно на саморекламу. Конечно, литераторы этого рода не предлагаютъ даровыхъ граммофоновъ и брилліантовыхъ булавокъ къ галстуху, но они сулятъ наивнымъ людямъ раскрытіе тайнъ жизни, ускользнувшихъ отъ суетной науки, открытіе новыхъ „угловъ души“ и новыхъ путей въ искусствѣ. А на повѣрку получаются тѣ же всеисцѣляющія микстуры изъ простой колодезной воды, тѣ же дешевые варшавскіе часы и американскіе брилліанты. И самъ Верленъ, предтеча новѣйшаго декадентства, говоря о „шалостяхъ“ и „четырнадцатистопныхъ стихахъ“ символистовъ, характеризовалъ ихъ однимъ словомъ: „Реклама!“ А. Э. Гонкуръ выразился еще рѣзче. „Символисты— это недовольные, это люди, спѣшащіе добиться извѣстности. Это литературные буланжисты. Нужно жить! Нужно захватить мѣсто, добиться популярности, прослыть талантомъ. И вотъ они бьютъ въ барабаны“.

3.

Русское декадентство выступило на сцену въ періодъ глухой политической и соціальной реакціи. Періодъ „розовой юности“ освободительнаго движенія, „хожденіе въ народъ“, смѣнился полосой болѣе энергичнаго и практичнаго бунтарства, которое въ свою очередь уступило мѣсто сверкающему метеору „Народной Воли“. Непродолжительная, но потрясающая схватка старой и молодой Россіи закончилась полной побѣдой правительства. Отчаяніе и вѣрный спутникъ его, скептицизмъ, охватили передовые слои русскаго общества; вмѣстѣ съ тѣмъ подняли головы индивидуалисты и реакціонеры всякихъ толковъ. Реалистическое настроеніе 60—70-хъ годовъ начало уступать мѣсто мистицизму и ханжеству; горячая пропаганда глубокихъ соціально-политическихъ преобразованій умолкла предъ проповѣдью „малыхъ дѣлъ“ и личнаго совершенствованія, какъ основ-

ной задачи момента и даже какъ единственной задачи вообще. Вмѣсто Лаврова, Михайловскаго, Елисеева и Щедрина законодателями умственной моды сдѣлались Достоевскій, Л. Толстой и В. Соловьевъ. Исчезъ великій Патроклъ революціи, а вмѣсто него на тронѣ общественнаго мнѣнія возсѣлъ косноязычный и уродливый Терситъ мелкой обыденщины и мистицизма. Про эту эпоху достаточно сказать, что ея моралистомъ былъ Суворинъ, а ея политикомъ—Катковъ!

Этотъ періодъ общественной и идейной реакціи, тянувшійся отъ начала 80-хъ до середины 90-хъ годовъ, характеризовался воскрешеніемъ такихъ умственныхъ теченій, которыя, казалось, навѣки похоронены были матеріалистической и соціальной критикой двухъ предшествовавшихъ десятилѣтій. Оффиціальному провозглашенію традиціонной тріединой формулы реакціи „православіе, самодержавіе, народность“ шло навстрѣчу возрожденіе реакціонныхъ теченій въ средѣ широкихъ слоевъ самого общества. Мертвые встали изъ гробовъ и тлѣніемъ своимъ заражали воздухъ. Самыя нелѣпыя идеалистическія и мистическія системы выступали открыто, почти не встрѣчая никакого противодѣйствія. Притихшее было славянофильство и дикій націонализмъ подняли голову и нагло усѣлись на мѣстѣ, еще не остывшемъ отъ пламенныхъ призывовъ къ гуманности и общечеловѣческой солидарности; В. Соловьевъ, не вызывая гомерическаго хохота, съ самой серьезной миной проповѣдывалъ мысль о соединеніи церквей и объ установленіи всемірной теократіи, путемъ объединенія свѣтскаго меча русскаго царя съ духовной палицей римскаго первосвященника; графъ Толстой пытался воскресить „истинное христіанство“ и, въ разгаръ ожесточенной ломки послѣднихъ остатковъ „великихъ реформъ“, предлагалъ растерянной интеллигенціи исправленное имъ Евангеліе въ качествѣ безспорнаго руководства для рѣшенія всѣхъ терзающихъ душу „проклятыхъ вопросовъ“. А на смѣну этимъ наивнымъ и благодушнымъ религіознымъ проповѣдникамъ, уже шли скрытые іезуиты, вродѣ Меньшикова и полупомѣшанные изувѣры вродѣ Розанова. Въ философіи противъ матеріализма и реализма открытъ былъ систематическій походъ, и съ разныхъ сторонъ уже доносились извѣстія о новоявленныхъ мощахъ угодниковъ, а магъ Іоаннъ Сергіевъ Кронштадтскій уже творилъ чудеса и основывалъ свою іоаннитскую секту.

Вотъ среди какой затхлой атмосферы зародилось русское декадентство. Оно усердно копировало западные образцы, но подобно нашему правительству, усердно заимствующему у своихъ западныхъ собратьевъ все худшее, русское декадентство, подобно плохому ученику, заимствовало у своихъ наставниковъ наиболѣе отрицательныя ихъ свойства и развязно щеголяло безсмыслицей, ходульностью и аморальностью модернизма. Вдобавокъ, соціальная подоплека русскаго декадентства отличалась

совершенно своеобразными чертами, и формальное сходство творчества русскихъ и европейскихъ модернистовъ еще рѣзче оттѣняло смѣхотворность потугъ россійскаго „модерна“. На Западѣ декадентство отражало эстетическое и моральное разложеніе пресыщенной, издерганной, жаждущей сильныхъ и неизвѣданныхъ ощущеній буржуазіи; оно выражало ея протестъ противъ философскаго реализма, противъ натурализма, безпощадно разоблачавшаго ея распадъ, противъ засилья демократіи и соціализма, угрожавшаго самому ея существованію. У насъ буржуазія далеко еще не успѣла стать рѣшающей общественной силой, когда на арену выскочило растрепанное декадентство; наоборотъ, мѣщанство только начало складываться, только начало формировать свое міровоззрѣніе и свою мораль—и вотъ русское декадентство отражало его стремленіе отдѣлаться отъ „стыда“, который сковывалъ его свободный размахъ, отъ „служенія народу“, на которое его звали революціонные борцы, отъ „идейности“ вообще, которая на разсматриваемой исторической стадіи способна была не содѣйствовать процессу его развитія, а скорѣе задержать его *). Отсюда попытка „возрожденія эстетики“, борьба съ „гражданскими“ мотивами въ литературѣ, съ альтруистической моралью, съ идеями долга и служенія интересамъ рода. Европейская буржуазія въ подготовительный періодъ своего формированія выдвинула въ области философіи и литературы великихъ революціонеровъ, смѣлой рукой низвергавшихъ идоловъ рутины и создавшихъ великіе поэтическіе образы, въ которыхъ демоническія страсти сочетались съ борьбой за свободу и за права человѣка. Но „чѣмъ дальше на востокъ, тѣмъ буржуазія становится все реакціоннѣе“; чѣмъ позже въ какой либо странѣ мѣщанство выступало на историческую арену, тѣмъ оно было дряблѣе, испорченнѣе и трусливѣе. Русская буржуазія позже всѣхъ выступила на сцену, когда на Западѣ буржуазія уже начала изживать себя, когда противъ нея началъ уже свое роковое наступленіе соціалистическій пролетаріатъ, когда она, отрекшись отъ духа своего героическаго періода, начала заключать все болѣе тѣсный, все болѣе интимный союзъ съ историческими силами прошлаго,—однимъ словомъ, когда вѣра въ буржуазный принципъ существованія была уже подорвана. Самосознаніе русской буржуазіи было такимъ образомъ отравлено въ самомъ зародышѣ. Она, можно сказать, вовсе не знала періода безмятежной вѣры въ свое историческое призваніе, увлеченіе геро-

---

*) Помните, читатель, настроеніе описаннаго Г. Успенскимъ мѣщанина-интеллигента въ эпоху реакціи 80-хъ годовъ? „Мужикъ„ надоѣлъ ему; куда бы онъ ни сунулся, вездѣ онъ натыкается на этого мужика: и въ литературѣ, и въ прессѣ, и дома, и на улицѣ. „Мужикъ“ мужикъ! мужикъ! Нѣтъ; довольно! довольно! довольно! Дайте и намъ! дайте и намъ! и намъ!“. Теперь мужика замѣнилъ рабочій, пролетарій. Но сущность мѣщанскаго протеста противъ его „засилья“ не измѣнилась.

ической борьбой за права человѣка и гражданина; она быстрѣе всѣхъ другихъ обнаружила готовность къ компромиссу съ старыми правящими классами. И вотъ почему литература, утверждавшая нарожденіе и бытіе мѣщанства, легко поддалась вліянію дореформеннаго міровоззрѣнія, жадно впитала въ себя пережитки феодальной психологіи. Ужъ если на Западѣ, съ его богатствомъ и блескомъ буржуазныхъ традицій, модернистская литература въ значительной степени была окрашена клерикально-аристократической примѣсью, то русское декадентство въ тѣмъ большей степени носило на себѣ печать дворянской реакціи противъ освободительнаго движенія. Вотъ почему, если приходится съ большой осторожностью относиться къ бурнымъ выпадамъ западнаго модернизма противъ филистерства, вскрывая въ нихъ, наоборотъ, явные слѣды мѣщанской психологіи и морали, то тѣмъ подозрительнѣе должны мы смотрѣть на выходки нашихъ декадентовъ противъ мѣщанства. Поскольку эти вылазки не являются простымъ фиглярствомъ и шумихой, безпочвеннымъ и безсодержательнымъ бунтомъ литературной богемы противъ всякой умственной дисциплины и моральной узды, онѣ являются ничѣмъ инымъ, какъ отрыжкой стараго барства, не изжитаго еще русской жизнью помѣщичьяго періода. И не напрасно въ литературѣ россійскаго модерна упорно звучатъ полныя горькихъ сожалѣній воспоминанія о „родной старинѣ", о патріархальномъ укладѣ и поэтическомъ уютѣ старыхъ „дворянскихъ гнѣздъ".

Итакъ, къ общимъ культурнымъ и соціально-политическимъ условіямъ морально-психологическаго развала, подготовившаго и обусловившаго уродливыя выступленія европейскаго модернизма, въ Россіи присоединились особыя условія, придавшія нашему философскому и художественному декадансу его своеобразныя черты. Отсутствіе глубокихъ идейныхъ традицій и европейской выдержки, а также общая гражданско-культурная отсталость придали ему еще болѣе смѣшной и отталкивающій характеръ собачьей старости, справедливо сдѣлавшій его посмѣшищемъ юмористическихъ журналовъ. Но дѣланность, надуманность и вычурность русскаго декаданса не помѣшали ему сыграть свою разлагающую роль. Въ цивилизованныхъ странахъ западной Европы, гдѣ широкія массы населенія такъ или иначе втянулись въ политическую жизнь, гдѣ онѣ худо-ли, хорошо-ли умѣютъ выражать и защищать свои интересы, проповѣдь соціально-политическаго индифферентизма въ сильнѣйшей степени обезвреживалась и парализовалась интенсивностью общественнаго движенія и размахомъ политической жизни. Совсѣмъ не такъ обстояло дѣло въ Россіи, когда въ ней выступили модернисты, идеалисты и мистики; здѣсь предстояло еще создать свободныя условія гражданской жизни. Попытки оторвать интеллигенцію страны отъ соціальныхъ и политическихъ задачъ могли

сыграть только въ руку реакціи, а модернисты, идеалисты и мистики могли представлять настроеніе только такихъ соціальныхъ слоевъ, которые заинтересованы были въ сохраненіи старыхъ устоевъ. Такими слоями и являлось помѣщичье дворянство и „купеческая“ полуазіатская буржуазія, не вышедшая еще изъ стадіи первоначальнаго накопленія. Первому „гражданская литература“ мѣшала *сохранить* свое пошатнувшееся господство, второй она мѣшало *подготовиться* къ грядущему владычеству.

Реакціонная эпоха снова подняла, казалось, давно уже рѣшенный жизнью и покрывшійся пылью временъ вопросъ о „чистомъ“ искусствѣ. Буржуазно-дворянская интеллигенція снова заговорила о своей „усталости отъ идейнаго искусства“. Мы не станемъ здѣсь разбирать этотъ споръ по существу, доказывать, что „чистаго“ искусства нѣтъ, что впечатлѣнія внѣшняго міра и общества переломляются сквозь призму настроенія даннаго художника, связаннаго тысячею нитей съ родомъ, эпохой и классомъ, то признаніе „гражданскихъ мотивовъ“ въ искусствѣ отнюдь не равносильно требованію тенденціозности или непремѣннаго внесенія въ литературныя произведенія политической злобы дня. Все это давнымъ давно извѣстно, все это тысячу разъ было сказано и пересказано. Извѣстно также, что протестъ противъ „идейнаго искусства“ всегда усиливался въ эпохи реакціи и упадка, причемъ онъ исходилъ обыкновенно изъ рядовъ сытыхъ и довольныхъ. Защита „чистаго“ художества роковымъ образомъ связывалась съ реакціонными поползновеніями и симпатіями, а философскій и художественный „идеализмъ“ въ большинствѣ случаевъ противорѣчилъ идеализму практическому. Къ нападкамъ на политику въ литературѣ прибѣгали по большей части консерваторы, причемъ сами-то они никогда не могли удержаться отъ внесенія „политики“ въ свою литературную дѣятельность, но политики реакціонной: самые ярые адвокаты „идеалистическаго“ и „чистаго“ искусства на практикѣ оказывались величайшими мракобѣсами, націоналистами и человѣконенавистниками. И смѣло можно сказать, что если бы пресловутая троица „православіе, самодержавіе, народность“ нуждалась въ эстетическомъ дополненіи, то къ ней съ полнымъ правомъ слѣдовало бы прибавить: „и чистое искусство“. Въ этомъ смыслѣ модернистическій бунтъ противъ идейнаго искусства непосредственно примыкалъ къ дворянской реакціи противъ „гражданской“ литературы разночинцевъ, къ протесту людей 40-хъ годовъ противъ людей 60-хъ и 70-хъ годовъ.

Въ лучшемъ случаѣ бѣгство отъ дѣйствительности означаетъ желаніе людей безвольныхъ и слабыхъ уйти отъ мерзостей жизни, въ которыхъ они не желаютъ принимать активнаго участія. По мнѣнію такихъ „лишнихъ людей“, задача философіи заключается не въ томъ, чтобы измѣнить міръ, и даже не въ томъ, чтобы понять его, а въ томъ, чтобы удалиться отъ него

въ пустыню „сладкихъ вымысловъ“ и въ „возвышающемъ обманѣ“ найти спасеніе отъ „тьмы низкихъ истинъ“. Такъ обстояло дѣло съ революціонной фракціей романтиковъ, которая не могла примириться съ позоромъ Реставраціи, но которая въ окружающемъ ее обществѣ не могла найти элементовъ, способныхъ къ побѣдоносной борьбѣ съ возстановленнымъ во всей Европѣ, послѣ Наполеоновскихъ войнъ, старымъ режимомъ. Но во второй половинѣ XIX вѣка дѣло измѣняется, и бѣгство отъ міра становится характернымъ для идеологовъ упадающей буржуазіи, у насъ—для людей, зараженныхъ настроеніемъ вымирающаго братства или инстинктивно отражающихъ рабскую психологію „чумазой“ и недорослой буржуазіи. Не потому, что нѣтъ революціонныхъ элементовъ, поэты спѣшатъ запереться въ „башнѣ съ семицвѣтными стеклами“, а потому, что этихъ элементовъ слишкомъ много, потому, что шумъ „улицы“ невыносимъ для тонкаго декадентскаго слуха, а „служенье музъ не терпитъ суеты“. Впрочемъ, одну поправку всетаки слѣдуетъ сдѣлать. Въ пестрой семьѣ модернистовъ, наряду съ людьми, зараженными психологіей барства, имѣются люди, проникнутые безнадежно-унылымъ настроеніемъ слабой соціальной прослойки, затираемой сверху и снизу могучими историческими силами реакціи, съ одной стороны, и революціи, съ другой. Таково въ Европѣ настроеніе писателей, проникнутыхъ психологіей мелкой буржуазіи. Въ Россіи роль, аналогичную съ ролью европейской мелкой буржуазіи, играетъ интеллигенція: та же неспособность собственными силами, безъ могучихъ соціальныхъ низовъ, добиться какихъ либо преобразованій, то же промежуточное положеніе между командующими классами и трудящимися массами, тотъ же рискъ существованія среди многомилліоннаго народа, предъявляющаго ничтожный спросъ на культурныя силы, тотъ же страхъ жизни, тотъ же индивидуализмъ существованія и дѣятельности, та же быстрая смѣна настроеній, тотъ же скачкообразный переходъ отъ революціонной жизнерадостности къ пессимистическому унынію, та же безсознательная готовность приспособлять свои чувства къ вѣяніямъ среди высшихъ классовъ, къ такъ называемому „духу времени“. И вотъ люди, сконцентрировавшіе въ себѣ эти основныя черты „интеллигентской“ духовной физіономіи *), естественно послужили почвой, на которой обильно возрасли ядовитыя сѣмена модернизма. Къ дѣйствію общихъ условій капиталистическаго строя и городской жизни на психику современнаго человѣка въ Россіи присоединяется еще деморализующее дѣйствіе жестокихъ правительственныхъ репрессій, духовной розни между образованными слоями

*) Само собою разумѣется, что все сказанное выше не относится къ революціонной интеллигенціи, соединившей свои интересы съ судьбой трудящагося класса и воспринявшей отъ него здоровую психологію активности.

и темной массой, тягость жизни, лишенныхъ всякихъ культурныхъ удобствъ, но усвоившей всѣ терніи цивилизаціи. Не даромъ пьянство составляетъ профессіональную болѣзнь русскаго писателя. Нигдѣ культурный человѣкъ, если только онъ не связалъ своей судьбы съ движеніемъ революціоннаго пролетаріата, не чувствуетъ себя такимъ затеряннымъ, одинокимъ и слабымъ, какъ въ Россіи, нигдѣ онъ не находитъ столько поводовъ къ искреннему, глубокому пессимизму, нигдѣ психологія унынія и безнадежности не находитъ такой подготовленной почвы. Но такія „идеалистическія“ стремленія, обусловленныя страхомъ жизни, желаніемъ отрѣшиться отъ скверны неприглядной дѣйствительности и въ тихомъ скитѣ индивидуализма справлять культъ холодной красоты, въ русскомъ декадентствѣ играютъ только самую слабую роль.

Въ общемъ же и цѣломъ это направленіе въ Россіи проникнуто было духомъ самоувѣренности и самодовольства. Съ лихорадочной торопливостью Ивановъ Непомнящихъ творцы „новыхъ линій“ поспѣшили отдѣлаться отъ стѣснявшаго ихъ „аристократическія“ причуды суроваго аскетизма радикальнаго Sturm-und Drang-period'a. Но лишенные прочныхъ культурныхъ традицій, напротивъ, еще полные воспоминаній барскихъ конюшенъ и дѣвичьихъ, русскіе декаденты быстро совлекли съ себя всѣ одежды и въ храмѣ литературы, еще недавно столь дѣвственномъ и строгомъ, устроили настоящій шабашъ вѣдьмъ, въ которомъ дѣятельное участіе приняли „дамы-писательницы“. Такова уже участь русской женщины; полная энтузіазма и увлеченія, беззавѣтно отдаваясь порывамъ своего глубокаго чувства, русская женщина-революціонерка неизгладимыми буквами вписала свое имя въ славныя страницы освободительной борьбы. А съ другой стороны, ея сестры à la Гиппіусъ, Лохвицкая и Зиновьева-Аннибалъ своими психопатологическими писаніями позорили, на противоположномъ полюсѣ общественной жизни, святое имя русской женщины. Быть можетъ, ни въ одной странѣ порнографическая струя модернизма не пробивалась съ такой силой, какъ въ Россіи; ни одинъ декадентскій писака не обходился безъ самыхъ разнузданныхъ и пошлыхъ выходокъ, безъ воспѣванія половыхъ извращеній, неестественныхъ формъ любви и всяческой мерзости. Въ концѣ концовъ эта нота половой психопатіи сдѣлалась доминирующей въ хрюкающемъ хорѣ торжествующаго декадентства. И здѣсь, несомнѣнно, сказалось вліяніе стараго барства, воспоминанія крѣпостной эпохи, еще не совсѣмъ отошедшей въ исторію. На первомъ планѣ отличались, конечно, религіозные мистики, вродѣ Розанова.

Но мрачное лихолѣтье реакціи приходило къ концу. Въ воздухѣ запахло надвигающейся грозой обновленія. При первыхъ раскатахъ весенняго освободительнаго грома декадентская „нежить“ и „нечисть“ отпрянула назадъ, скрылась съ лица земли.

Правда, гдѣ-то тамъ, на задворкахъ литературы, по прежнему служились литургіи декадентской красотѣ и свершались „черныя мессы“ модернизма; но широкіе слои публики, которые еще недавно съ разинутыми ртами внимали декадентско-эротическимъ бреднямъ, узнали „другую пламенную страсть“ и глубоко заинтересовались приближающимся политическимъ переворотомъ. Война внѣшняя и еще болѣе грозная и увлекательная война внутренняя создали боевое, жизнерадостное, оптимистическое настроеніе, насквозь проникнутое соціально-политическимъ реализмомъ; въ обществѣ возобладалъ практическій, дѣйственный идеализмъ, а для различныхъ формъ философскаго идеализма, мистицизма и прочей чертовщины въ сознаніи русскаго общества не оставалось мѣста. И даже многіе изъ вчерашнихъ жрецовъ модернизма рѣшили приспособиться къ измѣнившейся соціально-политической конъюнктурѣ, перестроить свои лиры на новый ладъ и гнусавымъ голоскомъ запѣть бездарныя пѣсни въ честь новаго владыки—пролетаріата. Правда, это было смѣхотворное и позорное зрѣлище, когда модернисты при свѣтѣ новой совѣсти начали слагать гимны въ честь „Пса Сторожевого“, сирѣчь рабочаго класса, и своимъ фальшивымъ фальцетомъ некстати подтягивать могучему и свѣтлому хору возрождающейся русской жизни; но во всякомъ случаѣ это явленіе, при всемъ своемъ тошнотворномъ комизмѣ, было весьма характерно, какъ для революціонной эпохи, такъ и для „аристократовъ духа“ и Колумбовъ, недавно еще открывавшихъ „новыя мозговыя линіи“ въ сумасшедшемъ домѣ. Акціи декадентства не котировались на житейской биржѣ и почти совсѣмъ было исчезли изъ обращенія. Но модернизмъ, живучій, какъ и само буржуазное общество, долженъ былъ дождаться своего дня, долженъ былъ взять реваншъ. Правда, для этого ему пришлось дожидаться черныхъ дней реакціи.

Они наступили, эти черные дни. Схлынула революціонная волна. Великій народъ, ослабленный долгой неволей, раскинувшійся на оба полушарія, слишкомъ великій для того, чтобы быстро сконцентрировать свои силы и бросить ихъ на крѣпкіе окопы врага,—принужденъ былъ на время отступить. Испуганный было врагъ ожилъ, и чѣмъ смертельнѣе была блѣдность, покрывшая въ моментъ роковой опасности его одутловатыя щеки, чѣмъ сильнѣе страшился онъ тяжкой расплаты за всѣ свои дѣянія, тѣмъ страшнѣе была его месть, тѣмъ ожесточеннѣе была наступившая реакція. Въ противность французскому лозунгу, добрые граждане вострепетали, а злые ободрились и обнаглѣли. Тамъ, гдѣ вчера еще раздавалась гордая рѣчь свободныхъ людей, и горящіе огнемъ взоры дерзко бросали вызовъ старому міру, снова воцарился наглый произволъ торжествующихъ насильниковъ, мерзость запустѣнія. Чѣмъ ярче были звѣзды дней свободы, тѣмъ темнѣе и мрачнѣе казалась теперь безпросвѣтная

ночь реакціи. Гордые и свободные люди снова скованы были цѣпями, и рабья психологія, казалось, умершая навсегда, воскресла, окруженная сонмомъ сопутствующихъ ей міровоззрѣній. И общество, изъ жилъ котораго выпущена была самая горячая кровь, общество, у котораго отсѣчены были самыя свѣтлыя головы, снова впало въ маразмъ и отчаяніе. И тогда вся нечисть, убѣжавшая было отъ алой зари революціоннаго разсвѣта, прогнанная было звонкимъ крикомъ революціоннаго пѣтуха, закопошилась въ своихъ нечистыхъ норахъ и изъ тьмы кромѣшной выползла на свѣтъ Божій. Сначала робко, а затѣмъ все сильнѣе, все безнаказаннѣе, и наконецъ, нагло усѣлась на неостывшемъ полѣ битвы, откуда еще не были даже убраны всѣ трупы павшихъ борцовъ.

Такъ на трупъ великана убитаго
Кровожадныя птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются...

Въ разбитомъ обществѣ воскресли различныя формы мистическаго идеализма. Возобновился интересъ къ религіознымъ вопросамъ,—вѣрный признакъ моральнаго упадка и политической реакціи. Вчерашніе революціонеры и атеисты начали толпами стекаться на засѣданія „религіозно-философскаго общества“ и тамъ съ попами и юродствующими во Христѣ іезуитами вести нескончаемыя и нелѣпыя пренія о всевозможныхъ „религіозно-нравственныхъ“ вопросахъ. Истерики революціи, всегда систематически платившіе дань преходящей модѣ, вчера увлекавшіеся декадентствомъ и символизмомъ, восторгавшіеся то Метерлинкомъ, то Ибсеномъ, начали создавать новыя религіи и примирять соціалъ-демократію съ вѣрой. Наконецъ-то создалась подходящая обстановка для тріумфальнаго возвращенія декадентства.

Разносчики, торгующіе оптомъ и въ розницу продуктами литературной истеріи, снова появились на базарѣ россійской словесности. Въ первое время, когда казалось, что напоръ освободительной волны еще не исчерпалъ всей своей энергіи, они не прочь были присосѣдиться къ хорошей компаніи. Возникли издательства, пытавшіяся дѣлать хорошіе гешефты на сочетаніи революціи съ модернизмомъ, революціоннаго синдикализма съ порнографіей; но скоро дѣло пошло на чистоту, и революція была позорно изгнана отъ лица чистѣйшаго декадентства, даже въ его отвратительнѣйшей формѣ, въ формѣ чертобѣсія и черной магіи. Это значило, что, по мнѣнію декадентскихъ знахарей, революціи окончательно пришелъ карачунъ. При этомъ гешефтмахерскомъ подведеніи итоговъ учитывался, въ качествѣ важнаго для кармана литературныхъ торгашей обстоятельства, спросъ на книжномъ рынкѣ. „Биржа—вѣрнѣйшій барометръ революціи!“ Тотъ самый рынокъ, который вчера еще требовалъ соціальной и политической литературы и притомъ въ наиболѣе боевой и

усвояемой формѣ брошюры, требовалъ и не могъ насытиться предложеніемъ, теперь предъявляетъ все растущій спросъ на эротическую беллетристику и опять-таки въ ея наиболѣе боевой формѣ порнографическихъ писаній. „Публика требуетъ похабщины",—весело говоритъ, потирая потныя руки, юркій издатель и жадно загребаетъ льющіеся въ его карманы барыши.

На этотъ разъ ни о какихъ „новыхъ путяхъ" въ искусствѣ нѣтъ уже рѣчи. Похабщина — вотъ лозунгъ момента! „Новыя линіи" это линіи женскаго тѣла, безстыдно обнажаемаго модернистскими пророками, быстро приспособившимися къ духу времени. Такого безшабашнаго разгула опьянѣвшей отъ долгой сдержки плоти русская литература еще не видала. Въ исторіи русской литературы были печальные періоды полной пришибленности, господства доносчиковъ и Подхалимовыхъ, административныхъ скорпіоновъ и писательскаго „чего изволите", но такого глубокаго паденія не было никогда. Бывали хуже времена, но не было подлѣй. Наша эпоха навсегда войдетъ позорной страницей въ исторію русской литературы. И потомки будутъ о ней говорить: моралистомъ этой эпохи были разоблачившійся Меньшиковъ, а поэтомъ ея—Кузминъ!

Пришли глухія времена.
Все захлестнула съ дикимъ ревомъ,
Все смыла въ натискѣ суровомъ
Разврата мутная волна...

Таковъ объективный фактъ: послѣ войнъ и революцій рождаемость усиливается; плоть, подавленная и сдерживаемая, вступаетъ въ свои права; природа какъ бы спѣшитъ наверстать упущенное, спинной мозгъ начинаетъ первенствовать надъ головнымъ, а низменныя страсти, результатъ инстинкта общественнаго самосохраненія, беретъ верхъ надъ нравственными побужденіями и героическими стремленіями. Такъ было, такъ будетъ. Такъ было, напримѣръ, во Франціи въ эпоху Директоріи, возникшей послѣ подавленія демократическаго якобинства и открывшей собою эру политической и соціальной реакціи. Съ одной стороны дѣйствовалъ „бѣлый терроръ" французской черной сотни. „Золотая молодежь", вооруженная дубинами, нападала въ Парижѣ на якобинцевъ и избивала ихъ, а администрація, подъ предлогомъ защиты якобинцевъ отъ „народнаго гнѣва", закрыла ихъ клубъ. Въ Ліонѣ, Роаннѣ и другихъ мѣстахъ черносотенцы врывались даже въ тюрьмы и убивали заключенныхъ тамъ „террористовъ"; суды оправдывали убійцъ, а въ театрахъ оправданнымъ погромщикамъ устраивали оваціи и вѣнчали ихъ вѣнками, какъ героевъ. Съ другой стороны, буржуа и дворяне весело праздновали свое освобожденіе отъ добродѣтельной строгости „неподкупныхъ" монтаньяровъ и отъ суроваго аскетизма революціоннаго періода. Возвратившіеся на

родину эмигранты и выскочки-мѣщане, разбогатѣвшіе во время революціонныхъ потрясеній, старались „пользоваться жизнью“, щеголяли самой наглой роскошью, устраивали самыя гнусныя оргіи. „Эти люди,—по свидѣтельству современниковъ—заимствовали у стараго порядка все, что въ немъ было смѣшного и развратнаго, и пошли еще дальше въ томъ же направленіи; кромѣ заимствованной у старыхъ маркизовъ манеры говорить, они снова ввели въ моду балы, маскарады, масляничный карнавалъ и даже прогулки по Лоншану. Женщины, всегда склонныя къ подражанію и преувеличенію, выказывали не меньшее безстыдство: онѣ одѣвались на манеръ спартанскихъ дѣвушекъ и появлялись въ салонахъ едва прикрытыя однимъ газовымъ платьемъ“. Это было время, когда мадамъ Тальенъ разгуливала почти голая по Елисейскимъ полямъ *), окруженная группой аристократическихъ щеголей въ нелѣпыхъ нарядахъ, демонстрируя передъ прохожими правильныя „линіи“ своего тѣла. Аналогичныя явленія повторялись и послѣ подавленія другихъ революцій (въ началѣ Второй Имперіи, послѣ пораженія коммуны и т. д.).

Аналогичная полоса теперь наступила и въ Россіи. По мѣрѣ того, какъ замирали отголоски великихъ дней свободы, хамъ снова сталъ выползать на арену. Не тотъ хамъ, пришествія котораго страшились господинъ Мережковскій и иже съ нимъ. Нѣтъ, демократическій „хамъ“, грозный Калибанъ, какъ кошмаръ тяготѣющій надъ воображеніемъ всяческихъ „аристократовъ духа, не только не угрожаетъ культурѣ и всему, что есть въ ней цѣннаго и прекраснаго, а напротивъ, является вѣрнѣйшимъ ея охранителямъ. Когда этотъ „хамъ“ въ 1871 году на время захватилъ въ свои руки Парижъ, мазурики и публичныя женщины, до того кишѣвшіе въ столицѣ міра, сразу исчезли оттуда, какъ будто бы ихъ вымело метлой; впервые на улицахъ Парижа, не охраняемаго полиціей, можно было проходить, не подвергаясь опасности и риску наткнуться на какую-нибудь мерзкую сцену; вся шваль и накипь большого города убрались въ Версаль вслѣдъ за защитниками „цивилизаціи и порядка“. Нѣтъ, не этотъ хамъ, напротивъ, снова загнанный въ подполье, опоганилъ русскую жизнь въ настоящее время, а хамъ доподлинный, развинченный неврастеникъ, испорченный до мозга костей мѣщанинъ или зубръ, цѣнящій въ культурѣ только „приличные“ дома терпимости и maisons de rendez-vous (которымъ въ Москвѣ, кажется, покровительствовалъ ген. Рейнботъ), а изъ даровъ цивилизаціи, признающій только шампан-

---

*) Обращаемъ на это вниманіе г-на Каменскаго. Что бы ему провести свою Леду нагишомъ по Невскому! Какая бы это была забористая тема, какая литургія красоты! Вотъ развѣ только полиція не позволитъ, и послѣдняя пара авторскихъ штановъ пострадаетъ.

ское, трюфели и усовершенствованные презервативы, хамъ, убивающій свободу и растлѣвающій малолѣтнихъ дѣвочекъ, а еще выше ставящій хорошенькихъ мальчиковъ, хамъ, настроенный мистически и, конечно, „идеалистически", отвергающій „грубый матеріализмъ" и всѣ лжеученія его, хамъ, плодящій гадалокъ, хиромантовъ, кудесниковъ и устраивающій аѳинскіе вечера, хамъ, непрестанно вожделѣющій и „всегда влюбленный въ женщину", въ das ewig weibliche, хамъ, устраивающій подъ музыку тапера котильоны съ проститутками и за деньги заставляющій этихъ несчастныхъ практиковать при себѣ противуестественные пороки. И этотъ хамъ создалъ свою литературу. „Къ чорту гражданскіе мотивы и да здравствуетъ Эросъ, да здравствуетъ стихійность, да здравствуетъ Венера и Діонисъ!"

Въ прежнее время командующее хамство довольствовалось специфической „литературой" à la Барковъ, рукописными поэмами, которые передавались изъ рукъ въ руки, особенно въ военныхъ учебныхъ заведеніяхъ, и въ которыхъ довольно безграмотными виршами воспѣвалось веселое времяпровожденіе будущихъ государственныхъ младенцевъ, ихъ амурныя похожденія съ горничными и главнымъ образомъ педерастія (къ ней герои казармы и конюшни питаютъ, очевидно, особенную слабость). Но съ этой мерзостью не лѣзли въ настоящую литературу; эта сторона „аристократической" реабилитаціи плоти скрывалась подобно секретной болѣзни. И только русскому модернизму принадлежитъ высокая честь внесенія этого элемента въ литературное творчество, въ литературные салоны и журналы. Какъ парадоксально ни звучитъ это утвержденіе, но декаденты доставили права гражданства въ русской литературѣ самой дикой порнографіи, отъ которой покраснѣли бы обезьяны. А нынѣ моральное разложеніе послѣ революціоннаго періода, мода и интенсивный рыночный спросъ сдѣлали то, что къ хору торжествующей свиньи присоединили свой голосъ и писатели, недавно еще считавшіеся представителями „идейной беллетристики" и—что курьезнѣе всего—продолжающіе считаться таковыми и донынѣ. Подобно кругамъ, расходящимся по водѣ отъ брошеннаго въ нее камня, моральная зараза безвременья распространяется съ каждымъ днемъ все шире, захватывая все новые элементы.

Кто только такъ или иначе не отдалъ дань новому идолу порнографіи? Кто такъ или иначе не устоялъ передъ соблазномъ переложить учебники по половой психопатіи на языкъ изящной литературы на потѣху рыгающей и гогочущей толпы? Кто удержался отъ экскурсій въ область истерической эротоманіи и не принималъ никакого участія въ созданіи новаго жанра „идейной эротики"? Если оставить въ сторонѣ такихъ почтенныхъ и старыхъ писателей, какъ Елпатьевскій и Короленко, противъ которыхъ всесильная мода оказалась безсильной, то

среди представителей молодой литературы мы сможемъ назвать не очень много именъ, незапятнанныхъ въ этомъ отношеніи. А сколько найдется такихъ, которые поспѣшили слиться съ записными декадентами въ общій порнографическій блокъ!

Рынокъ же поглощалъ эту литературу въ огромномъ количествѣ. Съ одной стороны, на огорошеннаго обывателя неслась мутная волна разныхъ „психологическихъ“ и психопатическихъ издательствъ, „Тайнъ Жизни“, „Міровыхъ Тайнъ“, „Тайнъ Любви“, проституціи въ древности, проституціи въ средніе вѣка, проституціи въ новое время, проституціи безотносительно ко времени и пространству, половыхъ извращеній, мазохизма, садизма, уранизма и прочихъ „измовъ“ новаго времени, однимъ словомъ—порнографіи чистой, неприкрашенной; при этомъ, конечно, специфическій букетъ этой эротоманской литературы сдабривался надлежащей дозой чертовщины, черной магіи, спиритизма, вызыванія духовъ, рекламъ съ вытаращенными глазами „Силы внутри насъ“, рецептовъ противъ мужскаго безсилья и т. п. Съ другой стороны, пошатнулись переборки, отдѣлявшія специфическую порнографію отъ идейной, культъ пьянаго и дряблаго тѣла сифилитика отъ культа здоровой, красивой, жизнерадостной плоти, отъ культа Діониса, и все смѣшалось въ дикой, безшабашной вакхической пляскѣ. Декаденты продолжали въ сущности гнуть свою старую линію, но теперь къ ихъ сонму сопричастились и недавно еще чистые элементы. Г-жа Зиновьева-Аннибалъ спаривала двухъ дѣвицъ (изъ нихъ одна, игравшая роль мужа имѣла „безусловные глаза“), г-нъ Кузминъ спаривалъ двухъ пріятелей (впослѣдствіи роль жены у него исполняла уже просто шапка), г-нъ Арцыбашевъ замахнулся было сочетать брата съ сестрой, но почему-то не рѣшился пойти до конца, зато г-нъ Сологубъ оказался куда, какъ рѣшительнѣе и въ драмѣ „Любви“ сопрягъ отца съ дочерью. Въ послѣднемъ своемъ романѣ „Навьи Чары“ г-нъ Сологубъ пошелъ еще дальше и, подражая психопату-мистику Гюисмансу, ударился въ чистѣйшее чертобѣсіе *). Герой его романа, бывшій доцентъ Триродовъ, не

*) Кстати. Въ декабрьской книжкѣ „Современнаго Міра“ за 1907 годъ напечатана статейка г. А. Грессера о Гюисмансѣ. Излагая содержаніе романа „Là-bas“, (о которомъ мы говорили въ главѣ I), „этой лучшей изъ книгъ Гюисманса“, г. А. Грессеръ до того увлекся „ужасами“ чернокнижія и чертовщины, что въ серьезъ пишетъ: „И дѣйствительно, начинаешь вѣрить, что у этихъ фанатиковъ-сатанистовъ есть какая-то неизвѣстная сила внушенія или магнетизма, иначе чѣмъ же объяснить сношенія на разстояніи при помощи суккубовъ, т. е. духовъ, въ которыхъ можетъ воплотиться любой изъ посвященныхъ? (Положимъ, г. Грессеръ, суккубъ означаетъ вовсе не то, что вы говорите). Какъ понять эти грозные заочные смертные приговоры, приносящіе медленную мучительную смерть отъ непонятной болѣзни намѣченнымъ жертвамъ? Мрачный покровъ неразгаданной таинственности окутываетъ эти необъяснимыя явленія, съ которыми знакомитъ насъ авторъ „Là-bas“.— Г-нъ Грессеръ „вѣритъ“ во всю эту чепуху, но сомнительно, чтобы прогрессивный журналъ раздѣлялъ эту вѣру.

только имѣетъ довольно двусмысленное отношеніе къ садизму, мазохизму, не только занимается блудомъ съ рыжеволосой учительницей, къ которой онъ совершенно холоденъ, но и практикуетъ форменную магію: въ прошломъ у него имѣется какая-то темная исторія съ закопаннымъ живьемъ мальчикомъ и вообще съ какимъ-то убійствомъ, въ настоящемъ—онъ держитъ у себя на столѣ какія-то таинственныя призмы изъ какого-то страннаго матеріала, обладающія мистической силой; въ его домѣ, построенномъ самымъ таинственнымъ образомъ, съ подземными ходами и прочими ужасами, имѣется какая-то круглая комната съ согнутымъ поломъ и неправильнымъ потолкомъ, а въ этой комнатѣ виситъ особое зеркало, которое обладаетъ чудесной способностью превращать молодое лицо въ старческое и наоборотъ; вмѣстѣ со своимъ малолѣтнимъ сыномъ, такимъ же ненормальнымъ, какъ и онъ самъ, странный папаша отправляется ночью на кладбище бесѣдовать съ душами умершихъ, которые при этомъ услужливо встаютъ изъ могилъ; при себѣ этотъ психопатъ держитъ какихъ-то „тихихъ мальчиковъ", вѣроятно, отсталыхъ дѣтей или идіотовъ (авторъ для пущаго страха обо всемъ говоритъ туманными намеками), которые помогаютъ ему сноситься съ загробнымъ міромъ, и т. д., и т. п. Все это чернымъ по бѣлому напечатано въ третьемъ Альманахѣ „Шиповника", издательства, также представляющаго „знаменіе времени".

Конечно, читатель былъ бы вправѣ посмѣяться надъ страннымъ авторомъ и брезгливо пройти мимо его эротомано-мистическаго бреда. Но дѣло осложняется, если принять во вниманіе, что подъ одной обложкой съ сологубовской чертовщиной помѣщаютъ свои произведенія Андреевъ *), Бунинъ, Зайцевъ, Купринъ, Серафимовичъ, что критика до сихъ поръ по существу не выступила противъ этой уродливости въ литературѣ и не указала на внутреннюю связь между эротическимъ помѣшательствомъ и мистическимъ чертобѣсіемъ, и наконецъ,—самое главное, — что г-нъ Сологубъ позволилъ себѣ связать всѣ эти мистико-эротическія мерзости съ святымъ для насъ именемъ соціалъ-демократіи. Декадентская банда, въ ней же волхвъ Трирodовъ является чѣмъ-то вродѣ философа и коновода, по волѣ автора тѣсно связана съ дѣятельностью мѣстнаго комитета Россійской Соціалъ-Демократической Рабочей Партіи, и гнусности этого господина и присныхъ его, какъ бы покрываются багровыми складками с.-д. знамени.

*) Впрочемъ, это еще отчасти понятно, такъ какъ Андреевъ и самъ сплошь и рядомъ обнаруживалъ непреодолимое „влеченье, родъ недуга" къ таинственно-мистическому и кошмарно-ужасному, да и „Тьма" его, помѣщенная вмѣстѣ съ романомъ г-на Сологуба, представляетъ нѣчто въ высшей степени сумбурное и нелѣпое, какъ по формѣ, такъ и по содержанію.

Вотъ противъ чего мы должны выступить самымъ рѣзкимъ образомъ, вотъ чему мы должны разъ навсегда положить конецъ, дабы господамъ и дамамъ, желающимъ со своей реабилитаціей плоти и гаданіями на кофейной гущѣ присосѣдиться къ великому освободительному движенію трудящихся, впредь не повадно было шалить въ этомъ направленіи. Что этимъ господамъ Гекуба, и что они ей? Всуе упоминаютъ они великія имена и призываютъ неотмщенныя тѣни, лишь для того, чтобы придать побольше пикантности своимъ психопатическимъ повѣствованіямъ. Г-нъ Сологубъ разсказываетъ о с.-д. массовкахъ и о столкновеніи съ казаками, выводитъ рабочихъ и интеллигентовъ, творящихъ новую жизнь, только для того, чтобы придать побольше остроты любовнымъ и чародѣйскимъ дѣламъ Триродова и рыжеволосой „длинной бѣлой змѣи" Алкиной и обставить извѣстнымъ пряным антуражемъ, окружить багрянымъ сіяніемъ восходящей зари освобожденія предстоящее, повидимому, „паденіе" „товарища" Елизаветы. Такъ и вспоминаются слова мужика, сказанныя у Г. Успенскаго, по поводу медоточиваго батюшки, согрѣшившаго подъ самый великій постъ: „абіе, братіе, абіе, а между прочимъ—бабіе!".

Здѣсь повторяется старая исторія, только въ новой, болѣе современной формѣ. Декаденты всегда любили рядиться въ чужія перья и примазываться къ тому направленію, которое въ данный моментъ, казалось, сравнительно популярнымъ и моднымъ. Но при этомъ они всегда оставались по существу реакціонерами. Прежде они горделиво рядились въ мантію идеализма *), выступали съ нелѣпыми претензіями по адресу положительной науки, отъ которой они требовали чуть ли не воскрешенія мертвыхъ, и разыгривали изъ себя „аристократовъ духа". Но какъ мы показали выше, этотъ протестъ былъ по существу просто реакціей людей, въ значительной степени зараженныхъ психологіей вымирающихъ классовъ, противъ буржуазнаго либерализма и демократическаго засилья. Нетрудно догадаться, какъ декаденты съ ихъ необузданнымъ культомъ личности, съ ихъ верховнымъ презрѣніемъ къ „грубому матеріализму" массъ, съ ихъ умственной и моральной извращенностью должны были отнестись къ пролетарской солидарности, къ соціализму и къ неизбѣжной побѣдѣ рабочаго класса, которую они „чуяли смущенной душой" и въ которой они готовы были усмотрѣть гря-

---

*) Подъ этимъ же „идеалистическимъ" знаменемъ въ свое время выступали съ большимъ трескомъ господа „бывшіе марксисты", Бердяевъ, Струве, Булгаковъ и подобные имъ „духовные аристократы", пока непосвященный міръ не убѣдился, что подъ пышной мантіей „духовной аристократіи", горделиво убѣжденной, что она „возвышается надъ всякою общественно-классовою и групповою нравственностью", и что „безъ нея наступило бы царство застоя и стадности" (г-нъ Бердяевъ въ „Проблемахъ идеализма"), скрываются самые вульгарные кадеты и мирнообновленцы.

дущее торжество „хама“, угрожающее тепличнымъ цвѣткамъ изъ модернистской культуры. Отвѣчая на вопросъ редакціи декадентскаго журнала „Эрмитажъ“, организовавшаго въ 1893 году анкету относительно идеальнаго съ точки зрѣнія художниковъ общественнаго строя, французъ Гюгъ Ребель, „собиравшійся,— по словамъ его біографа,—выступить съ оружіемъ въ рукахъ противъ бельгійскихъ и англійскихъ рабочихъ-соціалистовъ, но къ счастью, благодаря своей врожденной нерѣшительности, удовольствовавшійся отдыхомъ отъ столькихъ волненій въ гротѣ Позилиппо, гдѣ онъ, по крайней мѣрѣ, могъ вызывать гигантскія грезы оргіастической наготы и бурныхъ вакханалій“,— такъ вотъ этотъ поэтъ отвѣтилъ: „Соціалистическій строй, къ которому устремляются нынѣ взоры толпы, осуществитъ, подъ лицемѣрнымъ знаменемъ свободы, самую страшную изъ всѣхъ когда-либо существовавшихъ тираній: слѣпую тиранію машины, которая не разсуждаетъ и измалываетъ личность прежде, чѣмъ она успѣетъ крикнуть. Съ другой стороны, неограниченная свобода имѣла бы слѣдствіемъ власть черни, то есть подавленіе разумныхъ большинствомъ, и, во имя общаго блага, крушеніе всякой жизни, посвященной красотѣ. Поэтому *художникъ предпочтетъ деспотизмъ одного человѣка или аристократіи.* Произволъ такого рода абсолютныхъ правительствъ можетъ стать справедливостью, если освободить исключительныхъ людей отъ законовъ, писанныхъ для стада“.

Мы не станемъ приводить другихъ цитатъ *) въ подтвержденіе нашей мысли: и вышеприведенная цитата достаточно характерна. Соціальная реакціонность модернизма ясна изъ всего предшествующаго изложенія. Выразители настроенія разложенія и смерти, идеологи вымирающихъ и отжившихъ общественныхъ слоевъ, представители извращенной и упадочной психологіи, декаденты органически не въ состояніи были понять всей красоты, всей эстетичности массовыхъ движеній, демократической эволюціи, психологіи самопожертвованія личности въ интересахъ рода или класса, теоріи и практики пролетарской организаціи и солидарности. Если они иногда и примыкали на словахъ къ идеологіи протеста, то выражали свои симпатіи анархіи, этой въ сущности идеальной для „артистовъ“ формы общежитія. „Нѣкогда,—сообщалъ во время анкеты „Эрмитажа“ небезызвѣстный Оскаръ Уайльдъ,—нѣкогда я былъ поэтомъ и тираномъ. Теперь

---

*) Впрочемъ, не можемъ удержаться еще отъ одной выдержки. „Я утверждаю,—пишетъ пылкій и лѣнивый испанецъ Костинейра изъ Кордовы,— что организація, созданная подъ вліяніемъ идей Маркса и его послѣдователей, организація въ нѣмецкомъ духѣ можетъ служить для всякаго истиннаго поэта только предметомъ отвращенія и ненависти. При настоящемъ порядкѣ всѣ мы немножко каторжники, но, по крайней мѣрѣ, каторжники, имѣющіе право на лѣность“. Декадентское примѣненіе идей, высказанныхъ въ сатирической брошюрѣ Лафарга!

я артистъ и анархистъ". Къ анархизму же склонялись многіе французскіе писатели, цѣликомъ или отчасти примыкавшіе къ модернизму; изъ болѣе извѣстныхъ русскимъ читателямъ назовемъ Октава Мирбо и Лорана Тайяда (впрочемъ, какъ мы видѣли, послѣдній скоро отрекся отъ декадентства и заявилъ, что своими благоглупостями онъ просто морочилъ или „мистифицировалъ" слабоумныхъ юнцовъ-декадентовъ). Аналогичная комедія повторилась и въ Россіи, гдѣ декаденты во многихъ случаяхъ *) поспѣшили провозгласить себя анархистами, правда въ своеобразной и безопасной формѣ „мистическаго анархизма" (см. сборники „Факелы"). Но сильно ошибся бы тотъ, кто принялъ бы въ серьезъ легкомысленныя бравады литературныхъ „цимбалистовъ". Анархизмъ этихъ господъ ничего общаго не имѣетъ съ подлиннымъ анархизмомъ озлобленныхъ ремесленниковъ или рабочихъ, часто прорывающимся въ кровавыхъ протестахъ и эксцессахъ,—ничего общаго, кромѣ ненависти къ организованному соціалистическому движенію, дѣйствительно подготовляющему наступленіе новаго общественнаго строя. Этотъ салонный анархизмъ неврастеническихъ болтуновъ представляетъ просто особый видъ гастрономіи, барскаго баловства недисциплинированныхъ и безпринципныхъ умовъ. Онъ чрезвычайно удобенъ для тѣхъ людей, которые пытаются громкими, но безсодержательными фразами оправдать свой политическій индифферентизмъ или свое отвращеніе къ освободительной борьбѣ рабочаго класса, которые органически не выносятъ никакой дисциплины, никакой планомѣрности, никакой сдержки, никакой регламентаціи, а на первый планъ ставятъ свободу отъ общественныхъ обязанностей, отъ соціальной солидарности. Не активностью, не широтой натуры, не полнотой индивидуальности вѣетъ отъ такого игрушечнаго анархизма, а тлѣномъ, смертью, разложеніемъ и мерзостью запустѣнія.

Какъ бы тамъ ни было, пусть господа мистики и декаденты открыто примыкаютъ къ реакціонерамъ, къ идеологамъ отжившаго режима, къ ярымъ противникамъ соціалистическаго пролетаріата—тамъ имъ честь и мѣсто; пусть они, наконецъ, играютъ въ анархическія бирюльки и пугаютъ глупыхъ филистеровъ, имѣющихъ наивность повѣрить ихъ „жалкимъ словамъ",— и въ этой роли салонныхъ enfant terrible'ей они болѣе или менѣе на своемъ мѣстѣ. Но пусть они оставятъ въ покоѣ соціал-демократію, пусть не примазываются со своей эстетикой распада и философіей разложенія, со своими виршами и нелѣпой чертовщиной къ святому дѣлу всечеловѣческаго освобожденія, которое и по своимъ цѣлямъ, и по своей философіи, и по своему

---

*) Кого-кого здѣсь только нѣтъ! Бердяевъ, Городецкій, Вяч. Ивановъ, Мережковскій. Чулковъ, Шестовъ, Блокъ. Тутъ все есть, коли нѣтъ обмана!

настроенію ничего общаго не имѣетъ съ этими бродячими призраками историческаго прошлаго. И пусть, наконецъ, прозвучитъ громкій крикъ гальскаго пѣтуха, который разгонитъ эти привидѣнія, заражающія воздухъ противнымъ запахомъ больницы и могильнаго тлѣна!

Ю. Каменевъ.

О Ласковомъ Старикѣ и о Валеріи Брюсовѣ.

1. ВЪ ОБЪЯТІЯХЪ ЛАСКОВАГО СТАРИКА.

„Но дряхлый, ветхій міръ, на всѣ мои химеры
Улыбкой отвѣчалъ, какъ ласковый старикъ".

В. Брюсовъ.

То явленіе въ средѣ русской идейной культуры, которое, по установившейся, нелѣпой, неточной, смазывающей оттѣнки формулировкѣ извѣстно подъ именемъ декадентства, символизма, новаго искусства и пр., успѣло уже создать цѣлый штатъ своихъ критиковъ, своихъ теоретиковъ, своихъ истолкователей. Мы позволимъ себѣ въ этой статьѣ пренебречь „декадентами"-теоретиками, „декадентами"-истолкователями, „декадентами"-критиками. Мы обратимся къ поэту. Мы потребуемъ отъ него, чтобы, въ рядѣ своихъ строкъ, онъ самъ раскрылъ намъ тайны своей личности на рубежѣ XX в. въ Россіи. Не теорія, а практика интересуетъ насъ прежде всего, практика того соціальнаго явленія, которое для широкихъ круговъ русской публики обобщается въ словѣ „модернистъ". Изъ цѣлой группы поэтовъ мы беремъ одного. Фигура Брюсова, какъ поэта и только какъ поэта, послужитъ намъ объектомъ изученія. На вопросъ же почему мы выбираемъ Брюсова, мы, впредь до выясненія результатовъ изученія, отвѣтимъ, что въ исторіи литературы послѣднихъ лѣтъ нѣтъ факта болѣе непреложнаго, какъ завоеваніе Брюсовымъ права на выдѣленіе изъ длинной плеяды современныхъ поэтовъ.

Лишь нѣсколько дней тому назадъ Брюсовъ выпустилъ первый томъ собранія своихъ стиховъ—„Пути и перепутья" *).

---

*) Въ него поэтъ включилъ свои стихи съ 92 по 901 годъ. Сюда вошли его книги «Chefs d'Oeuvre» 95 года, «Me eum esse» 97 года и «Tertia Vigilia» 900 года; вошли сюда и стихи, помѣщенные въ сборникахъ „Русскіе Символисты" 94 и 95 годовъ, и „Книга Раздумій" 99-го. Восьмилѣтняя поэтическая работа, собранная въ этомъ томѣ, предшествуетъ книгѣ, которая сдѣлала Брюсова своимъ для читателя, черезъ которую онъ прошелъ въ первые ряды современной русской поэзіи—«Urbi et Orbi»; въ ней собраны стихи 900—03 г.

Брюсовъ долженъ былъ крѣпко вѣрить въ завоеванія сдѣланныя „Urbi et Orbi“, чтобы рѣшиться собрать въ одинъ томъ свои *незрѣлые* стихи первыхъ восьми лѣтъ. Врядъ ли эта книга стиховъ, взятая не какъ біографія, не какъ исторія, не какъ подготовка, а какъ книга стиховъ tout court, способна завоевать и отстоять свое мѣсто въ мірѣ современнаго творчества, даже среди той аудиторіи, которую уже покорилъ Брюсовъ. Но для насъ этотъ томъ, быть можетъ, интереснѣе другихъ. Поэтическая исторія такого вождя школы, каковымъ былъ и остался Брюсовъ,—есть исторія поэзіи, какъ соціальнаго явленія данной эпохи. Поэтъ, въ исторіи своихъ переживаній и въ своемъ chef d'oeuvr'ѣ—въ своихъ попыткахъ и въ своемъ созданіи—самое и единственно непосредственное откровеніе намъ о своей эпохѣ. Сумѣйте подъ покровомъ той или иной метрики, за тѣмъ или другимъ содержаніемъ раскрыть самый типъ его переживаній, нащупать его интуицію, пробейтесь сквозь строй дерзкихъ призывовъ, звучныхъ стиховъ, кричащихъ темъ къ тайнѣ его воспріятій—и вы окажетесь у самыхъ истоковъ психики цѣлой эпохи, цѣлыхъ соціальныхъ пластовъ. Поэтъ связанъ съ міромъ и съ кусками его глубже, интимнѣе чѣмъ какое бы то ни было теоретизированье и по его переживаніямъ—не по темамъ, не по „идеямъ“—вы глубже проникните въ психологію, въ сущность данной соціальной группы, чѣмъ по какому-либо другому идеологическому пути.

Скажемъ откровенно: изъ 200 стихотвореній, собранныхъ въ „Путяхъ и Перепутьяхъ“, не больше десятка, а быть можетъ и меньше, обладаютъ тѣмъ значеніемъ, которое даютъ стиху дѣйствительную жизнь. Стихи „Путей и Перепутій“ умерли давно какъ поэзія, но за ними осталась жизнь важнаго и интереснаго соціальнаго документа, который будетъ изучаться несмотря на то, что мертвъ ихъ *эстетическій* языкъ. Длинная лѣтопись человѣческихъ переживаній, пытавшаяся объективировать каждый мигъ и завоевывавшая для каждаго мига его мѣсто въ мірѣ эстетической обоснованностью его, встаетъ передъ ними изъ-за блѣдныхъ и слабыхъ стиховъ, раскрывается въ каждой неудавшейся попыткѣ достичь эстетическаго совершенства. И каждый мигъ тутъ искрененъ и глубокъ—въ этомъ его историческое право,—и въ каждый мигъ поэтъ не довѣряетъ своему переживанію, сомнѣвается въ немъ и колеблетъ тѣмъ его законность въ мірѣ—въ этомъ отрицаніе его эстетическихъ правъ. Цѣнностей нѣтъ въ первыхъ книгахъ Брюсова, ибо нѣтъ въ нихъ еще кузнеца-творца, и миганіе подымаемыхъ и опускаемыхъ крыльевъ еще безсильнаго творчества лишь свидѣтельствуетъ, что полетъ еще не утвержденъ въ своемъ движеніи и равновѣсіи.

Теперь, когда современный потребитель книжнаго рынка и новоявленный журналистъ-посредникъ, знающій Брюсова по „Urbi

et Orbi“ и „Вѣнку“, любитъ ввернуть презрительное слово о русской критикѣ, непонимавшей и бранившей первые шаги современнаго „титана“, быть можетъ полезно напоминаніе, такъ кстати сдѣланное Брюсовымъ его „Путями и Перепутьями“. Современный читатель отнюдь не долженъ забыть все, что дала школа Брюсова, чтобъ понять, что даже съ точки зрѣнія „чистаго“ искусства (позволяю себѣ употребить этотъ нелѣпый терминъ лишь для напоминанія о колоритѣ эпохи первыхъ шаговъ новой школы)—первыя книги Брюсова отнюдь не могли дать повода привѣтствовать въ немъ поэта-мастера. Мало того, мы утверждаемъ, что ни „ Chefs d'Oeuvre“, ни „Me eum esse“ и только въ очень, очень малой степени „Tertia Vigilia“, къ тому же вышедшая уже въ 900 г., не давали возможности даже наиболѣе воспріимчивымъ и проницательнымъ читателямъ увидѣть въ нихъ того Брюсова, котораго мы знаемъ по „Вѣсамъ“ и „Новому Пути“ *). Надо быть справедливымъ къ покойникамъ, къ антагонистамъ новой поэзіи въ 90-ыхъ годахъ. Они многаго не понимали, многаго не чувствовали, нхъ тяготѣнія диктовались умирающими традиціями, они вносили въ свои эстетическія сужденія элементы совершенно посторонніе (и, не забудьте, не они были въ этомъ виновны!), но ихъ судъ—судъ прошлой эпохи и ушедшихъ уже людей,—долженъ быть подтвержденъ теперь судомъ новаго поколѣнія, немыслимаго безъ Брюсова. Ученики и внимательные слушатели Брюсова *уже* осудятъ поэзію 90 годовъ и въ своемъ осужденіи сойдутся съ тѣми, кто осудилъ ее, *еще* не видя причинъ слушать его, какъ поэта. И въ этомъ, конечно, оправданіе не только Михайловскаго, но и Брюсова. Онъ долженъ былъ итти къ своему дню тѣми „путями и перепутьями“, которыми шелъ, но эти пути оправданы лишь теперь; они оправданы—цѣлью. Ихъ безотносительная *цѣнность* равна нулю—равно передъ судомъ Н. Михайловскаго и А. Волынскаго, двумя полюсами литературной критики 90 годовъ. Брюсовъ сталъ поэтомъ лишь отвергнувши свои пути, какъ и свои перепутья. Лишь преодолѣвъ „поэта“ Ghefs'dOeuvr'овъ и „Me eum esse“ сталъ Брюсовъ творцомъ. Поэтому тотъ „поэтъ“ и его „поэзія“ не характерны для поэта „Urbi et Orbi“ и „Вѣнка“. Они характерны и важны для поэзіи 90 годовъ, для эпохи разрыва со старой Русью, который тогда именно шелъ особенно энергично и распространялся на всѣ области жизни. Они прежде всего не индивидуальны. Этими путями шелъ старый міръ къ новому и на всѣхъ перепутьяхъ этой эпохи лежитъ еще тѣнь стараго, истлѣвающаго, безсильнаго и робкаго. И не только нѣтъ на нихъ бликовъ новаго солнца, съ этихъ путей не видны и зори будущаго.

---

*) Увидѣлъ это, между прочимъ, однимъ изъ первыхъ М. Горькій (въ „Нижегородскомъ Листкѣ“).

Все въ этихъ стихахъ, созданныхъ на „путяхъ и перепутьяхъ“ создано старымъ міромъ. Онъ, этотъ старый міръ—

...нежалящіе когти
Вонзающій въ мечты, въ желанья, въ рѣчь, во все!—

предопредѣлилъ дорогу и вручилъ посохъ своимъ выходцамъ. Онъ—

Проникшій все насквозь, держащій все въ себѣ!—

положилъ границы, далъ направленіе,—и толчекъ изъ него исходившій былъ лишь петлей, державшей новыхъ странниковъ у пуповины его.

Была борьба и анафематствованіе стараго, безудержный крикъ и „все дозволено“ во имя противорѣчія съ ними, были молитвы, тому, что въ старомъ мірѣ было отброшено и что было его же созданіемъ—въ этомъ протекла жизнь, создавалась поэзія борьбы, ковались новыя цѣнности и все выше подымали температуру костра, въ которомъ хотѣли сжечь старыхъ боговъ,—бѣдные странники!—старый міръ, старый и хитрый, „спокойно властвуя“, спокойно смотрѣлъ на своихъ блудныхъ дѣтей. Онъ отравилъ ихъ раньше, чѣмъ зажжены были ихъ костры.

О, позабытый міръ! И я дышалъ тѣмъ ядомъ,
И я причастенъ былъ твоей судьбѣ!...
...И самъ я въ этомъ мірѣ
Когда то былъ какъ свой, сливался съ нимъ въ одно.

Это клеймо. И „когда то“—фантасмагорія. Не „когда то“, а сейчасъ, всегда и въ каждый мигъ. И не „когда то“, а каждый мигъ: —

Дряхлый ветхій міръ на всѣ мои химеры
Улыбкой отвѣчалъ, какъ ласковый старикъ.
И тихо надо мной—ребенкомъ—никъ
Громадный, неподвижный, сѣрый.
И что-то было въ немъ роднымъ и близкимъ мнѣ.

Ласковая отрава стараго міра почила на химерахъ буйныхъ его сыновъ, и не только они находили въ немъ что-то родное и близкое, но и онъ „улыбкой отвѣчалъ“.

Этотъ образъ улыбающагося ветхаго міра не разъ призракомъ встаетъ въ стихахъ Брюсова, аккомпанируя даже лучшимъ его созданіемъ, въ первый же періодъ его творчества, являясь его дѣйствительнымъ и властнымъ хозяиномъ.

Не удивляйтесь грубому слову. У поэзіи Брюсова былъ „хозяинъ“ и хозяиномъ этимъ былъ—амбаръ. Тотъ амбаръ, который такъ рельефно данъ намъ самимъ Брюсовымъ въ „Urbi et Orbi“ подъ именемъ „Міръ“ и о сродствѣ съ которымъ такъ прямодушно повѣдалъ онъ въ вышеприведенныхъ стихахъ.

Помните —

Амбары темные, огромные кули,
Подвалы подъ поломъ, въ грудяхъ земли,
Со сходами припрятанными въ трапахъ,
Картины въ рамочкахъ на выцвѣтшей стѣнѣ,
Старинныя скамьи и прочныя конторки,
Сквозь пыльное окно какой-то свѣтъ незоркій,
Лежащій безъ тѣней въ лѣнивой тишинѣ
И запахъ надо всѣмъ . . . . . .
. . . . . .
Я помню: за окномъ, за дверью съ крѣпкимъ блокомъ
Былъ плоскій и глухой, всегда нечистый дворъ.
Стѣной и вывѣской кончался кругозоръ
(Порой закатъ блестѣлъ на куполѣ далекомъ).
И этотъ старый дворъ всегда былъ пустъ и тихъ,
Какъ заводь сорная, вся въ камышахъ и тинѣ...
. . . . . .
И снова душный сонъ всѣхъ звуковъ, красокъ, линій.

Я не буду цитировать дальше. Это классическая картина угла жизни—единственный въ русской литературѣ. Она дѣйствительное ощущеніе того міра, за внѣшними событіями котораго мы слѣдили по хроникамъ Боборыкина.

Сквозь „пыльное окно“ этого угла жизни взглянулъ Брюсовъ на міръ, и „незоркій свѣтъ“ былъ его огненнымъ столбомъ въ раскрывшейся пустынѣ.

Амбаръ—центръ той „вселенной“, на полюсахъ которой стоятъ два его непосредственныхъ порожденія—монастырь и публичный домъ. Это пограничные столбы амбарнаго міра. Монастырскій идеализмъ и монастырская безгрѣшная духовность опылены тѣмъ же амбарнымъ „незоркимъ свѣтомъ“, какъ и реализмъ и „грѣхъ“ публичныхъ домовъ. Это—задворки амбара и единственное его оправданіе.

И не было еще блуднаго сына амбара, которому властитель его міра не подсказалъ бы путь на эти задворки. Когда Ласковый Старикъ чуетъ въ своихъ нѣдрахъ молодую жизнь, ищущую выхода изъ реальнаго амбара, онъ привязываетъ ее къ себѣ указаніемъ на своего Аполлона и на своего Діониса.

И, качаясь между двумя полюсами амбарнаго міра, жизнь каждый мигъ утверждаетъ его въ его реальномъ бытіи.

Тикъ-такъ! Тикъ-такъ! *).

---

*) Чтобъ не возвращаться больше къ этому, считаю нужнымъ оговорить, что всѣ цитаты слѣдуютъ другъ за другомъ въ порядкѣ книгъ Брюсова и большею частью въ порядкѣ расположенія его стихотвореній въ книгѣ, о которой въ данный моментъ идетъ рѣчь. Постепенное наростаніе элементовъ творчества Брюсова возсоздано, такимъ образомъ, въ строгомъ соотвѣтствіи съ тѣмъ, какъ создались отдѣльныя стихотворенія, циклы ихъ и цѣлыя книги. Брюсовъ прекрасно понималъ характеръ своего творчества, когда въ предисловіи къ „Urbi et Orbi“ писалъ: „книга стиховъ должна быть не случайнымъ *сборникомъ* разнородныхъ стихотвореній, а именно *книгой* (курсивъ какъ и раньше В. Брюсова), замкнутымъ цѣлымъ, *объединен-*

Моя любовь—палящій полдень Явы,
Какъ сонъ разлитъ смертельный ароматъ...

—

Мелькнувъ, обманетъ
Любви обѣтъ!
И пусть въ истомѣ
Трепещешь ты,—
Все блѣдно, кромѣ
Одной мечты!

—

Сладострастныя тѣни на темной постели окружили, легли, притаились, манятъ.
Наклоняются груди, сгибаются спины, вѣетъ жгучій, тягучій глухой ароматъ...
И, безъ силы подняться, безъ воли прижаться и вдавить свои пальцы въ округлости плечъ,
Точно трупъ наблюдаю безстыдныя тѣни въ раздражающемъ блескѣ курящихся свѣчъ;
Наблюдаю въ мерцаньи колѣнъ изваянья, бѣломраморность бедеръ, оттѣнки волосъ...
А дымящее пламя взвивается въ вихрѣ и сливаетъ тѣла въ разноцвѣтный хаосъ.

—

Но въ чистыя дали изъ робкихъ мечтаній
Не смѣло проникнуть желанье свиданій:
Въ открытыхъ просторахъ ихъ дѣвственныхъ грезъ
Клонились цвѣты подъ пантіемъ росъ,
Шептала волна въ прибрежьи лагуны,
Чуть слышно звенѣли незримыя струны.

Тикъ-такъ! Тикъ такъ! Аполлонъ и Діонисъ ритмично смѣняютъ другъ друга въ мечтахъ и попыткахъ блуднаго сына ветхаго міра. Въ лучшемъ, хотя и явно подражательномъ стихотвореніи юношескаго періода, въ чистыхъ и свѣтлыхъ стихахъ „Идеала“ Брюсовъ далъ амбаръ, потерявшій плоть, идеализированный амбаръ, гдѣ нѣтъ ни момента страсти и борьбы. Кроткость и задумчивость, лилія и алый цвѣтокъ, мотылекъ и „смущенное облачко мая“, сіяніе „свѣтлой святыни“ „блаженныхъ тѣней“ и „небесная отчизна“—безгрѣшная безплотность любви, зародившейся въ мірѣ и ушедшей отъ его грязи на небо, чтобъ тамъ повторить духовный міръ амбара, лишь заставляютъ чуять подъ собой почву безудержно разгулявшагося сладострастія.

И то и другое равно—цѣнны для Брюсова. И то и другое для него двери изъ амбара въ міръ, и въ томъ и другомъ рвется онъ найти спасеніе отъ „незоркаго свѣта“. Тутъ начало и источникъ его борьбы, предшественницы его поэзіи. Поэзіи нѣтъ, ибо покуда еще тутъ только безобразность раздумій. Методично и осторожно взвѣшиваетъ жаждущій исхода тотъ и

нами единой мыслью (курсивъ нашъ). Какъ романъ, какъ трактатъ, книга стиховъ раскрываетъ свое содержаніе послѣдовательно отъ первой страницы до послѣдней... Отдѣлы въ книгѣ стиховъ—не болѣе какъ главы, поясняющія одна другую, которыхъ нельзя переставлять произвольно“.

другой путь, не вѣря ни въ одинъ, не въ силахъ закрѣпить ни одного изъ нихъ въ скульптурѣ своего стиха. Слабый, нечеканный стихъ ярче другого свидѣтельствуетъ объ отсутствіи самоутвержденія. Нѣтъ еще сотвореннаго „я",—есть маятникъ, чужой рукой заведенныхъ часовъ ветхаго міра. И есть жажда взлетовъ и паденій, жажда необыденности. А хитрый Ласковый Старикъ создалъ давно два уюта для утоленія жажды необычайнаго и необыденнаго—„небесную отчизну" и Вавилонъ (Вавилонъ въ предѣлахъ амбара). Есть два пути изъ стараго міра. Одинъ изъ нихъ уйти изъ него за чужимъ знаменемъ, другой—и онъ сужденъ былъ поэту и онъ создалъ поэта, какъ мы его знаемъ—пройти черезъ его крайніе предѣлы—сквозь мистику амбарнаго сладострастія и амбарныхъ небесъ. Долго поэзія Брюсова влачилась по гранямъ стараго міра, пытаясь тамъ найти утоленіе своей жажды. Она взяла его любовь и довела ее до грани сладострастія и не нашла въ ней живой воды; она взяла его смерть и довела ее до грани Любви и въ ней не нашла утоленія; она заставила главы его *церквей* склониться предъ „тремя подругами", „грязными, пьяными" *проститутками* и тутъ не нашла себя.

Надо-мной наклонялись зажженныя очи,
Дорогія черты, искаженныя въ страстной гримасѣ.
О, туманныя ночи! туманныя ночи!
Вотъ и тайна земныхъ наслажденій...
Но такой ли ее я ждала наканунѣ!
. . . . . Вы солгали мнѣ тѣни,
Вы солгали, туманныя ночи въ іюнѣ!

Солгала любовь!

Я помню боль, я помню ужасъ страсти,
И страшный видъ окровавленныхъ губъ,
И смутный звонъ разорванныхъ запястій!
Но тамъ, въ горахъ съ уступа на уступъ
Идетъ заря, и нѣтъ у ночи власти.
Кругомъ свѣтло, въ моихъ объятіяхъ трупъ...

И нѣтъ у ночи власти! И трупъ въ его объятьяхъ!

Пусть на моментъ „хохочетъ Летучая Мышь"—„Царица позорныхъ забавъ". Но нѣтъ ужъ вѣры, что—

Всѣ шумы исчезнутъ въ объятьи,
Въ твоемъ поцѣлуѣ, о страсть!—

Тогда Ласковый Старикъ подноситъ лампадку:

Желаній мигъ не для меня
И утомляться не могу я:
Даю подобіе огня,
Изображенье поцѣлуя.

И если Богъ пошлетъ мнѣ сонъ
О недоступномъ и о счастьи,—

Мнѣ про любовь не скажетъ онъ,
Мнѣ не приснится сладострастье.

Но буду вновь ребенкомъ я
Подъ бѣлымъ пологомъ кроватки,
И сядетъ рядомъ мать моя,
Озарена огнемъ лампадки.

Лампадка и Мышь,—двѣ гири амбарныхъ часовъ—ихъ равномѣрная борьба—жизнь маятника.

Все небо мнѣ шепчетъ: „не надо“,
А Мышь повторяетъ: „забудь!“

Вотъ кругъ обойденъ. Ласковый Старикъ далъ испытать новой жизни грани стараго міра и, умиротворенную, уже ведетъ „домой“—назадъ, туда гдѣ—

. . . . . свѣтъ незоркій
Лежащій безъ тѣней въ лѣнивой тишинѣ...—

Еще разъ образъ Мыши...

Что жъ! уносите скорѣй
Тиной опутанный трупъ!

И вотъ послѣдняя молитва испытателя граней, побѣжденнаго Лукавымъ Старикомъ, ветхимъ міромъ:

О, простри надъ могильнымъ покоемъ
Покрывало послѣднее, Боже!

Эванъ! Эвое! Амбаръ вернулъ себѣ своего сына. Онъ уходилъ, положимъ, недалеко—къ Лампадкѣ и Мыши—за уголъ, но вотъ вернулся онъ не мятущимся юношей, а полноправнымъ гражданиномъ своего міра.

Громадный, неподвижный, сѣрый—

онъ, теперь, надвинулся вплотную. Тутъ бездна.

Друзья Мы спустились до края!
Стоимъ надъ разверзнутой бездной—
Мы путники ночи беззвѣздной,
Искатели смутнаго рая.

Мы вѣрили нашей дорогѣ,
Мечтались намъ отблески рая...
И вотъ—неподвижны—у края
Стоимъ мы въ стыдѣ и тревогѣ.

Искатель смутнаго рая, онъ испыталъ обоихъ боговъ амбарнаго міра, его Апполона и его Діониса, и оказался надъ бездной улыбки Ласковаго Старика.

Послышится ль голосъ спасенья?

Спасеньемъ былъ бы протестъ противъ всего этого міра съ его богами и съ его реальностями. И первымъ шагомъ на этомъ пути было—ощупать себя, отграничить себя, какъ личность, отъ міра, перестать быть маятникомъ, стать „я“.

Брюсовъ пишетъ книгу, „Me eum esse“, что значитъ: „Это—я!“ На изломахъ познаютъ горные кряжи. И тутъ изломъ новаго пришельца въ вольный міръ.

Брюсову суждено было создать свой міръ и властно заставить его звучать въ скульптурѣ своихъ твореній. Грезы объ этомъ новомъ мірѣ и „незоркій свѣтъ“ амбарной „лампадки“, столкнувшись въ душѣ поэта, создали тотъ путь, которымъ спасался онъ отъ „бездны“. Утвержденіе себя въ отдѣльности отъ Ласковаго Старика и рабовъ его—неизбѣженъ для выходца. Но методъ утвержденія, но форма отдѣленія—она отъ стараго міра: пыль его лежитъ на новомъ „я“. Холодное безстрастіе и сонное познаніе—двѣ клюки, на которыя оперся немощный сынъ стараго міра, чтобъ найти путь къ новому.

И старыя знамена отчизны вѣютъ еще надъ книгой „Это—я!“ „Я“ умѣетъ отграничить себя лишь въ пассивности. Оно не создаетъ, а лишь уходитъ. Поэтому нѣтъ въ немъ еще стиха, нѣтъ своей формы, нѣтъ творчества. Личность утверждается въ своей блѣдности, въ своей немощности, въ своей бездѣйственности и гибнетъ съ ней ея пѣсня; ея мотивъ—таетъ, какъ таетъ личность.

Помните вопросъ „надъ бездной“—

Невѣрное только движеніе,
Хоть шагъ по завѣтной дорогѣ—
И нѣтъ ни стыда, ни тревоги,
И вѣчно и вѣчно паденія—

въ объятья Старика—

Послышится ль голосъ спасенья?—

Оно—въ „восторгахъ безстрастья“.

Какъ зарево бѣлаго снѣга,
Моя душа холодна,
Какая странная нѣга
Въ мірѣ холоднаго сна!
Проходятъ блѣдныя тѣни,
Подобны чарамъ Волхва...
. . . . . .

А я всегда неизмѣнно,
Молюсь неземной красотѣ.
Я чуждъ тревогамъ вселенной,
Отдавшись холодной мечтѣ.

Поэту нечего дѣлать на этомъ пути. Но мыслитель, но „я“, загнанное на этотъ путь самоутвержденія „незоркимъ свѣтомъ“ дастъ намъ теорію этого пути.

Есть великое счастье—познавъ утаить;
Одному любоваться на грезы свои.

Инстинктъ художественнаго ощущенія красокъ и линій скоро, скоро запротестуетъ противъ этого „великаго счастья". Умирающій художникъ подниметъ бунтъ во имя жизни и путей ея, но пока сонъ и безстрастье—двѣ жадныя къ человѣческой крови богини—стоятъ на пьедесталѣ и имъ молится искалѣченный „лампадкой" человѣкъ. Онъ пишетъ апофеозъ сонному познанью въ рядѣ двустрочныхъ видѣній, гдѣ неяркій, обезкровленный стихъ—убогая одежда туманныхъ „видѣній" и безкрасочныхъ „скитаній".

Тамъ гдѣ движенья и страсти нѣтъ,
Тамъ вѣчно свѣтитъ нетлѣнный свѣтъ.
О чемъ мы бредимъ во снѣ, сквозь сонъ,
Тѣмъ міръ незримо всегда напоенъ.

Но „бреда" нѣтъ въ его „видѣніяхъ" и „скитаніяхъ" (два отдѣла книги „Это—я!"). Мелькаютъ сонныя видѣнія, безъ красокъ, безъ жизни, въ однотонныхъ стихахъ безъ чеканки.

Спитъ вагонъ, мерцаетъ газъ,
Поѣздъ мчитъ, уноситъ насъ.
Безконечная даль полей,
Мѣсяцъ горестный надъ ней.
. . . . . .
Мчится поѣздъ мертвецовъ.

„Въ тихомъ снѣ „холодной мечтой" создалъ мечтатель безплотный и безгрѣшный, мертвый міръ.

Создалъ я въ тайныхъ мечтахъ
Міръ идеальной природы,—

И, конечно,—

Что передъ нимъ этотъ прахъ:
Степи, и скалы, и воды!

И по міру скитается блѣдный призракъ, отравленный ядомъ-жаждой примитивной гармоніи, вынесенной изъ ветхаго міра. На всѣхъ путяхъ его передъ нами не творецъ, не художникъ—незрячій трупъ разцѣниваетъ „степи, и скалы, и воды" подъ укороченную мѣрку своего „адеальнаго міра". Онъ презрѣлъ Ореанду и объявилъ о ненужности любви. „Ненужная любовь"*)—ненужна она для утвержденія личности „во снѣ, сквозь сонъ" И его пѣсни любви звучатъ меланхоличнымъ похороннымъ напѣвомъ надъ жизнью. Такъ вотъ оно,—пришло успокоеніе—тихое погруженіе въ небытіе на путяхъ немощной мечты и сознаго познанія.

---

*) Слѣдующій отдѣлъ книги „Это—я!"

Наконецъ-то—

...Мы ускользнули за области бури.—

—

Гаснетъ восторженный взоръ,
Тонетъ въ безсильномъ просторѣ...

Тихо, но властно надвигается смерть, чтобы замкнуть путь соннаго познанія,—

„... гдѣ движенья и страсти нѣтъ",

смерть художника и смерть личности. Смерть — погруженіе въ примитивнѣйшую гармонію. Вѣянье этого конца паритъ надъ тѣмъ путемъ, на которомъ поэтъ началъ искать себя. *Все* объявила личность „ненужнымъ", *все* отвергъ художникъ ради „холодной мечты", ради „нѣги въ мірѣ холоднаго сна"—и ему предстала смерть—безкрасочность жизни. И онъ прислонился къ ней.

Ласковый Старикъ ведетъ своего сына домой.

Немощный бунтарь, онъ, во имя новой жизни, во имя отреченія отъ амбара опустошилъ саму жизнь и землю. И опустошенная жизнь встала передъ нимъ, какъ смерть.

Въ безжизненномъ мірѣ живу,
Живыми лишь думы остались.
И нѣтъ никого на землѣ
Съ ласкающимъ, горестнымъ взглядомъ,
Кто бъ въ этой томительной мглѣ
Томился и мучился рядомъ.

Тотъ міръ

— Громадный, неподвижный, сѣрый —

и смерть, они уравнялись и ихъ объятія раскрыты.
То—„поѣздъ мертвецовъ".

Но странно нѣжитъ эта мгла безъ грезъ,
Безъ слезъ!
Послѣдній лучъ въ предчувствіи заката
Блѣднѣетъ... Ночь близка... Померкъ утесъ...
Мнѣ все равно. Не надо—ни возврата,
Ни слезъ.

—

И все новой, странной сладостью
Овѣваетъ призракъ сна...

Отъ безвольнаго маятника—черезъ сонное познаніе и безстрастіе—къ погруженію въ опустошенную жизнь. Поэтъ все въ томъ же кругѣ, очерченномъ Ласковымъ Старикомъ. „Чужія знамена" поднимаетъ еще онъ надъ собой и подъ ними умираетъ поэтъ, ибо жизнь, ушедшая въ сонъ, въ опустошеніе кормитъ „вертепъ" и зажигаетъ „лампадку", но нѣтъ въ ея сосцахъ—для поэзіи.

Безсильный стихъ умираетъ.

Но на порогѣ своей смерти, своимъ явнымъ увяданіемъ даетъ онъ живительный толчокъ поэту, бросаетъ его на новый путь съ перепутья соннаго познанія.

И вотъ крикъ ужаса.

Сердце зачѣмъ, о зачѣмъ,
Ты умираешь во снѣ!

На грани смерти встаетъ протестъ. Падаетъ теорія соннаго познанія, уже чувствуется возможность другихъ путей самоутвержденія. Художникъ, искатель поднимаетъ бунтъ и ниспровергаетъ боговъ, приведшихъ къ смерти. Но смерть вступила въ свои права. Она не отдастъ души, переданной въ ея руки Ласковымъ Старикомъ. Пусть искатель протестуетъ противъ старыхъ путей, пусть столь жданный образъ сумрака ужаснетъ *теперь* поэта, пусть воплемъ и протестомъ раздадутся слова:

Сумракъ безстрастенъ и *нѣмъ*,
Тускло глядится ко мнѣ,—

пусть мечтаетъ онъ о возрожденіи—

Въ моей душѣ усталой
Брежжитъ день лазурно-алый,
Вѣетъ влагой возрожденья,—

другой, приникшій къ смерти и безъ силъ оторваться отъ нея, поетъ еще гимны нѣмотѣ и тусклости сумрака, вызываетъ „туманныя сомнѣнья“ рядомъ съ „влагой возрожденья“.

Приникшій къ Смерти, онъ чертитъ магическій кругъ, чтобъ охранить воцаряющуюся гармонію ея, ибо уже—

Очи глядятъ на меня,
Руки тревожно дрожатъ,

ибо—

Сладко предчувствіе дня.

„Волхвъ“, пробужденный въ жизни ужасомъ смерти, еще борется съ новыми предчувствіями во имя волхованія смерти, во имя улыбки Ласковаго Старика. Онъ безобразитъ новыя видѣнія, въ лучахъ разсвѣта онъ проклинаетъ душу, что

...къ позору искушеній

опять—

. . . мечтой увлечена,—

совъ, что шныряютъ въ сіяніи дня, медленно тянущихся *гадовъ*—

Тамъ они въ ясной и чистой тиши
Водятъ круги омерзительной пляски.

Но бороться уже нельзя: призракъ смерти, обвѣявшій „ясную и чистую тишь", что застывала во «снѣ, привычномъ и нѣмомъ«, вызвалъ новую жизнь.

Привѣтственнымъ шумомъ
Врывается свѣтъ.

Такова въ безсильныхъ еще стихахъ исповѣданная намъ трагедія, гдѣ жажда поэзіи и ужасъ безкрасочной жизни спасли личность—и поставили ее „на стражу" у входа въ новую жизнь *).

Весь этотъ путь, которымъ прошелъ Брюсовъ въ книгѣ „Это—я!" самъ по себѣ безконечно бѣденъ эстетически. Безóбразность, разсудочность характерны здѣсь, какъ и въ книгѣ Chefs d'Oeuvr'овъ. „Ласковый Старикъ"—эстетиченъ въ своей законченности и гармоничности. Равно эстетиченъ и разрывъ съ нимъ, разрывъ полный и безудержный въ своей цѣльности и четкости. И Ласковый Старикъ и возстаніе противъ него достойны и требуютъ своего воспроизведенія въ скульптурѣ. Но скульптурный образъ и чеканный стихъ по существу чуждо тѣмъ методамъ переживаній, которыя создали Брюсова „Me eum esse". Въ немъ нѣтъ воли и нѣтъ дерзновенія—и его образъ остается подборомъ словъ, а стихъ лишенъ внутренней силы и убѣдительности. Съ точки зрѣнія старой критики книга эта самое дерзновенное произведеніе Брюсова. Увы! какъ ни печально это и для той критики и для самого Брюсова—дерзновенная сила, это прямая противоположность его стихамъ этого періода. Въ ней *была* маленькая дерзость, дерзость повѣдать міру въ безсильныхъ стихахъ свои безсильныя попытки оторвать себя отъ родной пуповины. Подталкиваемый и поддерживаемый поэтомъ лѣнивый и вялый стихъ его никъ, ни разу не поднявшись до законнаго облаченія индивидуальнаго переживанія. И вся книга, будучи любопытнымъ и, какъ мы видѣли, довольно подробнымъ отчетомъ о лукавой попыткѣ духа, уже чуящаго неминуемый разрывъ со старымъ міромъ, все же удержаться въ его предѣлахъ, такъ и остается, въ цѣломъ и во всѣхъ своихъ деталяхъ, мертвой, для художественнаго воспріятія. Эта слабая книжка стиховъ-зато подлинная глава изъ исторіи фиктивныхъ попытокъ личности высвободиться изъ-подъ опеки Ласковаго Старика, очистить себя отъ пыли стараго міра. Авторъ этой книжки слабо, но точно и искренне разсказалъ исторію реальнаго человѣка изъ стараго міра. Элементарную, но тѣмъ крѣпче сбитую гармонію этого міра онъ хотѣлъ побѣдить своей „холодной мечтой", своей безстрастной *позой*, онъ окуталъ ее туманомъ своихъ сновъ, разцвѣтилъ своими прихотливыми видѣніями и на этомъ пути прозрѣлъ ея опустошенность, встрѣтилъ небытіе, элементарное и

*) Приведенныя сейчасъ строки и начинаютъ эпоху „Tertia Vigilia, что значитъ „на стражѣ".

плоское отрицаніе примитивной и плоской жизни. Онъ можетъ быть не зналъ, а можетъ быть и зналъ, что предтечи новой гармоніи преодолѣли ту жизнь, въ сѣтяхъ которой онъ тщетно бился, утвержденіемъ своего крайняго и постояннаго разрыва съ ней. Но каждый долженъ продѣлать этотъ путь за себя. Брюсовъ не побоялся и успѣлъ пройти по всѣмъ путямъ борьбы со старой жизнью и дальше, быть можетъ, другихъ изъ школы новой русской поэзіи продвинулся въ новый путь, чтобъ тамъ найти новую трагедію. Онъ, выходецъ стараго міра, несетъ въ себѣ длинную лѣтопись паденій и ранъ, и исторія его пробиванія сквозь колючія изгороди старыхъ словъ, старыхъ мыслей, старыхъ чувствъ, старыхъ гармоній—характерная исторія личности въ культурной обстановкѣ Россіи конца XIX в. Изъ амбара онъ, оступаясь и падая, пробился въ Парижъ и Лондонъ, и если не каждый шелъ тѣмъ же путемъ, и если далеко не за одно и тоже знамя схватились искатели, то для цѣлаго пласта русскаго общества—его путь характеренъ и неизбѣженъ. Тотъ процессъ созиданія личности новой, городской Руси, который отразился въ поэзіи Брюсова, протекъ въ опредѣленной соціальной группѣ. Ея кровное родство со старымъ укладомъ, неизбѣжность разрыва съ нимъ и попытки смягчить этотъ разрывъ—и составляетъ общій фонъ „шедевровъ“ и книги „Это—я!“. Заключая книгу „Me eum esse“, отвергая старый путь фиктивнаго преодолѣнія старой гармоніи, Брюсовъ писалъ:

Въ этомъ мірѣ одно есть блаженство—
Сознавать, что ты выше себя.

Создатель этихъ строкъ возводилъ здѣсь въ непреложный догматъ, въ теорію собственный опытъ. Ему, чтобъ причаститься новому, чтобъ стать воиномъ этого міра, надо было преодолѣть себя. Мало того, ему приходится преодолѣвать себя во всякій мигъ, чтобы противостоять соблазнамъ Старика. Онъ долженъ быть „на стражѣ“ каждый мигъ, ибо старый міръ тутъ, за его спиной, шепчетъ родную мелодію. Лишь побѣждая себя, создаетъ онъ цѣнности.

Этой борьбѣ съ самимъ собой посвящена третья книга Брюсова „Tertia Vigilia“ (98—901 г.) Это тоже въ громадной своей части книга стихотворныхъ разсужденій и примѣриваній, а не образовъ. Пройденный путь безстрастія съ призракомъ Смерти впереди, сопоставляется здѣсь (сознательно въ архитектурѣ книги, безсознательно въ способахъ воплощенія своихъ переживаній) съ путемъ страсти, съ ведущими впередъ намеками скульптурности.

Въ этой книгѣ уже ярче выступаютъ основныя черты Брюсовской поэзіи. Прежде всего — Брюсовъ *раціоналистъ*, и нѣтъ ничего болѣе невѣрнаго какъ представленіе его романтикомъ и мистикомъ. У него нѣтъ ничего отъ мистическаго или романтическаго воспріятія. Это одинъ изъ рѣдкихъ поэтовъ, который

не знаетъ и не хочетъ откровеній въ своемъ творчествѣ. Такъ же чуждъ онъ размашистости и неопредѣленности романтизма. Мистическому откровенію и романтической безудержности онъ противопоставляетъ свою чуткую и четкую воспріимчивость. Мистикъ и романтикъ отдаются рѣкѣ жизни. Брюсовъ беретъ ея твердый кусокъ и создаетъ грани, даетъ размѣръ, взвѣшиваетъ на точныхъ вѣсахъ своего раціонализма и такъ отдаетъ его своему стиху. Этотъ раціонализмъ ощущается все болѣе и болѣе по мѣрѣ того, какъ онъ противопоставляетъ себя міру. Молотобоецъ и ювелиръ—чувствуется въ стихахъ его „Urbi et Orbi". Есть это и въ нѣкоторыхъ стихахъ „Tertia Vigilia", поскольку здѣсь именно — его первые шаги противопоставленія. Побѣда молотобойца и ювелира надъ мечтателемъ—„искателемъ смутнаго рая", вяло и безвольно отдававшимся міру—моментъ рожденія Брюсова, какъ поэта. Въ „Tertia Vigilia" молотобоецъ лишь пробуетъ молотъ, ювелиръ лишь точитъ напильнички и часто еще колеблются вѣсы, на которыхъ лежитъ его молотъ и его „смутный рай". И, кажется иногда, что туманъ „рая" перевѣситъ молотъ. И хочется сказать, прочитавъ эту книгу: современники увидятъ или могучаго создателя новыхъ скульптуръ, или будутъ они свидѣтелями, какъ старый міръ и его „смутный рай" вырвали молотъ изъ рукъ новаго кузнеца, дробителя старыхъ идоловъ. Молотъ побѣдилъ, мы знаемъ, и не могъ не побѣдить, если жизнь есть и внѣ магическаго круга Ласковаго Старика. Но десять лѣтъ боролся художникъ за право дать скульптуру. „Tertia Vigilia" кончаетъ этотъ періодъ. Надъ цѣлыми отдѣлами этой книги— „У моря" и „Въ стѣнахъ" — вѣетъ еще туманъ и смутность эпохи соннаго преодолѣнія „Ласковаго Старика". Поэтъ еще и еще пробуетъ укрѣпить свои образы на мотивахъ умиротвореннаго погруженія въ примитивную гармонію. И опять творчество и поэзія терпятъ крушеніе въ этихъ мотивахъ.

Тихое, ласковое, меланхоличное, сентиментальное, разогрѣтое море лежитъ передъ нами какъ мягкая постель сонныхъ мечтаній.

Море—въ безсильномъ покоѣ
Образъ движенья исчезъ.
. . . . . .
Камни, въ дремотѣ тяжелой,
Берегъ, въ томительномъ снѣ...

Во всемъ этомъ циклѣ посвященномъ морю — ни разу не встаетъ передъ нами море буйное, море бурное, море огромное. Это явный экспериментъ, явное и повторное испытаніе гармоніи бездѣйствія и безстрастія—и съ тѣмъ же результатомъ:—

Мѣрно вьетъ дорога
Одинокій путь.
Я въ рукахъ у Бога,
Сладко дышитъ грудь.

Въ своей безмятежности, безбурности море опять обольщаетъ поэта примитивной гармоніей Ласковаго Старика.

Эти испытанія гармоніи безбурности характерны для Брюсова. Характерно то, что онъ, уже свернувши съ обманчивой дороги „Me eum esse", все возвращается къ ней; ея сонныя мелодіи все звучатъ въ его душѣ и влекутъ его къ успокоенію на лонѣ „ясной тиши". Характерно и то, какъ ставитъ онъ свой опытъ съ этой „тишью", характерно для его раціонализма. Онъ не способенъ безбурно и безраздумно подчиниться ей, онъ разсматриваетъ ее какъ рѣшеніе нѣкоей задачи, онъ, какъ изслѣдователь, беретъ то, что даетъ ему „тишь", чтобъ примѣрить къ своей задачѣ—создать новую скульптуру, какъ протестъ противъ скульптуры Старика.

И въ книгѣ „Tertia Vigilia".—

Я въ рукахъ у Бога—

звучитъ не какъ разгадка, а какъ призывъ уйти со стараго пути. И не только море испыталъ въ своихъ цѣляхъ художникъ. Отъ моря онъ ушелъ въ городъ, чтобъ искать въ его бурѣ и мятежности, въ его неожиданностяхъ и разрывахъ просвѣтовъ безбурной и безмятежной „улыбки ласковой". Онъ искалъ въ городѣ тихихъ сновъ, какъ послѣ искалъ и нашелъ въ немъ всѣ элементы своего возстанія. Въ мельканіяхъ его фигуръ, за неожиданными поворотами стѣнъ, въ неожиданныхъ комбинаціяхъ толпы мечталось ему обрѣсть оправданіе пути безстрастія и безбурности. Художникъ старательно и тонко выдѣлилъ на фонѣ города моменты тишины и завороженнаго спокойствія, чтобъ точно и внимательно взвѣсить ихъ на вѣсахъ своего художественнаго воспріятія. Замѣтьте: онъ не искалъ поэзіи безстрастія въ поляхъ и лѣсахъ—гармонія деревни по существу чужда ему;—въ городѣ и въ океанѣ искалъ онъ на граняхъ бури и мятежа просвѣтовъ лазури, чтобъ оправдать ее передъ лицомъ „царя вселенной". Въ циклахъ „У моря" и „Въ стѣнахъ" ясно видѣнъ безсознательный протестъ сына стараго міра противъ новаго. Онъ упирается передъ новыми видѣніями и хватается за старое, чтобъ не поддаться соблазну. Въ этомъ глубокій провалъ между двумя современными намъ пѣвцами городовъ: Верхарномъ и Брюсовымъ. И у того и у другого въ страстную гамму ихъ исканій длинными полосами врывается вдругъ жажда успокоенія на примитивной гармоніи.

Вотъ что пишетъ Брюсовъ о подобныхъ полосахъ въ твореніяхъ Верхарна (Вѣсы. 1904):

„Верхарнъ въ этихъ стихахъ словно хотѣлъ *отдохнуть* отъ мучительныхъ исканій, которыми живетъ его поэзія. Это—*затишье среди бури*. Вмѣсто неутомимыхъ противорѣчій, раздирающихъ творчество Верхарна, — здѣсь опять здоровая, немного грубая цѣльность первыхъ книгъ. Авторъ знаетъ иныя дали... *онъ лишь*

принижаетъ себя до этой цѣльности, до этой ясности рѣчи"... Мы подчеркнули здѣсь слова, которыя кладутъ границу между Верхарномъ и Брюсовымъ въ томъ; что есть отъ затишья у того и другого, границу двухъ культуръ. Сонъ „У моря" и „Въ стѣнахъ" не затишье Верхарна, не затишье среди бурь,—это затишье, старающееся противостоять еще грядущимъ бурямъ, это не отдыхъ, а попытка оправдать и обосновать „затишье" какъ методъ познанія и жизни. Тамъ усталость стараго бойца старой культуры, сдѣсь обороняющаяся отъ культуры обломовщина еще не родившагося бойца. Тамъ „приниженіе себя до немного грубой цѣльности", здѣсь привязанность къ этой цѣльности, попытка ее опоэтизировать ради интимной связи съ ней, ради того, что прилипъ къ ней человѣкъ корнями своими.

Объективируя свои колебанія между „лазурью" и „бурей", поэтъ создаетъ цѣлую теорію постоянныхъ переходовъ отъ одной къ другой:—

И всѣмъ богамъ я посвящаю стихъ.

Онъ, мудрецъ ищущій выходовъ, даетъ себѣ точный отчетъ въ пройденномъ пути и начинаетъ новый критическимъ изслѣдованіемъ стараго.

Я убѣжалъ отъ пышныхъ брашенъ,
Отъ плясокъ сладострастныхъ дѣвъ,
Туда, гдѣ міръ унылъ и страшенъ;
Тамъ жилъ прельщеніе презрѣвъ.
. . . . . .

И много зимъ я былъ въ пустынѣ
Покорно преданный мечтѣ!..
Но былъ мнѣ гласъ. И снова нынѣ
Я—въ шумѣ словъ, я—въ суетѣ.

Прежнее, то—

Сонъ тюрьмы,—

гдѣ поэтъ самъ тѣнь стараго міра,

. . . . . въ рукахъ у Бога—

лишь

Трепеталъ въ предчувствіи тѣней.

Теперь,

. . . что ярче, что тѣлеснѣй

зоветъ его на новый путь утвержденія себя въ отдѣльности отъ стараго міра. Его былая попытка познать и отгранить себя на путяхъ сна открыла ему лишь дверь опустошенной жизни и онъ ринулся на новый путь. Лишь сойдя съ путей „Me eum esse", онъ могъ въ введеніи новой своей книги написать гимнъ новымъ молотобойцамъ въ предчувствіи грядущихъ побѣдъ

Въ мірѣ широкомъ, въ морѣ шумящемъ
Мы—гребень встающей волны.
Странно и сладко жить настоящимъ,
Предчувствіемъ пѣсни полны.
Радуйтесь, братья, вѣрнымъ побѣдамъ!
Смотрите на даль съ вышины!
Намъ чуждо сомнѣнье, намъ трепетъ невѣдомъ
Мы гребень встающей волны.

Первымъ результатомъ новаго пути утвержденія личности является попытка утвердить прообразы силы, возстановить тѣхъ, кто поставилъ себя въ вѣкахъ. Надо поставить рядомъ образы „любимцевъ вѣковъ“ въ „Tertia Vigilia“ съ образами изъ цикла „правда вѣчная кумировъ“ изъ „Вѣнка“, чтобы почувствовать, какъ много еще въ первыхъ изъ нихъ разсужденія, какъ мало скульптуры. „Рамсесъ“ и „Скифы“, „Халдейскій пастухъ“ и „Александръ Македонскій“ не отлиты еще въ этихъ стихахъ въ фигуры, которыя способны отвоевать себѣ мѣсто у Ласковаго Старика.

Жильцы пустынь, мы всѣ равно ничтожны
Въ вѣкахъ земли и въ вѣчности небесъ.

Эта мудрость, которую старательно воспиталъ въ своихъ сынахъ Ласковый Старикъ, все еще остается началомъ всякой премудрости для поэта. Бѣдность содержанія личности лежитъ въ основѣ этой мудрости и та же бѣдность уравниваетъ „сына амбара“ и „жильца пустынь“. Идеологія жильца культурныхъ пустынь это лишь другое названіе для идеологіи раба Ласковаго Старика.

„Любимцы вѣковъ“ лишь знаменуютъ первую попытку найти опору противъ своего ничтожества передъ пустыней опустошенной жизни. Изъ ихъ бѣдныхъ образовъ „Наполеонъ“ и „Марія Стюартъ“ рѣзко выдѣляются, какъ законченныя созданія уже утвердившей себя силы. Онъ и относится къ другой эпохѣ, къ „Urdi et Ordi“.

А тѣ, къ кому пытался прильнутъ поэтъ, чтобъ отстоять себя отъ „улыбки ласковой“, отъ „незоркаго свѣта“, отъ власти примитивной гармоніи, они еще зыблются въ туманѣ раздуміи, они еще качаются—вверхъ и внизъ—въ нечеткихъ стихахъ его. У нихъ нѣтъ еще силы. Уже вступилъ поэтъ на путь новыхъ поисковъ, но самъ еще дрожитъ грядущихъ откровеній. Онъ вызвалъ ихъ передъ собой, чтобъ испытать ихъ смѣхомъ, чтобъ имъ противоставить свою мудрость ничтожную „жильцовъ пустынь“.

И самъ разсказалъ намъ о тѣхъ встрѣчахъ, о тѣхъ сопротивленіяхъ.

Я разбиралъ, дрожа, гіероглифы:
„Мнѣ о забвеньи говорятъ,—о, смѣхъ!
Вѣкамъ вѣщаютъ обо мнѣ побѣды!“

И я смѣялся смыслу знаковъ тѣхъ
Въ невѣрной мглѣ томительнаго бреда.

— Кто ты, воитель дерзкій? духъ тревожный?
Ты—Озипаидія? Ассаргадонъ? Рамсесъ?
Тебя не знаю я, твои вѣщанья ложны!
Жильцы пустынь, мы всѣ равно ничтожны
Въ вѣкахъ земли и въ вѣчности небесъ.

А испытующій—не творецъ. Онъ подошелъ, но не сотворилъ. И „любимцы вѣковъ“ стоятъ еще—внѣ его. Какъ внѣ его стоитъ вновь испытуемая любовь.

Не та „ненужная любовь“ эпохи сонныхъ блужданій, но животворящая страсть „кубокъ жгучій“, „даръ таинственныхъ высотъ“.

Ее испытуетъ теперь поэтъ, въ ней ищетъ своего пути, ей предъявляетъ вопросъ:—

Кто ты воитель дерзкій? духъ тревожный?—

ибо ищетъ онъ отпоровъ для магическаго круга и испытуетъ выходы.

Чтобъ выйти, онъ пройдетъ черезъ все, но раньше чѣмъ итти, онъ испытаетъ все, ибо онъ не знаетъ дороги откровеній.

Онъ.

. . . . подавляетъ крикъ
И славословитъ бѣшенно средь пытокъ,—

онъ приметъ „знойную смерть“ и—

. . . . . безобразіе радостей,
Весь позоръ открываемыхъ губъ,—

но прежде онъ потребуетъ отчета и оправданія для этого пути, чтобъ достичь вѣры, что будетъ—

Въ безднахъ этотъ мигъ отмѣченъ,
Какъ огневая полоса!,—

чтобъ—

Осень стала какъ весна!

И, какъ „любимцы вѣковъ“, этотъ испытуемый путь—внѣ его.

Любовь находитъ черной тучей.
Молись, познавъ ея приходъ!
Не отдавай души упорству,
Не уклоняйся, но покорствуй!
И ктобъ ни подалъ кубокъ жгучій,—
Въ немъ даръ таинственныхъ высотъ.

Тутъ центръ того излома, который пережилъ поэтъ. Та „освященная водица“, что разлита въ „ненужной любви, которая отстаивала себя „У моря“ и „Въ стѣнахъ“, исчерпана до дна и не утолила жажды. „Кубокъ жгучій“ стоитъ передъ поэтомъ и

смиренно склоняется онъ передъ нимъ, побѣдивъ въ себѣ „упорство“.

Опустошенная жизнь, родина и кругозоръ поэта, нашли себѣ вѣчнаго врага — силу и страсть. Долго боролся художникъ за „безсиліе безстрастья“ противъ находа „черной тучи“; долго, слишкомъ долго забавлялъ его Ласковый Старикъ, водя по путямъ „незоркаго свѣта“. Но вотъ блеснули лучи и колѣнопреклоненный палъ предъ ними искатель.

Эта поза—послѣдняя шутка Старика: вырвавшагося изъ его объятій сына онъ бросилъ на колѣни и вслѣдъ гикнулъ свою гнуснѣйшую заповѣдь:—

Покорствуй!

Зналъ Старикъ, что безвреденъ ему и вырвавшійся изъ его объятій, покуда будетъ онъ рабомъ, хотя бы и иныхъ боговъ.

Испытавши всѣ дороги, ушелъ поэтъ изъ объятій стараго своего хозяина, съ клеймомъ былого раба, съ подавленной, но живучей мечтой о маленькой гармоніи, за которую столь упорно боролся онъ противъ „позора искушеній“ и съ жаждой воздвигнуть новую жизнь противъ созданія Старика, гдѣ, въ пустынѣ,

. . . . . всѣ равно ничтожны
Въ вѣкахъ земли и въ вѣчности небесъ.

И на границѣ той вселенной, гдѣ властвуетъ Ласковый Старикъ, поставилъ поэтъ — въ видѣ предостереженія, въ знакъ разрыва—своихъ „демоновъ пыли“.

Гдѣ они побѣдили,
Тамъ покой, тамъ сонъ, сновидѣнья,
Какъ въ обширной могилѣ.
Они дремлютъ, лежатъ безъ движенія,
Притаясь въ углу,
Не смотрятъ во мглу,
Но помнятъ сквозь сонъ, что они побѣдили.
О, демоны пыли!
Вы—владыки въ красочномъ мірѣ!
О, демоны пыли!
Ваша власть съ вѣками все шире!
Вашъ день придетъ,—
И все уснетъ
Подъ тихое вѣяніе сѣрыхъ воскрылій.

И, издѣваясь надъ ихъ призрачной побѣдой, создалъ поэтъ міръ страсти и силы, изваялъ свою побѣду надъ Ласковымъ Старикомъ и воспѣлъ завѣтъ побѣдоносныхъ молотобойцевъ.

Подымайте, братья, посохи,
Дальше, дальше, какъ и шли!
Паруса развейте въ воздухѣ,
Дерзко правьте корабли.
Жизнь не счастье, но томленіе,
Но прозрѣнья, но борьба.
Все впередъ—отъ возрожденья
Къ возрожденью, сквозь гроба.

БИБЛІОТЕКА А. Е. СЕРЕБРЯКОВОЙ

2. ИДОЛОПОКЛОННИКЪ ВЪ ГОРОДѢ.

Я знаю, мечъ меня не минетъ.
В. Брюсовъ.

И я влеку по днямъ, клонясь какъ волъ,
Изнемогая отъ усилій,
Могильнаго креста тяжелый пьедесталъ.
В. Брюсовъ.

Уйдя отъ Старика, поэтъ оказался во власти другого Бога. Богъ этотъ—городъ. Увы! выходецъ другого міра—поэтъ не попалъ и не могъ попасть въ ногу съ молотобойцами, пѣснь которыхъ онъ пропѣлъ.

Между ними легла пропасть, та пропасть, которая лежитъ между дающимъ и пріемлющимъ, между созидателемъ и завороженнымъ и подавленнымъ твореніемъ зрителемъ.

Тяжелымъ кошмаромъ стоитъ передъ пришельцемъ новый міръ и у ногъ его лежитъ поэтъ; не въ силахъ онъ дать себѣ отчетъ и намѣтить свое мѣсто въ немъ. Мотивы психологіи раба, извергнутаго старымъ міромъ въ борьбу и метанія новаго, пронизываютъ всю поэзію „Urbi et Orbi“ и „Вѣнка“.

Вдумайтесь въ переживанія поэта, вчитайтесь въ его стихи и вы почувствуете, что вопреки внѣшней ихъ формѣ, ужасъ передъ чуждой, непонятной, огромной и чудовищной стихіей новаго міра основная черта его. И какъ первобытный человѣкъ, въ ужасѣ и смятеніи передъ внѣшними силами грозныхъ и непонятныхъ явленій, приближаетъ ихъ къ себѣ созданіемъ идоловъ, какъ дикарь очеловѣчиваетъ природу, чтобъ сдѣлать ее податливой на его мольбы, такъ Брюсовъ пытается приблизить къ себѣ стихію новаго міра, воплощая ее въ свою скульптуру. Лишь воплотивъ ее въ образъ, онъ получаетъ возможность излиться передъ ней въ мольбахъ, стонахъ и проклятьяхъ.

Здѣсь тайна скульптуръ Брюсова. Внѣ его широкимъ и буйнымъ потокомъ несется жизнь, а онъ, на островкѣ, которому ежеминутно грозитъ потопъ, пытается изъ быстро несущихся мимо элементовъ ея выкристаллизовать своего Бога. Ибо безъ Бога трудно жить прищельцу. Этотъ Богъ найденъ, наконецъ, имъ въ формальномъ признакѣ новой жизни, въ томъ, что глубоко отличаетъ ее отъ вѣчнаго врага и тайнаго мечтанія Брюсова, отъ улыбки Ласковаго Старика—въ *страсти*. Страсть и сила, какъ бы она не проявлялась, въ чемъ бы она не сказывалась, превращена во всеобщій критерій.

Напряженность жизни, пустая, но объемлющая все разнообразіе новаго міра форма стала Богомъ для поэта и на его алтарь пролилась жертвенная кровь.

Среди непонятной, чуждой и по существу враждебной ему стихіи новаго міра Брюсовъ не могъ не оказаться идолопоклонникомъ, съ притаившимся ужасомъ неизбѣжной гибели въ душѣ.

Изъ жизни блѣдной и случайной
Я сдѣлалъ трепетъ безъ конца—

говоритъ поэтъ, и это вѣрно въ томъ смыслѣ, что *хотѣлъ* онъ сдѣлать это, что поклонился и палъ на колѣни онъ передъ безконечнымъ трепетомъ жизни. Въ этой напряженности жизни нашелъ онъ принципъ борьбы съ Ласковымъ Старикомъ, въ ней увидѣлъ дѣйствительный методъ утвержденія личности въ противовѣсъ и въ борьбѣ съ той пустыней, что раскинулась подъ улыбкой „незоркаго свѣта", что всѣхъ превратила въ равноничтожныхъ „въ вѣкахъ земли и въ вѣчности небесъ". Побѣду надъ пустыней знаменуетъ напряженность жизни для поэта, поэтому сдѣлалъ онъ ее своимъ Богомъ. Содержаніе и единственное содержаніе всѣхъ его великолѣпныхъ образовъ „Urbi et Orbi" и „Вѣнка"—напряженность. Онъ жадно ищетъ ее и „въ послѣдней боли" припадаетъ къ кубку съ „влагой огневой".

О, дай припасть устами къ краю
Бокала смертнаго вина!
Я бросилъ щитъ, я уступаю,—
Лишь дай, припавъ устами къ краю,
Огонь отравы пить до дна:

Я знаю, мечъ меня не минетъ,
И кубокъ твой беру спѣша.
Скорѣй, скорѣй! пусть пламя хлынетъ,
И крикъ восторга въ небо кинетъ
Моя сожженная душа!

Страны, города и люди, все въ чемъ жива напряженность, оживаетъ въ его каррарскихъ мраморахъ, чтобъ противопоставить себя пустынѣ Ласковаго Старика.

Италія —

Страна, измученная страстностью судьбы;
Любовница всѣхъ роковыхъ столѣтій!—

Римъ —

...Чародатель единственный,
Ужасный въ величьи своемъ
. . . . . не живой, но таинственный,
Волшебнымъ окованный сномъ,—

Парижъ, что

. . . . . все буйство жизни нашей,
Средневѣковый миръ, величье страшныхъ дней—
. . . . . съединилъ въ своей священной чашѣ,
Готовя страшный ядъ изъ пѣсенъ и идей!—

гдѣ —

...Стать великимъ днемъ здѣсь можетъ каждый день —

Венеція, гдѣ —

И донынѣ неизмѣнно все хранитъ здѣсь явный слѣдъ
Прежней дерзости и мощи, надъ которой смерти нѣтъ,—

Наполеонъ, котораго наконецъ, не въ моготу стало, носить вселенной, кто —

. . . на дорогѣ поколѣній
На пыли расточенныхъ лѣтъ—
Своихъ шаговъ, своихъ движеній оставилъ неподвижный
слѣдъ,—

И Ахиллесъ, что выбралъ „ясный жребій“ —

Просіять и умереть!—

Кто могъ сказать:—

Мать звала къ спокойной долѣ...
Нѣтъ! не выбралъ счастья я!
Прошумѣла въ ратномъ полѣ
Жизнь мятежная моя.—

И Антоній, что—

. . . . на закатномъ небосклонѣ
Былыхъ торжественныхъ временъ,

какъ исполинъ стоитъ—„какъ яркій незабвенный сонъ“, что

. . . прекрасный, вѣчно юный,
Одинъ алтарь поставилъ—страсть!

Орфей, сподвижникъ героевъ—
проходятъ они передъ нами, какъ творцы и владыки напряженнѣйшей жизни, преображенные въ строфахъ поэта, гдѣ каждое слово и каждый поворотъ стиха открываютъ дали жизни, въ богоборцевъ и титановъ духа. Строфы, посвященныя созданію образовъ напряженной, утверждающей себя жизни, поистинѣ могутъ быть названы классическими. Каждое слово въ нихъ насыщено содержаніемъ, каждое произведеніе полно законченной красоты и цѣльности. Въ нихъ поэтъ, дѣйствительно, побѣдилъ „незоркій свѣтъ“ и противопоставилъ гармоніи смерти гармонію въ противорѣчіяхъ ростущей жизни. Сама Смерть побѣждена въ нихъ. Стихъ выработанный и прекрасный нераздѣленъ здѣсь съ образомъ, переживаніе котораго не только искренно и глубоко, но и цѣльно и замкнуто въ самомъ себѣ. Такъ, коснувшись основного нерва новаго міра, поэтъ нашелъ себя, свой стихъ и свой образъ.

Напряженность жизни поэтъ умѣетъ открыть не только въ „Парижѣ“ и „Антоніи“, не только тамъ, гдѣ эта напряженность дана во внѣ, гдѣ она выявилась въ дѣлѣ. Онъ умѣетъ ее подсмотрѣть подъ наружнымъ покоемъ, тамъ, гдѣ сила жизни достигла напряженности равновѣсія. Прекрасная поэма. „Habet illa in alvo“ это гимнъ высшему напряженію жизни, зачавшей—

Въ ночь наслажденья, въ мигъ объятій,
Когда душа была пьяна,—

и творящей въ величавомъ покоѣ, въ благородномъ равновѣсіи напрягшихся силъ. Та неизъяснимая красота, которая дана въ „Habet illa in alvo“ искусствомъ великаго скульптора—дать ощутить напряженнѣйшую и творящую жизнь въ спокойно-благородныхъ формахъ—покоится и на „Италіи“.

Въ лоскутьяхъ матери и въ платьѣ устарѣломъ

лежитъ передъ поэтомъ „священная царица“—когда-то, „несчастная блудница“—теперь. И подъ дряблыми чертами ея находитъ поэтъ огромную и завершенную жизнь, буйную и величавую, дышащую на насъ и сейчасъ сквозь видимый покой. Но, быть можетъ, нигдѣ такъ явно и побѣждающе не сказалось искусство поэта найти и дать міру напряженнѣйшую жизнь въ благородномъ покоѣ скульптуры, какъ въ поэмѣ „Городъ Женщинъ“. Она безнравственна и развратна—пусть такъ. По нашему—это безгрѣшнѣйшая пѣснь, величавый гимнъ жизни, сознанной какъ „трепетъ безъ конца“.

Создавъ образы напряженной жизни, сумѣвъ воплотить эту напряженность въ ея высшемъ моментѣ, гдѣ уже чуется гроза, сдѣлавъ изъ нея свой методъ возстанія и побѣдъ надъ Ласковымъ Старикомъ, поэтъ не могъ влить въ формальный признакъ жизни, побѣждающей смерть, никакого опредѣленнаго содержанія. Онъ долженъ былъ сдѣлать изъ страсти—Бога, изъ постояннаго напряженія—своего новаго хозяина. Раньше Богомъ былъ властитель міра примитивной и бѣдной гармоніи—Ласковый Старикъ и его подруга—Смерть, опустошенная жизнь, безкрасочность жизни. На алтарь безкрасочности—Смерти принесъ тогда художникъ свою живую личность; Смерть пила его кровь, и онъ пѣлъ погруженіе въ небытіе. Теперь возсталъ онъ противъ бога увяданія и безстрастія, но принципъ остался тотъ же. Ему необходимъ алтарь, и психологія раба, жаждущаго Бога, заставляетъ его облить ступени алтаря жертвенной кровью. Онъ покорился новому богу, какъ покорялся старому и закланіе себя на алтаряхъ идоловъ—заповѣдь его жизни. Восторги страсти, какъ раньше „восторги безстрастія“, возведены въ догматъ, во внѣшнюю силу, въ удовлетвореніи которой должна быть найдена высшая услада. Жизнь—не жажда утоленій, не свершеніе, и ея сладость не въ побѣдахъ, а въ самой жаждѣ, въ ея постоянной неудовлетворенности, въ невозможности, въ недостижимости свершеній.

Вотъ символъ вѣры идолопоклонника, поставившаго новаго идола, но по старому—раба.

Между нами частая рѣшетка,
Въ той тюрьмѣ, гдѣ мы погребены,

Днемъ лучи на ней мерцаютъ кротко,
Проходя въ окно, въ верху стѣны.

Между нами кованныя брусья,
Проволокъ межъ нихъ стальная сѣть.
До твоей руки не дотянусь я,—
Въ очи можемъ только мы смотрѣть...

И весь день пока на темной стали
Тамъ и сямъ мелькаетъ лучъ дневной,
Въ содроганьяхъ страсти и печали
Упиваюсь я тобой, ты мной!

Насъ разводитъ сумракъ. . . . . .
. . . . . .

Но опять у роковой преграды
Мы, едва затеплятся лучи.
И, быть можетъ, нѣтъ для насъ отрады,
Слаще муки вашей, палачи! (Рѣшетка)

Гутъ „рѣшетка", „кованныя брусья", между жаждой и ея утоленіемъ, становится идоломъ, которому поклоняется человѣкъ, во имя напряженія жизни во что бы то ни стало. Палачъ слѣдуетъ за идоломъ и раздѣляетъ съ нимъ рабское поклоненіе. Палачъ — воплощеніе идола — не разъ мелькаетъ въ стихахъ Брюсова, какъ единственная опора напряженности жизни. Такъ пустая форма новаго міра, наполняется старымъ, пьющимъ человѣческую кровь, содержаніемъ. Такъ уйдя отъ Смерти безстрастія, не желаю наполнить опредѣленнымъ содержаніемъ формулу новой жизни и припавши къ ея пустотѣ, пришелъ поэтъ къ Смерти во страсти, какъ къ единственной опорѣ напряженной жизни. Чтобъ поддержать готовую каждый моментъ упасть напряженность, случайному гостю новой жизни нужна ежеминутная пытка.

Но чѣмъ мука полнѣй и суровѣе,
Тѣмъ восторженнѣй пѣсни хочу,
И кричу и пою славословія,
Вѣчный гимнъ моему палачу.
(Пытка)

Такъ пѣснь во славу силы и страсти, утвержденіе во имя и именемъ напряженности жизни—пѣснь, въ которой поэтъ на моментъ слился съ новой жизнью и съ ея мотивомъ,—смѣняется гимномъ палачу. Онъ—единственная гарантія напряженности жизни для того, кто за формой жизни не увидѣлъ ея сущности. Такъ сила стала силой идола, страсть—пыткой, напряженность жизни — напряжонностью смерти. Замкнулся кругъ рабскихъ судебъ въ чуждомъ мірѣ борьбы. Рабъ вошелъ въ новый, невѣдомый міръ съ заповѣдью—покорствуй! передъ лицомъ неизвѣданныхъ стихій новаго міра; изъ нихъ онъ создалъ себѣ кумировъ и изъ-за кумира выступилъ палачъ, чтобъ потребовать

жертвенной крови—и кровь пролилась. Тутъ, въ этой психологіи идолопоклонника надо искать объясненіе того жертвеннаго характера, который носитъ на себѣ всѣ переживанія поэта. Чуждо, непонятно, темно, огромно и чудовищно для выходца изъ стараго міра все, чѣмъ живетъ новый міръ. Все, что ворвалось въ его примитивную гармонію для него, по существу, — разрушительно, враждебно. Онъ не знаетъ словъ заговора противъ этихъ силъ, онъ не можетъ овладѣть ими и ежеминутно повергается ими во прахъ, чтобъ кончить обожествленіемъ этихъ враждебныхъ силъ, чтобъ „лобызать руки“ чуждой стихіи, которую знаетъ онъ лишь въ видѣ палача.

Самый раціонализмъ—характерная черта Брюсовской поэзіи—терпитъ ущербъ передъ лицомъ роковыхъ стихій новой жизни. Раціонализмъ, который велъ поэта по владѣніямъ „незоркаго свѣта“, оказался недостаточно упорнымъ и стойкимъ, когда хлынула волна новыхъ переживаній.

Вступая въ новый міръ, поэтъ готовился къ его пріятію, какъ монахъ готовится къ пріятію божественныхъ Тайнъ.

Но кто готовъ отвергнуть миги
И ждать десятки строгихъ лѣтъ,—
Надѣнь кровавыя вериги,
Скажи молитвенный обѣтъ.
. . . . . .

И глянешь ты смѣлѣй и зорче
За тьму завѣсъ, что онъ расторгъ,
Чѣмъ тотъ, кто вѣдалъ смѣхъ и корчи
И пиѳій яростный восторгъ.

Вы видите, что поэтъ стремится спасти чистоту познанія, отвергая „яростный восторгъ“ пиѳійскихъ прозрѣній. Но отъ отвергаемыхъ пиѳій неспособенъ онъ уйти къ активному познанію новыхъ стихій. Они для него слишкомъ враждебны, а потому внѣшни и таинственны, чтобъ онъ надѣялся или даже мечталъ овладѣть ими своимъ познаніемъ. Нѣтъ! „Десятки строгихъ лѣтъ“ готовъ онъ *ждать* въ покоѣ молитвеннаго обѣта расторженія завѣсъ. Таковъ его методъ участія въ жизни. Роль творца и властелина жизни, овладѣвающаго ею въ непрестанной *работѣ* познанія, не для идолопоклонника. Идолопоклонникъ, даже когда отвергаетъ пиѳій, не можетъ выйти за предѣлы пассивнаго созерцанія игры чуждыхъ стихій. Беззащитный стоитъ онъ передъ ней, покорно кланяясь передъ „находомъ“, иногда проклиная „безжалостныя руки“, заранѣе подточенный сознаніемъ безнадежности своей борьбы съ ними.

Знаю сумрачный находъ
Страсти мелленно пьянящей,—

И снова ты, и снова ты,
И власти нѣтъ проклясть!
Какъ Сиріусъ палитъ цвѣты

Холоднымъ взглядомъ съ высоты,
Такъ надо мной восходишь ты,
Ночое солнце—страсть!

И этотъ мотивъ „ночного солнца“, восходящаго надъ безвольнымъ рабомъ своимъ, мотивъ „сумрачнаго находа“ господствуетъ надъ всѣмъ цикломъ переживаній, надъ всей психикой „случайнаго путешественника“ („Нить Аріадны“) въ дремучемъ лѣсу новой жизни. И онъ правъ въ своемъ трепетѣ, ибо стихія, въ которую онъ вступилъ, несетъ въ себѣ его Смерть. И—„гость случайный“—онъ кончилъ тѣмъ, чѣмъ начинаетъ дикарь въ подлинномъ дремучемъ лѣсу природы. Поэтъ съ великой силой объективировалъ свой трепетъ передъ „ночнымъ солнцемъ“ и создалъ Бога. Великолѣпное, классическое, одно изъ лучшихъ стихотвореній Брюсова—„Сладострастіе“—лишь одно изъ звеній новой мифологіи—мифологіи идолопоклонника въ Городѣ—явственнѣе другого говоритъ намъ объ общемъ характерѣ *новой религіи трепета*. Мы не можемъ удержаться, чтобъ не привести его цѣликомъ.

Въ яркомъ вѣнкѣ изъ пурпурнаго мака,
Смутно рѣсницы къ землѣ опустивъ,
Женщина вышла изъ тусклаго мрака...
Обликъ лица ея грубо красивъ.

Серьги по золоту блещутъ рубиномъ,
Шею оплелъ ей кровавый коралъ,
Вѣетъ отъ губъ ея чѣмъ-то звѣринымъ,
Тишью пещеръ и пустынностью скалъ.

Черные волосы, сумракомъ слиты,
Пали на бѣлую матовость плечъ,
Выпуклы, подняты, вѣчно не сыты,
Груди дрожатъ отъ желанья встрѣчъ.

Руки протянуты (такъ, безпокоясь,
Ищетъ слѣпая далекой стѣны),
Бедра опуталъ ей тигровый поясъ...
Тише! привѣтствуй восторгъ тишины!

Чу! загремѣли чуть слышно запятья,
Губы скривились въ мучительный знакъ...
Снова, о снова, истомы и счастья!
Пусть осыпается пурпурный макъ.

Да! „Пусть осыпается пурпурный макъ“ передъ лицомъ страшной богини, пусть льется жертвенная кровь, *пусть*. Ибо безсиленъ человѣкъ передъ лицомъ Судіи.

Онъ же, мудрый, онъ же, строгій,
Осудилъ, не облича.
Насъ смутилъ глухой тревогой
Смѣхъ внезапный палача.
. . . . . .

Здѣсь упавъ въ безсильной дрожи,
Въ блескѣ молній и грозѣ,

Гдѣ же мы: на страстномъ ложѣ
Иль на смертномъ колесѣ?

Вотъ вполнѣ законченный Олимпъ, завершенная мифологія человѣка, выхваченнаго у примитивной гармоніи „незоркаго свѣта“, ввергнутаго въ хаосъ и бурю новой жизни.

И въ этой мифологіи найденъ, наконецъ, для него отвѣтъ на неизмѣнно встающій вопросъ:—

Въ дикомъ вихрѣ—кто мы? что мы?

и кто создалъ этотъ дикій вихрь?—

Кто заклятьемъ словъ волшебныхъ
Насъ воззвалъ отъ двухъ дорогъ?

Тутъ, невѣдомый, таинственный, мудрый и строгій,

„Въ блескѣ молній и въ грозѣ“,

встаетъ онъ, неизбѣжный Рокъ—Судія и Палачъ одновременно—какъ отвѣтъ на вопросы смятеннаго духа „случайнаго гостя“ въ мірѣ страсти и борьбы. „Игралище стихій“, стоитъ новый миѳотворецъ, трепещущій передъ грозой чуемой, и въ паническомъ ужасѣ клонится предъ Рокомъ, грядущимъ Судіей.

Въ хаосъ черный
Насъ влечетъ, какъ въ срывъ, стезя.
Споримъ мы иль мы покорны,
Намъ сойти съ пути нельзя.

Роковая стезя предначертана, и безсильны всѣ вновь созданныя боги, миѳы и религіи.

И въ упоеніи и въ страхѣ
Мы, современники, слѣдимъ,
Какъ вьется кость, въ крови и прахѣ,
Чтобъ выпасть знакомъ роковымъ“.

И, въ концѣ концовъ, „въ руки Твои, предаю духъ мой“.

Вы, дѣти пламеннаго дня,
Востаньте смерчемъ, смертнымъ шкваломъ,
Крушите жизнь—и съ ней меня.

Такъ Брюсовъ сталъ пророкомъ новой религіи—*религіи трепета передъ „дѣтьми пламеннаго дня“*.

Обожествленіе своего трепета—это характернѣйшая черта въ идеологіи верховъ современнаго общества. И все міроощущеніе Брюсова насквозь проникнуто чувствомъ неизбѣжной гибели цѣнностей *его* культуры.

Задача его миѳологіи и его религіи—изъ „смертнаго колеса“ этой гибели сдѣлать „страстное ложе“. И ни онъ, ни его слушатели не могутъ требовать большаго отъ Музы современнаго общества.

Тутъ же надо искать и объясненія „все-пріемлющаго“ характера Брюсовской поэзіи. Какъ всякая миѳологія, и миѳологія

созданная городомъ, осажденнымъ „гуннами“, требуетъ распространенія на всю жизнь.

Идолопоклонство пріемлетъ все. То, что непонятно и невѣдомо, что сильно и внѣ его—Богъ, требующій поклоненія.

И поэтъ, перомъ котораго водитъ идолопоклонникъ, воспѣлъ *все*.

Царь Ассаргадонъ и „своеволіе толпы“, Наполеонъ и „пѣснь Робеспьера и Мара“, война за Тихій Океанъ и Хаосъ Революціи, грядущіе гунны и рай мудрецовъ и поэтовъ—равно божественны для идолопоклонника напряженной жизни.

Прекрасенъ, въ мощи грозной власти,
Восточный царь Ассаргадонъ,
И океанъ народной страсти,
Въ щепы дробящій утлый тронъ!

Онъ унизилъ себя до гнуснѣйшаго шовинизма и воспѣлъ авантюру Ассаргадона, потому что въ самой авантюрѣ вдругъ увидѣлъ Россію устремившуюся (!) къ „сродной сердцу стихіи“.

Братъ—Океанъ! ты—какъ мы! дай обнять
Братскую грудь среди вражескихъ становъ.

Вѣрнѣе же потому, что идолопоклонникъ пріемлетъ все, что стало фактомъ въ таинственномъ для него мірѣ чуждой жизни.

И послѣ „Ассаргадона“ воспѣлъ Марсельезу *), когда она стала фактомъ, ибо—

Эта пѣснь—какъ говоръ грома.

Онъ требовалъ молчанія въ 1904 г.—

Вы, ликторы, закройте форумъ!
Молчи, неистовый трибунъ!

А 18-X-905 (какъ услужливо сообщаетъ онъ самъ) призывалъ:—

---

*) Да проститъ меня читатель. Не могу не напомнить хотя бы одного клочка изъ той аналогіи, которая такъ ясно напрашивается, когда слѣдишь за эволюціей переживаній и образовъ В. Брюсова. Впрочемъ, принявшись за рядъ политическихъ темъ, самъ Брюсовъ даетъ и намъ право на моментъ отступить въ эту область. Пусть же винитъ себя! Вы помните-ли лозунгъ П. Б. Струве въ декабрѣ 1904 г., когда Брюсовъ писалъ свой „Тихій Океанъ“ и т. под.; этотъ лозунгъ звучалъ: Да здравствуетъ Армія; и другой лозунгъ 1905 г., когда В. Брюсовъ воспѣлъ Марсельезу: онъ гласилъ: Да здравсуветъ Марсельеза. Мы предоставляемъ читателю самому распространить эту аналогію съ момента внѣшняго, и быть можетъ, кому нибудь (отнюдь не намъ) кажущагося случайнымъ, совпаденія на весь типъ переживаній В. Брюсова и другихъ „созидателей религіи“ предъ лицомъ „гунновъ“. Брюсовъ и Струве и Бердяевъ и Булгаковъ—каждый по своему продѣлали тотъ же путь отъ примитивной гармоніи патріархальнаго быта къ ужасу передъ „дѣтьми пламеннаго дня“. Отъ борьбы съ до-капиталистическимъ бытомъ къ борьбѣ за капиталистическую культуру противъ грядущаго хаоса (иначе „хама“)—таковъ ихъ путь.

На этихъ всѣхъ довольныхъ малымъ,
Вы, дѣти пламеннаго дня,
Возстаньте смерчемъ, смертнымъ шкваломъ,
Крушите жизнь—...

Такъ передъ нами подъ формой богоборца, въ эпоху переодолѣнія всяческихъ боговъ, встаетъ законченный типъ идолопоклонника, „созданнаго Городомъ. Тутъ на лицо всѣ элементы рабской религіи: недоступная тайна и чувство полной зависимости отъ нея вплоть до преклоненія передъ лицомъ неизбѣжнаго Рока. Такъ на вершинахъ культуры, на той ступени, гдѣ носители ея, казалось, стали хозяевами жизни, возродилась религія дикарей.

Созданъ Богъ, сотворена миѳологія. Почему же недавній кузнецъ—дробитель старыхъ идоловъ—изъ ихъ осколковъ создалъ себѣ новаго Бога? Гдѣ же та стихія, что превратила былого раціоналиста въ идолопоклонника, что заставила затрепетать недавняго борца противъ Ласковаго Старика? Что вновь поставило его лицомъ къ лицу съ сознаніемъ, съ предчувствіемъ неизбѣжной гибели, что заставило его, желавшаго быть пѣвцомъ напряженнѣйшей жизни, воспѣть страстное ложе „смертнаго колеса"? Что породило новаго Бога и новую мифологію, *новую религію, задача которой обожествить и сдѣлать прекраснымъ трепетъ неизбѣжно-гибнущихъ*? Гдѣ тотъ мечъ, о которомъ знаетъ поэтъ, что онъ его не минетъ, то пламя, которое сожгло его душу, гдѣ тотъ Судія и Палачъ, что его „смутилъ глухой тревогой"?

Міръ завѣтный, міръ прекрасный
Сгибнетъ въ безднѣ роковой—

изъ этого предчувствія поэта родился Богъ, и ризы его сотканы изъ того трепета, что охватилъ поэта, когда ощутилъ онъ „грядущихъ гунновъ",

Что тучей нависли надъ міромъ!—

когда услышалъ ихъ „топотъ чугунный".

Какъ создано Городомъ напряженіе жизни, воспѣтое Брюсовымъ, такъ Городомъ же созданы и его Богъ и его религія, слившая воедино „страстное ложе" п „смертное колесо", тѣмъ Городомъ, у стѣнъ котораго раздался „топотъ чугунный" „грядущихъ гунновъ", у ногъ котораго *вдругъ* разверзлась бездна, „хаосъ черный"

„Грядущій гуннъ", „ликъ Медузы"

— . . . ликъ грозящій

что

Всталъ надъ далью темныхъ дней.

Гордый Духъ—

. . . . съ мечомъ,
Какъ черный нетопырь—крылатый,
Но ликомъ схожій съ божествомъ,—

вожатый уличнаго митинга—все это мифологія идолопоклонника, чувствующаго пришествіе новой силы и ея враждебность, но все это—грозные идолы, внѣшняя, несмысленная сила. Инымъ и не можетъ быть то, что воспринимается какъ Рокъ.

Такъ тайна невѣдомыхъ стихій раскрылась въ грядущемъ хаосѣ, въ гуннахъ, которые затопчутъ „рай", и отсвѣты грядущаго пожара, который не можетъ быть осмысленъ Брюсовымъ, легли на всѣ его переживанія, лежа въ основѣ всей его поэзіи, ея скульптурности и ея жертвеннаго характера.

* * *

Гордая похвала поэта—

Изъ жизни блѣдной и случайной
Я сдѣлалъ трепетъ безъ конца—

поистинѣ похвала неоправданная. Поэтъ-идолопоклонникъ лишь трепеталъ безъ конца передъ напряженностью жизни, созданной ея дѣйствительными творцами, дѣтьми пламеннаго дня.

Вырвавшись изъ объятій примитивной гармоніи, поэтъ оказался захваченнымъ напряженностью Города. И его обѣ послѣднія книги созданы Городомъ. Въ немъ заблудился поэтъ, какъ дикарь въ первобытной природѣ, его обожествилъ, ему поклонился, его воспѣлъ, у него взялъ свои образы, его стихіямъ, чуждымъ, таинственнымъ, отдалъ себя. Что бы ни пѣлъ поэтъ—онъ поетъ одно: величайшую напряженность жизни, впервые созданную Городомъ. Онъ сталъ рабомъ Города, пѣвцомъ его напряженности, и Городъ отразился въ немъ, какъ чудовищная тропическая буря въ трепещущей и смятенной душѣ первобытнаго человѣка: единымъ, властнымъ, роковымъ, которому можно отдаться, которымъ нельзя овладѣть, который несетъ въ себѣ неотвратимую гибель. То, что создали „дѣти пламеннаго дня", что въ ихъ рукахъ матеріалъ для постройки, что они творятъ и сокрушаютъ или чѣмъ овладѣваютъ и покоряютъ подъ нози—изъ этого создалъ поэтъ идола. Идолопоклонникъ—онъ пріемлетъ все, что отъ Города. Творцы—„дѣти пламеннаго дня"—создали Городъ. Поэтому-то мы сказали: выходецъ изъ другого міра, поэтъ не попалъ и не могъ попасть въ ногу съ побѣдоносными молотобойцами. Между ними пропасть—пропасть между дающимъ и пріемлющимъ, создателемъ и зрителемъ, завороженнымъ и подавленнымъ твореніемъ. Они творятъ одно и сокрушаютъ другое,—онъ пріемлетъ *все*. Онъ пѣвецъ Города, но не творцовъ и не истинныхъ хореевъ его. „Дѣти пламеннаго дня" создали напряженность жизни въ Городѣ, сдѣлали изъ него вулканъ, кипящій лавой,—онъ—лишь неосторожно подошедшій къ вулкану. Они напитали его созданія страстью и напряженностью, его образы созданы изъ кипящей лавы Города, но его собственные образы давятъ его, они—внѣ его, и онъ знаетъ лишь одинъ завѣтъ относительно нихъ:

Молись! распростертый надъ чуждой жизнью, тамъ гдѣ лозунгъ и завѣтъ: Твори—въ борьбѣ новую жизнь! Передъ стихіей города его уста шепчутъ: Покорствуй!—тамъ, гдѣ „дѣти пламеннаго дня“ знаютъ лишь завѣтъ: Овладѣй!

Такъ лежитъ пропасть между творцами Города и идолопоклонниками въ городѣ.

И нѣтъ ничего естественнѣе, что идолопоклонники, измученные напряженностью, трепещущіе чуждыхъ стихій вдругъ проникаются неизъяснимой, мучительной жаждой по старой гармоніи.

И вдругъ такимъ недостижимымъ
Представился мнѣ домъ родной,
Съ его всходящимъ тихо дымомъ
Надъ высыхающей рѣкой!

И раздастся тогда жуткая молитва о тишинѣ и покоѣ—

Я жить усталъ среди людей и въ дняхъ,
Усталъ отъ смѣны думъ, желаній, вкусовъ...—

—

Гдѣ ты, дѣва тишина,
Жизнь безъ жажды и безъ думы!..

И вотъ-то поетъ тайная мечта:—

О, если бъ все забыть, быть вольнымъ, одинокимъ,
Въ торжественной тиши раскинутыхъ полей,
Итти своимъ путемъ, безцѣльнымъ и широкимъ,
Безъ будущихъ и прошлыхъ дней.
. . . . . .

Упасть, и умереть и утонуть во мракѣ.

Жуткое раскаянье охватитъ душу, порвавшую со Старикомъ и такъ искренне запроситъ она его улыбки и заплачетъ у рукъ его.

Но нѣтъ дороги назадъ, къ „высыхающей рѣкѣ“.

Я путешественникъ случайный,
На подвигъ трудный обреченъ.
Мститъ лабиринтъ! Святыя тайны
Не выдаетъ пришельцамъ онъ.

Да не узнаютъ „святыхъ тайнъ“ идолопоклонники, вмѣстившіе въ души свои Ассаргадона и Мара, надъ коими почила „улыбка“ Ласковаго Старика и кто уже услыталъ „топотъ чугунный“ „грядущихъ гунновъ“.

И не найдутъ они выхода изъ „лабиринта“.

Н не индивидуальная эта судьба:

Мой факелъ пальцы мнѣ обжогъ.
Завѣсой сумерки упали.
Въ бездонномъ мракѣ нѣтъ дорогъ.—

Даже дороги назадъ. Туда, въ покинутый въ дерзости міръ амбара, куда влекутъ ихъ тайныя мечты. Тотъ міръ умеръ, и

надъ его пепелищемъ стоитъ теперь Городъ, городъ дѣтей пламеннаго дня и городъ трепещущихъ этого дня, городъ творцовъ и грядущихъ побѣдителей и городъ выходцевъ изъ амбара, у которыхъ прошлое—плѣнительная, но невозвратная мечта, будущее—крушеніе жизни, настоящее—жизнь на вулканѣ.

Нѣтъ „Города"—есть Городъ творимый и Городъ сокрушаемый. Напряженная кипитъ борьба между двумя Городами. Другъ противъ друга стоятъ творцы грядущаго и, казалось, такъ комфортабельно устроившіеся пѣвцы настоящаго. Но качаются опоры и оживаетъ въ мечтахъ живущихъ на вулканѣ образъ Ласковаго Старца и, обреченные гибели, становятся они идолопоклонниками. И создаютъ они своего поэта, который воспоетъ имъ ихъ смерть передъ лицомъ грядущей и враждебной стихіи, который попытается сдѣлать самое смерть и исчезновеніе признакомъ силы и напряженности жизни. Но какъ бы ни умирали они, обратившись вспять къ Ласковому Старику, подъ ласкающіе и успокаивающіе звуки „Вечеровыхъ пѣсенъ" *) или открывъ свою грудь стрѣламъ неминуемаго Рока, въ послѣдней борьбѣ за свой „рай" противъ грядущаго „Аттилы", какъ „Послѣдніе Мученики" **), въ послѣдней оргіи передъ лицомъ возставшаго будущаго—они умрутъ. Ибо есть выходъ изъ современнаго Города—выходъ этотъ въ овладѣніи имъ, въ покореніи его. Но онъ—для творцовъ. Берущіе, но не созидающіе, предчувствующіе будущее и трепещущіе его—способны лишь создать идоловъ изъ собственнаго трепета. И творецъ новаго Города сокрушитъ идолопоклонниковъ, какъ Городъ нынѣшняго дня сокрушилъ Ласковаго Старика. Тогда умретъ и мифологія, созданная раціоналистами, сдѣлавшимися идолопоклонниками передъ лицомъ „грядущихъ гунновъ".

3. „СКВОЗЬ ГРОБА".

Ихъ идолы украшали великолѣпнымъ саркофагомъ могилу почившаго Старика. И это останется за Брюсовымъ. Онъ былъ прекраснымъ архитекторомъ изъ не имъ данныхъ элементовъ построившій чудесный міръ образовъ напряженной жизни на могилѣ примитивной гармоніи. Онъ праздновалъ торжественную тризну, и въ тотъ моментъ съ нимъ слились голоса всѣхъ, кто возсталъ противъ „незоркаго свѣта". Онъ остался въ этомъ мірѣ прекрасной скульптуры и тогда, когда міръ, вырвавшійся изъ объятій Старика, раскололся и разошелся по двумъ станамъ. И новое возстаніе духа противъ новыхъ боговъ застало его у

---

*) Первый отдѣлъ „Вѣнка".
**) „Земная ось".

ихъ капищъ. Расколъ въ городѣ отразился на немъ лишь тѣмъ что изъ образовъ напряженной жизни онъ создалъ идоловъ и заклалъ передъ ними жизнь. Онъ все воевалъ со Старикомъ, не замѣтивъ, что грядетъ новое творчество. И когда оно стукнуло въ его окно, оно оказалось ему чуждымъ. Такъ опять, вторично, опустошилъ Брюсовъ жизнь: раньше во имя „сонаго познанія", теперь во имя трепета передъ Рокомъ. И чѣмъ напряженнѣе была борьба, чѣмъ ярче врывались лучи изъ грядущаго міра въ тотъ міръ, гдѣ жила скульптура Брюсова, тѣмъ горячѣе молился онъ своимъ идоламъ, тѣмъ прекраснѣе казалась ему смерть у ихъ подножья. Онъ въ новомъ мірѣ сталъ не творцомъ жизни, а ея запуганнымъ и трепещущимъ рабомъ. А когда „гунны" оказались у стѣнъ, въ его душѣ пробудилась жажда покоя и мира, и образъ такъ торжественно похороненнаго Старика повѣялъ неизъяснимой прелестью. Такъ пѣснь его стала пѣснью тѣхъ, кто, побѣдивъ Старика, лишь на мгновенье захватили жизнь, лишь одинъ моментъ могли держаться на ея вершинахъ. Когда же раскрылись дали, сверкнули лучи—они ослѣпли и, трепещущіе, превратили орудія битвъ въ идоловъ и застыли передъ ними колѣнопреклонные.

Впереди — „гунны", позади — „Старикъ"; такъ безсильныя стоятъ они, отторгнутыя отъ стараго, убоявшіеся новаго и заклинаютъ неизбѣжный рокъ, сметающій *ихъ* Городъ. И Новый Городъ созданъ будетъ безъ нихъ и вопреки имъ, ибо превратили они орудія борьбы со Старикомъ въ орудіе новаго опустошенія жизни.

Таковъ путь величайшаго изъ поэтовъ современности въ Россіи. И путь этотъ не индивидуаленъ.

Въ 90-хъ годахъ надъ умами русской интеллигенціи имѣла громадную власть одна формула, созданная впервые Михайловскимъ, повторенная лишь съ обратнымъ знакомъ г. Мережковскимъ демонстрированная г. Бердяевымъ въ его первой книжкѣ.

Формула эта гласила: „Отцы въ политикѣ были—народниками, въ искусствѣ—реалистами, въ религіи—позитивистами. Дѣти въ политикѣ—марксисты, въ искусствѣ—символисты, въ религіи—мистики". Эта формула, пытавшаяся найти тайное единокровіе между параллельно развивавшимися идейными теченіями, на самомъ дѣлѣ хотѣла объединять глубоко-различныя явленія городской Руси. Дѣти, какъ ясно теперь для всѣхъ, какъ съ самаго начала было ясно для нѣкоторыхъ, были разные и пошли разными путями. Они вышли изъ разныхъ становъ и вскорѣ встрѣтились врагами. И города, которые воздвигали они, были разными городами. „Дѣти пламеннаго дня" и сыны амбара, Павлы Власовы и сверхъ-человѣки воспитавшіеся въ школѣ Тараса Маякина—два чуждые міра. Одни идутъ къ творчеству, другіе

къ идолопоклонству. Одни создаютъ Городъ будущаго, другіе пытаются заклясть тѣхъ духовъ, что стали передъ ними и съ которыми имъ не справиться. Такъ грядущій пламенный день ужъ теперь изсушилъ творчество „блудныхъ сыновъ“ Старика.

„Буржуазія, гласитъ Манифестъ Коммунистовъ, сыграла въ исторіи въ высшей степени революціонную роль“.

Это не относится къ буржуазіи россійской. У нея не было эпохи революціонной молодости. Она пережила ее лишь идеологически—въ творчествѣ Валерія Брюсова. Что жъ—тѣмъ хуже для буржуазіи, тѣмъ лучше для В. Брюсова.

„Буржуазія сорвала сіяніе святости со всѣхъ дѣяній почитавщихся до тѣхъ поръ и окруженныхъ богобоязненнымъ трепетомъ“—продолжаетъ Манифестъ. Это и пыталась сдѣлать поэзія В. Брюсова, въ тотъ моментъ, когда его литературная молодость замѣщала революціонныя способности россійской буржуазіи.

Но это длилось одно мгновеніе и кануло въ прошлое. И тогда В. Брюсовъ во главѣ другихъ воспѣлъ „сіяніе святости“ и „богобоязненный трепетъ“ передъ лицомъ „грядущихъ гунновъ“.

Въ Валеріи Брюсовѣ русская буржуазія пережила свою идеологическую молодость и нашла пѣвца своего реальнаго трепета и фатальнаго Рока.

Повторяемъ: Города, что воздвигли „дѣти“, разные города. И „сквозь гроба“ однихъ дѣтей пройдутъ другіе—„дѣти пламеннаго дня“—къ возрожденію жизни, опустошенной рабами Старика и Идоловъ.

. . . Отъ возрожденья
Къ возрожденью, сквозь гроба!

Ю. Каменевъ.

П. Юшкевичъ.

О современныхъ философско-религіозныхъ исканіяхъ.

I.

Въ ряду другихъ проблемъ, которыми интересуется въ настоящее время общество, не послѣднее мѣсто занимаютъ религіозные вопросы. Мистицизмъ и все мистическое стали пользоваться теперь довольно большимъ почетомъ и популярностью. Мы имѣемъ уже мистическій анархизмъ Вяч. Иванова и Г. Чулкова, мистическій эмпиризмъ Н. Лосскаго, мистическій реализмъ Н. Бердяева, своего рода „мистическій" синдикализмъ гг. Мережковскаго и Философова,—не говоря о другихъ разновидностяхъ „мистицизма", не нашедшихъ еще нужнымъ выдумать для себя особое звучное наименованіе. Подъ знакомъ мистицизма находятся вліятельныя философскія и литературныя теченія; мистика стала въ нѣкоторомъ родѣ универсальной категоріей современнаго сознанія, почти такой же всеобщей, какъ и стилизація, безъ которой, какъ извѣстно, нельзя теперь ступить и шагу.

Говоря о современномъ сознаніи, я не желалъ бы, однако, быть понятымъ въ томъ смыслѣ, что пріурочиваю наши философско-религіозныя исканія именно къ данному моменту или что я ставлю ихъ въ исключительную связь съ переживаемой нами по всей линіи реакціей. Реакція, усиливъ это явленіе, не породила, все-таки его; реакція дала лишь возможность „обществу" и въ этомъ вопросѣ, какъ и во многихъ другихъ, продолжать линію своего развитія, намѣтившуюся очень давно, за долго-за долго до революціонныхъ бурь. Событія послѣдняго времени вытравили изъ нашей памяти очень многое. Сквозь призму революціи—въ отличіе отъ обыкновенныхъ призмъ—прошлое кажется теперь гораздо одноцвѣтнѣе и однотоннѣе, чѣмъ оно было въ дѣйствительности. Между тѣмъ и тогда—правда, въ менѣе острой и уродливой формѣ—царила необычайная пестрота и смятенность „исканій", приводившая въ недоумѣніе профессіональныхъ лѣтописцевъ россійскихъ настроеній—критиковъ и публицистовъ. Это было бы не трудно показать, взявъ дня сравненія съ теперешними, общественно-литературныя злобы дня непосредственно предреволюціонныхъ годовъ.

Въ частности примѣнимо это замѣчаніе къ религіознымъ проблемамъ. Вопросы, дебатировавшіеся нѣсколько лѣтъ назадъ, разбираются почти въ той же постановкѣ и теперь; тѣ же лица принимаютъ участіе въ выработкѣ новаго „религіознаго сознанія"; религіозно-философское общество, возобновившее въ этомъ году свою дѣятельность, начало ее чуть ли не на томъ же абзацѣ, на которомъ придушилъ его работу Плеве.

Есть, впрочемъ, одинъ или даже два новыхъ штриха, внесенныхъ революціей въ эту знакомую картину. Первый—это заигрываніе (говоря безъ умысла обидѣть кого бы то ни было) нѣкоторыхъ изъ нашихъ мистиковъ съ крайними лѣвыми соціальными теченіями. Объ этомъ достаточно громко говорятъ ужъ одни такія названія, какъ „мистическій анархизмъ" или „соціалъ-гуманизмъ", построенный г. Минскимъ по образцу соціалъ-демократизма, но отличающійся отъ него, по мысли автора, своимъ религіознымъ моментомъ (см. его статью „Идея русской революціи" въ „Перевалѣ", 1907 г., № 1, 2, 3). Но это увлеченіе лѣвыми теоріями такъ же мало серьезно, какъ, напримѣръ, былое увлеченіе г. Мережковскаго мистической, по его тогдашнему мнѣнію, идей самодержавія (см. его предисловіе ко 2-му тому книги о „Толстомъ и Достоевскомъ"). Въ качествѣ симптома оно, пожалуй, и знаменательно. Но не больше. По существу же это „беллетристика", какъ и вообще масса беллетристики въ мистикѣ всѣхъ этихъ *ex*-беллетристовъ и поэтовъ.

Вторая новая черточка имѣетъ уже болѣе реальное значеніе. Я имѣю въ виду тотъ успѣхъ и ходкость мистико-религіозныхъ идей, о которой упоминалось въ началѣ статьи. Мистика, ютившаяся когда-то въ заднемъ углу, чуть ли не на задворкахъ литературы, едва терпимая, комфортабельно расположилась теперь въ лучшихъ покояхъ. Она своя на страницахъ читаемыхъ публикой журналовъ, она допускается на столбцы радикальной прессы, она имѣетъ за собой часть молодежи, имѣетъ свой уголъ въ университетѣ, на курсахъ, повсюду. Мистика „побѣдила", какъ побѣдили въ своей области декаденты, какъ побѣдили—беря опять таки совсѣмъ иную область—кадеты, не подчинившіеся, вопреки требованіямъ нѣкоторыхъ лѣвыхъ теоретиковъ, гегемоніи пролетаріата. Эти побѣды—при всемъ ихъ различіи—представляютъ собой, однако, явленіе одного порядка. Всѣ онѣ продукты огромнаго и длительнаго процесса европеизаціи Россіи, европеизаціи, на пользу которой, не смотря на свою неудачу, пошла въ конечномъ счетѣ и революція. *)

---

*) Говоря объ европеизаціи Россіи въ примѣненіи къ вопросу о мистицизмѣ, я имѣю въ виду, главнымъ образомъ, двѣ стороны этого многограннаго и крайне сложнаго процесса: *дифференціацію* нашей прогрессивной интеллигенціи и—прибѣгая къ очень неуклюжему, но сокращающему изло-

Современный мистицизмъ успѣлъ породить довольно обширную литературу. Въ немъ намѣтились уже нѣсколько теченій со своими индивидуальными особенностями и частностями. Но въ предлагаемой статьѣ всѣ эти частности отдѣльныхъ ученій, да и вообще „ученія“ мистицизма будутъ оставлены въ сторонѣ. Детализировать анализъ не позволяетъ прежде всего размѣръ статьи. Но и помимо того „догматика“ различныхъ мистическихъ теченій можетъ представлять интересъ лишь для ихъ творцовъ и единомышленниковъ, оставаясь для сторонняго читателя мертвой буквой. Въ этой положительной части своихъ умозрѣній господа мистики добровольно стали „по ту сторону“ логики и отрѣзали возможность какой бы то ни было бесѣды съ ними. Чтобъ убѣдиться въ этомъ достаточно двухъ—трехъ примѣровъ.

Вотъ г. Бердяевъ, который пишетъ, что „быть можетъ, логическіе законы, которые держатъ насъ въ тискахъ—это лишь болѣзнь бытія, дефектъ самаго бытія, какъ бы результатъ грѣхопаденія. Недоразумѣніе эмпирическаго міра есть заболѣваніе бытія, и эту коросту, покрывшую лицо Міра, наука вполнѣ реально познаетъ. Но не въ болѣзни (явленіе матеріи) сущность лица, и кромѣ патологіи (науки) есть еще физіологія (метафизика и религія), которая познаетъ здоровое тѣло міра. Разсудку мы противоставляемъ разумъ, эмпирикѣ—опытъ въ его мистической полнотѣ“ („Sub epecie aetrnitatis“, с. 436). Вѣдь ясно, что этими немногими словами г. Бердяевъ зажалъ ротъ всякому своему возможному оппоненту изъ числа „позитивистовъ“.

Или что можно отвѣтить г. Мережковскому, который закончилъ свое изслѣдованіе о Толстомъ и Достоевскомъ апокалиптическими пророчествами о концѣ русской литературы и даже концѣ міра: „Сила наша въ томъ,—писалъ онъ тогда,—что никакимъ соблазномъ безконечной середины, безконечнаго „прогресса“, не соблазнитъ насъ самый могущественный и современный изъ діаволовъ. Мы не примемъ никакой середины, ибо вѣримъ въ конецъ, видимъ конецъ, хотимъ конца, ибо мы сами—коненъ, или, по крайней мѣрѣ, начало конца“ (с. 530). Такія рѣчи остается только почтительно—или непочтительно: какъ кому вздумается—слушать, но и только. Обмѣнъ мыслей и здѣсь безусловно невозможенъ.

Еще только года два назадъ г. Бердяевъ отнесся довольно скептически къ этимъ пророчествамъ г. Мережковскаго: „не слишкомъ ли рано, спрашивалъ онъ въ то время, почувство-

---

женіе, термину—*урбанизацію* страны, т.-е. процессъ нарожденія Города,—города не въ административномъ и не географическомъ смыслѣ слова, а въ смыслѣ того своеобразнаго соціальнаго явленія, какимъ является современный европейскій большой городъ.

валъ Мережковскій близость конца, не слишкомъ ли многое должно еще совершиться, достаточно ли свободенъ міръ для послѣдняго акта?" („Sub specie", с. 368). Но, очевидно, за эти два года, по мнѣнію г. Бердяева, совершилось уже все, что необходимо для „преображенія" міра, и въ послѣдней своей книгѣ („Новое религіозное сознаніе и общественность") г. Бердяевъ пророчествуетъ уже не хуже г. Мережковскаго. „Думаю,—пишетъ онъ, какъ и всегда, въ торжественномъ стилѣ,—что не только Россія, но и весь міръ сейчасъ стоитъ у порога религіознаго возрожденія, которое не можетъ ограничиться церковной реформаціей, воспринявшей соціальный реформизмъ, но должно быть непремѣнно мистическимъ переворотомъ, давно уже назрѣвавшимъ, переходомъ къ новому фазису діалектики бытія, раскрывающему міру полностью природу Божества въ синтезѣ Троичности—измѣненіемъ космическаго порядка, а не въ человѣческой только организаціи и человѣческихъ чувствахъ" (с. 203).

Сущность предстоящаго намъ мистическаго переворота поясняется г. Бердяевымъ нѣсколько дальше: „въ теократіи,—читаемъ мы здѣсь,—начинается окончательное освобожденіе отъ матеріи, отъ закона необходимости, начинается преображеніе природы по образцу божественной красоты. Только въ теократіи совершается чудо, но чудо отъ вѣры; отъ волевого устремленія къ Богу горы сдвигаются съ мѣста и ясно станетъ, что желѣзная необходимость и закономѣрность природы есть только ея болѣзнь; короста (дались же г. Бердяеву эти накожныя болѣзни бытія!), покрывшая тѣло міра и такъ поразившая эмпирическую науку, есть излѣченіе міра". (с. 223).

Тамъ, гдѣ горы начинаютъ двигаться отъ одного волевого устремленія мистика, тамъ вообще почва не очень надежная для какихъ бы то ни было дискуссій съ нимъ. Намъ придется поэтому рѣшительно отказаться отъ удовольствія излагать и обсуждать догматическое ученіе г. Бердяева о грядущемъ царствѣ теократіи, о метафизикѣ пола и пр.

Столь же мало вразумительна и богословская схоластика г. Булгакова, серьезно увѣровавшаго, будто система Вл. Соловьева это вѣнецъ и предѣлъ развитія философіи. Мы поэтому ни слова не скажемъ по поводу всѣхъ его метафизическихъ размышленій о Логосѣ, о міровой душѣ, о Софіи и прочихъ важныхъ матеріяхъ. Точно также оставимъ мы въ сторонѣ претендующее на оригинальность и глубокомысліе ученіе г. Минскаго о мэонахъ, какъ и велерѣчивыя и часто пышно-порожнія разсужденія Вяч. Иванова о мистическпмъ анархизмѣ, и пр. и пр.

Le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas—„у сердца свои доводы, незнакомые разуму",—это изреченіе Паскаля, служившее когда-то девизомъ нашихъ идеалистовъ, повидимому, вошло окончательно въ плоть и кровь современныхъ мистиковъ

пути логики которыхъ стали рѣшительно неисповѣдимы. Но и движенія „сердца“—при всей ихъ ирраціональности—имѣютъ свои „резоны“, свои объясняющія ихъ достаточныя основанія, вскрыть которыя въ состояніи „разумъ“. Этой именно задачѣ, т.-е. анализу причинъ, порождающихъ современныя мистическія исканія, и будетъ посвящено дальнѣйшее изложеніе. *)

II.

Въ любопытной и красиво написанной статьѣ, являющейся апологіей 60-хъ годовъ („Новый Путь“, 1903 г., № 2, „60-ые годы и утилитарная критика“). В. Розановъ, подъ вліяніемъ, очевидно, гейневской мысли о двухъ основныхъ типахъ человѣчества—„іудейскомъ“ и „эллинскомъ“—проводитъ дѣленіе эпохъ на монотеистическія, „суровыя, какъ древній Израиль“, и политеистическія, „свѣтлыя, какъ Эллада, и разнообразныя, какъ она“. Шестидесятые годы, разумѣется, съ этой точки зрѣнія оказываются монотеистическими, эпохой объ одномъ богѣ“, какъ выражается дальше г. Розановъ.

Для характеристики 60-хъ годовъ—да и не однихъ только шестидесятыхъ годовъ—это опредѣленіе очень удачно, хотя дѣло здѣсь не въ отсутствіе въ ту эпоху „разнообразія“, какъ можно было бы истолковать слова г. Розанова. Дѣло здѣсь именно въ „суровости“ эпохи, въ ея пуританизмѣ, ревниво требовавшемъ, чтобы всѣ помыслы были направлены на служеніе единому богу. Разнообразныя проблемы у насъ никогда не переводились, такъ какъ для нашей литературы дѣло шло всегда о выработкѣ опредѣленнаго міросозерцанія у своего читателя, и потому, въ зависимости отъ момента, она занималась и идеализмомъ Гегеля, и матеріализмомъ Фейербаха, и эволюціонизмомъ Спенсера, и вопросомъ объ искусствѣ, и проблемой пола, и т. д. Но всегда всѣ эти теоріи—даже самыя сѣрыя—были окрашены въ яркій цвѣтъ практицизма, „утилитарности“, всегда онѣ такъ или иначе—иногда самымъ удивительнымъ образомъ—соединялись съ практической злобой дня, съ проповѣдью на тему этой злобы. У В. Соловьева встрѣчается гдѣ то остроумное замѣчаніе о шестидесятыхъ годахъ. Я забылъ это замѣчаніе въ его подлинномъ видѣ, но помню его логическій остовъ, кото-

*) Во избѣжаніе недоразумѣній замѣчу, что предлагаемый очеркъ не претендуетъ на полное и обстоятельное изслѣдованіе корней мистицизма. Наоборотъ, я вполнѣ сознательно абстрагирую отъ всей сложности исторической дѣйствительности, чтобъ дать, если можно такъ выразиться, критику *чистаго* мистицизма, мистицизма, поскольку въ немъ есть безкорыстные и чистые отъ явныхъ или скрытыхъ классовыхъ вожделѣній элементы. Но и въ этихъ, гораздо болѣе узкихъ рамкахъ, мнѣ пришлось быть очень схематичнымъ.

рый былъ приблизительно таковъ: „человѣкъ происходитъ отъ обезьяны, ergo—разсуждали 60-ые годы—люби ближняго, какъ самого себя“. И такъ оно было всегда: сегодня дѣло идетъ о колпакѣ Егора Ѳедоровича, завтра о происхожденіи человѣка отъ обезьяны или о томъ, что „мозгъ выдѣляетъ мысль такъ же, какъ печень желчь“,—но результатъ удивительнымъ образомъ получался всегда одинъ и тотъ же—именно, что надо положить животъ свой за други своя.

Европеизація Россіи и выразилась идеологически прежде всего въ переходѣ общества къ „многобожію“, въ нарожденіи множества самостоятельныхъ интересовъ, подиннявшихся прежде у народолюбивой интеллигенціи одной опредѣленной цѣли. Наряду съ народолюбивой интеллигенціей появилась новая интеллигенція, не-народолюбивая, себялюбивая, такъ сказать, самодовлѣющая, которую вопросы искусства, философіи и пр. стали занимать исключительно an und für sich и которая совсѣмъ не интересовалась ихъ прикладной стороной.

Поворотнымъ пунктомъ въ этомъ отношеніи является начало 90-хъ годовъ, со времени которыхъ и пошла—пользуясь выраженіемъ Михайловскаго—„литературная смута“ или „усложненіе жизни“, какъ заговорили нѣсколько лѣтъ спустя, на рубежѣ вѣка. Но подготовлялся этотъ переломъ еще въ эпоху 80-хъ годовъ, явившихся вообще критическими для старой деревенской Руси. Именно съ 80-хъ годовъ датируетъ кризисъ народолюбія—т. е. точнѣе мужиколюбія. Достаточно вспомнить хотя бы негодующія рѣчи „человѣчка“ Успенскаго о мужикѣ, заполнившемъ собой все и не дающаго спокойно пожить и вдохнуть: „Мужикъ, мужикъ, мужикъ—не унимался онъ—нѣтъ, нѣтъ. Бога ради! Дольно, довольно, довольно! Позвольте и намъ, и намъ, и намъ“! Что бы ни дѣлалъ „человѣчекъ“, гдѣ бы онъ ни былъ—на ужинѣ ли въ ресторанѣ, въ театрѣ ли на Жюдикъ, разсматривалъ ли онъ картину, на которой изображена голая патриціанка — все вызывало въ немъ бурный протестъ: „Да, довольно, довольно, довольно! Мужикъ, мужикъ, мужикъ... И намъ, и намъ, и намъ“...

Это „и намъ, и намъ“!—не всегда разумѣется, такое обнаженное, часто окруженное довольно сложнымъ идеологическимъ узоромъ—стало боевымъ лозунгомъ для намѣтившейся новой полосы русской общественности, начиная съ человѣчка 80-хъ годовъ и кончая современными человѣчками, уже вполнѣ увѣреннымъ голосомъ потребовавшими, чтобы изъ литературы и журналистики разъ навсегда убрали вопросы соціально-политическаго характера. И всѣ эти человѣчки по-своему правы, и даже больше, чѣмъ по своему—они объективно правы. За ихъ спиной стоитъ исторія, сказавшая уже свое властное: „по шатрамъ, Израиль“! Первобытный періодъ исторіи русской интеллигенціи кончился, единство идей и настроеній рушилась—остальное вытекаетъ отсюда вполнѣ естественно.

На почвѣ этой дифференціаціи интеллигенціи и какъ одно изъ производныхъ отъ нея возникли и религіозно-философскія исканія нашего общества.

Въ „монотеизмѣ“ 60-хъ годовъ характеренъ былъ не только „монизмъ“ ихъ настроенія, но и «теистичность“ его. Они, дѣйствительно, были эпохой „объ одномъ богѣ“, богѣ съ маленькой буквы, но, въ концѣ концовъ, все-таки нѣкоторомъ богѣ. Въ народолюбіи нашей интеллигенціи нельзя отрицать извѣстнаго характера религіозности, понимая это слово, разумѣется, широко, а не въ смыслѣ опредѣленнаго догматическаго вѣроученія. Въ этомъ широкомъ смыслѣ слова часто говорятъ объ интеллигентской религіи прогресса, о практическомъ идеализмѣ русской интеллигенціи, замѣнявшемъ у ней философскій и религіозный идеализмъ, и пр. Хотя эти характеристики исходятъ обыкновенно изъ лагеря идеалистовъ и мистиковъ, но въ нихъ, несомнѣнно, много вѣрнаго, поскольку дѣло идетъ не о религіи-вѣроученіи, а о *религіи-интенсивномъ чувствѣ связи* (religio—*связь*) *личности съ универсальнымъ, коллективнымъ бытіемъ* *).

Что такое религія? Отвѣтить на этотъ вопросъ крайне трудно, ибо религія—одинъ изъ самыхъ сложныхъ и запутанныхъ соціо-

*) По поводу употребленнаго мною здѣсь слово „религія“ мнѣ могутъ указать на слѣдующее ядовитое замѣчаніе Энгельса:

„Слово „религія“ происходитъ отъ „religare“—соединять и потому означаетъ первоначально „связь“. Эти замысловатыя этимологическія построенія представляютъ послѣдній выходъ для идеалистической философіи. Важно значеніе слова но его словопроизводству, а не потому употребленію, которое оно пріобрѣло въ своемъ историческомъ развитіи. Половая любовь и половыя отношенія связываются (у Фейербаха, противъ котораго все это направлено) словомъ „религія“ просто для того, чтобы изъ языка не исчезло окончательно это слово, столь дорогое по связаннымъ съ нимъ идеалистическимъ воспоминаніемъ. Точно также говорили въ 40-хъ годахъ реформисты школы Луи Блана, которые считали человѣка безъ религіи чудовищемъ и говорили намъ: Donc l'athéisme c'est votre réligion“. „Итакъ, ваша религія—атеизмъ“). Фейербахъ держался того же взгляда, однако его религія и религія въ общепринятомъ смыслѣ слова—двѣ вещи разныя. Если Фейербахъ хочетъ положить въ основу истинной религіи дѣйствительное матеріалистическое міровоззрѣніе, то это все равно, что считать современную химію истинной алхиміей. Если религія можетъ существоватьбезъ Бога, то и алхимія могла бы существовать безъ философскаго камня“ (Ф. Энгельсъ: „Отъ классическаго идеализма къ діалектическому матеріализму“, изд. Е. М. Алексѣевой с. 29).

О томъ, что существуютъ религіи безъ Бога, свидѣтельствуетъ такой крупный соціологъ, какъ Э. Дюркгеймъ (см. его „De la division du travail“ с. 182, и также статью объ „опредѣленіи религіи“ въ выходящемъ подъ его редакторствомъ ежегодникѣ „L'année sociologique“ за годъ 1897—98).

Но это, конечно, мелочь. По существу же дѣло идетъ для меня не о томъ, чтобъ на коллективныя чувства связи наклеить ярлыкъ „религія“, а о томъ, чтобъ въ религіи, какъ вѣроученіи, указать небесную проэкцію весьма реальныхъ земныхъ чувствъ. Религія, какъ вѣроученіе, это псевдо-связь съ универсальнымъ бытіемъ. Пользуясь примѣромъ Энгельса, для меня важно не химію опредѣлить истинной алхиміей, а наоборотъ, алхимію—ложно направленной химіей.

логическихъ феноменовъ, имѣющій массу питающихъ его корней. Но несомнѣнно, что въ происхожденіи и развитіи у человѣка религіознаго чувства огромную роль играетъ чувство связи, чувство общности съ окружающимъ, и это, можетъ быть, и составляетъ реальное, жизненное значеніе религіознаго факта. Религіозныя чувства это, обыкновенно, наиболѣе общія всѣмъ, наиболѣе коллективныя чувства; и, наоборотъ, почти всѣ коллективныя чувства извѣстной степени интенсивности, являющіяся, большей частью, и чувствами о коллективности,—напримѣръ, патріотическія чувства, чувство корпоративной чести и пр.—неизбѣжно пріобрѣтаетъ извѣстный сакраментальный, религіозный характеръ. Чувство „соборности", „вселенскости", какъ любятъ выражаться наши мистики, составляетъ основной элементъ „религіозности" въ широкомъ смыслѣ слова. „У кого нѣтъ народа, у того нѣтъ Бога"—выражаетъ по существу ту же мысль Достоевскій устами Шатова.

И обратно, у кого есть „народъ". кто чувствуетъ свою связь съ „народомъ", кто сознаетъ себя частицей огромнаго коллективнаго бытія, у того есть „Богъ", т. е. у того его жизне- и міроощущеніе пріобрѣтаетъ совсѣмъ иной тонъ; получаетъ характеръ чего то надежнаго, вѣрнаго, вѣчнаго. Есть „народъ", значитъ есть на что опереться, есть эквивалентное личное во всѣхъ отношеніяхъ бытіе, есть возможность разсматривать вещи sub specie aeterni.

„Знайте навѣрно,—развиваетъ дальше свою мысль Шатовъ,—что всѣ тѣ, которые перестаютъ понимать свой народъ и теряютъ съ нимъ свои связи, тотчасъ же, по мѣрѣ того, теряютъ вѣру отеческую, становятся или атеистами или равнодушными". Но атеизмъ и равнодушіе не исчерпываютъ собой всѣхъ тѣхъ возможностей, которыя открываются для порвавшихъ связи съ „своимъ народомъ" или, общѣе, съ коллективнымъ бытіемъ. У сохранившихъ еще чуткость, у тѣхъ, кто особенно больно почувствовалъ образовавшуюся въ нихъ, благодаря разрыву съ коллективностью пустоту и одиночество, имѣется еще одна возможность: именно возможность замѣны *реальныхъ* связей съ „народомъ" *идеальными*, иллюзорными, фантастическими связями съ нимъ въ Богѣ, въ Христѣ, въ Абсолютѣ.

На этотъ путь и стала извѣстная часть нашей интеллигенціи, пошедшая за утоленіемъ своей духовной жажды къ исторической церкви, этой коралловой отмели изъ живыхъ когда то и мощныхъ коллективныхъ чувствъ.

Нѣсколько дорогъ открывалось передъ интеллигенціей при великомъ историческомъ сдвигѣ, обозначившемся еще четверть вѣка назадъ, и всѣ ихъ она использовала: одна часть осталась при быломъ народолюбіи (причемъ объектомъ его остался для однихъ главнымъ образомъ по-прежнему мужикъ, для другихъ имъ стала „превращенная форма" мужика — городской рабочій); другая часть пошла въ „атеисты и равнодушные", рѣшивъ, что

все трынъ-трава и что главное—это: „и намъ, и намъ!“; третьи—обратились къ старинному, испытанному человѣчествомъ, суррогату реальныхъ связей съ коллективностью — къ религіи, въ смыслѣ опредѣленнаго догматическаго вѣроученія.

Но помимо процесса дифференціаціи интеллигенціи была другая могучая причина, вызывавшая ростъ мистицизма — я имѣю въ виду процессъ урбанизаціи Россіи, нарожденіе у насъ Города.

III.

Во время дебатовъ, завязавшихся на первыхъ засѣданіяхъ религіозно-философскаго общества вокругъ вопроса объ отношеніи между интеллигенціей и церковью, нѣкоей Н. А. Макшеевой была подана записка съ рядомъ замѣчаній по обсуждавшемуся вопросу (см. „Новый Путь“, 1903 г., № 1. Приложеніе). Г-жа Макшеева въ ней указывала, что спорившіе, толкуя все время объ интеллигенціи и церкви, упустили изъ виду народъ, который имѣетъ рѣшающее значеніе для всего предмета спора. Она указывала далѣе на религіозное отношеніе всѣхъ народовъ къ землѣ, на то, что земледѣльческій трудъ дѣлаетъ человѣка религіознымъ. Она напоминала, что Россія страна земледѣльческая по преимуществу, что народъ нашъ—пахарь, и что вѣковѣчная забота объ этомъ народѣ — есть основная дума всѣхъ нашихъ умственныхъ движеній. „Народничество,—писала она,—оживило нашу городскую жизнь и внесло въ нее свѣтъ, воздухъ лѣсовъ и полей. Развѣ Левъ Толстой не достигъ апогея славы, когда сталъ проповѣдывать о возвращеніи къ природѣ и землѣ? И не есть ли эта религіозно-земная струя, самая сильная въ толстовствѣ, неоригинальномъ съ богословской стороны?—Земля и народъ — вотъ желанная основа для нашего русскаго обновленія. На этой почвѣ жизненно-земного общенія какая бы могла развиться у насъ истинно христіанская культура!“.

Замѣчаніе г-жи Макшеевой, что въ ходѣ дискуссій, какъ духовные, такъ и свѣтскіе ораторы не упомянули ни слова о народѣ, было правильно. Но ея попытка навязать мысль о „народѣ“ этой только что порвавшей съ нимъ интеллигенціи, въ частности развивавшаяся ею теорія какого-то мистическаго народничества, показывали, что она плохо поняла характеръ новыхъ религіозныхъ исканій и то, что они возникли въ обстановкѣ нарождавшагося Города и даже, какъ извѣстная антитеза народничеству. Она звала къ землѣ и народу людей, только что освободившихся отъ „власти земли“ и ея категорическаго императива — и, конечно, этотъ призывъ не могъ найти отклика. Правда, впослѣдствіи мистики сами заговорятъ о возвращеніи на землю, о сліяніи съ ней, но это будетъ именно сліяніе съ землей, а не на-

родническое сліяніе съ народомъ, при томъ сліяніе съ „преображенной“ землей, съ ожившей, одушевленной природой, какъ протестъ интеллигента противъ мертвой, мертвящей и удушающей обстановки города.

Городъ въ европейскомъ смыслѣ слова есть у насъ явленіе сравнительно новое. Подобно тому, какъ капитализмъ, имѣющій за собой въ Россіи довольно длинную исторію, рѣшающей общественной силой сталъ за послѣднія ½—¼ вѣка, такъ и городъ въ этомъ особомъ значеніи слова есть продуктъ лишь послѣднихъ десятилѣтій. Торжество капитализма получило свое рѣшительное выраженіе въ торжествѣ города, побѣда котораго знаменовала полный разрывъ съ старой крестьянской Русью и съ прежней крестьянской идеологіей, подъ властью которой была до тѣхъ поръ вся наша прогрессивная литература. Почти одновременное выступленіе въ 90-хъ годахъ легальнаго марксизма и декадентства, этихъ двухъ наиболѣе крупныхъ тогда литературныхъ явленій, вызвавшее такой отпоръ со стороны народничества, не было просто случайнымъ совпаденіемъ. Оба эти явленія—каждое на свой манеръ—выражали разныя стороны нарождавшейся идеологіи города. Марксизмъ обращался къ городскому рабочему, декадентство въ нарочито уродливой формѣ праздновало освобожденіе самодовлѣющаго интеллигента отъ традиціоннаго мужиколюбія, но оба исходили отъ города и обращались къ городу, оба были въ нѣкоторомъ родѣ связаны общей враждой къ деревенской идеологіи. Этимъ и объясняется нѣкоторое тяготѣніе другъ къ другу, имѣвшееся между легальнымъ марксизмомъ и новыми литературными вѣяніями. Здѣсь отвлекались отъ общественныхъ слоевъ, отъ имени которыхъ выступало каждое направленіе, отвлекались отъ своихъ конечныхъ цѣлей. За скобку брался лишь общій множитель, и этимъ множителемъ былъ заявившій о своемъ нарожденіи городъ съ его рѣзко выраженнымъ антагонизмомъ деревнѣ.

Истоки этого явленія надо искать въ томъ же горномъ кряжѣ 80-хъ годовъ. Выступленіе на общественную арену новыхъ, городскихъ слоевъ было тогда же отмѣчено литературой въ романахъ Боборыкина, въ сатирѣ Щедрина, въ публицистической беллетристикѣ Успенскаго и пр. Впослѣдствіи для этого явленія была найдена крайне удобная формула: заговорили о пришедшемъ на смѣну мужика мѣщанинѣ, заговорили о царствѣ мѣщанства. Писалъ о нарожденіи мѣщанства покойный Андреевичъ, писалъ про мѣщанъ Горькій, писали о мѣщанскомъ духѣ Струве, Мережковскій, Бердяевъ, писали всѣ, такъ широко и разно толкуя это понятіе, что подъ конецъ почти цѣликомъ улетучилось все его соціальное значеніе. Изъ мѣщанина сдѣлали чуть ли не особую категорію чистаго разума, подъ мѣщанствомъ стали понимать нѣчто въ родѣ того „духа серединности“, какимъ, по мнѣнію Мережковскаго, является чортъ. Мѣщанинъ въ этомъ

специфическомъ смыслѣ не буржуа, мѣщанство — не буржуазія. Изъ европейской культуры—по примѣру Герцена—было взято все мелкое, ограниченное, самодовольное, сытое, умѣреннее, тупое; оно было затѣмъ проведено чрезъ реторту россійской, такъ называемой, всечеловѣчности—и въ результатѣ этой переработки получилась новая универсальная схема — всемѣщанинъ. Это несомнѣнно облегчало задачу борьбы съ духомъ „мѣщанства", это также открывало широкій просторъ для взаимныхъ уличеній и обличеній въ мѣщанствѣ, но, работая такими абстракціями, нельзя было понять ни европейской культуры въ ея цѣломъ, ни того процесса европеизаціи, который происходитъ у насъ.

Если это ходячее расплывчатое понятіе мѣщанства черезчуръ широко для того конкретнаго, опредѣленнаго явленія, какимъ является буржуазія, то оно, съ другой стороны, узко для того исполинскаго процесса, какимъ является нарожденіе Города. Городъ—это не только арена дѣйствія буржуазіи во всѣхъ ея подраздѣленіяхъ. Въ городѣ же растетъ и крѣпнетъ строитель будущаго общества—рабочій классъ. Въ многочисленныхъ норахъ города гнѣздится особая питаемая имъ межклассовая интеллигенція. Но кромѣ того,—современный городъ—это совсѣмъ особенная стихія, новый космосъ, медленно зрѣющій на лонѣ стараго космоса природы. Медленно зрѣющій, но неотвратимо. Потокъ исторіи неумолимо течетъ въ одномъ направленіи; города-спруты пожираютъ окружающія деревни, пожирая вмѣстѣ съ этимъ всѣ виды натурлизма и создавая на мѣсто стараго, „естественнаго" міра, міръ „искусственный", новый, съ новой своеобразной психологіей, съ иной идеологіей.

Основной, первозданный, такъ сказать, элементъ городской идеологіи это „искусственность" города. Въ городѣ достигаетъ своей кульминаціонной точки основаная черта развитія человѣческаго общежитія,—именно созданіе все усложняющейся искусственной соціальной среды, въ отличіе отъ естественной среды, окружающей первобытнаго человѣка. „Натуральный" человѣкъ,—человѣкъ, живущій подъ открытымъ небомъ, среди зелени лѣсовъ и полей, среди животныхъ, пассивный, созерцательный—является прямымъ продолженіемъ природы, съ которой онъ находится и, главное, чувствуетъ себя въ неразрывной связи. И не только онъ продолженіе природы, но и она продолженіе его. Онъ частица всемірнаго бытія, подобно ему одушевленнаго во всѣхъ своихъ проявленіяхъ и эквивалентнаго ему. По своему міроощущенію онъ прирожденный пантеистъ, хотя этотъ пантеизмъ догматически, въ религіозной сферѣ, можетъ принимать самыя различныя формы. Онъ и природа одно слитное цѣлое, онъ и бытіе одно единое.

Эту естественную связь человѣка съ природой безповоротно разрываетъ городъ. Изъ цвѣтущей, живой, родной природы человѣкъ попадаетъ въ какое-то странное царство вещей, меха-

низмовъ, автоматовъ. Блекнутъ краски, исчезаетъ высокое небо, пропадаютъ дали, чужимъ и мертвымъ становится міръ, вся одушевленность, вся жизнь котораго скучивается на небольшой клочекъ пространства въ нѣсколько часовъ обхода. Искусственныя электрическія солнца, паутинная ткань проводовъ, по которымъ течетъ незримая сила, неся съ собою свѣтъ и движеніе, покрывающая дороги—непроницаемая броня изъ гранита и камня, черезъ которую, вопреки утвержденію Толстого, не пробиться зеленѣющей травкѣ, застывшія дюны домовъ, безповоротно замкнувшихъ горизонтъ, безпрестанная, лихорадочная смѣна людей, водоворотъ звуковъ, своеобразныхъ, характерныхъ, колоссальное кольцо трубъ, какъ „природоотводы" расположенныхъ на окраинахъ — вся эта обстановка города представляетъ собой нѣчто небывалое, нѣчто особое, нѣчто до нельзя обособленное. Конечно, тысячью нитей связанъ городъ съ природой: нужныя ему хлѣбъ, мясо, уголь, электрическую энергію, онъ беретъ съ зеленыхъ изумрудныхъ полей, изъ темныхъ нѣдръ земли, изъ сверкающихъ и гремящихъ водопадовъ. Но для горожанина, а особенно для горожанина par excellence—оторваннаго отъ производительнаго процесса интеллигента—эти нити стали невидимыми. Та тяжелая, грубая, осязательная цѣпь, которая когда-то связывала человѣка съ физической основой его бытія,—не переставая быть столь же крѣпкой и неразрывной—стала, однако, гибкой, прозрачной, легкой, нечувствительной. Изъ круга природы человѣку не выбиться, и городъ, конечно, не отмѣняетъ „космическаго порядка"; но благодаря чудесной техникѣ, человѣкъ начинаетъ чувствовать себя такъ, точно подъ нимъ исчезла твердая почва и онъ попалъ въ жидкую среду: онъ перестаетъ чувствовать вѣсъ своего тѣла, эту необходимую и постоянно дающую себя знать связь съ землей.

Конечно, эта эмансипація отъ власти земли еще скорѣе тенденція, чѣмъ завершившійся фактъ. Не смотря на всѣ свои успѣхи, наша техника далеко еще не совершенна. Мы повысили во много разъ урожайность нашихъ полей, мы улучшили породы скота, но и до сихъ поръ, какъ и во времена Микулы Селяниновича, бытіе наше въ своей конечной основѣ зависитъ отъ роста полевой травки. Правда наиболѣе промышленныя страны переложили заботу о своемъ прокормленіи на другіе народы; переведя свои пастбища и пашни къ антиподамъ, они сами превратились почти въ одинъ сплошной городъ. Но взятая въ цѣломъ цивилизація наша все еще покоится на крестьянскомъ трудѣ; пульсація соціальной жизни въ значительной степени опредѣляется еще естественнымъ ритмомъ космическихъ процессовъ. Полная побѣда города начнется лишь съ искусственнымъ производствомъ пищевыхъ продуктовъ. Только тогда и выдвинется во всей своей характерности основной мотивъ цивилизаціи — ея „искусственность".

Часто говорятъ—и особенно охотно шлютъ „позитивистамъ“ этотъ упрекъ мистики,—что всѣ техническія усовершенствованія касаются лишь внѣшней стороны жизни, что они затрагиваютъ лишь поверхность нашей психики, не доходя до ея глубинъ, не проникая до интимнѣйшихъ алканій нашей души. Но это грубое заблужденіе. Путемъ своего рода психической теплопроводности всякое измѣненіе въ одномъ концѣ психики передается мало по малу по всѣмъ направленіямъ, доходя до самаго „дна“ нашего „я“. Всякое техническое новшество оставляетъ свой слѣдъ въ душѣ человѣка. Оно разрушаетъ въ немъ еще какой нибудь кусочекъ ветхаго человѣка, натуральнаго человѣка „приклоненнаго“ землѣ, былинкѣ, красотѣ ржаного поля. Создавшаяся тысячелѣтіями психика разлагается подъ непрекращающимся напоромъ безчисленныхъ новыхъ вліяній. Среди кинематографовъ, ауэровскихъ горѣлокъ, электрическихъ трамваевъ, многоэтажныхъ домовъ, растетъ иной взглядъ на міръ, иное чувство бытія, иное пониманіе красоты — и для этого роста всякая мелочь обстановки города имѣетъ свое значеніе. Кинематографъ—это, можетъ быть, новая точка зрѣніе на бытіе, голубая искра, срывающаяся съ трамвайнаго провода—это не низведенная ли съ неба на землю и развѣнчанная молнія? Такъ среди прочихъ стихій, и постепенно заслоняя ихъ собой, зрѣетъ стихія города.

Но соотвѣтствующая этой новой стихіи психика растетъ медленно. Приспособленіе человѣка къ городу раствореніе „естественнаго“ въ „искусственомъ“, біологіи въ соціологіи, совершается лишь съ трудомъ. Вопреки словамъ Аристотеля, что человѣкъ—ζῶον πολιτικόν т. е. живущее въ городѣ, въ государствѣ (для грековъ того времени понятія города и государства были нераздѣльны) животное — человѣкъ прежде всего — и до сихъ поръ еще—полевое, сельское животное. Въ горожанинѣ крѣпко сидятъ еще атавистическіе инстинкты прежняго обитателя полей и лѣсовъ, — и эти инстинкты періодически всплываютъ въ видѣ тяги на лоно природы.

Это не разъ ужъ переживали скучившіяся въ большихъ городахъ цивилизаціи. Достаточно вспомнить римское общество временъ имперіи съ его тоской по простой, естественной деревенской жизни и съ его томленіемъ по новой вѣрѣ и смыслу жизни. „Всѣ лучшіе люди временъ имперіи, — говоритъ Э. Мейеръ, видящій въ ростѣ города важнѣйшую причину гибели античной цивилизаціи,—чувствовали ненормальность существующихъ условій, сознавали что эта черезъ мѣру развившаяся, достигшая высшей точки культура носитъ въ себѣ зародыши смерти, и не разъ съ грустью указывали на грядущую опасность. Тоска по естественнымъ условіямъ жизни, мечты о возвратѣ къ простой и безискусственной обстановкѣ деревенской жизни высказывались достаточно часто; но осуществить эти мечты было невозможно“ *).

*) Э. Мейеръ „Эконом. развитіе древняго міра“ въ изд. „Колокола“, с. 79.

Аналогичное явленіе мы наблюдаемъ и въ современной европейской культурѣ. Къ приведеннымъ выше словамъ Э. Мейеръ дѣлаетъ слѣдующее примѣчаніе: „Этому соотвѣтствуетъ въ наше время болѣзненное явленіе, называемое натурализмомъ, столь же ложное по своей сущности, какъ и сантиметальныя декламаціи милліонера Сенека“. Болѣзненъ ли и ложенъ ли современный „натурализмъ“ — это особый вопросъ; но фактъ тотъ, что въ культурномъ мірѣ наблюдается теперь стремленіе „вернуться“ къ природѣ, стремленіе, идущее опять таки параллельно съ какими то неопредѣленными исканіями новаго Бога. Конечно теперешній европейскій религіозный „ревиваль“ явленіе слишкомъ пестрое и сложное, чтобъ его можно было объяснить какой нибудь одной причиной. Если часть французской буржуазіи съ 80-хъ и особенно 90-хъ годовъ рѣзко отвернулось отъ своего былого свободомыслія и заговорило о „новомъ духѣ“— т. е. духѣ примиренія съ церковью — то для этого у нея были свои достаточно опредѣленныя соціальныя основанія: боязнь надвигающагося соціализма. Если въ нѣмецкомъ нео-кантіанствѣ мы замѣчаемъ религіозную струю, то она далеко не безкорыстна въ идейномъ отношеніи и ея соціальная чистота оставляетъ желать весьма многаго. И т. д. и т. д. Но и за всѣмъ тѣмъ остается автоматическое дѣйствіе самого города, отъ обстановки котораго уставшій „межклассовой“ интеллигентъ ищетъ спасеніе въ одинаково неопредѣленныхъ мистицизмѣ и „натурализмѣ“ *).

По развитію своей городской жизни Россія далеко еще уступаетъ Западу. Но за послѣднія десятилѣтія процессъ урбанизаціи сдѣлалъ у насъ огромные шаги. Если численность городского населенія у насъ еще не велика, то въ соціальномъ и, особенно, въ культурномъ отношеніи городъ ужъ побѣдилъ. Культурная побѣда города облегчалась еще тѣмъ, что у нашего общества, живущаго въ интернаціональной обстановкѣ европейской цивилизаціи, идеологія всегда упреждаетъ соціально-экономическія отношенія. Какъ бы то ни было, вліяніе города успѣло уже вызвать въ нашей интеллигенціи это характерное исканіе природы, принявшее довольно разнообразныя формы. Я не говорю ужъ о далекой отъ насъ проповѣди Толстого, звавшаго— во имя какого-то туманнаго пантеистическаго монотеизма, во имя Хозяина жизни — бросить развратный городъ и вернуться въ чистую, нетронутую деревню. Не говорю я также о бунтѣ босяковъ Горькаго, бывшемъ своего рода бунтомъ противъ города во имя какой-то мистики бродяжеской жизни. Для нашей темы ближе мистико-декадентская литература, въ которой особенно рельефно выступаетъ это двойное исканіе природы и

*) На связь мистицизма съ ростомъ большихъ городовъ указывалъ М. Нордау въ „Вырожденіи“; но онъ понялъ плохо, какъ городъ, такъ особенно мистицизмъ, куда онъ безжалостной рукой заносилъ рѣшительно все, что не подходило подъ банальные вкусы автора „Парадоксовъ“.

бога. Тутъ Христа наряжаютъ Діонисомъ, Діониса—Христомъ. Воскрешаютъ боговъ всѣхъ временъ и народовъ. Воскрешаютъ Великаго Пана, казалось, давно уже умершаго. Оживляютъ фавновъ, менадъ, Ярилу, домовыхъ, чертякъ. Но весь этотъ религіозный маскарадъ, вся эта „божественная комедія“ — поскольку она не комедія, не игра—скрываетъ за собою довольно реальную, земную, вещь: тоску по природѣ, тоску по связи съ великой праматерью, по связи-религіи. Одинъ для этого „преображаетъ“ міръ, какъ кажется ему, на эллинскій ладъ, другой—на древне-славянскій, третій, можетъ быть, предпочитаетъ средневѣковье—но суть здѣсь повсюду одна и та же: „преображеніе“ города въ проникнутую богомъ, въ пропитанную вселенской связью деревню (беря здѣсь слово „деревня“, конечно, въ условномъ смыслѣ антитезы Города). Къ этимъ новымъ вѣрующимъ непримѣнимо обычное выраженіе о „взыскующихъ града“; наоборотъ, это бѣгущіе града, это взыскующіе „деревни“, поля, лѣса.

„Изъ затхлыхъ подземелій, — говоритъ, напримѣръ, г. Бердяевъ,—изъ душныхъ комнатъ нужно выйти на свѣжій воздухъ полей, лѣсовъ и горъ. На просторѣ полей, лѣсовъ и горъ, на чистомъ воздухѣ вселенской жизни можно скорѣе соединиться съ церковнымъ организмомъ, чѣмъ въ кельяхъ и тепличныхъ комнатахъ. Для нашей эпохи возвращеніе къ первоосновамъ природы, возсоединеніе съ ея красотой опять пріобрѣтаетъ религіозный смыслъ. Безъ этого возвращенія и возсоединенія мы никога не вступимъ въ желанный органическій періодъ. Слишкомъ жизнь наша механична, искусственна и душна“ („Новое религіозное сознаніе и общественность“, с. 200).

Жизнь „наша“—т. е. горожанина, въ частности, интеллигента-горожанина,—„механична, искусственна и душна“. Спастись отъ этой духоты и искусственности современной городской жизни мы можемъ, лишь вернувшись къ первоосновамъ природы, причемъ возвращеніе къ природѣ, къ связи съ ней, неизбѣжно принимаетъ религіозный характеръ.

Нѣсколько иными словами—но еще рѣзче—выражаетъ ту же мысль г. Философовъ въ концѣ своей статьи о Верхарнѣ и Вандервельде (см. „Новый Путь“, 1904 г., № 7).

„Всѣмъ намъ пора,—говоритъ онъ,—изъ безбожнаго города переселиться, наконецъ, на преображенную „землю“.

Нѣсколько раньше г. Философовъ, опираясь на схему Вандервельде, развиваетъ ту мысль, что ушедшіе въ городъ сыны деревни вернутся въ нее обратно, но ужъ не въ лишенную Бога, а, наоборотъ, при помощи города вновь обрѣтшую его. Для насъ не важно, насколько правильно это утвержденіе. Важнѣе проповѣдь г. Философова о возвращеніи на просторъ полей, о сліяніи съ землей, важнѣе религіозный оттѣнокъ, который принимаетъ въ его глазахъ это возсоединеніе съ космосомъ.

„Нужно выйти на свѣжій воздухъ полей, лѣсовъ и горъ“,— говоритъ г. Бердяевъ. „Пора переселиться на преображенную землю“,—настаиваетъ г. Философовъ. Но, конечно, не слѣдуетъ принимать всего этого въ такомъ буквальномъ видѣ. Врядъ ли всѣ эти хрупкія, утонченныя дѣти Города—дѣти, иногда, опредѣленнаго квартала, опредѣленной улицы—на самомъ дѣлѣ согласились бы уйти на „обезумѣвшую“, по выраженію Верхарна, или даже на „преображенную“ землю. Для этого прежде всего наши „мистики“ слишкомъ словесники, литераторы. „La solitude est une belle chose, mais il faut quelq'un pour vous dire que la solitude est une belle chose“,—приводитъ въ одномъ изъ своихъ разсказовъ Э. По словамъ какого-то француза: „одиночество хорошая вещь, но нуженъ кто нибудь, кто бы вамъ сказалъ, что одиночество хорошая вещь. Еще правильнѣе, можетъ быть, было бы сказать, что нуженъ кто нибудь, кому можно было бы сказать, что одиночество хорошая вещь. Какъ ни прекрасенъ поэтому просторъ полей, какъ ни заманчивъ языческій міръ съ его близостью къ природѣ, какъ ни плѣнительна жизнь на лонѣ стихій, но нашимъ мистикамъ нуженъ Городъ съ его тысячами чнтателей, слушателей, единомышленниковъ, которымъ можно разсказать о прелести всѣхъ этихъ вещей. Хорошъ возвратъ въ преображенныя деревни, но еще лучше писать объ этомъ возвратѣ въ сочувствующемъ толстомъ журналѣ или же изящнои учтиво дебатировать эту проблему въ сообществѣ такихъ утонченно образованныхъ людей, какъ Д. Мережковскій, Вяч. Ивановъ или Н. Бердяевъ.

Говоря это, я пока не предрѣшаю вопроса объ искренности порываній нашихъ мистиковъ—объ этомъ рѣчь у насъ еще будетъ впереди. Въ ихъ религіозныхъ „исканіяхъ“ бездна литературщины, бездна словесности, но эта словесность находитъ себѣ извѣстный откликъ, она отвѣчаетъ потребностямъ нѣкоторой части общества. И въ основѣ ея лежитъ вполнѣ реальное явленіе—удушіе отъ города, taedium oppidi, своего рода культурный неврозъ современности. Но эта потерявшая связи съ широкими народными массами интеллигенція есть въ извѣстномъ смыслѣ изысканнѣйшій цвѣтъ города, немыслимый внѣ его; она вся пропитана духомъ города, она выпила до дна сладкую отраву городского существованія, чтобъ ея бунтъ противъ города могъ имѣть больше, чѣмъ платоническое значеніе. Она можетъ проклинать городъ, какъ Достоевскій проклиналъ Петербургъ, этотъ „самый отвлеченный и умышленный городъ на свѣтѣ“,—но „отвлеченность и умышленность“ (искусственность) города есть ея конкретная и естественная стихія. Какъ черепахи свою броню, такъ обречены интеллигенты-мистики нести за собой грузъ городской идеологіи повсюду, даже въ своихъ мечтахъ о преображенной жизни.

IV.

„Я—обезумѣвшій въ лѣсу Предвѣчныхъ Чиселъ".
Верхарнъ.

Въ своей книгѣ „При свѣтѣ совѣсти" (2-е изд. 1897 г.) г. Минскій, разбирая бѣдствія культурной жизни, какъ на одно изъ злѣйшихъ, указывалъ на жажду первенствованія. По его словамъ, манія величія, разсматриваемая по отношенію къ нашему времени, не есть даже манія, не есть болѣзнь, а общее всѣмъ слѣдствіе высокой культуры. Слѣды этой жажды первенствованія г. Минскій видитъ повсюду, во всемъ, даже въ самыхъ незначительныхъ мелочахъ. „Человѣкъ, которому природа дала длинныя ноги, замѣчаетъ онъ, всякій разъ, проходя по улицѣ самодовольно чувствуетъ, что у него ноги длиннѣе, чѣмъ у прочихъ прохожихъ. Но и горбунъ тоже шагаетъ по улицѣ съ сознаніемъ своей замѣчательности" (с. 12).

Къ этой мысли г. Минскій возвращается и въ книгѣ „Религія будущаго", вышедшей въ 1905 г. Здѣсь онъ констатируетъ три неустранимыя наукой страданія жизни: 1) сознаніе безцѣльности жизни, которое можетъ быть примирено въ религіи, въ познаніи не-лживой, неземной цѣли, въ увѣренности, что въ основѣ явленій лежитъ не наша, а божественная воля, 2) сознаніе всеобщаго неравенства, неполноты своей личности и чужого превосходства. Каждая побѣда культуры раздуваетъ огонь личности, и безуміе индивидуализма, манія величія грозитъ стать повальной болѣзнью будущаго. Примириться съ этимъ можно лишь черезъ познаніе лежащихъ въ основѣ явленій абсолютной полноты и равенства. И т. д. (сс. 101—103).

Это „безуміе индивидуализма", эта жажда первенствованія и вытекающее изъ нея чувство неудовлетворенности, находящее, по мнѣнію г. Минскаго, свое разрѣшеніе въ какомъ-то мистическомъ равенствѣ, характерно, однако, не столько для высокой культуры вообще, сколько для современнаго культурнаго интеллигента-горожанина.

Огромное вліяніе на современную психику городъ оказываетъ однимъ своимъ механическимъ вѣсомъ, своими колоссальными числами, ариѳметикой своихъ сотенъ тысячъ и милліоновъ. Тысячи и десятки тысячъ домовъ, сотни тысячъ и милліоны людей, цѣлыя, сбившіяся въ одинъ клубокъ, народонаселенія — все это не можетъ не производить глубокихъ перемѣнъ въ горожанинѣ. Вѣчное соприкосновеніе съ миріадами людей, это непрерывное человѣческое мельканіе, не можетъ не измѣнить самочувствія личности, которое въ обстановкѣ города должно значительно понизиться. Въ небольшой, живущей на „землѣ", группѣ относительное значеніе каждаго человѣка велико. Личность, выражаясь ариѳметически, составляетъ здѣсь, напримѣръ, 0,01 всего

человѣчсства, — ибо все то, что находится внѣ этой группы, оставаясь за порогомъ ея сознанія, имѣетъ для нея только отвлеченное значеніе. Конечно, міръ этой группы крайне не великъ, интересы ея ничтожны, личность, какъ нѣчто отличное отъ другихъ членовъ группы, еще слабо выдѣлилась изъ коллективности — но зато каждый сознаетъ себя крупной долей бытія, имѣющей большое значеніе какъ для себя, такъ и для окружающихъ.

Для бо̀льшей ясности замѣчу, что въ понятіи индивидуальности можно различать двѣ (если даже не больше) стороны: во-первыхъ, разностное понятіе личности, т. е. то, чѣмъ человѣкъ разнится, выдѣляется среди другихъ людей, — это понятіе можно назвать персональностью. Индивидуальностью же въ тѣсномъ смыслѣ слова будетъ самочувствіе личности, какъ извѣстной доли человѣчества. Въ небольшой группѣ, обыкновенно однородной, персональность ничтожна, но за то велика индивидуальность въ указанномъ смыслѣ слова.

Иную картину представляетъ собой городъ. По кругу своихъ интересовъ, онъ безмѣрно великъ, его міръ безконеченъ, соціальная дифференціація высвобождаетъ въ немъ персональность—но все это идетъ параллельно съ паденіемъ самочувствія личности, съ паденіемъ ея удѣльнаго вѣса по отношенію къ бытію. Въ той дроби, черезъ которую выражается индивидуальность до огромныхъ размѣровъ вырастаетъ знаменатель, и личность чувствуетъ себя превращенной въ какой-то атомъ, въ какой-то дифференціалъ человѣчества. Въ силу одной своей массивности городъ является царствомъ тѣхъ, которыхъ, по выраженію Ницше, „много, слишкомъ много". Горожанинъ — фатально фабрикатъ, массовый продуктъ. Шести-и семи-значныя числа дѣлаютъ то, что человѣкъ чувствуетъ, какъ онъ въ городѣ превращается во что-то отвлеченное, чуть ли не нарицательное. Неизвѣстность, безымянность несетъ городъ личности, своего рода соціальное небытіе, не менѣе страшное и пугающее, чѣмъ физическая смерть. И въ отвѣтъ на это дробленіе и умаленіе личности растетъ стремленіе установить свое бытіе, изъ дифференціала сдѣлаться вновь конечной, значущей величиной. Это стремленіе получаетъ постоянный импульсъ отъ верховнаго закона города—конкурренціи—особенно властно дающей себя знать въ интеллигентскихъ профессіяхъ. Въ этихъ профессіяхъ *быть* значитъ прежде всего *слыть*, реально складывается изъ мнѣнія. И чѣмъ больше этого мнѣнія, чѣмъ больше славы, тѣмъ больше бытія. Вопреки идеалистическому тезису, что міръ есть представленіе субъекта, здѣсь самъ субъектъ—писатель, художникъ и пр.—существуетъ лишь, какъ представленіе въ головахъ другихъ. Внѣ этого о немъ представленія субъектъ есть нуль, дифференціалъ, безымянное, соціально мертвая величина.

Въ интеллигентскихъ профессіяхъ и культивируется, главнымъ

образомъ, та жажда первенствованія, та гипертрофія самолюбія, на которую жалуется г. Минскій. Только здѣсь сознаніе всеобщаго неравенства сводится прежде всего къ мысли о чужомъ превосходствѣ; именно здѣсь неугасимымъ пламенемъ горитъ огонь личности и постоянно уязвляемаго, кровью сочащагося самолюбія. Весьма сомнительно, чтобы горбунъ, какъ это думаетъ г. Минскій, горбомъ подымалъ изъ тьмы безымянности свое „я", но нѣчто подобное дѣлали—да и продолжаютъ дѣлать—иные поэты.

Г. Минскій не одинокъ въ своихъ сѣтованіяхъ на разъѣдающую современниковъ (вѣрнѣе самодовлѣющихъ интеллигентовъ) язву тщеславія. Подобныя же жалобы мы читаемъ у его единомышленниковъ по мистицизму. „Не солидарность, пишетъ, напримѣръ, г. Булгаковъ, а духовное одиночество, не братство, а убійственный безвыходный индивидуализмъ, и не равенство, основанное на внутреннемъ смиреніи отдѣльныхъ лицъ, но самомнѣніе и жажда власти (Wille zur Macht)—таково истинное духовное состояніе человѣчества" (Сборникъ „Вопросы Религій", 1906 года, статья г. Булгакова „Церковь и культура", с. 42).

Не менѣе опредѣленно выражается и г. Бердяевъ: „Современное человѣчество гибнетъ отъ самолюбія, изнываетъ отъ тщеславной жажды раздуть себя, какъ можно болѣе, бѣсъ честолюбія терзаетъ человѣческую душу и люди разъединяются, озвѣрѣваютъ. Каждый хочетъ занять первое мѣсто, быть выше другихъ, не свое индивидуальное назначеніе осуществить, а Богомъ быть, и всѣ завидуютъ другъ другу и злобствуютъ... Этой бѣсовской враждѣ самолюбій, этой взаимной разъединенности и взаимной разобщенности долженъ быть положенъ предѣлъ, и реальный, не иллюзорный предѣлъ видѣнъ только въ теократіи, которая оживитъ человѣческія души, умертвивъ въ корнѣ самолюбіе и самообожаніе, злобу и завистливую обиду, освободитъ людей отъ рабства зависимости другъ отъ друга и соединитъ ихъ внутренно" („Нов. религ. сознаніе", стр. 219).

Какъ ни вѣрна и ни мрачна эта картина, не странная ли, однако, идея обращаться къ теократіи, церкви или инымъ мистическимъ силамъ, чтобы очистить нѣсколько нравы столичныхъ литературныхъ круговъ? И не слишкомъ ли много чести оказываетъ себѣ самодовлѣющій интеллигентъ этой метафизикой своего тщеславія, этимъ возведеніемъ своихъ профессіональныхъ недостатковъ въ трагическую міровую проблему, находящую разрѣшеніе лишь въ вѣрѣ въ мистическое равенство и полноту?

Въ тѣсной связи съ этимъ интеллигентскимъ безуміемъ индивидуализма, и какъ обратная сторона его, находится другое порожденіе „чиселъ" города—ужасъ одиночества. Этой темѣ г. Бальмонтъ посвятилъ превосходное, хотя и грѣшащее мѣстами дидактизмомъ и прозаизмами, стихотвореніе „Городъ" (въ августовской книжкѣ „Совр. Міръ" за 1907 годъ). Онъ воспроизвелъ

его въ своемъ странномъ „Видѣніи“ (Образованіе, № 10), предпославъ ему любопытный комментарій:

„Россія—великая деревня. Русская пѣсня и Русская сказка—это два цвѣтка, полевой и лѣсной, двѣ травинки, луговая и степная. Мы жалко дышемъ дыханіями Города, злого Города съ его громадами домовъ, закрывающихъ Солнце, искажающихъ Небо, шлющихъ въ синеву грубые дымы, и ставящихъ маяками кошмаръ фабричныхъ трубъ. Городъ—насильственно-слитное множество, гдѣ каждое существо обращаетъ къ другимъ колючки, а разстаться не хочетъ, а разстаться не можетъ. И всѣмъ потому тамъ неловко молчать. И всѣ потому тамъ говорятъ, и всѣ лгутъ. Заражая другъ друга, оскверняютъ себя.

Сколько въ городѣ дверей,—вы подумали объ этомъ?
Сколько оконъ въ высотѣ по ночамъ змѣится свѣтомъ?
Сколько зданій есть иныхъ, тяжкихъ, мрачныхъ, непреклонныхъ,
Однодверчатыхъ громадъ, ослѣпленно-безоконныхъ.
Склады множества вещей, въ жизни будто бы полезныхъ,
Убіеніе души—ликомъ стѣнъ, преградъ желѣзныхъ.
Удавленіе сердецъ наклоненными надъ нами—
Натѣсненьями камней, этажами, этажами
Семиярусныхъ гробовъ. Ты проходишь корридоромъ,
Предъ враждебностью дверей ты скользишь смущеннымъ воромъ.
Потому что ты одинъ. Потому что камни дышутъ.
А задверныя сердца каменѣютъ и не слышатъ.
Повернется въ дыркѣ ключъ—постучи—увидишь ясно,
Какъ способно быть лицо безподходно—безучастно.
Ты послушай, какъ шаги засмѣялись въ корридорѣ.
Здѣсь живые—сапоги, и безжизненность—во взорѣ.
Замыкайся ужъ и ты и дыши дыханьемъ Дома,
Будетъ впредь и для тебя тайна комнаты знакома.
Стѣны лѣтопись ведутъ, и о петляхъ повѣтствуютъ.
Окна дьяволовъ глаза. Окна ночи ждутъ. Колдуютъ.

„Россія—великая деревня“. О Русь—о rus (о древняя!), какъ восклицалъ когда-то Пушкинъ. Но вѣдь это теперь дѣло прошлаго. Теперь „злой Городъ“, „лживый чародѣй Городъ“, какъ выражается дальше г. Бальмонтъ, завладѣлъ ужъ и нами. „Тайна комнаты“, мучительная тайна одиночества—не того одиночества—слитности съ бытіемъ на лонѣ природы, „на высотѣ 6000 футовъ надъ моремъ и людьми“, которое предносилось передъ Ницше, когда онъ писалъ Заратустру *)—а именно антиномическаго голода среди изобилія, характернаго городского одиночества—оторванности среди сотенъ тысячъ людей, стала ужъ знакома и россійскому самодовлѣющему интеллигенту, какъ и его европейскому собрату. Европеецъ-горожанинъ создалъ на эту тему настоящіе шедевры литературы. Достаточно назвать Мопассана, этого великаго поэта, этого мистика одиночества. „Изъ всѣхъ тайнъ человѣческой жизни—говоритъ онъ устами одного

*) См., напр., въ „Заратустрѣ“ „О пути созидающаго“.

изъ собесѣдниковъ въ знаменитомъ разсказѣ „Одиночество",— которыя я постигъ, наибольшія муки нашего существованія происходятъ отъ того, что мы вѣчно одиноки, и всѣ наши усилія, всѣ поступки направлены къ тому, чтобъ бѣжать отъ этого одиночества... Съ нѣкоторой поры я переживаю невыносимую пытку,—я постигъ, я созналъ то ужасное одиночество, въ которомъ живу, и знаю, что ничто не можетъ прекратить его, ничто, понимаешь ли? ничто! Что бы мы ни говорили, что бы со мной ни дѣлали, каковы бы ни были порывы нашего сердца, нашихъ губъ и объятія нашихъ рукъ,—мы остаемся всегда одиноки... Человѣкъ не знаетъ, что происходитъ въ другомъ человѣкѣ; мы болѣе отдалены другъ отъ друга, нежели эти звѣзды, а, главное, — болѣе изолированны, такъ какъ мысль неисповѣдима".

Человѣческое мельканіе и каменныя стѣны города, отсутствіе тѣсной непрерывной связи съ могучей жизнью коллективности, дѣлаютъ людей болѣе далекими другъ отъ друга и изолированными, чѣмъ звѣзды между собой. Этотъ художественный солипсизмъ Мопассана является настоящимъ аналогомъ столь распространенныхъ теперь солипсистическихъ или полу-солипсистическихъ теорій въ философіи (ср. также съ этимъ мучительную и неуклюжую постановку проблемы о „ты"—das Du-Problem, какъ выражаются нѣмцы—у многихъ современныхъ мыслителей). Этотъ философскій и художественный солипсизмъ не есть продуктъ одного лишь голаго умозрѣнія; онъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ своеобразный идеологическій рефлексъ создаваемаго городомъ настроенія одиночества.

Какъ реакція и отвѣтъ на это „духовное одиночество", на этотъ „убійственный безвыходный индивидуализмъ" (см. выше слова г. Булгакова) и являются различныя мистическія исканія. На зіяющую рану оторванности отъ коллективной жизни накладывается чудотворный пластырь изъ фиктивныхъ, иллюзорныхъ связей въ Абсолютѣ. Отъ практическаго солипсизма, создаваемаго городомъ, интеллигенты - мистики ищутъ поэтому спасенія въ религіи, въ церкви, въ соборности, въ вселенскости. Наши мистики не отрицаютъ индивидуализмъ, но, какъ и все остальное, „преображаютъ" его (выраженіе г. Минскаго въ его „Идея русской революціи"). Называя себя индивидуалистами они прибавляютъ эпитетъ: „соборными"; выдавая себя за анархистовъ, они имѣютъ въ виду особую породу анархистовъ „мистическихъ", превращая въ мистическаго анархиста даже Штирнера. Если раздутое и вѣчно неудовлетворенное тщеславіе интеллигента является основнымъ мотивомъ ихъ индивидуализма, то боязнь одиночества порождаетъ всѣ эти стремленія къ соборности и вселенскости. „Соборный индивидуализмъ", „мистическій анархизмъ"—и какъ тамъ еще ни называть эти теченія—это только тщеславіе потерявшагося въ городѣ, устрашившагося своего

одиночества и оторванности, самодовлѣющаго интеллигента, разсматриваемаго sud specie aeterni.

V.

Городъ разсѣкаетъ связь человѣка со вселенскимъ бытіемъ. „Натуральный“ человѣкъ, какъ указывалось выше, прирожденный, естественный, такъ сказать, пантеистъ. Какъ и для Франциска Ассизкаго, для него волкъ—братецъ, цикада—сестрица. Это свое родство съ космосомъ онъ чувствуетъ непосредственно. Чтобъ признать или почувствовать его, онъ не нуждается ни въ глубокихъ философскихъ умозрѣніяхъ ни въ тонкой интуиціи художника. Tat twam asi—„это—ты“—это верховное положеніе индійской мудрости, утверждающее тождество между собой всякаго бытія, есть его инстинктивная философія. Въ вѣковѣчномъ круговоротѣ природѣ всѣ виды бытія для него равноцѣнны, эквивалентны. При такомъ пантеистическомъ міроощущеніи онъ легче можетъ переносить роковое явленіе смерти.

Своимъ афоризмомъ, что удивленіе начало философіи, греки остроумно и тонко подчеркнули теоретико-познавательную сторону философіи, которой она обращена къ наукѣ. Но они не оставили намъ столь же удачной формулы для другого момента, которымъ философія тѣсно примыкаетъ къ религіи. Я имѣю въ виду страхъ смерти или, какъ бы выразился Мечниковъ, отсутствіе инстинкта смерти. „Богъ есть боль страха смерти“, говоритъ Кирилловъ у Достоевскаго, выражая по существу ту же мысль, какую имѣетъ въ виду, напримѣръ, Гюйо, замѣчающій, что „религія представляется большей частью размышленіемъ о смерти“. Этотъ второй мотивъ, не менѣе важный по своему значенію, чѣмъ первый, тянется черезъ всю исторію философской и религіозной мысли, принимая каждый разъ, въ зависимости отъ общественнаго развитія и обстановки, иную конкретную форму и облекаясь самыми тонкими идейными варіаціями. Если моментъ удивленія соотносителенъ съ „теоретическимъ“ разумомъ, то разумъ „практическій“ въ значительной степени проникнутъ вторымъ изъ вышеуказанныхъ мотивовъ.

Не надо, разумѣется, ограничиваться исключительно біологическимъ пониманіемъ этого мотива. Въ общественной жизни онъ мѣняетъ до неузнаваемости свой характеръ и получаетъ самое разнообразное соціальное выраженіе. Какъ половымъ чувствомъ не ограничивается все богатство содержанія соціально-психологическаго явленія любви или соціальнаго факта семьи, такъ и страхъ смерти не исчерпываетъ собой всего содержанія тѣхъ психологическихъ и соціальныхъ образованій, которыя имъ питаются.

Какую роль въ построеніяхъ нашихъ идеалистовъ и мисти-

ковъ играла проблема смерти, говорить объ этомъ много не приходится. „Основнымъ трагизмомъ жизни, писалъ еще въ началѣ своихъ философскихъ „превращеній“ г. Бердяевъ, является трагизмъ смерти. Смерть эмпирически неустранима, и эта безысходность сталкивается съ живущей въ человѣческой душѣ жаждой жизни, жаждой безсмертія, жаждой безконечнаго совершенства и безконечнаго могущества. Наука и развитіе общественныхъ отношеній могутъ продолжить жизнь, могутъ поставить человѣка въ лучшія условія существованія и уменьшить количество смертей отъ болѣзней и нужды, но они безсильны противъ трагизма смерти. Передъ трагедіей смерти „позитивистъ“ останавливается и чувствуетъ свое безсиліе и безпомощность („Sub specie“ с. 37).

Тѣ же рѣчи о всемогуществѣ смерти и безсиліи „позитивистовъ“ мы встрѣтимъ у любого изъ мистиковъ, которые не прочь даже поиздѣваться надъ этимъ безсиліемъ. Такъ, напримѣръ, г. Булгаковъ не безъ ѣдкости говоритъ объ одномъ „для всѣхъ и особенно для довольныхъ людей непріятномъ обстоятельствѣ— это смерти“ („Отъ марксизма“, с. 231).

Обстоятельство, дѣйствительно, непріятное и даже страшно непріятное. Но роковое, но неустранимое. И лучшее, повидимому, что придумали въ этомъ отношеніи люди, выражено еще въ знаменитомъ двустишіи Шиллера:

Vor dem Tode erschrikst du? Du wünschest unsterblich zu leben?
Leb im ganzen! Wenn du lange dahin bist, es bleibt!
(Ты пугаешься смерти? Ты желаешь жить безсмертнымъ? Живи въ цѣломъ! Когда тебя давно не будетъ—оно останется!).

Этотъ Шиллеровскій афоризмъ есть въ сущности лишь парафразъ и обобщеніе стараго житейскаго наблюденія, выраженнаго въ пословицѣ: „на людяхъ и смерть красна“. Грубо, но въ общемъ правильно, эта пословица даетъ отвѣтъ „позитивистовъ“, а, значитъ, и человѣчества—ибо человѣчество по своему существу „позитивно“—на проблему смерти. Мы не знаемъ, когда человѣчество пріобрѣтетъ тотъ инстинктъ смерти, о которомъ мечтаетъ Мечниковъ. Пока же оно научилось побѣждать это явленіе только въ массѣ, только коллективно. Мѣсто разрушаемой цивилизаціей—и въ особенности городомъ—связи съ универсальнымъ бытіемъ начинаетъ занимать почти исключительная связь съ соціальнымъ бытіемъ, дозволяющая личности преодолѣть (а не разрѣшить, конечно) трагизмъ смерти. Если не хорошо быть человѣку одному, то особенно это не хорошо лицомъ къ лицу съ проблемой смерти и производными отъ нея вопросами. Только жмясь другъ къ другу, только живя жизнью коллективности, можетъ личность задержать процессъ душевнаго „лучеиспусканія“ въ космическую пустоту, созданную вокругъ насъ цивилизаціей города. Въ соціальномъ, такъ сказать, пан-

теизмѣ должна личность искать возмѣщеніе за утерянный натуральный пантеизмъ.

Однимъ изъ важнѣйшихъ варіантовъ мотива: страхъ смерти является столь мучительная и подчасъ роковая проблема о смыслѣ жизни. За короткимъ вопросомъ: для чего жить? такъ и слышится недоговоренное: когда все равно придетъ неумолимая, всеистребляющая смерть и т. д. Нѣтъ, можетъ быть, вопроса, который былъ бы въ одно и то же время столь личнымъ, по интенсивности и своеобразности переживаній, и который могъ бы становиться столь общественнымъ по своему характеру и значенію, какъ этотъ. Для того, кто не переживалъ особаго настроенія, создаваемаго — а, вѣрнѣе, создающаго — его, онъ является какой-то непонятной причудой, блажью, чѣмъ то болѣзненнымъ, ненормальнымъ. Для переживающаго же его онъ замѣняетъ собой рѣшительно все; интересъ къ чему бы то ни было тускнѣетъ передъ тѣмъ сосредоточеннымъ, упорнымъ вниманіемъ, которое онъ вызываетъ къ себѣ въ попавшемъ подъ его власть, въ «одержимомъ» имъ субъектѣ.

Въ индивидуальной и мягкой, такъ сказать, формѣ онъ существуетъ всегда и вездѣ, легко растворяясь, однако, въ потокѣ соціальной жизни. Въ эпохи подъема общественной энергіи, въ эпохи цѣльности настроенія, когда передъ извѣстной соціальной группой стоятъ опредѣленныя, ясно сознанныя, цѣли, вопросъ этотъ не можетъ даже подняться до сознанія общества,— не потому только, что нѣтъ времени для него, а потому что онъ самъ по себѣ не имѣетъ тогда смысла. Гдѣ тутъ спрашивать, для чего жить, когда сама жизнь даетъ непререкаемые и безспорные отвѣты на это. Въ одномъ случаѣ нужно бороться за права человѣка и гражданина, въ другомъ за неприкосновенность родины; здѣсь надо освобождать рабовъ, тамъ освобождать мысль и т. д.

Разрывъ съ «народомъ», отказъ отъ того соціальнаго пантеизма, о которомъ говорилось выше, и влечетъ за собой обыкновенно острую постановку вопроса о смыслѣ жизни. Прежнія ясныя, всѣхъ удовлетворявшія, формулы теряютъ свое значеніе; для безпокойной, ищущей себѣ пріютъ, мысли становятся страннымъ, что онѣ когда то имѣли власть надъ умами и сердцами людей. Начинаетъ казаться, что люди какъ-то нелѣпо дурачили другъ друга, притворяясь, будто въ самомъ дѣлѣ, понимали цѣль и смыслъ своего существованія. Весь интересъ жизни обезцѣнивается, все содержаніе ея улетучивается въ голой схемѣ: для чего? пожирающей все то, чѣмъ жило предыдущее поколѣніе. Одна формула жизни за другой идетъ подъ ножъ неумолимаго анализа. Такъ очень распространенная формула гласила: „жить должно для счастья людей, человѣчества“. Подъ этимъ „для счастья“ обыкновенно подразумѣвались весьма опредѣленныя и конкретныя вещи. Но пробудившаяся потребность анализа при-

ступаетъ къ этой чисто практической аксіомѣ съ логической, отвлеченной, операціей и не перестаетъ грызть:

«То, что позитивизмъ называетъ человѣчествомъ,—есть повтореніе на неопредѣленномъ пространствѣ и времени и неопредѣленное количество разъ насъ самихъ со всей нашей слабостью и ограниченностью. Имѣетъ наша жизнь абсолютный смыслъ, цѣну и задачу, ее имѣетъ и человѣчество; но если жизнь каждаго человѣка, отдѣльно взятая, является безсмыслицей, абсолютной случайностью, то также безсмыслены и судьбы человѣчества. Не вѣруя въ абсолютный смыслъ жизни личности и думая найти его въ жизни цѣлаго собранія намъ подобныхъ, мы, какъ испуганныя дѣти, прячемся другъ за друга; логическую абстракцію хотимъ выдать за высшее существо, впадая, такимъ образомъ, въ логическій фетишизмъ, который не лучше простого идолопоклонства, ибо мертвому, нами созданному объекту приписываемъ черты живого Бога" („Отъ марксизма", 131).

Получается, повидимому, какая то несуразность, а разрушительная работа мысли продолжается все дальше, все глубже, захватывая все новыя и новыя сферы,—пока она не найдетъ себѣ успокоенія въ какой нибудь традиціонной или нарочито для того созданной миѳологіи. Разорванная реальная связь съ „народомъ" замѣняется, какъ и всегда, идеальной и мнимой связью съ Богомъ, въ Богѣ, которою и разрѣшается проблема о смыслѣ жизни и производныя отъ нея проблемы о смыслѣ исторіи и смыслѣ міра.

VI.

Здѣсь я закончу этотъ крайне общій и схематическій анализъ причинъ, вызывавшихъ появленіе современныхъ религіозныхъ настроеній. Выдѣляя въ мистическихъ исканіяхъ чистые и безпримѣсные въ классовомъ отношеніи элементы—а такіе имѣются у насъ, какъ и на Западѣ—приходится въ центрѣ анализа поставить Городъ, этотъ главный узелъ, въ которомъ сходятся всѣ нити современной культуры. Съ Городомъ въ извѣстномъ отношеніи происходитъ то же, что и съ другими соціальными силами, которыя, будучи продуктами коллективной дѣятельности человѣка, на первыхъ порахъ оборачиваются противъ него и подчиняютъ себѣ своего творца. Это, пользуясь терминомъ Маркса,—„фетишизмъ" соціальныхъ стихій, это—становящаяся такъ часто реальностью сказка о чародѣѣ, не сумѣвшемъ обратно заклясть вызванныхъ имъ духовъ. „Фетишизмъ" стихіи города и влечетъ за собой сознательный или безсознательный мистицизмъ.

Говоря это я не забываю, конечно, освободительной роли города въ борьбѣ именно съ мистицизмомъ, съ „духомъ дере-

вень, который былъ духомъ Бога" *). Но наряду съ этимъ главнымъ потокомъ вліянія города пробивается и противоположная струя, имѣются и тенденціи къ новому духу Бога. Тенденціи эти, вообще разлитыя въ атмосферѣ города, въ нѣкоторыхъ случаяхъ концентрируются, пріобрѣтаютъ значительную силу. Это и имѣетъ мѣсто въ случаѣ межклассовой, самодовлѣющей интеллигенціи,—интеллигенціи, оторвавшейся отъ широкихъ народныхъ массъ, но не пошедшей въ услуженіе къ высшимъ классамъ и не имѣющей опредѣленной соціальной функціи. Оторванность отъ соціальнаго бытія, суммируясь у нея съ характерной для города оторванностью отъ универсальнаго бытія и вызываетъ различныя неопредѣленныя томленія по идеальной связи—религіи.

Въ заключеніе я остановлюсь еще въ немногихъ словахъ на затронутомъ ужъ раньше вопросѣ, именно, насколько серьезны эти мистическія исканія насколько они, выражаясь терминомъ этическаго характера, искренни. Въ своемъ сердито и сумбурно написанномъ послѣсловіи къ книгѣ „Sub specie" г. Бердяевъ возмущается тѣмъ, что къ мистикамъ-литераторамъ особенно охотно примѣняются морально-сыскные пріемы, что ихъ глубина и искренность особенно провѣряются. „Пусть писатель „мистическаго" направленія,—негодуетъ онъ,—напишетъ какое нибудь литературное произведеніе, и всѣ станутъ нападать на него и будутъ предъявлять требованія, невыполнимыя въ предѣлахъ литературы, будутъ кричать, что религія для него — литература, воспользуются случаемъ, чтобъ обнаружить свое моральное самодовольство" (с. 432).

Вѣроятно г. Бердяевъ, когда писалъ свое послѣсловіе, вдохновлялся своеобразной теоріей искренности, развивавшейся когда то г. Минскимъ на засѣданіяхъ религіозно-философскаго общества:

„Что же такое искренность? — спрашиваетъ г. Минскій: — прежде думали, что это соотвѣтствіе между словомъ и дѣломъ. Когда въ 70-хъ годахъ у насъ явилось поколѣніе нигилистовъ, они были вправѣ считать себя людьми искренними, потому что имѣли извѣстный идеалъ и за него шли на всякія страданія... Толстой пришелъ и сказалъ: нѣтъ, господа, вы не искренни, потому что искренность заключается не столько въ соотвѣтствіи между словомъ и дѣломъ, сколько въ гармоніи между цѣлью и средствомъ. Цѣль ваша — установленіе мира и любви между людьми. А средства—злоба, убійство, насиліе: слѣдовательно вы не искренни. Нельзя противиться злу насиліемъ" („Нов. Путь", 1903 г., № 2, с. 109 „Приложенія").

„Прежде думали"... но, повидимому, nous avons changé tout

*) „L'esprit des campagnes était l'esprit de Dieu" E. Verhaeren Les „villes tentaculaires".

cela. Искренность отнюдь не есть соотвѣтствіе между словомъ и дѣломъ, а гармонія между средствомъ и цѣлью. И если мистикъ-литераторъ считаетъ своей цѣлью писать или говорить о мистикѣ, то ясно, что искренность-гармонія требуетъ отъ него лишь, чтобъ онъ хорошо, талантливо писалъ или говорилъ. Требованіе же иного сорта искренности онъ имѣетъ право съ г. Бердяевымъ называть морально-сыскными пріемами.

По поводу этихъ жалобъ г. Бердяева на то, что искренность мистиковъ постоянно провѣряется, я ужъ разъ писалъ: „мы не довѣряемъ нашимъ мистикамъ, не довѣряемъ потому, что нѣтъ въ нихъ того „дѣятельнаго молчанія", о которомъ такъ красиво и вѣрно говоритъ Метерлинкъ. Для людей, близкихъ къ трансцендентному, имѣющихъ „касанія" мірамъ инымъ, они говорливы, слишкомъ говорливы. Андреевскій Елеазаръ, побывшій всего три дня въ „потустороннемъ мірѣ", принесъ оттуда на всю жизнь великое молчаніе, и только въ глубинѣ глазъ его укрылась страшная тайна Безконечнаго. Наши мистики—можетъ быть, потому, что, благодаря своему мистическому опыту, они находятся въ ежедневномъ общеніи съ Безконечнымъ — громко и много переговариваются о немъ, доходя въ своей словоохотливости до высокаго комизма. Мережковскій, молъ, думаетъ, что чортъ это есть олицетвореніе пошлости и плоскости, а я, Бердяевъ, подходя къ этому „самому страшному и самому важному вопросу" (с. 370), полагаю, что стихія дьявола скорѣе въ злобѣ и самолюбіи; Мережковскій пророчествуетъ близость страшнаго суда: „но не слишкомъ ли рано почувствовалъ Мережковскій близость конца?" (с. 368) и т. д. Эта говорливость господъ мистиковъ, эта ихъ манера быть за панибрата съ „самыми страшными и важными проблемами", оглядываясь при этомъ другъ на друга, а, главное, на читателя, подрываетъ у насъ всякую вѣру въ ихъ искренность. Въ ихъ *книжномъ* мистицизмѣ мы видимъ поэтому только мистификацію, литературщину, словесность. Словесность изысканную, временами изящную, но гораздо чаще вычурную, въ духѣ философскихъ каламбуровъ Мережковскаго о „святой плоти" и „безплотной святости". Это не мистицизмъ, это *игра* въ мистицизмъ просвѣщенныхъ европейцевъ, подобная той игрѣ въ миѳологію, которой предавалось образованное общество временъ разложенія римской имперіи".

Въ этой характеристикѣ нужно только обломать полемическое остріе (мистицизмъ *только* какъ мистификація и пр.), чтобъ примѣнить ее вообще къ нашему беллетристическому мистицизму, этой игрѣ въ мистицизмъ, отражающей смутныя томленія одинокаго и утонченнаго интеллигента.

Любопытно, что въ писаніяхъ самихъ же мистиковъ другъ о другѣ, можно найти подтвержденіе этой характеристикѣ. Такъ, напримѣръ, г. Розановъ въ своей статьѣ о Д. Мережковскомъ („Н. Путь", 1904 г., № 10) называетъ его — не съ злымъ, ко-

нечно, умысломъ, а любовно—„запойнымъ игрокомъ въ символы“.

Самъ г. Мережковскій, конечно, иного мнѣнія о себѣ и вообще объ интеллигентахъ-мистикахъ: „Мы еще простодушны,—ораторствовалъ онъ на засѣданіяхъ религіозно-философскаго общества—мы еще удивляемся, умиляемся, у насъ еще духъ захватываетъ отъ нѣкоторыхъ текстовъ, съ которыми господа богословы обращаются, какъ безграмотный сторожъ библіотеки съ драгоцѣнными палимпсестами Гомера. Можетъ быть, у насъ, не богослововъ, не церковниковъ, такая же первобытная грубость мысли, но зато и такая же первобытная свѣжесть чувства, какъ у язычниковъ, варваровъ, обращавшихся къ христіанству“ („Н. Путь“, 1903 г., № 11).

Достаточно вспомнить кишащія антитезами, намеками, уподобленіями и всяческими иными литературными ухищреніями книги самаго автора „Антихриста“, чтобъ увидѣть, насколько примѣнимы слова о первобытной грубости мысли и свѣжести чувства къ этому „книжнику“ и запойному игроку въ символы.

Напомню также остроумную и ядовитую статью А. Бѣлаго въ „Вѣсахъ“ о „штемпелованной галошѣ“, въ которой онъ такъ зло разоблачалъ удобный и уютный характеръ петербургской литературной мистики. Но лучше ли обстоитъ дѣло у живущихъ въ Москвѣ или даже заграницей мистиковъ-интеллигентовъ?

И это, конечно, не случайность. Это лежитъ въ крови, въ самой сути нашего неомистицизма. Дѣло по существу въ томъ, что современный мистицизмъ, какъ продуктъ чисто и узко интеллигентскаго творчества, какъ продуктъ соціальной группки, тонкой фосфоресцирующей пленкой держащейся на поверхности общества, не можетъ выйти изъ стадій настроеній и словъ. Я не говорю, конечно объ отдѣльныхъ глубокихъ натурахъ—исключенія бываютъ вездѣ — я говорю о явленіи въ цѣломъ. О соотвѣтствіи между словомъ и дѣломъ — какъ, вопреки увѣреніямъ г. Минскаго, приходится все еще понимать искренность — не можетъ быть рѣчи для этихъ чистыхъ профессіоналовъ слова, все дѣло которыхъ и есть въ концѣ концовъ слово. У нихъ не только въ началѣ было слово, но оно же находится въ серединѣ оно же будетъ и въ концѣ. Несмотря на всѣ ихъ выспреннія размышленія о Логосѣ, о ставшемъ плотью Словѣ, ихъ собственное слово никогда не можетъ стать плотью. Наоборотъ, всякая плоть должна у нихъ непремѣнно обратиться въ слово. Всякое реальное общественное противорѣчіе, попадая въ сумеречную и разслабленную атмосферу ихъ интеллигентскихъ настроеній, должно стать безкровнымъ, безплотнымъ, должно превратиться въ силуэтъ, въ тѣнь, въ слово. Лишенная связи съ народными массами интеллигенція не можетъ дать бойцовъ, пророковъ. И они лишь поэты, лишь беллетристы отъ мистики, но не пророки ея. А беллетристика въ мистикѣ — это и значитъ „стилизація“ мистики, это и значитъ запойная игра въ символы,

игра въ мистицизмъ, которая не можетъ фатально не принимать извѣстнаго характера мистификаціи.

Ничего поэтому страннаго нѣтъ, если людей, которые разсматриваютъ явленія—но на бумагѣ, но на словахъ—„sub specie aeternitatis“ начинаютъ, въ свою очередь, разсматривать „sub specie mystificationis

П. Юшкевичъ.

Ст. Ивановичъ

Пресса-Модернъ.

I.

И вотъ снова выступили Подхалимовы *вчерашніе*, которые еще во дни возрожденія руку набили. Выступили и поразили всѣхъ юркостью и непринужденною остротою ума. Они первые наглядно доказали, что можно жить и безъ принциповъ.

Салтыковъ.

Было время и великій страстотерпецъ русской культуры А. Герценъ писалъ: „Въ бѣдной и обиженной литературѣ до послѣдняго времени было множество всякихъ чудаковъ, но большей частью это были люди чистые, люди честные. Аферисты, плуты, дѣлатели фальшивыхъ векселей и истинныхъ подлоговъ, если и попадались, то они шныряли гдѣ то по подваламъ и никогда не лѣзли на видимыя мѣста, точно лондонскіе тараканы, держащіеся въ кухнѣ и не являющіеся въ салонъ. Такимъ образомъ сохранилась у насъ наивная вѣра въ поэта и писателя. Мы не привыкли къ тому, что можно лгать духомъ и торговать талантомъ такъ, какъ продажныя женщины лгутъ тѣломъ и продаютъ красоту; мы не привыкли къ барышникамъ, отдающимъ въ ростъ свои слезы о народномъ страданіи, ни къ промышленникамъ, дѣлающимъ изъ сочувствія къ пролетарію доходную статью. И въ этомъ довѣріи, давно не существующемъ на западѣ, бездна хорошаго и намъ всѣмъ слѣдуетъ поддерживать его“.

Увы, увы! Салоны отечественной литературы кишмя кишатъ теперь черной тараканьей ратью и кажется порою, что самые салоны эти превратились въ дымныя, грязныя кухни со всѣмъ своеобразіемъ ихъ безнадежно прокисшей, зараженной и заразительной атмосферы.

Да, „мы не привыкли къ тому, что можно лгать духомъ и торговать талантомъ“, но теперь?—теперь намъ надобно привыкать, потому что тараканъ пошелъ теперь густо и усердно создаетъ себѣ домообзаводство во всѣхъ щеляхъ россійской словесности. Чувствуется, что устраивается онъ прочно, основательно и надолго, что онъ какъ бы дѣлаетъ это въ гордомъ сознаніи своего историческаго призванія, съ трусливой самоу-

вѣренностью еще не вполнѣ расцвѣтшаго безстыжества пришептывая: „привы-ы-ыкнете!“ Да, приходится привыкать, хотя это у насъ въ Россіи и чрезвычайно трудно.

Волей нашихъ печальныхъ историческихъ судебъ мы привыкли и кровно сроднились съ той „бездной хорошаго“, какой являлась для насъ русская литература. Безпощадно гонимые во всѣхъ областяхъ общественной, культурной и политической дѣятельности, мы радостно и страстно устремлялись къ литературѣ, какъ въ нѣкій храмъ спасенія. Тутъ было наше истинно всенародное представительное собраніе, тутъ былъ и великій пантеонъ нашей безрадостной исторіи, тутъ было и наше святилище Красоты, Знанія и Правды, тутъ долгое время былъ и нашъ единственный боевой арсеналъ. Всеобщій эквивалентъ всѣхъ нашихъ только алкаемыхъ, только еще искомыхъ культурныхъ стоимостей, литература наша стала явленіемъ религіознаго порядка. Въ храмѣ ея можно было приносить себя беззаветно ей въ жертву, но нельзя было совершать банковскихъ операцій: вкладывать на текущій счетъ славу и почетъ, отдавать „въ ростъ, слезы о народномъ страданіи“. Правда, наша „бездна хорошаго“ не была какимъ то мистическимъ выявленіемъ совершенно исключительныхъ свойствъ „русскаго національнаго духа“, и выросла она въ результатѣ недоразвившихся общественныхъ отношеній, на почвѣ „кустарной“ докапиталистической конструкціи общества. Съ другой стороны, не мы сами стали „aus der Noth eine Tugend machen“, а сама эта роковая „нужда“ создала высшаго типа „добродѣтель“—скованнаго феодальными узами общества.

На западѣ отъ этой „добродѣтели“ давно и помину нѣтъ. И въ литературѣ вообще и въ прессѣ въ частности и въ особенности пышно расцвѣлъ капиталистическій чертополохъ. Храмъ литературы давно превратился въ шумное и грязное торжище, въ *крытый* рынокъ, въ универсальный магазинъ.

Но крытый литературный рынокъ пришелъ не самъ. Пришли вмѣстѣ съ нимъ въ жизнь зап.-европейскаго общества непримиримые его антагонисты и, что важнѣе всего, у этихъ антагонистовъ оказалась болѣе широкая база сопротивленія, чѣмъ литература, болѣе богатый арсеналъ орудій борьбы, чѣмъ печатное слово. Различные виды общественной самодѣятельности, различныя области приложенія культурной энергіи, свободное проявленіе общественнаго мнѣнія и общественной организаціи — все это вмѣстѣ дѣлало съ одной стороны не столь чувствительными и не столь опасными вакханаліи „литературной сволочи“ *)

*) Терминъ этотъ принадлежитъ не намъ. Впервые мы его встрѣтили въ статьѣ г. Корнѣя Чуковскаго „Спасите!“, помѣщенной въ „Понедѣльникѣ“ („Судьба народа“ № 1) К. Чуковскій говорилъ о мертвецахъ въ домѣ покойника, говорилъ очень ясно и убѣдительно, обнаруживая весьма близкое знакомство съ предметомъ. Обстоятельство это съ нелестными для г. Чуковскаго комментаріями было константировано столичной прессой.

съ другой стороны являлось могучимъ орудіемъ въ активной борьбѣ съ нею. Были другія трибуны кромѣ литературныхъ, были иныя рати, кромѣ писательскихъ. Литература стала факторомъ вторичнаго значенія, она стала однимъ изъ орудій общественной жизни, а не ея всеобщимъ эквивалентомъ. Классы и общественныя группы нащупывали соціальное тѣло другъ друга непосредственно, соціальными щупальцами болѣе органически сросшимися съ тѣломъ, чѣмъ печатное слово. Тотъ, зап-европ. Подхалимовъ пришелъ не одинъ, пришелъ со своими врагами и даже позже ихъ и вотъ почему онъ не былъ такъ опасенъ.

Не то у насъ. Вся невыгода нашего положенія въ томъ и заключается, что мы какъ-то чрезвычайно скоро оказались обогащенными всѣми т. н. „обратными сторонами" цивилизаціи, а казовыя такъ и остались по ту сторону всѣхъ границъ. Мы получали безпошлинно яды, а не противоядья, реакція налагала высокій запретительный тарифъ, намъ „европеизація" перешибала въ иныхъ случаяхъ ноги, но даже костыли — и тѣ оказывались подъ запретомъ.

Случилось такъ, что революція широко раскрыла двери литературному развалу, разбила шлюзы, сдерживавшія напоръ капиталистической улицы на нашу кустарную добродѣтель, привѣтливо встрѣтила хлѣбомъ-солью преображеннаго Подхалимова, а когда стали входить силы ему враждебныя — реакція грубо и плотно двери захлопнула и защемила ихъ на вершокъ внутрь, на версту наружу. И вотъ мы на жестокой стужѣ все еще бѣдные, жалкіе „мальчики безъ штановъ", но зато съ цѣлой кучей порнографическихъ листковъ трактирнаго пошиба, съ эротической литературой альковнаго, съ электрическими поясами, сперминомъ и литературными крытыми рынками. Все это такъ же украшаетъ „мальчика безъ штановъ", какъ напяленный по уши цилиндръ украшаетъ негра безъ всякихъ слѣдовъ одежды. Исчезла та „бездна хорошаго", о которой говорилъ Герценъ, и на мѣстѣ ея безданно, безпошлинно растетъ, пухнетъ бездна пошлаго, гадкаго... Подмоченъ, попорченъ всеобщій нашъ эквивалентъ, но нѣтъ и цѣнностей, которыхъ онъ замѣщалъ. И въ этомъ можетъ быть одна изъ худшихъ, одна изъ наиболѣе тяжелыхъ сторонъ надвинувшейся реакціи. И это отбрасываетъ на „литературную сволочь" грязно-бурый реакціонный отсвѣтъ, несмотря на весь ея ходульный радикализмъ, не смотря даже на ея революціонное прошлое.

А она, несомнѣнно, имѣетъ революціонное прошлое.

Революція наша вызвала огромный, просто сказочный расцвѣтъ періодической прессы. Грандіознымъ, могущественнымъ потокомъ ринулась газета въ изголодавшіяся по свободному слову массы, а силы революціи каждый разъ взрывали этому потоку все новые пути, открывали ему все новыя людскія до-

лины. Точно курятникъ землетрясеніемъ разрушены и искрошены были въ щепы всѣ цензурныя загражденья, и потокъ, все разрастаясь, несся дальше. Ворвалась долго бившаяся у нашихъ китайскихъ стѣнъ великая сила капитализма — періодическая пресса. Стихійно въ самый короткій срокъ создана была армія, огромная армія газетныхъ работниковъ. Быстро, почти мгновенно, роволюція замѣсила въ соціальное мѣсиво переходнаго періода новый очень важный элементъ: газетный пролетаріатъ [1]). Революція создала на него спросъ, революція вызвала и предложеніе. Газетный пролетарій шелъ массами изъ царства раззоренныхъ революціей мѣщанскихъ гнѣздъ провинціи и столицы. Огромныя массы служащей по различнымъ учрежденіямъ молодежи были вышиблены изъ колеи и устремились на яркое, манящее славой и хорошимъ заработкомъ газетное дѣло. Политика стала профессіей выгодной и соблазнительной, а газетчикъ былъ очень яркимъ воплощеніемъ политики. Университеты и даже гимназіи кинули въ революціонный водоворотъ кучи молодежи и вся она почти цѣликомъ цѣпко, порывисто ухватилась за газету. Революція въ корень дезорганизовала всѣ отрасли труда, но зато она широко открыла дорогу къ газетѣ, къ политикѣ, какъ къ профессіи. Тутъ пріемъ былъ для всѣхъ свободный: ни дипломовъ, ни знаній, ни выучки, ни ума, ни совѣсти, ни чести, ни даже грамотности — ничего этого не нужно было, ничто не затрудняло сюда доступъ. Исконно-россійское „безъ опредѣленныхъ занятій“ замѣнилось гордо-фальшивымъ „литераторъ“ съ опредѣленными занятіями, но безъ опредѣленныхъ взглядовъ, безъ опредѣленныхъ принциповъ, безъ опредѣленныхъ идей съ однимъ только перекатывавшимся отъ макушки до пятокъ глухимъ утробнымъ урчаніемъ: жрать!

„Когда Миланъ вторично отрекся отъ престола“ — писалъ Дорошевичъ:—„я сказалъ женѣ, — Маничка, мы можемъ купить новую ротонду“. А тутъ вѣдь не то что глупый Обреновичъ заартачился, а великое историческое событіе разыгралось! И какъ же новорожденному литератору не понять было, что оно чревато не только новыми ротондами для Маничекъ, но и великолѣпными бриллiантовыми колье для нея? И онъ дѣйствительно понялъ и въ засосъ началъ охаживать революцію, обслуживать ее, славословить ее въ стихахъ и въ прозѣ, курить ей фиміамы. И надо правду сказать: онъ дѣлалъ это искренно, горячо, красочно и иной разъ даже и талантливо. Вѣдь, какъ бы тамъ ни

---

[1]) Изъ дальнѣйшей характеристики мы, конечно, исключаемъ ту часть его, которая до и во время революціоннаго разлива съумѣла связать себя органическими узами съ идеей и борьбой „четвертаго сословія“. Для этой части революція ничего принципіально новаго въ смыслѣ измѣненія ея общественно-моральной позиціи не внесла, а только расширила сферу приложенія ея соціальной энергіи, между прочимъ и въ области борьбы печатнымъ словомъ.

обстояло дѣло съ Маничкой, онъ какъ ни какъ былъ однимъ изъ элементовъ революціонной демократіи. Деклассированный многогранный неудачникъ, выброшенный революціонной стихіей за шиворотъ изъ своей прежней соціальной среды, онъ пришелъ въ революцію давно не ѣвшій, удушаемый лютой злобой, слѣпой ненавистью къ своимъ прежнимъ хозяевамъ и злымъ угнетателямъ—и это дѣлало его страстнымъ, это дѣлало его яркимъ. О, у него были большіе счеты съ бюрократіей, и много обидъ отъ нея тяжелыми камнями перекатывались въ его груди! Мѣщанинъ, мелкій буржуа, онъ также искренне ненавидѣлъ „буржуазію“ и, выбиваясь изъ силъ, онъ забѣгалъ впередъ и заискивающе-молитвенно смотрѣлъ въ глаза пролетаріату. Желаніе угодить ему на радикализмѣ дѣлаетъ изъ этого литератора какого-то истерическаго сладострастника революціи. Мало по малу перо его становится воплощеніемъ какой-то слѣпой готовности задать кому угодно по какому угодно случаю „харрошаго раза“. Такъ постепенно онъ становится какимъ-то литературнымъ гамэномъ, озорникомъ... Этотъ гамэнъ остроуменъ, хохочетъ, строитъ направо и налѣво потѣшныя гримасы и, какъ дрянной мальчишка, вырвавшійся изъ постылой школы съ надсадомъ мараетъ ея стѣны гнусно-остроумными и остроумно-гнусными надписями и рисунками, такъ и этотъ литературный пострѣлъ вырвавшійся изъ объятій цензуры на свободу въ тучѣ газетъ и юмористическихъ журналовъ выводитъ свои безконечные шутки, анекдоты, шаржи, пародіи, выводитъ ихъ при помощи такихъ же художниковъ, ляпающихъ красную краску въ размѣрахъ, вызывающихъ тошноту невыносимую.

Типъ героя „модернистской“ прессы почти завершенъ. Дитя освобожденныхъ революціей стихійныхъ силъ капитализма, онъ нервенъ, легко возбудимъ, легокъ въ мысляхъ и поступкахъ, подвиженъ, суетливъ и пронырливъ, и нѣтъ на свѣтѣ такой узкой и тонкой щели, которой онъ не былъ бы еще уже и тоньше. Быстро съ воодушевленіемъ онъ выметаетъ капиталистической шваброй все древнее благочестіе кустарной литературной добродѣтели, быстро онъ прощупываетъ біенія новаго капиталистическаго пульса у читателя модернъ, истомившагося въ кустарной свѣтелкѣ съ ея строгими ликами иконъ по „свѣжему“, „легкому“, „пріятному“, „пикантному“, живо переставляетъ онъ всю мебель по своему и „ея“ вкусу и основываетъ новое царство—царство „литературной сволочи“.

II.

Простите меня, если у насъ реакція, то какія же слова можемъ мы говорить, кромѣ реакціонныхъ?

Корнѣй Чуковскій.

Пришедшая тяжелой сокрушительной стопою реакція задушила пышно расцвѣтшую періодическую прессу. Огромные кадры газетной богемы оказались сшибленными съ нагрѣтыхъ уже пристанищъ. Появилась масса безработныхъ юмористовъ, фельетонистовъ, политиковъ, спекулировавшихъ раньше на торжество революціи, а теперь очутившихся на мели. Своимъ мертвеннымъ дыханіемъ реакція почти совершенно уничтожила прежній спросъ на революціонное кликушество, услаждавшее раньше огромныя массы читательствовавшихъ обывателей. При такихъ условіяхъ вынырнулъ изъ тьмы новый органъ „Понедѣльникъ" объединившій вокругъ себя самыхъ видныхъ героевъ „новой" прессы. „Понедѣльникъ" явился замѣчательно характернымъ *безсознательнымъ* выраженіемъ созрѣвавшей въ настроеніи т. н. „просвѣщеннаго общества" реакціи. Именно потому, что „Понедѣльникъ" не былъ органомъ сознательной преднамѣренной реакціи, что политически онъ былъ даже весьма радикаленъ—именно поэтому отраженіе имъ совершавшагося въ обществѣ глубокаго соціально-психологическаго излома—вышло очень отчетливымъ и поучительнымъ. Въ обществѣ зрѣло глухое раздраженіе противъ революціи, оказавшейся вещью гораздо болѣе тяжелой, сложной и убыточной, чѣмъ оно предполагало. И чуткіе, какъ свѣточувствительныя пластинки, герои „новой" прессы, на революціи выѣхавшіе, въ ней, какъ сыръ въ маслѣ катавшіеся, тоже стали теперь глядѣть вслѣдъ ея уходящимъ волнамъ хмуро и обидчиво. Ахъ, какъ хороши и пріятны во всѣхъ отношеніяхъ революціи побѣждающія и какъ скучны, жалки, неинтересны, безобразны, некрасивы и безтолковы революціи побѣждаемыя! „Понедѣльникъ" пробивалъ для общественной реакціи новое русло и усилившемуся напору раздраженія противъ революціи, онъ открылъ новый клапанъ—клапанъ литературно-эстетическій. Наиболѣе свѣточувствительный изъ его сотрудниковъ—страстный и порывистый Корнѣй Чуковскій назойливо присталъ къ революціи съ злыми капризными попреками за вредное ея вліяніе на искусство и на поэтовъ. Онъ страстно восхотѣлъ освободить русскую литературу отъ вліянія революціи, потому что—увѣрялъ онъ на всякіе лады — „революція всегда, вездѣ и во всемъ вредна литературѣ". Онъ всѣми силами пытался дискредитировать ее въ художественномъ сознаніи, компрометировать ея трагическую мощь и красоту. Вкрадчиво такъ, тихонечко и скромно, со слезиночкой манерничающей искренности онъ просилъ насъ: „Будемъ откровенны и признаемся,

что всѣ эти „соціальные катаклизмы“, „классовыя идеологіи“, „діалектики общественнаго процесса“—всѣ эти сикамбры и органоны россійскаго „движенія“ (въ кавычкахъ!) — ужасно намъ всѣмъ надоѣли и сдѣлали насъ какими-то приватъ-доцентами революціи, какими-то бунтовщиками безъ бунта, какими-то кадетами отъ соціализма“. И когда Розановъ говорилъ о революціонерахъ въ такихъ выраженіяхъ какъ: „паладины невидимаго града“, „великія стихіи воображенія и чувства“—Чуковскій стоналъ—„Не тѣ слова, не тѣ образы, къ которымъ пріучили насъ наши двухкопеечные, пятикопеечные каутскіе, каутскіе, каутскіе“. Измученный непосильными для него сикамбрами и органонами двухкопеечныхъ каутскихъ, онъ тоскливо спрашивалъ: „Какія у насъ въ нашей сѣверной революціи—грезы, мечтанія, фантазіи и иллюзіи?“, не подозрѣвая, конечо, что за эти самыя „грезы и фантазіи“ впослѣдствіи его товарищи учинятъ революціи строгій допросъ съ пристрастіемъ. Пока же они вмѣстѣ съ Чуковскимъ корили революцію за отсутствіе въ ней романтики.

„*Новый коллективный герой*—пишетъ черезъ 2 недѣли въ той же газетѣ И. Михайловичъ—*изгналъ своимъ выступленіемъ романтику изъ освободительнаго движенія—онъ герой практическаго дѣла.* Имъ движетъ только жизненный, практическій *интересъ*, интересъ классовой, профессіональный, сословный, часто шкурный, и высокій идеализмъ онъ размѣнялъ на практическія стремленія, цѣли, платформы, на программы minimum и maximum...

На кровавые ужасы нашей дѣйствительности, на вакханаліи казней и разстрѣловъ онъ отвѣчаетъ—заявленіемъ въ городскую думу о желаніи выбирать въ Думу Государственную, отвѣчаетъ предвыборнымъ крохоборствомъ, казуистическимъ мудрствованіемъ о границахъ, выгодѣ и пользѣ „блоковъ“ и соглашеній“.

Правда, этимъ же и даже въ томъ же № занимается также и высоко-революціонный „Понедѣльникъ“, но дѣлаетъ онъ это въ отличіе отъ коллективнаго героя „шкуры“ такъ геройски и романтически, что вы никакъ не поймете, что же онъ собственно объ этихъ вещахъ думаетъ.

Революція была побѣждена, но мощныя трагическія и величавыя тѣни ея невидимо рѣяли въ атмосферѣ, незвучно и судорожно метались въ густыхъ нависшихъ надъ землею багровыхъ тучахъ. Невозможно было начать мирное безпечальное буржуазное житье, когда она то и дѣло вставала изъ мертвыхъ и страшными призраками неожиданно выростала изъ-за спины пирующихъ, праздноболтающихъ, когда она въ темную ночь стучалась въ окна, въ двери, въ души, въ совѣсти, когда она черной тѣнью мрачно застывала въ дверяхъ Парнаса и звуки могильнаго отчаянія исторгала она изъ груди однихъ и фальшивый лепетъ уваженія и преклоненія услужливо семенилъ къ ея ногамъ изъ устъ другихъ. „Такъ дальше жить нельзя, дайте

вздохнуть и выведите наконецъ изъ Парнаса эту непрошенную госпожу—Революцію". И когда раздался этотъ вопль выскочилъ откуда то г. Корнѣй Чуковскій и бойко молвилъ: „я выведу"!.. И сталъ выводить.

Изъ пыли временъ онъ вытащилъ на свѣтъ Божій ветхій преветхій, до дыръ протоптанный лапоть русской и всемірной эстетики, изукрасилъ его ленточками и бубенцами пустозвонкихъ парадоксовъ и торжественно открылъ анкету о революціи и искусствѣ. И чрезвычайно характерно, что анкету онъ началъ между прочимъ такими словами. „*Моей совѣсти кажется*, *) что нижеслѣдующія *мои настроенія* не только не будутъ вредны, но принесли бы значительную пользу, если бы ими заразилось возможно большее количество людей". Его „совѣсти кажется"—да развѣ совѣстью рѣшаются вопросы эстетики, развѣ тутъ бываютъ прочны „настроенія"? И если Чуковскій апеллируетъ къ этимъ тонкимъ матеріямъ, отъ нихъ исходитъ, то развѣ не очевидно, что онъ самъ въ рекламированіи протоптаннаго лаптя чуетъ, боязливо чуетъ какой то навѣянный реакціей моральный скачекъ съ неизбѣжными при этомъ скачками настроенія?

Г. Чуковскій революцію выводилъ, но чувствовалъ себя очевидно при этомъ неловко.

„Я,—жалуется онъ впослѣдствіи, — обратился къ людямъ искусства съ просьбой: помогите обществу разобраться въ этомъ трудномъ вопросѣ о взаимоотношеніи искусства и революціи.

Люди же искусства, удостоившіе меня своими отвѣтами, не соблаговолили считаться съ вышеизложенными моими соображеніями, а предпочли представить себѣ, что я просто на просто выбѣжалъ на улицу и крикнулъ: долой революцію! Да здравствуетъ искусство"!

Конечно, жестоко поступили люди, сказавшіе громко то, о чемъ только тайно нашептывала „совѣсть", конечно, жестоко было не снизойти къ просьбѣ Чуковскаго „не отворачиваться отъ фанатика", который плелъ бы такой, напр., вздоръ: „При Плеве мы были рабами, но у насъ была прекрасная литература. Теперь мы „свободны" и у насъ уже нѣтъ прекрасной литературы. Поэтому—да сгинетъ свобода, да здравствуетъ литература"! Но почему бы и въ самомъ дѣлѣ Чуковскому не вопить „Долой революцію, да здравствуетъ искусство"! разъ онъ, такой ярый поклонникъ и фетишистъ красоты, думаетъ, что „революція во всемъ, всегда и вездѣ вредна литературѣ", что „въ любомъ заморышномъ стихѣ того (плевенскаго) времени было больше вреда для буржуазнаго строя, чѣмъ во всѣхъ брошюрахъ, которыя написалъ и напишетъ еще Карлъ Каутскій", разъ лозунгъ, отъ котораго онъ безпомощно отмахивается рѣетъ невидимо въ психикѣ пережившаго революціонную качку

*) Неоговоренный курсивъ всюду нашъ.

общества, разъ революція уходитъ туда, туда, гдѣ скорпіоны зрѣютъ...

И любопытно, что въ то время, какъ К. Чуковскій дѣтски наивно смущенъ былъ раскрытіемъ истиннаго реакціоннаго смысла его защиты „искусства для искусства", другой сотрудникъ „Понедѣльника", Осипъ Дымовъ (онъ же Каинъ), просто не выдержалъ и обращаясь, очевидно, къ революціонерамъ, браво и безстрашно воскликнулъ: „Свободы, господа. Свободы до конца"!

„Свободы даже отъ уличнаго крика: „да здравствуетъ свобода"!

„Ибо,—грозно вѣщалъ онъ со словъ „пламеннаго и талантливаго Пильскаго",—близится революція духа".

Свободу отъ революціи проповѣдывалъ также тогда еще малопрославившійся Каменскій: „Революція—злопыхательствовалъ онъ взбодренный „Понедѣльникомъ" — есть бѣшенство человѣка, надъ которымъ издѣвались тысячу лѣтъ. Художникъ долженъ быть выше бѣшенства".

„Понедѣльникъ", открывшій столбцы Чуковскому для проповѣди „чистаго искусства", хорошо понялъ своего потребителя эпохи реакціи, уставшаго отъ „безумія", отъ „бѣшенства" революціи. Во дни оны этотъ уставшій обыватель самъ одобрительно покрякивалъ, глядя на революціонное бѣшенство, охватившее газетную богему, во дни оны онъ являлся страстнымъ коллекціонеромъ революціонно-юмористическихъ журналовъ и, захлебываясь собственной слюной, приговаривалъ въ тактъ сатирическому канкану: „молодца, молодца", а теперь онъ такъ безумно усталъ отъ революціи, отъ уличныхъ криковъ „да здравствуетъ свобода", отъ крови и убійствъ... И какъ же пріятно ему было, когда его приглашали отдохнуть въ легкихъ муравахъ, очищеннаго отъ толпы, отъ порохового дыма, Парнаса, и какъ же мило ему стало „чистое искусство", чистое отъ „товарищей", „освободителей" и всѣхъ прочихъ безпокойныхъ, тяжелыхъ и мрачныхъ порожденій этихъ ужасныхъ дней „безумія". Новый органъ хорошо нащупалъ смятенную душенку читателя реакціи, собиравшагося зажить „по новому" и сталъ ее поливать благотворнымъ елеемъ искусства чистаго, безмятежнаго, дѣвственнаго, далекаго отъ кошмарнаго „вчера". Онъ газировалъ трусливый реакціонный ропотъ зарывшагося отъ революціи подъ подушки мѣщанина легкимъ изящнымъ флеромъ защиты искусства отъ толпы, улицы, массы,—онъ злобное ворчаніе мѣщанина, взбунтовавшагося противъ революціи съ ея кровавыми сикабрами и органонами, переложилъ на блудливый языкъ высокой принципіозности—и всѣ тѣ, кому отсутствіе реакціоннаго мужества мѣшало полной глоткой гаркнуть: а провались она, проклятая, сквозь землю—всѣ они нѣжно заговорили: „ахъ, помилуйте, да вѣдь революція всегда, вездѣ и во всемъ вредила литературѣ,

вѣдь нельзя же къ этому относиться спокойно, вѣдь литература—что можетъ быть выше литературы, что можетъ быть святѣе"!

За мѣсяцъ до своей кампаніи въ пользу „чистаго искусства" г. Корнѣй Чуковскій критиковалъ Дорошевича, огрызавшагося противъ революціи за анархію, созданную реакціей. „Да и какъ г. Дорошевичу не сердиться,—спрашивалъ Чуковскій.—Придти бы ему попозже, когда волна понизится, а рента повысится. Тамъ, въ ковчегѣ, небось, сохранились про него двѣ три торжествующія свиньи, которыя теперь поневолѣ „Русское Слово" читаютъ и правительство бранятъ, а какъ „все кончится"—выйдутъ, встряхнутся, расплодятся, и вмѣстѣ съ комфортабельными кушетками, комфортабельными женами и комфортабельнымъ Богомъ—потребуютъ себѣ и комфортабельную литературу. Вотъ тогда бы и придти Дорошевичу". Когда эти золотыя слова появились въ печати уже почти „все кончилось" и торжествующей свиньѣ, она же по словамъ Чуковскаго „имущій и просвѣщенный читатель послѣреволюціоннаго періода", наряду съ комфортабельной литературой предложены были и комфортабельные объ ней взгляды.

Корнѣй Чуковскій несомнѣнно пришелъ во время.

III.

Выбравшимуся благополучно изъ ковчега читателю сумерекъ революціи понадобилась комфортабельная литература, и вотъ „литературная сволочь" пошла навстрѣчу своему потребителю и занялась усиленнымъ ея рекламированіемъ въ стихахъ и прозѣ. Въ этомъ дѣлѣ первая скрипка изъ рукъ Корнѣя Чуковскаго перешла въ руки Петра Пильскаго. „Пламенный и талантливый", по словамъ Дымова, онъ пламенно и талантливо интерпретировалъ всю неизъяснимую сладость новой, „молодой", литературы, и первая же глава первой его статьи о „молодыхъ" сразу опредѣлила ея комфортабельно кушеточную сторону. Глава эта вся цѣликомъ гласила:

> Юная, зеленая, робкая, красивая трава...
> На ней отдыхаешь.

Геніальнымъ штрихомъ созданъ былъ поэтическій образъ кушетки модернъ. На ней же отдыхаешь ты, ничего не сдѣлавшій, но смертельно уставшій филистеръ реакціи, бѣдное дитя нервнаго капиталистическаго вѣка.

На ней отдыхаешь...

А въ слѣдующихъ главахъ тому слѣдовали пункты: „Расшатываемая тысячью усилій падаетъ величавая громадина прежняго

искусства. Умираютъ былыя извѣстности. Манера письма ихъ прискучила. Надоѣли герои ихъ, ихъ языкъ и слогъ „прошлаго". „Безвозвратно минулъ періодъ прежней беллетристики, репортажной, однообразной, *длинной*, фактической". „Умерли старинныя сравненія, такія *длинныя*, такія скучныя и утомительныя!

Страстная порывистость молодого творчества изобрѣла сравненія *короткія*, искрящіяся, *мгновенныя*, какъ молніи. Какъ звонъ падающаго въ темной комнатѣ кусочка золота: блеснуло, прозвенѣло, смолкло"...

О золото, золото, на мигъ въ темнотѣ блеснувшее, звономъ своимъ крикъ радости исторгающее и въ бурномъ вихрѣ сумасшедшей конкурренціи вновь во тьму пропадающее! Какой это роковой и многозначительный символъ для новой литературы, новаго раба кусочка золота—читателя „конца вѣка", какой это знаменательный образъ въ рукахъ новой модернистской критики, привлекающей публику звономъ „кусочка золота"! Петръ Пильскій не воображаетъ даже, что онъ говоритъ за и для новаго буржуазнаго читателя, и онъ становится на революціонныя ходули и пишетъ: „блекнетъ и рушится старое, увядаетъ и безслѣдно уходитъ въ невозвратное прошлое былой натурализмъ, искусство буржуазіи, протокольно точное, какъ выкладка на счетахъ; узкое, какъ родившій его классъ".

Искусство буржуазіи рушится! Да вѣдь Пильскій и выводитъ худшій видъ именно этого искусства въ люди. Послушайте его дальше. „Жизнь не ждетъ, быстръ ея огневой бѣгъ, нужно запечатлѣть всѣ ея моменты"... „*Обширность тяготитъ. Новая культура идетъ по пути побѣды маленькаго.* Явилась миніатюра, непринужденная, гибкая легкая... Выросла сила художественныхъ *мелочей*: онѣ дорисовываютъ картину смѣлѣй и ярче, чѣмъ 10,000 строкъ *длинныхъ* разсказываній. И эту тайну постигла современность". И дальше. „Жизнь бѣжитъ и надо стеречь этотъ нервный, этотъ трепетный бѣгъ. Наши мысли, наши чувства не засиживаются. Они какъ ночныя бабочки: ихъ надо ловить, надо стеречь ихъ быстрый и капризный полетъ". Вотъ тутъ передъ нами подлинная философія буржуазнаго искусства, искусства новаго человѣка эпохи безумно сложныхъ, перепутанныхъ, непонятныхъ, страшныхъ, вѣчно и быстро мѣняющихся всесокрушительныхъ силъ капитализма. Жизнь—эта одна огромная биржа, гдѣ въ бѣшеной скачкѣ падаютъ въ бездну и взлетаютъ въ высь человѣческія цѣнности, и если ты хочешь жить, если ты въ эту биржу вошелъ, не медли, не размышляй, бросайся въ дикую вакханалію, иначе ты упадешь и будетъ неистовствовать биржевая оргія уже надъ твоимъ трупомъ и будешь ты раздавленъ и не видно будетъ никому, что́ твой прахъ и что́ прахъ погибшихъ до тебя. „Лови моментъ", ибо „наши чувства не засиживаются". „Лови моментъ", ибо только этотъ одинъ твой, а слѣдующій уже полонъ таинственныхъ проваловъ. Впивайся зубами въ мигъ жизнии вы-

пей изъ него всю кровь, ибо слѣдующій уже врагъ твой, стерегущій тебя злобно, но скрытно. Вѣрь только въ „сію секунду“ и не въ конецъ, а въ начало ея, ибо въ серединѣ бездна, жадная, голодная... Вотъ принципы новаго искусства и вотъ предъ вами критикъ модернъ, говорящій буржуазной прозой, и въ простотѣ своей душевной считающій ея воплощеніемъ пролетарской поэзіи.

Чутко внемля звону кусочка золота, модернистскій органъ съ безстыднымъ безстрашіемъ сталъ рекламировать „молодыхъ“. Никогда еще въ русской литературѣ эта реклама не была столь тонко разработана. Никогда еще въ ней такъ не владычествовалъ базаръ. Реклама-критика, реклама - пародія, реклама - сообщеніе въ „дневникѣ писателя“—всюду она запестрѣла своей тошнотворной назойливостью. „Во многихъ случаяхъ,—разсказываетъ наивно и невинно Пильскій, — стали видѣть въ критикѣ лишь безплатное объявленіе на видномъ мѣстѣ“. На Западѣ они——эти объявленія-критики на видномъ мѣстѣ давно уже платны. У насъ еще властны кустарныя отрыжки и дѣлается это даромъ, „за милую душу“, просто, чтобъ услужить пріятелю. И что такое, какъ не безплатное объявленіе на видномъ мѣстѣ слѣдующая, напримѣръ, „критика“ того же Пильскаго своего товарища по газетѣ Осипа Дымова. Послушайте только:

Дымовъ „наслѣдникъ красивыхъ преданій искусства, живой жизни чувства, цвѣтной фантазіи, мистической красоты... Въ его паутинный рисунокъ вплелись золотыя нити предчувствія, прозрѣнія вѣчности, исканіе Бога, жажды вѣры, тоска по невысказанному.

Дымову дано глубоко, серьезно, тонко, любовно понимать жизнь природы.

Его наблюденія и размышленія такъ тонки, такъ остроумны и порой блестящи, что становятся настоящей философской поэзіей. Они почти новая мудрость.

Дымовъ мистикъ космоса... (курсивъ Пильскаго). Такого знанія надземнаго міра, такой космологіи и такой космологической мистики нѣтъ ни у кого больше.

Дымовъ разливаетъ тихую, но свѣтлую и золотую, прощающую и добрую печаль.

Изъ благостной души автора нисходитъ благословеніе вѣчности на тихія красоты земли.

У Дымова мистическое благословеніе міра и жизни.

У Дымова всепримиряющая и прощающая радость созерцателя, благодарнаго искусителя красоты“...

У Дымова, у Дымова, Дымовъ, Дымову, Дымовымъ,—но рекламируйте разъ, рекламируйте десять разъ, но не до безчувствія же! Чѣмъ же эта реклама отличается отъ рекламы „новѣйшаго средства“, излѣчивающаго все, начиная отъ насморка и кончая индійской чумой включительно. И про кого же все это пишется? Про Ницше, про Гете, про Пушкина, про Байрона?—Нѣтъ, всего

на всего про того „молодого“, смыслъ произведеній котораго Чуковскій въ „Понедѣльникѣ“ же впослѣдствіи охарактеризивалъ коротко и ясно: „Ваше сіятельство, прокачу!“

Таковъ яркій образчикъ рекламы-критики. За ней идетъ реклама - пародія. Пародія эта недаромъ иногда „дружественной“ называется. Подчасъ она очень смѣшна и убійственна, и еслибъ тутъ же рядомъ не помѣщались критическія славословія пародируемымъ авторамъ, можно было бы подумать: какъ безпощаденъ „Понедѣльникъ“ въ борьбѣ со смѣшными, жалкими, ходульными такъ и просящимися въ карикатуру и шаржъ „молодыми“. Но цѣль „дружественныхъ“ пародіи иная. Цѣль ихъ реклама, но эта реклама особаго рода—это реклама амикошонская, реклама хлопающая пріятельски п поощрительно по плечу и пьянымъ и заплетающимся языкомъ приговаривающая: „Ахъ, и чучело же ты гороховое—мил-л-л-лъ другъ... расцѣлуемся!“

И наконецъ реклама въ „дневникѣ писателя“, честь изобрѣтенія котораго „Понедѣльникъ“ приписываетъ всецѣло себѣ. Здѣсь пышный цвѣтокъ капиталистической наживы зацвѣлъ во всей своей отвратительной красотѣ. Какъ цирковыя знаменитости рекламируютъ себя, пуская въ газетѣ въ день по два неясныхъ, но интригующихъ слова,—такъ и здѣсь давались сначала намеки, что то-то задумывается на завтра, что названіе такое, а содержаніе такое, въ третій разъ, что все это не вѣрно, а вѣрно вотъ что, въ четвертый разъ, что авторъ тамъ то и думаетъ пріѣхать тогда то и т. д. и т. д., въ разнообразнѣйшихъ комбинаціяхъ. И когда безпардонство этой рекламы стало слишкомъ сильно бросаться въ глаза, „Понедѣльникъ“ выпустилъ на защиту своего дѣтища Петра Пильскаго. Подъ его ловкими руками рекламный рупоръ превратился въ явленіе высшей моральной цѣнности. „Мы—лицемѣрно заскорбѣлъ онъ—перестали уважать писателя, увлекаться его удѣломъ и личностью, его лучезарностью и красотой. Самый блеклый, самый блѣдный образъ—это образъ русскаго литератора. До такой степени это такъ, что надъ самымъ маленькимъ вниманіемъ къ его фигурѣ и жизни дѣламъ и заботамъ смѣемся сами мы“. И Пильскій негодуетъ- „Обо всемъ пишетъ газета—объ администраторахъ и воздухоплавателяхъ, о проституціи и чиновничествѣ, о спортѣ и высшихъ сферахъ, о нищихъ и о балетѣ, объ актерахъ и священникахъ. И никогда (!) ничего (!) не пишетъ о литературѣ и писателяхъ“. „Календарь писателя“ и призванъ былъ уничтожить эту несправедливость. И вотъ какъ онъ наводилъ блескъ и краски на блеклый образъ писателя:

„Первые шаги въ области исканія новаго театра у Комисаржевской уже закрѣпились... свадьбой: художникъ Судейкинъ женится на артисткѣ О. Глѣбовой.

„Драматургъ Косоротовъ женится на артисткѣ Градовой.

„Въ литературныхъ кругахъ много толковъ вызываетъ спиритическій сеансъ въ домѣ писателя г. Ф. Было наблюдено полное

поднятіе стола на воздухъ (левитація) повторявшееся до пятидесяти разъ. Г. Ф-ій очень сильный медіумъ.

„Уѣхала заграницу флейтистка Вѣра Гебенъ.

„Гайавата закончилъ новую пьесу „На верху". Пьеса посвящена вопросу о счастьѣ человѣка и о свободѣ его, въ томъ числѣ и свободѣ отъ Революціи".

Мы взяли случайные примѣры. Были тамъ вещи и попикантнѣе. Была тамъ масса извѣстій странныхъ и непонятныхъ для непосвященныхъ, но для знатоковъ и любителей полны, должно быть, многообразной прелести похабныхъ, но загадочныхъ картинокъ. Было тамъ много, что вообще свойственно всѣмъ календарямъ: много вранья. Результатъ получился блестящій. „Понедѣльникъ" опять попалъ въ самую чувствительную точку своего хозяина. Благодаря „Календарю" о литературѣ и литераторахъ стало также легко сплетничать, какъ доселѣ легко было сплетничать объ актерахъ, балеринахъ, цирковыхъ атлетахъ, чиновникахъ, генералахъ и т. д. и т. п. Радостно захлебываясь своей чрезвычайной освѣдомленностью въ дѣлахъ, дѣлишкахъ писательской богемы, обыватель по понедѣльникамъ прямо изъ утренней ванны проходилъ по календарному мостику въ пышные чертоги литературнаго Олимпа. „Понедѣльникъ" устами Пильскаго рвалъ на себѣ одежды въ горестномъ отчаяніи за судьбу русской литературы, онъ становился въ библейскую трагическую позу болѣющаго ея болями и муками страстотерпца, и тутъ же рядомъ вываливалъ эту литературу въ грязную лужу съ кишащими въ ней цирковыми клоунами, проститутками, генералами, балеринами и т. п. экземплярами. И видно было, до отвращенія ясно было, что всѣ эти громкія стенанія литературныхъ вопленниковъ, весь этотъ пошлый маскарадъ 3-хъ вершковыхъ Виссаріончиковъ—все это гнуло къ одному: вознести на вершины почитанія литературную богему общественно-художественнаго декаданса. И если для этого нужно было въ изступленномъ словесномъ блудѣ уравнять эту богему въ правахъ на вниманіе съ боксерами и балеринами—то это только доказывало, что иная слава, кромѣ славы боксеровъ и балеринъ для нея была недоступна. Въ „Понедѣльникѣ" эта богема обрѣла необходимый на литературномъ пути нессесеръ, въ немъ она обрѣла свой справочный листокъ, хорошо информированный насчетъ спроса и предложенія, честно информировавшій и публику о всѣхъ насморкахъ и простудахъ литературныхъ актеровъ и балеринъ. И если эта маклерская контора смогла стать нѣкоторымъ центромъ, вокругъ котораго группировались и группируются литераторы съ крупными именами и истинными дарованіями, (снабжающими ее, правда, только литературными отбросами), то это только лишній разъ показываетъ, какъ далеко пошелъ литературный развалъ, какъ беретъ засиліе „литературная сволочь", какъ нагло утверждаетъ свое господство вылѣзшій въ салоны тараканъ, и

какъ ничтожны, слабы, малодѣятельны, ибо придушены силы, таракану враждебные.

IV.

Комфортабельная литература дополнялась комфортабельной порнографіей, именно комфортабельной, а не пахнущей „номеромъ“ съ клопами. „Понедѣльникъ“ и тутъ оказался на высотѣ своего „услужающаго“ призванія. Тутъ именно начали вкусно причмокивать губами, ржать всѣми восторгами небеснаго блаженства и такимъ образомъ доводить своего кліента до высшаго напряженія порнографическаго аппетита. И чтобъ, упаси Боже, это не напоминало „некомфортабельный гнусный развратъ“, послѣдній былъ облеченъ въ хламиду революціи. Пильскій сдѣлалъ это съ ловкостью прямо изумительной. „Единое,—писалъ онъ,—что въ данный моментъ связываетъ литературные корни—это революція: революція внѣшняя,—возстаніе массъ и революція духа—бунтъ сердецъ... Мы ищемъ не только освобожденія массъ, но и *освобожденія чувствъ и совѣстей*. Баррикады рушатся, протесты остаются. Жизнь пола, его тайны и его воля—вотъ что связало сейчасъ насъ, и завладѣло нашими думами. Мечты о возрожденной радости сулятъ надъ побѣду надъ міромъ и „чувствомъ побѣдиши“.

„*Загадка похоти* (курсивъ Пильскаго)—вотъ что тревожитъ духъ“.

Побѣдоносная міровая революція — осуществляемая черезъ эротическія мечтанія освободившихся чувстъ и совѣстей—что можетъ быть возвышеннѣе! Дальше революціонность Пильскаго достигла грандіознаго напряженія. Въ выборѣ „этихъ“ темъ—смѣло объявилъ онъ—„чуется все тотъ же протестъ... и тѣ же бунты сердецъ, которымъ не дозволялось ничего и которыя поэтому теперь позволили себѣ все. Революція духа выдала разрѣшительныя грамоты *на все*“. На все, такъ на все. И браво размахивая этой разрѣшительной грамотой, полученной имъ лично отъ „революціи духа“, Пильскій сталъ дѣлать все, что только можетъ прославить россійскую порнографію. Сначала реклама: „У Кузмина все—идеализмъ, все—поклоненіе, все—изступленный восторгъ, розовыя зори, цѣлая идеологія. „Правда въ банѣ“—извиняется Пильскій. Но стоитъ ли обращать вниманіе на такіе пустяки, разъ онъ успокаиваетъ васъ, что у Кузмина „передъ этимъ (т. е. передъ этой конфузной баней) строки: „всѣ равны передъ смертью, любовью и красотой, всѣ тѣла прекрасныя равны и только похоть заставляетъ мужчину гоняться за женщиной и женщину жаждать мужчины“. Въ этихъ извиняющихъ конфузное обстоятельство строкахъ какъ будто не все ладно, ибо если „всѣ тѣла прекрасныя равны“, то изъ этого еще не

слѣдуетъ, что мужчина обязательно долженъ гнаться за мужчиной, но и это пустяки. Важно то, что „Кузминъ настоящій, рѣдкій, смѣлый и искренній художникъ“. „Кузминъ... подкупаетъ и трогаетъ своимъ лиризмомъ, нѣжностью и рѣдкой тонкостью“. Кузминъ истинный поэтъ... его образы всегда убѣдительны... его чувста понятны намъ и близки... они общечеловѣчны“. Пильскій и тутъ спѣшитъ успокоить васъ, что „мужеложство не общечеловѣчно“. Но развѣ въ немъ дѣло? Нѣтъ, вѣдь Пильскій полагаетъ, что „въ искусствѣ, въ книгахъ красоты и искренности мы цѣнимъ не самые предметы любви, а самую эту любовь“.., Съ этой точки зрѣнія и банщикъ Ѳедоръ, и коза, и мокрый передникъ, и дверная подкова и женщина—по извѣстнымъ стишкамъ „тонкаго“, нѣжнаго“ Кузмина,

Все только мелочи:
Все только мелочи.

Пильскій братски, трогательно понялъ драму бѣднаго, импотентнаго сына нервнаго вѣка, истрепленнаго, издерганнаго, много и все болѣе хотящаго, но мало и все менѣе могущаго, и разразился гимномъ глубокимъ, потрясающимъ:

„О, если бъ нашелся искренній и смѣлый и рѣшился, и осмѣлился бросить намъ картину настоящей, подлинной, прекрасной и горячей половой радости, полноты человѣческой жизни, съ бодростью, свѣтомъ, красотой и тепломъ. О, если бъ пришелъ Восторженный и снялъ покровы, сорвалъ завѣсы, не стыдясь и съ знаньемъ, любя и любуясь, съ громкими криками кипучей радости, со всѣми вздрагиваніями, со сладкимъ трепетомъ тайной, истомой и мукой!“

И когда Пильскому попались подъ руку критики, нѣсколько скептически относившіеся къ покровосъемлющимъ знаніямъ и вздрагиваніямъ Восторженныхъ, онъ немедленно рѣшилъ, что это „преднамѣренный открытый просторъ злобѣ“, а злоба „отъ ущемленнаго самолюбія, болѣющаго чужимъ успѣхомъ“. Критику Maestro изъ „Золотого Руно“ онъ совѣтовалъ: „Милостивый государь! лечитесь лимономъ, кислымъ, а то вы привыкли къ сладенькому, къ простенькому... А отъ этого портится желудокъ“ *). И, наконецъ, послѣднее предположеніе Пильскаго насчетъ причинъ враждебнаго отношенія къ порнографіи было самымъ пикантнымъ. Онъ нашелъ, что тутъ играетъ роль боязнь за свою собственную персональную неприкосновенность, за наступающее возбужденіе (!!), за цѣлость той крѣпкой цѣпи, на которой сидитъ звѣрь изъ бездны“.

---

*) Мы не знаемъ, чѣмъ объяснить такую хлесткую и грубую выходку противъ Maestro. Можетъ быть читателю поможетъ въ этомъ вопросѣ слѣдующее изрѣченіе г-на Пильскаго: хлесткость сдѣлалась лучшимъ доказательствомъ личныхъ счетовъ, несправедливаго отношенія или поверхностнаго легкомыслія и неглубокаго приговора.

Такъ этотъ „восторженный“ крикунъ, сватающій революцію за проституцію, познавшій великую мудрость „вздрагиваній“ защищалъ въ рабскомъ изступленіи комфортабельную кушетку своего буржуазнаго кліента, объѣвшагося „простенькимъ“ и возъалкавшаго самый что ни на есть пикантный „соусъ Бордолезъ“.

О, не думайте, что если „Понедѣльникъ“ рекламируетъ въ „Дневникѣ писателя“ „любострастно-ассенизаціонную“, по выраженію Салтыкова, литературу, то онъ никогда не доставляетъ себѣ и своимъ читателямъ удовольствія эту литературу поругать и вообще возмутиться „грязью“. Но истинный смыслъ этого возмущенія хорошо показалъ Амфитеатровъ.

„Что это, молъ, за безобразіе, право,—ступить стало некуда, все поросята подъ ногами вертятся, столько въ литературѣ свинства развелось!...

— Но, по правдѣ молвить, ужъ и поросята! Можно чести приписать! Нигдѣ не найдете подобныхъ! Насквозь саломъ проросли, подлецы... даже смотрѣть противно! Для насъ, конечно, гадость, но, ежели этакого поросенка—на любителя—пальчики оближетъ. А продается эта гадость такимъ-то и такимъ-то, подъ фирмою такою-то и такою-то“.

Въ области россійской порнографіи литературная сволочь обнаружила ту характерную черту своего дарованія, которую Салтыковъ удивительно мѣтко назвалъ „распутной подвижностью темперамента“. Распутная подвижность темперамента—вотъ то удивительное орудіе, которымъ модернистская пресса владѣетъ въ совершенствѣ. Распутная подвижность темперамента—вотъ ея единственный руководящій принципъ. Въ области критики—онъ проявилъ себя въ так. назыв. „импрессіонизмѣ“. Корнѣй Чуковскій и Петръ Пильскіи при большой разности ихъ дарованій, ихъ морально-литературныхъ обликовъ—оба въ критикѣ яркіе передставители распутной подвижности темпарамента—импрессіонизма тожъ. Корнѣй Чуковскій, хорошенькій, рѣзвый, немудрствующій лукаво талантливый критикъ-кузнечикъ примѣнялъ новый принципъ на дѣлѣ, Петръ Пильскій—существо во всѣхъ отношеніяхъ противоположное — доставлялъ еще и теорію. Теорія эта была такова: „И тотъ и другой (писатель и критикъ) творцы, гипнотизеры, фантасты, выдумщики, сочинители, восторженные лгуны, созидатели новыхъ міровъ... Критика должна колдовать, какъ колдуетъ искусство. Она должна быть мятущейся и подвижной, не рабской прислужницей у публики и искусства, не коммиссіонеромъ и мишуресомъ, а богомъ сотворяющимъ“ и т. п. Этой предательски-двусмысленной *) трескотнѣ предшествовала не менѣе двусмысленная декларація: „Пробилъ

---

*) Развѣ лучшіе мишуресы и комиссіонеры по призванію—это не искренніе, восторженные лгуны, гипнотизеры и выдумщики?

часъ для совсѣмъ новой, для смѣлой, романтической, горячей революціонной (безъ революціи Пильскому никакъ нельзя) критики, полной чаръ творческихъ... Настало время разгаданій и предвиденій, искрометныхъ, *краткихъ* формулъ, *дерзкихъ* опредѣленій, *критическаго фантазма*... Пора не разбирать авторовъ, *а сочинять ихъ*... Изъ элементовъ *А создадимъ титана*, изъ элементовъ *В* построимъ новые творцы мечтаній нашихъ... Надо довести критику... до дерзко бунтующаго парадокса, до вооруженно возставшаго афоризма, ибо они убѣдительнѣе всего въ своей краткой, тѣсной, упрямой, кольцеобразной упругости, ибо за ними сила внушенія, въ нихъ гипнозъ, и отъ нихъ будущее.

Будущее реформаторство слова, будущая революція искусства". Эту теорію дополняла теорія ненужности опредѣленнаго направленія въ искусствѣ, опредѣленныхъ принциповъ художественнаго творчества: „Тамъ гдѣ школа и партія, тамъ трафаретъ... Стремленіе къ школѣ—стремленіе къ смерти. Но надо умереть неразгаданнымъ"... Пильскій заговорилъ страшно революціонно... но, увы, и дерзко бунтующій парадоксъ, и вооруженно возставшій афоризмъ—вся эта импрессіонистская картечь не болѣе, какъ... комфортабельная критика, дополняющая комфортабельную литературу подлиннаго буржуа. Развѣ ему нужна школа, направленіе, какіе нибудь опредѣленные принципы... Удалось вамъ загипнотизировать его, пощекотать, усладить послѣ обѣда, замѣнить ему сигару—хорошо, получайте пятачки и приходите черезъ недѣлю, не успѣли — проваливайтесь со всѣми вашими школами, направленіями, теченіями, тенденціями. Развѣ ему нужно „разбирать авторовъ", изучать ихъ, вникать во всѣ излучины ихъ творчества? Зачѣмъ? Можете что нибудь сочинить новенькое, отъ себя, чтобы не надо было читать критикуемаго автора, чтобы было живо, красочно и главное коротко коротко, коротко—пожалуйте, получайте за „критическій фантазмъ", за „восторженное лганье", искрометный пируэтъ. Не можете—проваливайтесь. Изъ элементовъ *А* хотите создать титана? Пожалуйста! Подавайте скорѣе этого краткосрочнаго титана, хотя бы онъ состоялъ изъ элементовъ давно лопнувшаго мыльнаго пузыря... только пожалуйста коротко, коротко, коротко... ибо „время деньги", ибо „если вы пришли къ занятому человѣку" „скорѣе кончайте свое дѣло и уходите".

Какъ эта „революціонная" импрессіонистская критикапримѣнялась на дѣлѣ мы уже видѣли раньше. Изъ элементовъ портативнаго Дымова (Ваше сіятельство, прокачу!) газетная богема создала титана всемірной литературы, изъ элементовъ педерастическаго Кузмина она построила новые дворцы мечтаній — мечтаній клубничныхъ... Въ общемъ и цѣломъ критическая импрессія создавала изъ мухи слона, а подъ изображеніемъ желторотыхъ литературныхъ воробушекъ гордо выводила „се

левъ, а не собака", выводила въ совершенно правильной увѣренности, что если публика не повѣритъ, что се левъ, то ужъ несомнѣнно повѣрятъ, что се породистая собака.

Распутная подвижность „темперамента" обѣщала намъ революцію въ искусствѣ, мчащуюся на краткомъ, тѣсномъ, упрямо и кольцеобразно упругомъ афоризмѣ, производящемъ вооруженное возстаніе и вотъ дождались мы не революціи, а... *дворцоваго переворота.*

Вы помните гнусныя подробности дворцоваго переворота въ Сербіи — нижнее бѣлье королевы, альковный смрадъ, кровь, грязь, жестокость, пошлость... вы помните все это? Такъ вотъ что то подобное случилось въ царствѣ литературной сволочи. Пильскій такъ началъ разбойный разгромъ своихъ прежнихъ кумировъ, что можно было подумать, будто его взорвалъ литературный альманахъ г. Оскара Норвежскаго, прежняго сотрудника „Понедѣльника", одного изъ стаи славныхъ, въ которомъ „молодые" показывались почтеннѣйшей публикѣ сначала въ пиджакѣ и въ прочемъ, а затѣмъ послѣдовательно безъ пиджака и прочаго вплоть до... неприличія. Но Петръ Пильскій не разсказалъ, что въ семъ скандальномъ альманахѣ фигурируетъ и самъ Петръ Пильскій со своимъ произведеніемъ. И такъ оно, какъ и въ Сербіи, осталось неяснымъ, что послужило причиной династической рѣзни. А рѣзня была ужасная.

Мечъ сверкалъ:

„Не стоило собирать этихъ копеечныхъ листковъ изъ дневника неизвѣстныхъ калѣкъ, клиническихъ и терапевтическихъ, съ маленькими волосатыми заросшими лбами... Какіе-то маленькіе косноязычные трусы, литературные зайцы, пугающіеся своей собственной тѣни, боящіеся и стыдящіеся своего прошлаго, подозрительные и завидущіе, вершковые люди, вершковые литературы, облизывающіеся на извѣстность, и въ навинченной, взбодренной смѣлости думающіе поразить тѣмъ, что на вопросъ:

— Какое заведеніе окончили?

Отвѣчаютъ:

— Публичное-съ!

Мечъ рубилъ:

„Отъ нихъ ждали и не дождались. Они сумѣли обѣщать, но не сумѣли выполнить. Всѣ, возлагающіе на нихъ надежды, оказались обманутыми.

„Изъ современныхъ авторовъ въ будущую исторію литературы войдутъ очень немногіе и ихъ уже можно намѣтить, Бальмонтъ, Брюсовъ, Вячеславъ Ивановъ, Леонидъ Андреевъ. Сологубъ и Купринъ.

„Городецкій, Андрей Бѣлый, Блокъ и Зайцевъ позволяютъ надѣяться и несутъ воздухъ радости, но всѣ остальные не внушаютъ даже ничтожной вѣры, — всѣ они или пережили себя, гробы повапленные, безвременные мертвецы, хотящіе и немогу-

щіе, — одни остановились и застыли, другіе летятъ внизъ, съ горы, къ долу, переживъ кульминаціонный моментъ своего успѣха...

„И слава Богу! Вмѣсто исторіи литературной имъ осталась другая—скандальная. Озлобленные неудачники, мелкотравчатые пасквилянты, глухіе и слѣпые редакторы, журнальные оборотни, ночныя совы, раки на безрыбьѣ ставшіе рыбами, они знаютъ одинъ путь: на площадную эстраду... — это они-то, безкровные, анемичные уроды, каррикатуры на жизнь человѣка и его красоту, съ малокровнымъ мозгомъ, вспухнувшей печенью и сладкотонкими темными голосами скопцовъ и кастратовъ“.

Продолжать ли иллюстрировать этотъ бѣшенный мстительный визгъ, чѣмъ-то укушеннаго истерика, задыхающагося отъ собственной злости и ничтожества? О, хватитъ и этого. Скажемъ только, что въ дальнѣйшемъ Пильскій съ звѣрскимъ надсадомъ оплевываетъ все, все, чему онъ раньше поклонялся, что онъ раньше рекламировалъ, во имя чего онъ изрыгалъ ядовитую брань на своихъ противниковъ. „Намъ не о чемъ разговаривать съ этими людьми... — заканчиваетъ свой разгромъ литературный ушкуйникъ. Миръ праху ихъ“.

Миръ праху ихъ!..

Но, ахъ... въ томъ же № „Понедѣльникъ“ обѣщалъ жирнымъ шрифтомъ на рождество произведеніе „гроба поваленнаго“ похороненнаго С. Н. Сергѣева-Ценскаго *), въ томъ же №, въ дневникѣ писателя трогательно сообщили о болѣзни героя „альманаха“ Л. Андрусона, въ томъ же дневникѣ рекламировался подготовляемый въ печати „бѣлый козелъ“ Кондратьева,— ахъ, канканъ литературной сволочи продолжался...

. . . . . .

„Изъ элементовъ А создадимъ титана, а изъ титана... безкровнаго анемичнаго урода“. Изъ элементовъ В построимъ храмъ мечтаній нашихъ“, а затѣмъ, макнувъ квачъ въ деготь, начертаемъ: здѣсь публичное заведеніе.

А читатель? Что жъ читатель... Онъ разсѣянно бормочетъ: вы говорите — „титанъ э-э-гмъ непотребнаго храма“ — Mersi, очень хорошо, я спѣшу „время деньги“.

V.

„Время деньги“.—И „новая пресса“ свято чтитъ эту величайшую мудрость капитализма, когда изготовляетъ для своего прин-

---

*) Это „произведеніе“ появилось и гласило:

О чемъ говорить не слѣдуетъ.

Пилюли мнѣ не серебри,
Не говори о сырѣ бри,

ципала комфортабельную политику. Рѣзвыя, хлесткія, коротенькія передовички, скачутъ одна за другою; легкія, потому что пустыя, политическія статейки пикантны, изящны и занимательны. О, они конечно радикальны , они конечно безпартійны! Вѣдь „тамъ, гдѣ школа, партія — тамъ трафаретъ". А модернъ рѣшительно не любитъ трафарета, а новый читатель рѣшительно любитъ „модернъ" *).

Безпартійность — вотъ наиболѣе комфортабельная политическая кушетка. Поварачивайся на сей бокъ, поворачивайся на оный, свертывайся невиннымъ калачикомъ, перекатись на спину, вздрагивай въ божественной истомѣ сладчайшихъ зѣвковъ — словомъ, чего только душа проситъ. Безпартійность — это въ другой области та же знакомая уже намъ импрессія — та же распутная подвижность темперамента. Сегодня ругнутъ Плеханова, процитируютъ ему назидательно кое-что изъ Маркса, похлопаютъ его по плечу и соболѣзнующе скажутъ. „Старъ ты сталъ друже, пора бы тебѣ на покой". Завтра раздѣлаютъ „подъ орѣхъ" Ленина и опубликуютъ объ немъ отлучительную отъ лона пролетарской церкви буллу. Послѣ завтра въ пухъ и прахъ разнесутъ трудовиковъ. Сегодня, завтра и послѣзавтра ругательски-ругаютъ кадетовъ, но при этомъ всегда за „блокъ", всегда за общіе списки, чтобы не утомить выборомъ между партіями ни себя, ни Боже упаси, своего читателя.

Но вѣдь всегда „лѣвѣе кадетовъ"!

Ну, конечно, „лѣвѣе", потому что правѣе, во-первыхъ зубры, а посерединѣ вполнѣ опредѣленная партія, — но вѣдь это уже трафаретъ — это уже усиліе мысли, это уже сикамбръ и органонъ, тутъ одной распутной подвижностью темперамента не

О томъ, что два—не два, а три,
О томъ, что врутъ календари,
О томъ, что пьютъ монастыри,
О томъ, что въ городѣ Твери
Исправно свѣтятъ фонари,
И что горятъ въ лучахъ зари
И бирюза и янтари;
Что имя лорда Сольсбери
Звучитъ какъ: морда соль сбери!
И что пускаютъ пузыри,
Когда сидятъ въ confiseri;
О, никогда не говори
„Прислуга" вмѣсто „съ луга при".
Съ высотъ на партіи не зри,
Гражданскимъ мужествомъ гори,
Пока живешь ты—пей поммри,
А кончишь жить, тогда помри!

*) По свидѣтельству К. Чуковскаго: „модернъ теперь въ ходу у мѣщанъ. Развѣ не встрѣчаются теперь въ самомъ декадентскомъ стилѣ вывѣски съ надписью: „Мучной лабазъ".

проскочишь... Ну, а въ-третьихъ, кому же неизвѣстно, что обыватель лѣвой рукой тянется къ лѣвымъ митингамъ, къ лѣвой газетѣ, къ лѣвымъ блокамъ, а правой опускаетъ въ урну кадетскій бюллетень? Знаетъ это прекрасно Павелъ Николаевичъ Милюковъ и тянетъ увѣренно вправо, знаетъ это хорошо и модернистская пресса и тянетъ увѣренно влѣво. Нѣтъ, что ни говорите, а комфортабельнѣе всего поставить политическую кушетку, именно „лѣвѣе кадетовъ". Эту кушетку „Понедѣльникъ" украшаетъ густой пестрой бахромой политическихъ фельетончиковъ. Перескочившая изъ передовичекъ дѣвушка Палашка, смѣшитъ почтеннѣйшую публику на тысячу ладовъ. Въ фельетончикахъ, въ цѣлой кучѣ ихъ, она является передъ нами игривымъ младенцемъ весело и беззаботно плетущимъ очень и очень потѣшный вздоръ. Здѣсь въ фельетончикѣ таланты, литературныхъ дѣлъ мастера проявляются наиболѣе интенсивнымъ образомъ. Фельетончикъ — это самая такъ сказать развернутая форма ея творчества, относительно которой критическая статья, передовица, все „серьезное", только эмбріонъ, которому лишь надлежитъ въ фельетончикъ доразвиться. Здѣсь царство коротенькой строчки, куценькой мыслишки, щекотной страстишки, здѣсь ничто не утруждаетъ, не тяготитъ, не волнуетъ, здѣсь все пріятно, мило, занимательно и главное такъ божественно коротко, такъ райски коротко... „Голубушка, — развивалъ Дорошевичъ, изобрѣтатель короткой строчки, философію ея — голубушка, длиннаго не читаютъ.,. Вѣдь публика на газету какъ? Какъ воробей на окошко. Клюнулъ и улетѣлъ. Цопъ схватилъ и упорхнулъ. Воробей! Ему крошка нужна, крошка, голубушка, крошка". И вотъ изъ гнѣзда политическихъ, литературныхъ и юмористическихъ пересмѣшниковъ вылетаетъ одинъ изъ нихъ — г-нъ Петроній, становится въ трагическую позу и изрекаетъ: „Мнѣ говорятъ, что фельетонъ — душа газеты, я не сказалъ бы это про сегодняшній день. Есть моменты, когда фельетонистъ тускнѣетъ, гаснетъ, отходитъ на второй планъ. Сейчасъ слишкомъ серьезный моментъ, чтобы заниматься балагурствомъ, и бываютъ страшные часы, когда не до смѣха". Ахъ, повѣрьте Петронію, что теперь ему и его однокорытникамъ не до смѣха, когда всѣ они только то и дѣлаютъ, что хихикаютъ, хохочутъ, силясь во что бы то ни стало выгнать изъ головы своего потребителя мрачную мысль о томъ, что бываютъ „страшные часы", что „сейчасъ слишкомъ серьезный моментъ", — повѣрьте ему, когда вся его братія хохочетъ по поводу душераздирающихъ явленій мрачной эпохи, когда она висѣлицы превращаетъ въ трапеціи для акробатическихъ упражненій, когда она подъ звонъ кандаловъ пляшетъ матчишъ, когда на сравненныхъ съ землею могилахъ она играетъ въ чехарду, когда, наконецъ, вся ея общественная мораль сводится къ шансонеткѣ:

Смотрите здѣсь, смотрите тамъ
Нравится ли это вамъ?

Повѣрьте ему!

VI.

Таковы они эти Подхалимовы вчерашніе, которые еще во дни возрожденія руку набили. „За ними — повѣствуетъ дальше Салтыковъ — появились Подхалимовы *нынѣшніе*, такіе, у которыхъ даже литературныхъ преданій не было, а были только недюжинныя способности по части изслѣдованія корней и нитей шантажа и обезкураженіе „брюхановъ“. Первые говорили: „пріятно этакій въ нѣкоторомъ родѣ арбузъ щелкнуть, чтобы онъ по всѣмъ швамъ треснулъ!“ Вторые прибавляли: „и присемъ, чтобы у него изъ всѣхъ щелей ассигнаціи поползли“. И дальше Салтыковъ рисуетъ широкую картину владычества Подхалимовыхъ въ прессѣ, картину до ужаса сходную съ тѣмъ, что твориться теперь въ царствѣ „литературной сволочи“.

Очень часто говорятъ, что Салтыковъ пророчески предвидѣлъ многое изъ того, что захлеснуло теперь грязной волной русскую жизнь. Но дѣло, конечно, не въ пророческомъ предвидѣніи, дѣло только въ томъ, что реакція чеканки 80-хъ гг. и теперешняя слишкомъ во многомъ похожи одна на другую, какъ похожи одна на другую двѣ капли крови.

Въ извѣстномъ смыслѣ капиталистическая деморализація періодической прессы началась еще въ 80-хъ гг. Но предѣлы самой капитализаціи прессы въ то время были очень узки. „Общество“ и народъ спали, казалось, непробуднымъ сномъ, жизнь медленно и вяло катила свои мутныя воды, газету мало читали, у газеты не было рынка. Быстрый ростъ капиталовъ въ странѣ, русско-японская война, революція, крушеніе старыхъ цензурныхъ рамокъ создали со сказочной силой газетный рынокъ, газетнаго читателя. Почва для капитализаціи прессы, для „литературнй сволочи“ была унавожена, и на ней не замедлили вырости соотвѣтствующіе капиталистическіе злаки.

И теперь фактъ непререкаемый: въ періодической прессѣ воцарился капиталъ. Царство его — это не только ротаціонныя и наборныя машины, газетные синдикаты, изумительное богатство газетной техники, репортажныя арміи, подводныя кабели, издательско-биржевыя сатурналіи, шестизначные и семизначные символы пробивающихъ твердь небесную бумажныхъ Гималаевъ, и т. п. — нѣтъ, не только это, но и самый духъ новой прессы, самый покрой и сущность пускаемыхъ капиталомъ въ оборотъ идей, ихъ тембръ, темпъ и ритмъ — царство его — это совершенно новыя условія созданной капиталомъ соціальной акустики, соціальной интерференціи. Всѣ эти условія, весь этотъ

новый духъ, новый тембръ, новый покрой идей—все это на лицо у насъ въ Россіи. Правда, реакція все это душитъ, душитъ не активно, но самымъ фактомъ своего господства, правда, она не даетъ всему этому развиться до высшихъ образцовъ „европеизаціи", потому что феодальныя узы все еше стѣсняютъ стихійный ростъ многообразныхъ капиталистическихъ тенденціи. У насъ нѣтъ еще такой важной пищи капиталистической прессы, какъ политическій и парламентскій шантажъ, потому что нѣтъ у насъ еще настоящей политической жизни. У насъ еще не развитъ и другой такой лакомый кусочекъ этой прессы, какъ шантажъ желтаго и чернаго синдикализма, шантажъ „уловленія пролетаріевъ", шантажъ „соціальнаго мира"—какъ вся та грязная и сложная соціальная накипь, которая неизбѣжно появляется въ царствѣ интенсивнаго кипѣнія стихійныхъ силъ развитаго капиталистическаго общества, но при всѣхъ этихъ оговоркахъ основной фактъ остается въ силѣ. Уже и сейчасъ имѣются на лицо маленькіе ростки неизбѣжнаго будущаго. Мы часть изъ нихъ показали на примѣрѣ новаго модернистскаго органа „Понедѣльника". Но не надо думать, что „Понедѣльникъ" — единственное явленіе въ области капитализаціи духа нашей прессы, капитализаціи идейной. Нѣтъ, мы нарочно остановились спеціально на одномъ этомъ органѣ, потому что въ немъ „счастливо" сочетались всѣ мерзкія проявленія деморализаціи нашей прессы. Въ этомъ отношеніи этотъ органъ даетъ намъ цѣльный, нерасщепленный образъ прессы модернъ. Кромѣ этого „Понедѣльникъ", какъ мы видѣли въ предыдущемъ изложеніи, далъ во многихъ частяхъ какъ бы философію новой прессы, далъ чрезвычайно тщательно съ любовью и талантомъ изготовленное ея клише, выразилъ нѣкоторыя ея стороны особенно рѣзко и рельефно. Духъ „Понедѣльника" царствуетъ надъ значительной частью нашей прессы. Невидимыми и видимыми, скрытыми и открытыми узами матеріально и духовно „Понедѣльникъ" связанъ со многими газетами новаго типа. Изъ этого гнѣзда литературныхъ ушкуйниковъ расползаются литераторы по всѣмъ градамъ и весямъ россійской литературы. Одни и тѣ же имена мелькаютъ во многихъ мѣстахъ, сильно отличающихся въ другихъ отношеніяхъ.

Благодать капитала почіетъ на самыхъ противоположныхъ полюсахъ современной прессы. Онъ здѣсь, когда вы читаете объявленіе уличной газетки „Сегодня", начинающееся роковыми словами: „время-деньги", газетки, продавшейся и купленной кадетами для избирательныхъ цѣлей, онъ здѣсь въ „Рѣчи, знающей, что газетка поддерживаетъ кадетовъ за деньги, и ссылающейся на поддержку подкупленной прессы въ доказательство безкорыстной поддержки общественнаго мнѣнія, онъ здѣсь въ московскихъ газетахъ Рябушинскаго и Смирнова, газетахъ радикальныхъ, дающихъ читателю для всесторонности политиче-

скую гамму, начиная отъ низкаго октябристскаго „sol“ до высочайшаго соціальдемократическаго „fa“, онъ здѣсь въ „безпартійной“, внѣпартійной, надпартійной и всепартійной „Руси“ — газетѣ „сейчасъ блондинъ, сейчасъ брюнетъ“, распространяющей свои заботы на поляковъ, урнинговъ, русскій флотъ народное образованіе, семейныя и внѣсемейныя добродѣтели Кладо, армянъ, бѣдную вдову, русскую литературу, гражданскій бракъ, безработныхъ, непринятыхъ въ высшія учебныя заведенія, на нищихъ, евреевъ, на холмщину и т. д., и т. д.—онъ всюду, начиная отъ газеты архиконсервативной и кончая квазисоціалистической включительно. Въ одномъ мѣстѣ онъ не только „духомъ“ своимъ, но и тѣломъ въ формѣ крупнаго капиталистическаго предпріятія, эксплуатирующаго огромный штабъ газетнаго пролетаріата, ворочающаго сотнями тысячъ въ бѣшенной погонѣ за вспыхивающими и тухнущими мигами жизни, въ другомъ — онъ однимъ только „духомъ“ своимъ, вмѣщающимся въ жалко финансированномъ тѣльцѣ, паразитирующемъ на крупной капиталистической прессѣ.

Капиталъ въ соціально-идеологической и технико-экономической ипостасяхъ увѣренной стопой шествуетъ по стогнамъ россійской прессы *). Онъ основываетъ безпартійные газеты-паноптикумы, въ которыхъ есть все: „собственный корреспондентъ изъ Парижа“, собственный соціальдемократъ, собственный с.-р., собственный идеалистъ-народникъ, собственный кадетъ, собственный комплектъ фельетонныхъ скомороховъ, собственныя высшія сферы, собственный критикъ, собственные спортсмены всѣхъ родовъ оружія, собственный биржевикъ и, наконецъ, собственный домъ, собственный автомобиль, собственная артель разносчиковъ.

Столицы вырабатываютъ образцы—провинція копируетъ, столицы выдвигаютъ вопросы нужные, вздорные, фантастическіе, модные, наболѣвшіе, сочиненные — провинція прислушивается и спѣшитъ все передать своимъ потребителямъ и передаетъ все и нужное и вздорное, какъ послѣднее слово высшей мудрости.

Fex urbis lex orbis. Грязь Питера становится закономъ Россіи.

Новая пресса вводитъ идею въ водоворотъ капитализма и онъ поднимаетъ и понижаетъ ея цѣнность съ безумными капризами своего анархичнаго естества. Идеи становятся предметомъ капиталистическаго производства и, какъ капиталъ навязываетъ обществу, нуждающемуся въ самомъ необходимомъ, массу предметовъ ненужныхъ, вредныхъ, вздорныхъ, такъ и новая капиталистическая пресса своей могучей силой повторенья и каждодневнаго гипноза навязываетъ обществу, нуждающемуся въ ду-

*) Короткое время протекшее между первымъ и вторымъ изданіями настоящаго сборника дало намъ цѣлый рядъ новыхъ и очень крупныхъ явленій въ области капиталистической деморализаціи нашей прессы, но остановиться на нихъ мы къ сожалѣнію не можемъ.

ховномъ хлѣбѣ, массу идеологическихъ продуктовъ, фальсифицированыхъ, отравленныхъ, ненужныхъ, вредныхъ. Идейный маргаринъ становится ходкимъ товаромъ, производство его даетъ огромные барыши.

И только одно есть средство борьбы съ капиталистической прессой — это сильная пролетарская пресса. Послѣдняя бьетъ капиталистическую печать двумя путями. Она вырываетъ изъ подъ ногъ своего врага широкія массы пролетаріата и трудящихся элементовъ вообще съ другой стороны самый фактъ существованія соціалистической прессы обуздываетъ капиталистическій шантажъ печатнымъ словомъ. Тамъ, гдѣ сильна рабочая пресса — тамъ этотъ шантажъ съеживается, уходитъ внутрь, умѣряетъ свой разгулъ. Это можно прослѣдить по всѣмъ странамъ Зап. Европы и Америки. Обратная пропорціональность этихъ двухъ факторовъ при прочихъ равныхъ капиталистическихъ обществъ почти соціальный законъ.

И если у насъ въ Россіи началась капиталистическая деморализація прессы, если тараканы вылѣзли изъ кухни въ салонъ, то этому не помочь ни горестнымъ негодованіемъ, ни сентиментальными вздохами о гибели прежнихъ добрыхъ нравовъ кустарной эпохи.

Прекрасное погибло въ пышномъ цвѣтѣ
Таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ...

Да, таковъ его удѣлъ, если уходитъ изъ подъ него прежній соціальный фундаментъ. Но это такъ. Уходитъ въ вѣчность кустарная эпоха, уходитъ съ ней и литературная добродѣтель „бездна хорошаго“, и только въ будущемъ надо искать и можно найти силы для борьбы съ литературнымъ разваломъ.

Настанетъ день, неизбѣжно настанетъ онъ, и тогда въ рускую культуру войдетъ новая могучая соціальная сила—свободная соціалистическая пресса и освѣжитъ идейную атмосферу переходнаго періода, зараженную смрадными факелами могильщиковъ революціи. Сейчасъ они выдаютъ себя за ея наслѣдниковъ, сейчасъ они мнять себя единственными душеприкащиками свѣтлыхъ и прекрасныхъ традицій русской литературы, но будетъ буря, задуетъ она ихъ чадящіе и обволакивающіе все окрестъ копотью факелы, сорветъ съ нихъ пышныя облаченія и все, что было великаго и прекраснаго въ „бѣдной обиженной“ русской литературѣ—все это найдетъ себѣ достойнаго преемника въ рядахъ соціалистической демократіи.

Ст. Ивановичъ.

А. Луначарскій.

Тьма.

I. ИХЪ ЛИТЕРАТУРА.

Существуетъ критикъ-фельетонистъ г. Чуковскій. Человѣкъ любопытный. Онъ обладаетъ довольно рѣдкимъ классовымъ сознаніемъ и старается помочь русской буржуазной интеллигенціи освободиться отъ оковъ соціализма, въ которыя она попала еще съ временъ великихъ учителей ея—Бѣлинскаго и Герцена.

Вышло такъ, что наши Лессинги, вырабатывая самосознаніе третьяго сословія, волею историческихъ судебъ, окрасили его въ густо-красный цвѣтъ. Сперва соціализмъ этотъ былъ расплывчатъ и этиченъ, потомъ превратился въ народничество, и наконецъ господство соціалистическихъ идей въ головахъ передовой русской интеллигенціи приняло свою окончательную форму—гегемоніи пролетаріата и его идеологіи въ политической и культурной жизни мыслящей Россіи.

Это очень сказалось въ красные мѣсяцы, когда Бальмонты и Минскіе безстрашно признали эту гегемонію. Въ то же время кадетство торопливо собирало свои культурныя силы и, стремясь создать буржуазную партію въ политикѣ, намѣревалось въ „Полярной Звѣздѣ“ наскоро сколотить приличное несоціалистическое и непролетарское міровоззрѣніе и даже найти традицію. Гордости русской культуры—нашей соціальной, полусоціалистической литературѣ—при этомъ было естественно противопоставить „чистое искусство“. Отсюда восторги передъ Пушкинымъ. Стремились найти своего пророка также и въ рѣзко антисоціалистическомъ Достоевскомъ. Эти попытки продолжаются и будутъ продолжаться.

Мы однако весьма сомнѣваемся въ ихъ окончательномъ успѣхѣ.

Г. Чуковскій (который пишетъ теперь въ „Рѣчи“, чего и слѣдовало ждать) развилъ въ своихъ фельетонахъ цѣлое маленькое ученьице. Онъ призывалъ къ свободѣ отъ соціальныхъ вопросовъ, къ самостоятельному искусству, кокетливо замѣчая, что каждый классъ вырабатываетъ свою идеологію невольно, инстинктивно, и предлагалъ Каутскому тему: отраженіе буржуазнаго самосознанія въ модахъ женскихъ шляпокъ. Итакъ, свободно, какъ модистка, творите новую литературную моду,

сегодня одну, завтра другую, и поскольку вы будете свободны вы уже сами собой послужите освобожденію вашего класса отъ ненавистнаго „соціальнаго вопроса“. Г. Чуковскій никогда не говорилъ этого такъ грубо, всегда намеками, всегда притчами, импрессіонистскими штрихами. Но такова была его тенденція. Естественно произошло его сближеніе со свободнымъ искусствомъ гг. московскихъ скорпіоновъ, съ одной стороны, и съ кадетами, съ другой.

Но г. Чуковскій очень молодъ. И иногда онъ выбалтываетъ истину скорбную, оскорбительную, самъ того не замѣчая. Такъ по поводу „Элеазара“ Андреева онъ написалъ преинтереснѣйшій фельетонъ.

Вся „свободная“ русская литература (Брюсовъ, Бѣлый, Мережковскій и пр. и пр., а также и Андреевъ)—полны де однимъ чувствомъ—страхомъ смерти. Одни его выражаютъ, другіе скрываютъ. Но ось вращенія „свободной“ литературы — страхъ смерти. Суть этой освободившейся отъ соціалистической гегемоніи, несоціальной, метафизической и чисто-художественной литературы, по словамъ проницательнаго и похвально откровеннаго критика, лучше всего передается предсмертнымъ восклицаніемъ Толстовскаго Ивана Ильича: „У-у-у“!.. Кто громче всѣхъ крикнетъ это у-у-у—тотъ и будетъ первымъ въ русской литературѣ, заявляетъ Чуковскій. И пока (хотя другіе тоже воютъ и завываютъ изо всѣхъ силъ, каждый въ своемъ тонѣ) самый громкій вой, полный самаго леденящаго ужаса испускаетъ Леонидъ Андреевъ. Честь ему и слава.

Такъ вотъ для чего „новые писатели“, „побѣдители“ добивались свободы. Такъ вотъ, что ждало ихъ тамъ, въ области свободной красоты: поджать хвосты, поднять носы къ лунѣ и, щелкая зубами, завыть: у-у-у!

Понятна и волна вакханаліи и патологическаго эротизма: пиръ во время чумы!

Спиноза сказалъ: „свободный человѣкъ“ не о чемъ не думаетъ меньше, чѣмъ о смерти“. Спиноза вдавилъ бы клеймо трусливаго раба въ лбы гг. Мережковскихъ, Бердяевыхъ и... самого могильнаго могильщика—Андреева.

Жизнь—принципъ пролетарскій. Такъ вышло. Такъ изжила себя старуха буржуазія на Западѣ, что русская сестра ея начинаетъ свою жизнь съ панихиды и колыбелью своей избираетъ гробъ. Буржуазное „свободное“ искусство есть—смерть.

Но будемъ различать. Г-да мистики хотятъ обмануть смерть баснями о загробной жизни. Андреевъ—честный пессимистъ. У него его: „у-у-у!“ чисто безпримѣсно, обнаженно. Большая заслуга. Это можно уважать. У Андреева есть розмахъ. Онъ задумалъ уничтожить все. Онъ какъ землетрясеніе. Саввой онъ сказалъ, что человѣческій родъ неисправимъ и что его надо истребить. Конечно, разрушеніе Андреева словесное, истребленіе

литературное, но слова—ядъ сильный, и Андреевъ отравляетъ жизнь, обнажая ее, вскрывая ее.

Будемъ ли мы за это въ претензіи на Андреева? Нисколько. Въ жизни такъ много больного, околѣвающаго, гніющаго, что мы благодарны эмиссару смерти, гробокопателю Леониду Андрееву. Въ то время какъ одни, чувствуя дыханіе чумы вокругъ себя, правятъ отвратительную оргію извращенныхъ чувствъ и стараются подогрѣть свою охладѣвшую, окоченѣвшую чувственность скотоложствомъ, садизмомъ и всякою мерзостью; въ то время, какъ другіе зажигаютъ свѣчи и пускаютъ дымъ къ небу и въ глаза ближнимъ, гнусавя разные псалмы и проповѣди, — Л. Андреевъ въ кожаной маскѣ, черный и страшный, съ крюкомъ въ рукахъ ходитъ по улицамъ городовъ, роется въ кучахъ труповъ и полутруповъ, носитъ гнилое мясо въ большую яму, поливаетъ его известью, хоронитъ. Ежели при этомъ кого-нибудь хрипящаго еще онъ и пристукнетъ своимъ чумнымъ крюкомъ— что за бѣда! Жгите трупы. Очищайте жизнь.

Въ ней такъ много хрупкаго, шатающагося, ветхаго, что мы должны быть благодарны разрушителю. Въ то время какъ одни убираютъ руины бумажными розами и яркимъ тряпьемъ, тщась превратить затхлыя берлоги въ дома старческаго плотоугожденія, а другіе кропятъ ихъ святою водою спиритуализма и обкуриваютъ монашками ихъ вонючіе углы,—Л. Андреевъ ходитъ съ топоромъ въ сильныхъ рукахъ: хватитъ тутъ, тяпнетъ тамъ: валитъ пыль точно изъ грибовъ-поганокъ, трещатъ трухлые балки, обваливается жалкая штукатурка, бѣлымъ узоромъ закрывавшая черныя дыры... Разрушайте, разрушайте и топоромъ и огнемъ. Это надо. Отъ хлама тѣсно стало. Эмиссары смерти дѣлаютъ свое дѣло, полезное и нужное.

Но Андреевъ не только могильщикъ, онъ хочетъ быть убійцей. Онъ не только разрушитель, ему хочется быть Геростратомъ. Не можетъ же онъ не видѣть среди кавалеровъ и дамъ ордена чумы — другія лица — энергичныя, устремленныя впередъ очи, серьезную складку губъ,—по временамъ разжимающихся для лучезарной улыбки; не можетъ не видѣть сильныя груди, дрожащія отъ ударовъ здороваго, неудержнаго сердца, руки трудовыя, чресла неизсохшія, неизсякшія; не можетъ не слышать новые марши, еще не громкую музыку будущаго; не можетъ не чуять ароматовъ обѣтованной весны. Иногда онъ какъ будто чуть не съ восторгомъ останавливается передъ этими людьми (Трейчъ и др. изъ „Звѣздъ“). Потомъ опоминается, насупливается. И хочется ему, человѣку въ чумномъ плащѣ, человѣку съ чумнымъ крюкомъ, подкравшись сзади, всадить ножъ въ спину тому, кто не хочетъ умирать. Для его, Андреева, торжества нужно все, всѣхъ свалить въ известковую яму. Литературно, конечно. Въ этомъ его величіе. Пронесся-де какъ смерчъ надъ землею и оставилъ по себѣ пустыню.

Рядомъ съ руинами строится понемногу новое. Это новое будетъ рости вопреки всѣмъ Андреевымъ міра. И это сердитъ, это безпокоитъ нашего писателя. И онъ вновь и вновь принимается грызть устои человѣчества, вновь и вновь пытается встряхнуть весь шаръ земной, чтобы все на немъ попадало. Потѣетъ, ломаетъ зубы и доказываетъ свое бизсиліе. Не можетъ еще понять, что рожденъ похоронить мертвое ради живого, ликвидировать осень ради новой весны. Гасилъ дымныя свѣчи, зажженныя ложной культурой, растопталъ факелъ индивидуализма, мнимо-цѣлебный огонекъ революціоннаго раціонализма, и, досадуя на разгорающуюся зарю, хотѣлъ бы нахлобучить черный абажуръ на самое солнце жизни. И тутъ ничего не выходитъ. Всюду удается ему лишь превратить въ тьму то, что ложно казалось свѣтомъ, и словно химически очистить свѣтъ истинный. Таковъ Андреевъ. И четыре послѣднія его повѣсти крайне поучительны и въ хорошемъ своемъ, и въ дурномъ, и въ сильномъ, и въ слабомъ.

Но въ „ихъ литературѣ“ онъ, хотя безспорно къ ней принадлежитъ, выше другихъ своею открытостью, мрачной смѣлостью своего радикально чернаго пессимизма, безочарованія.

II. ЭЛЕАЗАРЪ, ИЛИ О СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНІИ.

Я привѣтствовалъ „Жизнь человѣка“, какъ сильный ударъ по иллюзіямъ индивидуальнаго счастья. Вмѣстѣ съ тѣмъ я задавалъ себѣ вопросъ, не думаетъ ли Л. Андреевъ распространить свою критику жизни человѣка на жизнь человѣчества? Многое заставляло меня думать, что это такъ. Но подобное распространеніе, превращающее относительный пессимизмъ, разрушающій индивидуалистическій самообманъ, въ пессимизмъ абсолютный, я не находилъ законнымъ. *)

„Элеазаръ“, написанный, если я не ошибаюсь, до „Жизни Человѣка“, но прочитанный мною послѣ, содержитъ въ себѣ прямой отвѣтъ на мой вопросъ. Въ фигурѣ Августа, Андреевъ создалъ человѣка, живущаго историческими горизонтами, героя вида, максимально живого человѣка. И въ концѣ концовъ встрѣча его съ вѣстникомъ смерти—Лазаремъ—кончается внутреннимъ надломомъ этого титана жизни. Только дѣти не боятся Лазаря. Но они вѣдь еще не люди. „Элеазаръ“ превосходный образчикъ у-укающей литературы. Это страхъ смерти въ чистѣйшемъ его видѣ, „у-у-у“ на самыхъ высокихъ, сердце надрывающихъ нотахъ.

Что касается обобщенія страха смерти на людей „видового“

---

*) См. мои статьи „Новыя Драмы“ въ журналѣ „Вѣстникъ Жизни“ за 1908 г. Статьи эти будутъ перепечатаны въ моемъ третьемъ сборникѣ.

БИБЛІОТЕК
А. Г. ОСОРГИ

историческаго типа, то объ этомъ, т. е. объ отрицательной и слабой сторонѣ разсказа, я здѣсь говорить не буду. Отсылаю читателя къ моимъ доводамъ въ статьѣ „Новыя драмы“. Но „Элеазаръ“, какъ символъ негоднаго для жизни, хотя и воскресшаго, имѣетъ свою любопытную и поучительную сторону. Мнѣ вспоминается дивно-красивый сонъ страннаго и высокодаровитаго нѣмецкаго поэта Рихарда Дэмеля. Сожалѣю, что у меня нѣтъ его подъ руками, и что вмѣсто перевода этого великолѣпнаго стихотворенія, я долженъ только изложить его.

Снится поэту, что онъ стоитъ въ нишѣ торжественнаго собора. Съ круглаго купола льется разсѣянный свѣтъ. Въ нишахъ между разноцвѣтными колоннами стоятъ бѣломраморныя статуи людей, мужчинъ и женщинъ. И самъ поэтъ—неподвижная статуя, однако мыслящая и чувствующая. И чувствуетъ бѣдная эта статуя человѣческая, что руки ея безобразны, измозолены, покрыты трещинами, похожи на крабовъ, что грудь ея впалая, костлявая, спина изогнута дугой; лицо обезображено морщинами, наростами, прыщами, голова облѣзла. Жалкое изваяніе, полное реализма,—горькое изображеніе человѣка, раздавленнаго трудомъ, заботами, нищетой и дѣтищемъ ея—пьянствомъ. А по серединѣ собора стоитъ гробъ, прозрачный словно изо льда. Въ гробу покоится Христосъ блѣдный, милый, мертвый... Нѣтъ, не мертвый. Вотъ раскрылись его губы, шевельнулась рука. И открылись прекрасные голубые глаза. Открылись—и стало чудно свѣтло въ храмѣ, словно весь онъ наполнился голубыми, живыми лучами. Христосъ всталъ, и тогда полилась откуда-то музыка, нѣжная и торжественная, радостная и трепетная. И подошелъ Христосъ къ первой парѣ мраморныхъ изваяній, и они ожили и сошли, прекрасныя и молодыя, со своихъ пьедесталовъ, обнялись, поцѣловались и пошли вслѣдъ за Христомъ. И сталъ онъ обходить весь храмъ. И сходили дивныя фигуры, переплетались, шли за нимъ, пѣли. Все громче была ихъ пѣсня, все длиннѣе вереница оживленныхъ. И вотъ стоитъ Христосъ у ниши поэта. Рвется къ нему бѣдное сердце. И вмѣстѣ такъ страшно стыдно, больно, печально. Ну зачѣмъ же ему жизнь, ему—уроду, илоту, калѣкѣ?

Долго смотрѣлъ Христосъ на статую. На голубыхъ очахъ его показались слезы, и онъ сказалъ среди умолкшаго хора. „Не пришелъ еще часъ твой“.

Но неправъ Дэмель. Быстро выпрямится станъ пролетарія, когда пробьетъ часъ, когда мы, мертвые, пробудимся. Но вотъ для буржуазіи, что такое воскресеніе? Для Рубека это была—новая смерть. И я бы замѣнилъ въ чудесной поэмѣ Дэмеля его изваяніе—статуей того господина не безъ вздутія подъ хорошо пошитымъ жилетомъ, но съ пустымъ сердцемъ и головою, того господина, который теперь хочетъ во что бы то ни стало „свободы“, да еще вдобавокъ и личнаго безсмертія.

Вотъ ужъ подлинно не понимаю на что ему вѣчная жизнь, когда онъ и временной не умѣетъ распорядиться, а ноетъ и скулитъ. Не будь страха смерти—чѣмъ бы стала жить его литература и философія? Вѣчность! Шутка сказать: неужели онъ убилъ бы вѣчность тѣмъ, чѣмъ убиваетъ краткій мигъ земного бытія: развратцемъ, винтомъ, дѣлишками, заботишками, почитываніемъ, пописываніемъ? Скукой вѣетъ даже отъ ихъ „вдохновенныхъ“ мечтаній о вѣчности. Надо ли, стоитъ ли воскрешать васъ, бѣдные Лазари? Во имя чего вы станете строить, творить, когда вы не можете выдумать идеала выше все той же вѣчной жизни, да той же свободы творчества?

Интереснымъ показателемъ различія міровоззрѣній отдѣльныхъ соціальныхъ группъ является недавній рефератъ г. Бердяева о Розановѣ, вращавшійся вокругъ тѣхъ же вопросовъ смерти и безсмертія.

Не такъ давно я посвятилъ Розанову этюдъ, въ которомъ, если не ошибаюсь, первый указалъ, на существенно мѣщанскую подоплеку неожиданно антихристіанской философіи этого господина. Мѣщанинъ, торговый, промышленный, дѣловой, экономическій человѣкъ по совершенному недоразумѣнію оказался христіаниномъ. Любопытная задача прослѣдить, какъ воевалъ мѣщанинъ съ коммунистическими элементами этой лумпенпролетарской религіи. Отчасти я намѣчаю этотъ процессъ въ моей книгѣ „Религія и Соціализмъ“, подготовляемой мною къ печати.

Мѣщанинъ держится довольно крѣпко за христіанство, потому что его удалось превратить въ прекрасно сдерживающее средство для обездоленныхъ. Адъ и рай—это солидные устои общества.

Но христіанство гнететъ мѣщанина. Оно ирраціонализируетъ ему міръ, оно безпокоитъ его своимъ рѣзко отрицательнымъ отношеніемъ къ собственности, семьѣ, заботамъ о завтрашнемъ днѣ. Беззаботный коммунистъ, да еще мечтатель и мистикъ—типъ прямо противоположный положительному homo oeconomicus. И Розановъ прелюбопытно отразилъ процессъ роста мѣщанскаго самосознанія и протеста противъ „жизнеотрицающихъ“ началъ евангелія. Ну, хорошо. Но вѣдь зато евангеліе обѣщаетъ безсмертіе. Да, утверждая въ то же время, что верблюду легче пройти въ игольное ушко, чѣмъ богатому въ царство небесное. Покорно-благодарю! Кромѣ того евангеліе мѣтко говоритъ: „Гдѣ сокровища Твое, тамъ и душа твоя“, и Розановъ недаромъ такъ умиленно и умилительно зоветъ на „теплую, теплую нашу землю“, ибо сокровища мѣщанина здѣсь и остается здѣсь. Помните въ „Жиль-Блазѣ“ какъ герой романа находитъ надпись: „Здѣсь погребена душа Гарсія“. Онъ увѣренно копаетъ и находитъ шкатулку съ деньгами. Душа нашихъ Гарсія, и Гарсія всѣхъ временъ въ шкатулкѣ. Ея безсмертіе въ то же время въ строгихъ предѣлахъ индивидуализма и личной соб-

ственности, надо было обезпечить, и оно, это безсмертіе, нашло свое обезпеченіе въ семьѣ, какъ понимаетъ ее Римское Право: законнорожденныя дѣти—наслѣдники. Этотъ устой мѣщанскаго, мелкособственническаго общества: мои дѣти наслѣдники—Розановъ и противопоставилъ туманной, невѣрной и опасной перспективѣ христіанской загробной жизни подъ поэтическимъ названіемъ—„розовое безсмертіе".

Г. Бердяевъ тоже признаетъ Розанова идеологомъ мѣщанства. Но главный признакъ мѣщанства онъ находитъ въ недостаточномъ индивидуализмѣ.

Розановъ изъ силъ выбивается въ борьбѣ съ монастырскимъ коммунистическимъ началомъ, прямо указываетъ на понятіе „мое", какъ на камень, о который разбивается ладья христіанства, а Бердяевъ укоряетъ его въ желаніи „религію вида" поставить надъ индивидомъ. Нѣтъ же, желаніе имѣть побольше розовыхъ поросятъ и оставить имъ побольше худобишки—это вовсе не религія вида, г. Бердяевъ, какъ бы не раскрашивалъ свое ученіе розовыми лаками г. Розановъ. Это индивидуализмъ наиболѣе позитивный!

Г. Бердяевъ не хочетъ позитивнаго индивидуализма, съ его натуральнымъ продолженіемъ— моимъ. Онъ хочетъ лишь быть безсмертнымъ. Въ этомъ онъ видитъ свое отличіе отъ мѣщанина и свой дипломъ на званіе сверхинтеллигента. Горя мало г. Бердяеву, что пока подавляющее большинство мѣщанства и крестьянства раздѣляютъ его вѣру въ безсмертіе, между тѣмъ какъ добрыхъ $^3/_4$ великановъ мысли послѣднихъ столѣтій гордо ее отвергали!

Но откуда это недоразумѣніе? Г. Бердяевъ совершенно такой же идеологъ мѣщанства, какъ и Розановъ, только другого слоя его. Розановъ служитъ тому Гарсія, душа котораго въ мошнѣ. Жизнь Гарсія, жизнь Разуваева въ заведеніи, въ домѣ, въ вещахъ, въ имуществѣ. Жизнь, истинное существованіе интеллигента—въ его нервной системѣ и только. Исчезаетъ изъ фирмы „Колупаевъ и сынъ" глава дома,—да здравствуетъ новый глава: le bourgeois est mort, vive le bourgeois. Остается самое важное- капиталецъ, капитальная часть соціальной личности мѣщанина, купца. Умираетъ писатель, даже скажемъ врачъ, адвокатъ, — фирмѣ соціальной личности — конецъ. Поскольку онъ интеллигентъ его соціальная личность ограничена имъ самимъ. Въ придатокъ къ его нервно мозговой системѣ онъ нуждается только развѣ въ чернильницѣ. Капиталъ безъ хозяина $^9/_{10}$ цѣлаго и легко находитъ другого хозяина. Чернильница безъ писателя только жалкій черепокъ, и унаслѣдовавшій ее сынъ напрасно будетъ стремиться извлечь изъ нея духъ своего отца.

Отсюда жажда личнаго безсмертія у интеллигента. Не у всякаго. Недаромъ Махъ говоритъ, что жить въ наукѣ, веще-

ствѣ, соціальной реформѣ и судьбахъ этихъ объектовъ творчества—вотъ безсмертіе ученаго, художника, соціальнаго дѣятеля. Но для этого надо именно цѣликомъ слиться съ объектомъ своего творчества, а истиннымъ субсратомъ эгого объекта, его безсмертнымъ носителемъ является общество человѣческое, видъ. Для того, чтобы чувствовать такъ, какъ чувствовалъ Махъ, Пушкинъ или Марксъ, нужно уже перерасти рамки индивидуальности. Чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе такія лица, способныя жить всецѣло творческими цѣнностями и въ нихъ видѣть свое безсмертіе и прогрессъ своего духа,—попадаютъ неминуемо въ великое русло пролетарскаго теченія, ибо только у него есть яркое, опредѣленное будущее.

Но мѣщанство сопротивляется, оно хочетъ придумать свои несоціалистическія цѣнности, и вотъ вамъ Розановъ съ его безсмертіемъ свиноподобнаго размноженія, вотъ вамъ Бердяевъ съ его трусливымъ утвержденіемъ безсмертія души: Credo, quia absurdum.

Мѣщане! Мережковскій заявилъ, что страхъ смерти—основа религіи... Христосъ по его словамъ тѣмъ и цѣненъ, потому и нуженъ, что воскресъ. Разъ де одинъ воскресъ, то воскресеніе вообще возможно.

Да, Христосъ воскресъ. Очень любопытно ученіе о его воскресеніи у католиковъ-модернистовъ. Намъ не важно, говорятъ они (вопреки Мережковскому) воскресъ ли матеріальнымъ тѣломъ Христосъ, но что несомнѣнно—это колоссальная жизнь духовная, которую ведетъ онъ, какъ своеобразная стихія въ обществѣ человѣческомъ.

Христосъ воскресъ. И могъ и долженъ былъ воскреснуть. Когда то одинъ идеалистъ (Волжскій) просилъ меня печатно: „Ужъ Христа то вы намъ оставьте".

Нѣтъ, не можемъ мы вамъ оставить Христа. Если мы пытаемся исторически реконструировать его, какъ личность—мы видимъ въ немъ своеобразнаго вождя пролетарскихъ массъ Галилеи. Если мы вовьмемъ его, какъ героя легенды, то онъ идеалъ пролетарскихъ массъ Римской Имперіи эпохи упадка, сложной и многообразной. Пусть онъ герой слишкомъ пассивный для нашего современнаго духа, онъ все же пролетарскій герой, учитель великой любви и великой ненависти тоже.

А вамъ зачѣмъ Христосъ? Только какъ залогъ вашего жалчайшаго безсмертія?

Христосъ то воскресъ, но вотъ вы не воскреснете, а если и воскресилъ бы васъ вашъ Христосъ, то были бы вы Элеазарами. Скоро остановилась бы радость о вашемъ воскресеніи, и поняли бы всѣ, что вы живете въ памяти людей, какъ пустые призраки безвременья, не служившіе ничему, а хотѣвшіе только жить, жить. Перечтите Перъ Гюнта. Онъ тоже хотѣлъ жить

во что бы то ни стало. Но онъ былъ пуговицей безъ ушка и подлежалъ въ тигель.

Андреевъ вѣроятно не думалъ о такомъ выводѣ? Мнѣ же кажется, что онъ самъ того не зная, воскресшему Христу, герою, носителю идеи, противопоставилъ воскресшаго Лазаря, ничтожество, мѣщанина.

Ну, присмотритесь къ русской буржуазіи. Кузминщина, Сологубовщина: „Господи, уже смердитъ". И стоитъ ли воскрешать на страхъ міру этотъ смердящій трупъ?

III. ІУДА, ИЛИ О ЦѢННОСТИ ЧЕЛОВѢЧЕСТВА.

„Эти господа" сильно кокетничаютъ съ Христомъ. Нашему Герострату это не понравилось. Въ качествѣ всеуничтожающаго смерча онъ рѣшилъ уничтожить и Іисуса. Подошелъ онъ къ своей задачѣ очень искусно. Къ тому же повѣсть „Іуда Искаріотъ" и другіе—литературный шедевръ. Подошелъ къ Христу Леонидъ Андреевъ неожиданно странно. Царь Иродъ ударилъ Савву лѣвой рукой, Савва не ожидалъ удара съ той стороны и упалъ. Андреевъ ударилъ Христа лѣвой рукой. Иванъ Карамазовъ такимъ же образомъ ударилъ бога, сказавши: „Не Бога не принимаю, а міръ". Андреевъ сказалъ: Христосъ то хорошъ, да люди то, ради которыхъ онъ страдалъ, плохи.

Іуда — представитель хаоса, раздвоенности, ирраціонализма въ космосѣ и психеѣ, хотѣлъ доказать Христу и доказалъ, что онъ, Христосъ,—Донъ Кихотъ. Іуда, несмотря на все страшное, скорбное, мучительное все-таки Санчо-Пансо, все-таки братъ апостола Ѳомы по здравому смыслу. Христосъ идетъ на муки ради людей. Люди будутъ подтирать плевки съ пола его дивнымъ ликомъ. А другіе люди, которыхъ онъ всѣмъ сердцемъ любилъ, останутся послѣ этого жить и не посмѣютъ защитить учителя.

Тезисъ Андреева можетъ быть формулированъ такъ: Вы говорите Христосъ, Христосъ. Да вы посмотрите, какую, съ вашего позволенія, сволочь, онъ хотѣлъ искупить? Христосъ есть Донъ-Кихотъ. Симпатично, пожалуй, но и противно, потому что неумно. „Preterea censeo mundum delendum esse!"

Доказательство, однако, не выдерживаетъ никакой критики. Что апостолы, и особенно Петръ, вели себя во время страданій Христа, непохвально—это такъ. Но откуда было у нихъ взяться мужеству? Особенно аггрессивному? Не самъ ли Іисусъ пріучилъ ихъ къ максимѣ—платить добромъ за зло? не противиться злу? Не исцѣлилъ ли онъ ухо Малха? Не запретилъ ли употребленіе меча? Не сослался ли, наконецъ, на болѣе чѣмъ 10 легіоновъ ангеловъ, которые Отецъ пошлетъ по первому его слову?

Правда, въ Евангеліи прорываются и другія нотки:

„Приближается время, когда имѣющій одежду лучше сдѣлаетъ, если продастъ ее и купитъ мечъ“ — говоритъ Іисусъ ученикамъ. Но это былъ моментъ сомнѣнія, слабости, колебанія. Въ этотъ моментъ тѣла погибшихъ зелотовъ, требующихъ отмщенія, пронеслись, можетъ быть, въ мозгу Галилейскаго демагога, окруженнаго со всѣхъ сторонъ врагами. „Есть ли у васъ оружіе?“ „Господи, вотъ два меча“. „Довольно“—сказалъ Іисусъ и вѣроятно улыбнулся скорбно. Если и теперешній пролетаріатъ часто съ ужасомъ смотритъ на свои „два меча“, съ которыми онъ долженъ бороться противъ вооруженной силы князя міра сего, то гдѣ ужъ было рыбарямъ озера Тиверіадскаго! Надо было избрать другую тактику. Эта тактика была—мученичество, терпѣніе и вѣрность себѣ, своимъ принципамъ. Она чуть не побѣдила міръ. Даже побѣдила, но за время борьбы эта духовная сѣть ловцовъ человѣковъ опутала ихъ самихъ, стала оковами для самаго пролетаріата.

Дѣлать изъ пассивности 11 учениковъ Христовыхъ выводъ о низости рода человѣческаго—не годится. Да, Евангеліе страшная сатира на человѣчество, это правда. И Андреевъ еще не исчерпалъ этой темы. Но евангельское человѣчество это часть черни временъ упадка античнаго общества.

Вотъ ученики Пиѳагора, когда демократія Кротона напала на домъ, въ которомъ они совѣщались,—изъ тѣлъ своихъ сдѣлали мостъ черезъ пламя для обожаемаго учителя.

Неужели надо распространяться о героизмѣ толпы? о героизмѣ человѣка? Это смѣшно. Примѣрами кишитъ исторія. Не отрицаю глубины и красоты повѣсти Андреева, но констатирую, что цѣль не достигнута. Сколько тысячъ христіанъ погибли за имя Христово на аренахъ? Грѣхъ Петра омытъ кровью мучениковъ. Человѣчество, по крайней мѣрѣ пролетарская часть его, заплатила любовью за любовь, терпѣніемъ за терпѣніе, кровью за кровь. Человѣчество — смѣсь добраго и дурного, какъ самъ Іуда.

Андреевъ хочетъ въ насъ возбудить симпатію къ Іудѣ и антипатію къ человѣчеству. Напрасныя усилія. Безумна, ужасна, но во многомъ и захватывающе прекрасна исторія нашего вида. Стоитъ ли онъ крови мучениковъ и героевъ? Г. Леонидъ Андреевъ и Іуда Искаріотскій находятъ, что нѣтъ. Сами мученики и герои думаютъ иначе. На картинѣ Ботичелли мадонна, вписывая первое слово въ прославляющій ее гимнъ, какъ мнѣ иногда чудится, говоритъ божественному младенцу: „Господи, сыне, ужели видя все отсюда, съ горнихъ высотъ, ты не каешься въ своихъ и моихъ страданіяхъ?“ Младенецъ отвѣчаетъ: „Нѣтъ, мать моя“.

И ему грустно, что она не понимаетъ этого.

IV. ПРОКЛЯТІЕ ЗВѢРЯ И ТВОРЧЕСКАЯ БОРЬБА ЧЕЛОВѢКА.

Я не знаю появился ли уже въ какомъ либо русскомъ журналѣ изданный заграницей разсказъ Андреева „Проклятіе звѣря". На всякій случай остановлюсь на нѣкоторыхъ эпизодахъ разсказа, приведу нѣкоторыя цитаты.

Онъ весь двойственъ, этотъ разсказъ, какъ почти все создаваемое нашимъ писателемъ. Его тезисы, одѣтые въ художественныя одежды, весьма пріемлемы до извѣстнаго пункта, а за нимъ становятся ложными, да къ тому же вовсе неоригинальными, несмотря на всю напыщенность.

„Проклятіе звѣря" направлено противъ современной буржуазной, городской культуры. И Андреевъ нашелъ интересныя проклятія, интересные карающіе образы. Но къ своему несчастью онъ, сильный разрушитель индивидуализма, самъ индивидуалистъ, и норовитъ онъ обвинить культуру, главнымъ образомъ, за ея общественность, коллективность. И получается путаница предосадная.

Возьмите, напримѣръ, вѣликолѣпный эпизодъ съ орлами. (Весь разсказъ рядъ эпизодовъ изъ прогулки до болѣзненности чуткаго индивидуалиста по большой столицѣ). „Я наткнулся на зрѣлище, которое наполнило меня отвращеніемъ и гнѣвомъ. Это были орлы и орлицы. 10 — 12 царей и царицъ, запертыхъ въ небольшую желѣзную клѣтку. Для нихъ, для этихъ огромныхъ, царственныхъ птицъ съ ихъ саженнымъ размахомъ крыла, клѣтка была чудовищно, безобразно мала. И когда какой-нибудь изъ этихъ несчастныхъ плѣнныхъ царей пробовалъ летѣть, что за безпорядокъ, что за отвратительный жалкій безпорядокъ поднимался въ клѣткѣ. Этотъ несчастный билъ своими крыльями по желѣзнымъ прутьямъ, по землѣ — по своимъ, наконецъ, товарищамъ—и всѣ они начинали кричать, браниться, ссориться, какъ торговки, какъ женщины, собравшіяся со своими горшками къ одной печкѣ. Ихъ хриплый, дикій клекотъ, который звучитъ такъ мощно надъ вершинами горъ, надъ великимъ просторомъ океана, здѣсь становился похожъ на пьяные голоса сердитыхъ, обиженныхъ людей, изнывающихъ отъ тѣсноты, безпорядка, безсмыслицы жизни. Я не знаю ихъ языка, но ясно, съ отвращеніемъ понималъ я ихъ пошлую брань, гнусные намеки противныя, плаксивыя жалобы, циничный смѣхъ и ругательства.

И это были орлы! У всѣхъ у нихъ были грязныя, встопорщенныя перья, обломанныя крылья; ихъ энергичныя, остроклювыя лица съ зоркими, орлиными, властными глазами выражали мелкую злобу, раздраженіе, глупую зависть. И только немногіе пытались улетѣть; большинство же, привыкшіе къ неволѣ или даже рожденные въ ней, цѣпко держались когтями за грязныя

загаженныя перекладины или обрубленные сучья короткихъ, вкопанныхъ въ землю стволовъ; и когда тѣ пробовали летѣть— эти, обезпокоенные, возмущенные, начинали клекотать, браниться яростно, быть можетъ, даже звали полицію. Мнѣ хотѣлось посмотрѣть, какъ движутся эти, и я сталъ поджидать — и я дождался: они не летали, они—прыгали короткими прыжками, какъ большіе воробьи, какъ куры въ курятникѣ.

„И это были орлы!“

Прекрасно. Сильно. Но гнѣвъ и отвращеніе Андреева направлены, вы это чувствуете, не туда куда надо. Если бы онъ хотѣлъ лишь глубоко возмутиться грубому насилію, безсознательному издѣвательству культурныхъ профессоровъ, засадившихъ 12 царей и царицъ въ клѣтку—это было бы просто, но нѣсколько плоско. Символическая параллель тутъ нужна. Не такъ ли тѣснота, нелогичность, убожество буржуазной культуры губятъ крупную по существу природу человѣка? Но Андреевъ идетъ со своимъ символомъ глубже, беретъ общее: это потому „обиженные люди изнываютъ отъ тѣсноты, безпорядка, безсмыслицы жизни“, что они держатся вмѣстѣ; въ одиночествѣ, въ отшельничествѣ, тамъ лишь можно расправить крылья, вырости въ свой настоящій ростъ.

Тезисъ ложный въ своей мнимой глубинѣ—на дѣлѣ пошлый, въ общности поверхностный. Великіе геніи земли росли въ городахъ, росли въ общеніи. Жизнь безсмысленна не потому, что она коллективна, а потому, что она дурно организована. Человѣкъ остается, какъ и во времена Аристотеля,—общественнымъ животнымъ: орлы человѣчества широко вѣяли крыльями въ Аѳинахъ, Римѣ, Парижѣ и имъ не всегда было тамъ тѣсно, въ пустынѣ же, прославляемой Андреевымъ, они бы тосковали, какъ лишенные воздуха. Но жизнь дурно организована. Городъ, на который нападаетъ Андреевъ, гадокъ, грязенъ — это такъ, но въ немъ таятся силы чудовищныя, дремлютъ обѣтованія. Ихъ Андреевъ не понимаетъ, не хочетъ видѣть. Но сравните городъ въ сочиненіи Андреева съ городомъ Верхарна?

Другой великолѣпный эпизодъ. Нашъ странникъ встрѣчаетъ великолѣпнаго „дѣтеныша“, маленькую дѣвочку. „Боже,—восклицаетъ онъ,—я еще никогда не видалъ такого совершеннаго, такого очаровательнаго человѣческаго дѣтеныша. Во мнѣ зажглось чувство какой то тихой, безмѣрной радости, умиленія, близкаго къ молитвенному восторгу“. Какъ это хорошо, что Андреевъ способенъ на такія чувства, и притомъ предъ лицомъ человѣческаго существа. Какъ все это прекрасно, свѣтло, неожиданно отъ чернаго человѣка съ чумнымъ крюкомъ.

Дѣвочка шла куда то. Разсказчикъ идетъ за ней.

„Вотъ у одной изъ боковыхъ дорожекъ, желѣзная невысокая рѣшетка и за ней овальный, каменный бассейнъ, полный все тою же грязной, теплой водой. Вода колышется, ходитъ боль-

шими плоскими волнами—видимо, кокое-то большое тѣло бороздитъ ее, тамъ внизу. Вотъ куда мы шли.

Дѣвочка обнимаетъ тоненькими, бѣленькими пальчиками желѣзные прутья и прижимаетъ къ нимъ свое очаровательное личико. Въ томъ, какъ стоятъ ея ножки, во всей ея позѣ видно великолѣпное, царственное, спокойное ожиданіе. Стоитъ и ждетъ спокойно, великодушно, терпѣливо—очаровательно надменный дѣтенышъ человѣка.

И вотъ, спуская воду съ пологихъ плечъ, показываеся онъ. У него круглый, точеный умный черепъ, туго обтянутый короткой шерстью—отъ воды она прилегла совсѣмъ, какъ кожа и поблескиваетъ тускло. Онъ стоитъ твердо, какъ изваяніе, опершись плавниками о камень и неподвижно смотритъ на дѣвочку своими изумительными, мистическими глазами. Большіе, черные, лишенные бровей и рѣсницъ, они смотрятъ, какъ широко открытыя черныя окна, съ простой и величавой откровенностью тысячелѣтней неразгаданной тайны. И кажется, глядя въ эти бездонные глаза, будто остановились всѣ часы въ городѣ, и замерли ихъ суетливыя стрѣлки; будто нѣтъ времени; будто, увлекаемый невѣдомой силой, погружаешься въ самые первоисточники бытія, теряешь имя, память, образъ человѣка... И прямо, напротивъ, глаза въ глаза, смотритъ на него, царя и чудовище, другой царь: маленькій, надменный, очаровательный дѣтенышъ человѣка. Что за странная встрѣча, здѣсь, въ этомъ городѣ? Что думаете вы, оба, глядя такъ пристально, такъ просто, такъ понятно другъ на друга?

Слышу нѣжный, влюбленный лепетъ:

— Милый. Милый.

Молчаніе.

— Милый. Я очень люблю тебя.

Молчаніе.

И я отошелъ отъ нихъ, на цыпочкахъ, не рѣшаясь оглянуться, какъ глупый шпіонъ, застигнутый у чьихъ то священныхъ дверей. Помню, я долго блуждалъ по аллеямъ, взволнованный, смущенный, радостный, и такъ бережно несъ себя, будто боялся расплескать что-то драгоцѣнное".

Я рѣдко читывалъ что либо болѣе теплое, поэтичное, трогательное и обнадеживающее. Но Леонидъ Андреевъ не хочетъ этимъ сказать, что человѣкъ вернется еще къ природѣ, но вернется черезъ культуру, подлиннымъ царемъ природы, неся съ собой счастье и для меньшихъ братьевъ животныхъ, связанныхъ съ ними многострадальной и побѣдоносной органической цѣпью, Нѣтъ. Андрееву нужно противопоставить своего дѣтеныша городу, чтобы звать не впередъ, а назадъ. Молъ въ дѣтской непосредственности въ отверженіи культуры, которая тебя изгадила, найдешь ты великое единеніе съ природой. У Андреева это иллюстрація къ идеямъ Руссо, которыя онъ выразилъ и

устами Саввы. Помните, какъ Савва отказывается строить дальше зданіе культуры? Для него это только нагроможденіе лжи на ложь, нѣтъ, все срыть, все долой. Обычная греза культуроотрицателей, въ сущности невѣрящихъ въ человѣка,—дитя, дикарь, мужикъ—Андреевъ не вѣритъ въ человѣка, какъ не вѣрили въ него Руссо, какъ и Толстой не вѣритъ въ него. И Руссо и Толстой были великими пессимистами. Что мрачнѣе идеи Толстого о воплощеніи своей задачи человѣчествомъ путемъ моральнаго самооскопленія и самоубійства? Когда говорятъ о дѣтяхъ, дикаряхъ, Иванушкахъ дурачкахъ, даже поэтично говорятъ, восторженно, розово—мнѣ всегда кажется, что я плыву въ теплой водѣ, а на ногу мнѣ привязанъ свинцовый грузъ и тянетъ, тянетъ въ теплую, темную пучину.

Самое изображеніе города вертится у Андреева на изображеніи статности горожанина, схожести индивидуумовъ господства глупой психологіи толпы. Изображеніе это мѣстами довольно остроумно, мѣстами фельетонно. Въ общемъ много мертвеннѣе, чѣмъ напримѣръ у Поэ въ его „Человѣкѣ толпы“ и его картинахъ грядущаго перенаселенія земли. Отмѣчена и каменная громада, кошмаръ скученныхъ зданій, ставшихъ между человѣкомъ и природой. Но много слабѣе чѣмъ у Верхарна. Маленькое стихотвореніе Брюсова въ сборникѣ „Шиповника“ и особенно 3 рисунка Добужинскаго даютъ въ этомъ отношеніи больше, чѣмъ страницы Андреева.

Однако всего этого достаточно, чтобы мотивировать центральную сцену проклятія звѣря, а въ ней вся сила, и она написана великолѣпно.

„Мелькнула темная, скользкая спина, одно—два безпокойныхъ, ломанныхъ движеній, тяжелый пустой вздохъ, фырканье—и на поверхность выбрался онъ, тотъ, что кричалъ. Повернулся тяжело, вздохнулъ такъ, словно у него была одышка и неподвижно уставился на насъ, какъ бы давая лучше разглядѣть свое безобразное, скуластое, страшное лицо. Повидимому онъ былъ старъ, очень боленъ и скоро долженъ былъ умереть; его большіе черные глаза отсвѣчивались кровью, щетинистые рѣдкіе усы были сѣдоваты; и когда онъ открывалъ ротъ и молча скалился, видны были испорченные, гнилые, искрошенные зубы. Вначалѣ мнѣ показалось, что онъ смотритъ на насъ; но нѣтъ, онъ смотрѣлъ дальше—гораздо дальше.

И вотъ тутъ онъ снова закричалъ, сразу, всею полнотою и силой этого дикаго, неслыханнаго крика. И такъ же сразу, весь похолодѣвъ отъ чувства непередаваемаго ужаса, я понялъ, что онъ—проклинаетъ. Стоитъ въ своей грязной лоханкѣ, по серединѣ огромнаго города, передъ кучкою какихъ то господъ—и проклинаетъ проклятіемъ звѣря и городъ этотъ и людей, и землю, и небо. Онъ старъ онъ очень боленъ и скоро долженъ умереть.

Было бы безуміемъ пытаться передать всю грозную силу

проклятій несчастнаго звѣря. Всѣ ядовитыя слова, какими обмѣниваемся мы, люди, когда хотимъ выразить наше неудовольствіе другъ другу или небу, кажутся комариными укусами сравнительно съ этой рѣчью, гдѣ каждый напряженно трепещущій звукъ былъ налитъ смертоноснымъ ядомъ. Я знаю благородный гнѣвъ библейскага Іова; я помню гнѣвные упреки Каина; въ моихъ ушахъ еще звучатъ проклятія пророковъ, какія посылали они на голову нечестивыхъ городовъ и народовъ—но что значатъ они всѣ передъ этимъ, простымъ, какъ голосъ самой оскорбленной земли, проклятіемъ умирающаго звѣря. Онъ не ждалъ отвѣта; одинокій, умирающій, онъ не искалъ пониманія—онъ проклиналъ въ вѣка и пространства, бросалъ свой голосъ въ ихъ чудовищную, безумную пустоту. И почудилось мнѣ: вмѣстѣ съ проклятіемъ его встаютъ изъ гроба гигантскія тѣла умершихъ столѣтій; идутъ торжественно въ кровавой мглѣ; и новыя встаютъ за ними; и безконечной вереницей огромныхъ, блѣдныхъ, окровавленныхъ тѣней они беззвучно облегаютъ землю и въ пространство направляютъ свой страшный путь...“

Звѣрь проклиналъ городъ и людей. А также землю и небо. Андреевъ смѣшиваетъ все вмѣстѣ. Звѣрю это, конечно, болѣе чѣмъ позволительно. Но Андрееву? Есть ли за что проклинать землю и небо? Стоитъ ли учиться у звѣря этому проклятію? Звѣри—позитивисты и врядъ ли направляютъ крикъ своей мучительной боли небу, „духовному“, небу, населенному вымыслами чисто человѣческими. Но не трепещетъ ли страшный безнадежный протестъ противъ природы изъ груди страждущаго организма въ воплѣ агоніи? Въ природѣ, какъ въ таковой, взятой внѣ жизни органической, нѣтъ ни злого умысла, ни зла. Зло появляется на свѣтъ вмѣстѣ съ чувствующимъ организмомъ. Прекрасно говоритъ объ этомъ американскій соціологъ Лестеръ Уордъ въ своей „Чистой Соціологіи“, о которой я надѣюсь въ свое время поговорить подробно съ читателемъ: „для индивида боль есть зло, и возникновеніе боли въ мірѣ есть настоящее начало зла въ природѣ. Но такъ какъ боль есть необходимое предупрежденіе организма объ опасности, то, слѣдовательно, зло есть средство самосохраненія жизни, и все зло міра есть предупрежденіе“.

Мало того, что предупрежденіе—задача. Гдѣ есть боль—тамъ есть дисгармонія, и именно между нормальными потребностями организма и средою. Боль гонитъ къ возстановленію, къ завоеванію этой гармоніи. Конечно вопящій въ предсмертной агоніи звѣрь уже не сознаетъ боль какъ задачу, эта послѣдняя боль здѣсь бездушна. Беззлобная, но чужая среда побѣдила окончательно. Но каждый страшный вопль звѣря, всякаго умирающаго, терзаемаго организма—есть призывъ, завѣщаніе, стимулъ для сознательныхъ организмовъ остающихся жить.

Но ни одно животное, ни одинъ животный видъ не можетъ

сохранить въ сердцѣ своемъ все сокровище и весь ужасъ всей суммы воплей и стоновъ жизни и творить дѣло побѣды надъ зломъ, дѣло гармонизаціи жизни сознательно, изъ поколѣнія въ поколѣніе—ни одно существо не можетъ этого кромѣ человѣка, и притомъ человѣка соціальнаго. Звѣрь бросалъ по Андрееву также проклятіе людямъ и городу. Но что зналъ звѣрь о людяхъ, о городѣ? Только то, что съ родного, льдистаго сѣвера, отъ сполоховъ и вольныхъ морозовъ и темныхъ глубинъ многорыбнаго океана его оторвали и посадили въ „грязную лохань" среди раскаленныхъ, пыльныхъ, каменныхъ громадъ. Опытъ звѣря ограниченъ, и онъ могъ проклинать городъ и людей, не разбираючи лица.

Я думаю апостолъ Павелъ не разъ вслушивался въ крики животной боли, прежде чѣмъ онъ написалъ свои знаменитыя строфы: „Думаю, что нынѣшнія временныя страданія ничего не стоятъ въ сровненіи съ тою славою, которая откроется въ насъ. Ибо тварь съ надеждою ожидаетъ откровенія сыновъ божьихъ, потому что тварь покорилась суетѣ не добровольно, но по волѣ покорившаго ее, въ надеждѣ, что и сама тварь освобождена будетъ отъ рабства тлѣнію въ свободу славы дѣтей Божіихъ. Ибо знаемъ, что вся тварь совокупно стенаетъ и мучится донынѣ, и не только о н а, но и мы сами, имѣя начатокъ Духа, и мы въ себѣ стенаемъ, ожидая усыновленія искупленія тѣла нашего, ибо мы спасены въ надеждѣ". (Къ Римлянамъ, Гл. 8, ст. 18—24).

Отбросьте мистическій способъ выраженія и найдете то, что я хотѣлъ сказать. Но правъ ли Павелъ? Не измѣнили ли люди своему предназначенію, особенно люди городскіе? Андреевъ думаетъ, что измѣнили, пошли по ложному пути. Андреева возмутила нивеллировка человѣческая въ городѣ, потеря личности, а стало быть и мысли, идеала, воли, которые замѣняются де какимъ то глупымъ стаднымъ чувствомъ. Нашъ посѣтитель города совсѣмъ было потерялъ свою личность, сталъ дѣлать то, чего никогда не дѣлалъ, и даже чуть было не сказалъ вмѣсто: „дайте мнѣ билетъ",—„и вотъ этому дайте билетъ". Все это находитъ кульминаціонный пунктъ въ символѣ такого рода. Авторъ встрѣчаетъ обыкновеннаго городского господина, описываетъ его и продолжаетъ.

„На одну, на двѣ минуты я отвернулся, чтобы посмотрѣть въ окно—мы перелетали какую то безконечную, широкую, движущуюся улицу—и когда взглянулъ вновь, то съ мгновеннымъ испугомъ увидѣлъ: рядомъ съ нимъ сидѣлъ другой, точь въ точь такой же господинъ. Это не было сходство, допустимое даже въ лѣсу—это было тождество, это было безумное превращеніе одного въ двоихъ, чудовищная зеркальность, наводящая на мысль о призракѣ. И они сидѣли, до ужаса одинаковые, думали о чемъ то, конечно одинаковомъ, и руки ихъ у того и

другого лежали на палкахъ съ серебряными ручками. Боже мой, но вѣдь и у меня есть такая палка. И что было самое ужасное и непонятное: ни они сами, ни кто либо другой не замѣчали этого безшумнаго тождества, и всѣ были спокойны".

Подумайте. До чего это въ сущности поверхностно и фельетонно. И это-то только и увидалъ въ городѣ, въ современномъ городѣ его „убійственный критикъ"? А океана мысли, чувства, борьбы, надеждъ, съ его теченіями и бурями, онъ не увидѣлъ? Онъ даже не замѣтилъ хоть того, что есть въ каждомъ большомъ городѣ—два города—буржуазный и пролетарскій. Онъ ничего не замѣтилъ. На все посмотрѣлъ съ птичьяго дуазо... и осудилъ. Развитіе города, его внутреннихъ противорѣчій не узрѣлъ слѣпецъ, ибо къ новому, живому, завтрашнему глухъ Андреевъ. Ученикъ великаго Верхарна, даровитый Брюсовъ, поетъ городу:

Ты самъ скликаешь, непокорный,
На штурмъ своихъ дворцовъ—орду,
И шлешь вождей на митингъ черный:
Безумье, Гордость и Нужду.
И въ ночь, когда въ хрустальныхъ залахъ
Хохочетъ огненный развратъ,
И нѣжно пѣнится въ бокалахъ
Мгновеній сладострастныхъ ядъ,—
Ты гнешь рабовъ угрюмыхъ спины,
Чтобъ изступленно и легки
Ротаціонныя машины
Ковали острые клинки.
Коварный змѣй съ волшебнымъ взглядомъ.
Въ порывѣ ярости слѣпой
Ты ножъ съ своимъ смертельнымъ ядомъ
Самъ подымаешь надъ собой.

Я не скажу, чтобы все это совершенно меня удовлетворяло, но тутъ есть городъ въ его дѣйствительной жизни, въ его антитезахъ. „Черные митинги" это митинги Свѣта, кромѣ Безумья и больше Безумья на нихъ говоритъ теперь рѣчи соціалистическая Наука, кромѣ Нужды — Великая Надежда, кромѣ Гордости—Любовь. Учитель Брюсова видѣлъ и это. Тутъ исходъ. Тутъ жива надежда и святого Павла. Неужели Андреевъ могъ не замѣтить нужды и бунта?

Онъ то, который напишетъ своего страшнаго Царя-Голода? Замѣтилъ. Бунтъ впрочемъ отсутствуетъ у людей разбираемаго разсказа. Труду приходится учиться бунту у автора, ученика умирающаго моржа!

„Измученный трудомъ старикъ и его страшная собака, вся искалѣченная усиліями, отвѣчая на все то, что я говорилъ ему давно, отвѣчая еще на что-то, что я ему не говорилъ, произнесъ коротко и глухо:

— Всѣ мы должны работать.

И только и больше ничего. Но было что-то въ голосѣ этого стараго раба, отъ чего вдругъ захотѣлось безумствовать, кричать, побѣжать къ тому несчастному умирающему звѣрю, разбудить его дикими словами:

— Послушай, старикъ! Выходи сюда. Я буду рядомъ съ тобой. Мы будемъ проклинать вмѣстѣ. Кричи, громче кричи. Пусть услышитъ тебя городъ, и земля и небо! Громче кричи, старикъ. Тебѣ недолго осталось жить. Кричи объ опасности, кричи объ ужасѣ этой жизни, кричи о смерти! И проклинай, проклинай— и къ твоему проклятію звѣря я присоединю мое послѣднее проклятіе человѣка. Городъ, городъ!"

Вотъ и все! Потомъ Андреевъ поклонился старику, какъ королю, а собакѣ, какъ королевѣ, хотя они—рабы.

И въ „Царѣ-Голодѣ" мы будемъ видѣть только рабовъ, хотя не покорныхъ, а стихійно подъ бичемъ голода—бунтующихъ.

А гдѣ же творческая борьба? Планомѣрная, строющая? Такъ какъ она борьба видовая, вѣковая, коллективная, то ее нужно не видѣть или замолчать. То въ чемъ гордость человѣка — не существуетъ для Андреева, и онъ посылаетъ его учиться у звѣря жалкому и безплодному проклятію!

V. ТЬМА, ИЛИ О МЕТАФИЗИЧЕСКОМЪ БУНТѢ И ЛУКАВОМЪ ФАБРИКАНТѢ.

Разсказъ Андреева „Тьма" извѣстенъ, я думаю, всей читающей русской публикѣ. Ему повезло, онъ надѣлалъ много шуму, хотя вся критика единодушнымъ хоромъ поетъ, что разсказъ надуманъ, натянутъ и вообще литературно скорѣе слабъ.

Андреевъ снова, какъ и въ Саввѣ, подошелъ къ проблемѣ революціи. Она постоянно его тревожитъ. Въ „Царь-Голодѣ" онъ вплотную ею займется.

Въ „Тьмѣ" трепещетъ злая сатира на революціонера. И мы нисколько не въ претензіи за это. Ничего не должно быть священнаго для художника-аналитика. Бей и по революціонеру!

Въ „Саввѣ" Андреевъ взялъ революціонера въ его непримиримомъ раціонализмѣ, и удачно показалъ неизбѣжное пораженіе его въ столкновеніи съ жизнью. Я въ свое время (въ „Образованіи," статья эта будетъ перепечатана въ III сборникѣ) указывалъ на то, что Андреевская критика въ данномъ случаѣ невольно и случайно совпадаетъ съ марксистской. То же пониманіе революціи, какъ огромнаго соціальнаго переворота, въ конечномъ счетѣ съ необходимостью вызваннаго самимъ процессомъ роста силъ общества, то пониманіе ея, которымъ богата соціалъ-демократія—остается внѣ и выше критики Андреева.

Въ „Тьмѣ" Андреевъ бьетъ революціонера за его этическое самодовольство. Его революціонеръ подвижникъ, сознающій свою

чистоту и святость, и счастливый. Это довольно непріятный, но возможный типъ. Правда, въ почти фарисейскомъ сознаніи своей святости герой Андреева доходитъ до того, что въ порывѣ гнѣва кричитъ бѣдной проституткѣ: „Молчи, дрянь! Пьяная! Съ ума сошла! Ты думаешь мнѣ нужно твое поганое тѣло? Ты думаешь для такой я себя берегъ, какъ ты. Дрянь, бить тебя надо!"—и размахнулся рукой.

Это грубое преувеличеніе. До этого ни одинъ революціонеръ, будь онъ даже совершенный болванъ, никогда не дойдетъ. Но... простится, пожалуй, Андрееву и это. Потому что, какъ ни груба, какъ ни ненатуральна слѣдующая за этимъ сцена, цѣль ея можетъ быть оправдана.

„Ты что?—спросилъ онъ, не отступая, все еще яростный, но уже поддающійся вліянію спокойнаго, надменнаго взгляда.

„И строго, съ зловѣщей убѣдительностью, за которой чувствовались милліоны раздавленныхъ жизней, и море горькихъ слезъ, и огненный непрерывный бунтъ возмущенной справедливости—она спросила:

„Какое же ты имѣешь право быть хорошимъ, когда я — плохая?"

Почему же не бросить патентованно „хорошему", будь онъ распретеррористъ, этого вопроса?

Но допустите, что онъ былъ философски заданъ настоящему человѣку, а не такому болвану и психопату, какого изобразилъ Андреевъ. Чтобы онъ отвѣтилъ? Онъ сказалъ-бы: „Я такъ же мало имѣю права быть хорошимъ, какъ ты плохой, такъ же мало правъ быть блондиномъ, какъ ты—брюнеткой! Какія тутъ права! Меня жизнь сдѣлала борцомъ, сознательнымъ реформаторомъ скверной жизни во имя ваше, несчастныя сестры, а тебя она сломала и бросила въ грязь. Это несправедливо. Но я за то и борюсь, чтобы прекратилась подобная несправедливость. Но на что я не имѣю права, это на то, чтобы хвастать и гордиться моимъ жребіемъ, и бросать упреки тебѣ. Если бы я это сдѣлалъ, то въ ту же минуту пересталъ бы быть хорошимъ, и сталъ бы негодяемъ, уже дѣйствительнымъ, настоящимъ,—а не жертвой, какъ ты!"

Не такъ отнесся Андреевскій болванъ и фарисей хотя и террористъ. Все это натянуто, повторяю, но да простится.

Если допустить, что среди революціонеровъ есть „хорошіе", величающіеся своимъ героизмомъ, то почему же ихъ не унизить передъ проституткой, вмѣстѣ со всякой самодовольной чистотой? Но дальше талантъ Андреева начинаетъ такъ лгать, такъ завираться, что страннымъ становится, какъ бумага не краснѣетъ.

Теперь начинается, какъ знаетъ читатель, возвеличиваніе нашего болвана-революціонера. Онъ проникается истиной, вложенной въ сердце проститутки, гораздо глубже ея самой. Она

то оказалась очень непрочна въ своемъ убѣжденіи и стала даже мечтать о лучшей жизни, о борьбѣ, о близости съ „хорошими". Онъ же непреклонно и неумолимо развилъ ея тэзисъ—„нельзя быть хорошимъ". Развилъ до абсурда, который Леонидъ Андреевъ видимо считаетъ, такъ сказать „достоевской мудростью", и которую, пожалуй, отъ большого ума привѣтствовали бы, напримѣръ, недавно скончавшіеся, какъ утверждаютъ „Вѣсы", — анархисты-мистики.

Перечтите строки, гдѣ помпезно возвѣщается религія новаго бунта.

„Вотъ—онъ потрясъ руками—я держу въ рукахъ мою жизнь. Видите?

— Видимъ! Дальше!

— Она была прекрасна, моя жизнь. Она была чиста и прелестна, моя жизнь. Она была, знаете, какъ тѣ красивыя вазы изъ фарфора. И вотъ глядите, я бросаю ее!—онъ опустилъ руки почти со стономъ, и всѣ глаза обратились на землю, какъ будто тамъ, дѣйствительно, лежало что то хрупкое и нѣжное, разбитое на куски—прекрасная человѣческая жизнь.

— Топчите же ее, дѣвки! Топчите, чтобъ кусочка не осталось!—топнулъ онъ ногой".

Подумайте! Ну и въ чемъ же этотъ изначальный бунтъ будетъ проявляться? Есть у новообращеннаго болвана-революціонера и программа:

„Вдругъ онъ стукнулъ кулакомъ по столу:

— Любка! Пей!

И когда она, свѣтлая и улыбающаяся, покорно налила рюмки, онъ поднялъ свою и произнесъ:

— За нашу братію!

— Ты за тѣхъ?—шепнула Люба.

— Нѣтъ, за этихъ. За нашу братію! За подлецовъ, за мерзавцевъ, за трусовъ, за раздавленныхъ жизнью. За тѣхъ кто умираетъ отъ сифилиса.!.

Дѣвицы разсмѣялись, но толстая лѣниво попрекнула:

— Ну это, голубчикъ, уже слишкомъ.

— Молчи!—сказала Люба, блѣднѣя:—онъ мой суженый!

...За всѣхъ слѣпыхъ отъ рожденія. Зрячіе! выколемъ себѣ глаза, ибо стыдно, — онъ стукнулъ кулакомъ по столу — ибо стыдно зрячимъ смотрѣть на слѣпыхъ отъ рожденія. Если нашими фонариками не можемъ освѣтить всю тьму, такъ погасимъ же огни и всѣ полѣземъ въ тьму. Если нѣтъ рая для всѣхъ, то и для меня его не надо—это уже не рай, дѣвицы, а, просто-на-просто, свинство. Выпьемъ за то, дѣвицы, чтобъ всѣ огни погасли. Пей, темнота!"

Итакъ, да здравствуетъ дѣдовскій бунтъ противъ „иллюзій" революціи нашихъ дней, а кстати еще дьяволъ противъ Христа!

По странному недоразумѣнію архимандритъ Михаилъ въ од-

номъ интервью (въ „Руси“) восхитился „Тьмою“ и нашелъ, что въ ней нашло выраженіе то истинно-христіанское настроеніе, которое онъ, Михаилъ, считаетъ религіей недалекаго будущаго. Кто правъ? авторъ или духовный критикъ его? Андреевъ говоритъ—это не Христосъ, а дьяволъ! Михаилъ говоритъ—это не дьяволъ, а самый подлинный Христосъ. Какъ же понимаетъ программу нашего оборвавшагося террориста почтенный архимандритъ? Онъ говоритъ, что истинный христіанинъ долженъ чувствовать что „всѣ виноваты“, долженъ стыдиться и болѣть за всѣхъ грѣшныхъ и убогихъ земли.

Не понимаю зачѣмъ стыдиться и болѣть, когда на самомъ дѣлѣ никакой вины своей разумно не чувствуешь. Достаточно принимать жизнь, какъ задачу и участвовать всѣми силами въ ея просвѣтленіи. Но во всякомъ случаѣ программа архимандрита Михаила, какъ она ни отрицательна на мой взглядъ, какъ ни много въ ней психологіи кающагося дворянина и полузабытой Миртовщины, она все же отнюдь не дьявольская программа нашего террориста, который самому Христу для законченнаго его совершенства ставитъ такія требованія: грѣшить съ грѣшниками, прелюбодѣйствовать и пьянствовать.

На мой взглядъ „страшная правда“ Андреева съ точки зрѣнія теоретической этики не стоитъ выѣденнаго яйца, а съ практической точки зрѣнія есть одѣтая въ лумпенпролетарское тряпье консервативно-мѣщанская реакція на революцію.

Чтобы освѣтить вполнѣ практическую цѣнность Андреевской проповѣди „прадѣдовскаго бунта“, я со своей стороны разскажу объ одномъ новообращенномъ. Реальномъ или вымышленномъ, спросите вы? Не менѣе реальномъ, чѣмъ Андреевскій, отвѣчу я.

Надняхъ я встрѣтилъ тутъ, заграницей, одного моего случайнаго знакомаго, фабриканта европейской марки, но на русской полной оригинальной прелести опарѣ.

„Дорогой мой!“—разлетелся онъ ко мнѣ съ широкой улыбкой на своемъ бритомъ, актерскомъ лицѣ. Я холодно приподнялъ шляпу.

„Что“—нагло ухмыляясь, продолжалъ г. Паучковъ:—„Какъ будто не рады встрѣчѣ съ соотечественникомъ? Понимаю, понимаю. Но не откажетесь, зайти со мной вотъ въ то кафе, ради новостей? Вѣдь нѣтъ? Я привезъ съ собой нѣчто чудовищно свѣжее! Stimmung des nebermorgens! Ей-богу. Я самъ, такъ сказать, адептъ новой религіи. Честное слово. Нѣчто нелѣпое въ своемъ великолѣпіи. Дьявольское, дьявольское. Не посѣтуйте—зайдемте“.

Нехотя пошелъ съ ннмъ.

— Человѣкъ, бутылку Asticpumanti. Такъ вотъ. Прямо къ дѣлу. Во мнѣ вы видите подвижника, практическаго носителя

истины. Я бунтарь, бунтовщикъ. Да-съ! Но такой, что вашъ линючій нѣмецко-жидовскій бунтишка у меня гдѣ-то тамъ, у пятокъ остался. Въ чемъ мой бунтъ? А въ томъ мой бунтъ... Пейте, пейте, винцо хорошее... въ томъ мой бунтъ, дорогой мой, что я бичъ замѣнилъ скорпіонами, на фабрикѣ у себя завелъ порядки неописуемые, возмутительные, звѣриные. Тяну изъ братцевъ-пролетаріевъ послѣднюю кровь. Управляющаго нашелъ—Малюту! Бирона! Нѣмецъ, понимаете, травленый латышами. Верзила, ходитъ въ кольчугѣ, дерется, матерно ругается, бабъ насилуетъ, штрафы повысилъ. Воютъ дѣти мои. А я самъ вотъ заграницей. Трачу много. Главнымъ образомъ на бабъ. Ужасно вошелъ во вкусъ. Завелъ библіотеку книгъ новѣйшихъ, и читаемъ вслухъ въ компаніи четырехъ-пяти красавицъ писаныхъ, прожженныхъ душекъ, а потомъ на практикѣ...

— Постойте. Это вы „чѣмъ хуже, тѣмъ лучше" что-ли? Думаете довести этимъ до взрыва?

— И-и-и! Старо, батенька! Ежели взрывъ — сейчасъ же въ команду: пулю въ лобъ, штыки въ сердце! Расправу такую учинимъ, что притихнутъ голубчики, малые братья мои. Нѣтъ-съ, бунтъ мой сатанинскій, направленъ онъ противъ природы и Бога-съ! Исхожу изъ положенія пророка Леонида: нельзя смѣть быть хорошимъ! И рѣшилъ я бросить въ лицо Богу: хочу быть плохимъ, самымъ худшимъ, наигрязнѣйшимъ! Не хочу несправедливой привиллегіи хорошества. На зло буду извергомъ—на тебѣ, ѣшь! Вотъ куда пошла, батенька, вотъ какое углубленіе! Вызываю въ контору одного эсъ-дека, моего рабочаго: „Ивановъ, говорю ему: стыдись! Хочешь быть сознательнымъ рабочимъ? считаешь просвѣщеннаго пролетарія за соль міра? а? Стыдись, жалкій человѣкъ. Возносишься надъ ближними твоими, превозможешь ли трясину грѣха, въ которой весь родъ людской увязъ? Неблагородно говорю ему поведеніе твое, Ивановъ, солидарности въ тебѣ ни на грошъ нѣтъ. Гаси огонь, погрузись во тьму! грѣши! Протестуй не противъ меня или губернатора: мы сами оружіе въ рукахъ „нѣкоего въ сѣромъ", а ты ему въ бороду наплюй! Вспомни, говорю, Ивановъ, всѣхъ гаденькихъ, пьяненькихъ, наушниковъ бѣдныхъ, подлипалъ несчастныхъ, всѣхъ Держимордъ, образъ человѣческій потерявшихъ, управляющихъ, мастеровъ, и насъ грѣшныхъ, окаянныхъ, кровопійцъ, вспомни, заплачь и приди къ намъ—братьямъ, къ намъ въ хлѣвъ, въ дерьмо!"—Не понялъ, Ха-ха-ха! Пришлось его отправить къ ротмистру. Что? обалдѣли?

Полупьяный Паучковъ всталъ и, протянувъ руку, торжественно сказалъ: „Во имя великаго изначальнаго бунта и Леонида, пророка его, вы всѣ—полиція, бюрократія, отдѣльный корпусъ, охрана, промышленники и торговцы, а равно воры, проститутки, убійцы, всѣ, всѣ подлые люди—оставайтесь на своихъ мѣстахъ: грѣшите, прелюбодѣйствуйте и пьянствуйте по старому!" Онъ

сѣлъ и хитро улыбнулся: „Пророкъ Леонидъ не додумалъ. Говоритъ:—иди на площадь, будь грязный, падшій и пр. Хитришь! Опять у Христа заимствуешь. Посудите: вдругъ бы я роздалъ имѣніе свое и пошелъ въ сутенеры! Всякій догадался бы, пришелъ бы ко мнѣ настоящій сутенеръ и сказалъ бы мнѣ: Паучковъ, ты хитришь, ты для красоты духовной сутенерствомъ занимаешься, ты спасаешься. Ты въ душѣ думаешь: какой я хорошій Ты надъ бѣдными непросвѣщенными максималистами фарисейски величаешься, въ сердцѣ своемъ говоришь: благодарю судьбу, что я не таковъ, какъ сей максималистъ, воображающій себя чистымъ, но униженъ и оскорбленъ и могу въ сердцѣ своемъ носить гордость подвижника! Но, сказалъ бы мой сутенеръ мнѣ, но, Паучковъ, сіе смиреніе есть паче гордости! И былъ бы правъ. Нѣтъ надо быть настоящей, подлинной свиньей. Тутъ доходимъ до глубинъ глубиннаго бунта".

Комментаріи излишни.

Въ томъ и бѣда Андреева, что онъ не ограничиваясь простымъ отрицаніемъ—возводитъ его въ квадратъ и кубъ и превращаетъ... въ пошлость.

Но здоровый читатель съумѣетъ вынести изъ Андреева хорошій урокъ. Онъ приметъ то, что положительно въ его критикѣ, и отвергнетъ напыщенное мудрствованіе зафилософствовавшагося мѣщанина.

Критика должна помогать въ этомъ. Хорошо-бы, если бы она могла помочь самому Андрееву держать въ уздѣ свою критику, не позволять ей переходить въ сверхкритику, гдѣ она становится подчасъ такъ... неумна.

VI. P. S. О ЦАРѢ-ГОЛОДѢ.

Только что мнѣ удалось прочесть Царь-Голодъ. Быть можетъ я буду болѣе подробно говорить объ этомъ произведеніи. Пока скажу лишь, что проблема революціи поставлена Андреевымъ по дѣтски. На бунтъ голодныхъ толкаетъ стихійный властелинъ-Голодъ. Богатые, опираясь на военныя машины, уничтожаютъ толпы бунтовщиковъ и торжествуютъ. Къ этому прибавлена платоническая угроза, что „мертвые встанутъ".

Пьеса написана грубо. Но это скорѣе хорошо. Въ ней много недостатковъ, есть и достоинства, но ни на тѣхъ, ни на другихъ я останавливаться не буду, кромѣ одного, главнаго—безконечно упрощеннаго, мрачнаго, почти клеветническаго изображенія рабочаго класса.

На фонѣ массы, забитой, голодной, задавленной машинами, ненавидящей ихъ и поклоняющейся имъ, выступаютъ такіе три яко-бы типичные представители рабочаго класса:

„Первый Рабочій, могучей фигурой своей и выраженіемъ крайней усталости, походитъ на Геркулеса Фарнезскаго. Ширина обнаженныхъ плечъ, груда мускуловъ, собравшихся на рукахъ и на груди, говорятъ о необыкновенной, чрезмѣрной силѣ, которая уже давитъ и отягощаетъ обладателя ея. И на огромномъ туловищѣ — небольшая, слабо развитая голова съ низкимъ лбомъ и покорными глазами; и въ томъ, какъ наклонена она впередъ, чувствуется какая-то тяжелая и мучительная бычачья тупость. Обѣ руки рабочаго устало лежатъ на рукояткѣ огромнаго молота. Второй Рабочій—молодой, но уже истощенный, уже больной, уже кашляющій. Онъ смѣлъ — и робокъ; гордъ и скроменъ до красноты, до заиканія. Начнетъ говорить, увлекаясь, фантазируя, грезя, — и вдругъ смутится, улыбнется виноватой улыбкой. На землѣ онъ держится легко, какъ будто за спиною у него есть крылья; и, кашляя кровью, улыбается и смотритъ на небо.

Третій Рабочій — сухой, безцвѣтный старикъ, будто долго, всю жизнь, его мочили въ кислотахъ, съѣдающихъ краски. Также безцвѣтенъ и голосъ его: а когда онъ говоритъ, кажется, будто говорятъ милліоны „безцвѣтныхъ существъ“...

Вотъ вамъ три основные типа современнаго пролетарія! Правдиво? Между бунтомъ рабочихъ и бунтомъ хулигановъ Андреевъ усмотрѣлъ одну разницу: хулиганы нѣсколько сознательнѣе.

Голодный бунтъ вродѣ описаннаго Гауптманомъ въ „Ткачахъ“—вотъ предѣлъ мудрости Андреева. Повторяю: въ драмѣ есть недюжинныя достоинства рядомъ съ множествомъ слабостей (напр. совершенно опереточная смерть, хотя авторъ хотѣлъ, чтобы она была ужасна и т. п.). Но какъ общій замыселъ она убога: голодный расшибаетъ лобъ о пушку богатаго. Вотъ и все. Интересно задуманная фигура протагониста не спасаетъ. Съ такой убогой концепціей не подходятъ къ революціи. Это революція, отраженная въ головѣ мѣщанина, пусть художника, но безнадежнаго мѣщанина.

Андреевъ и въ этой драмѣ довольно силенъ въ критикѣ буржуазіи (хотя лучшая сцена—судъ, есть символическая обработка Толстовскихъ тезисовъ „Воскресенія“), но и тутъ, какъ и всюду онъ хотѣлъ „роковою рукою“ вскрыть трагизмъ безысходный, отчаянный трагизмъ положительнаго — революціи, и далъ изображеніе и толкованіе революціи, надъ которымъ поднялся теперь любой гимназистъ.

Пара замѣчаній еще. Хулиганы у Андреева дѣлаютъ дѣло вмѣстѣ съ рабочими, сопровождая революцію — разбоемъ. Это безсознательная ложь. Хулиганы или разстрѣливали рабочихъ въ качествѣ гардъ-мобилей, или громили подъ знаменемъ монархіи и религіи, какъ наши черносотенцы. Тамъ, гдѣ революція торжествовала, хулиганы трепетали. Во время господства Ком-

муны въ Парижѣ — преступленій почти не было. Затѣмъ: революціонный народъ у Андреева сжигаетъ Національную Галлерею. Этого никогда не было и не будетъ. Революціонеры, пролетаріи всегда охраняли музеи. Эти мелочи дополняютъ картину безпомощности Андреева передъ лицомъ революціи.

Именно упрощеніе и опошленіе дѣйствительной трагичности ея, именно подмѣна ея голоднымъ бунтомъ—губятъ символическое значеніе послѣдняго произведенія Андреева.

Мысль Андреева всегда будетъ слаба въ своихъ титаническихъ потугахъ, ибо онъ мѣщанинъ. Онъ дошелъ до нигилизма, до всеотрицанія. Боже мой, пустое и всеобщее отрицаніе есть только утвержденіе, ибо во тьмѣ, въ которую Андреевъ хочетъ погрузить міръ, всѣ кошки становятся сѣры. Чтобы тьма была тьмой надо противопоставить ей свѣтъ. Андреевъ боится его. Другіе ищутъ его, и не могутъ найти. Видали даже, но душа ихъ мѣщанская не пріемлетъ его, заставляетъ ихъ искажать его, превращать для себя въ полусвѣтъ.

Свѣтъ же истинный есть идеологія рабочаго класса, это свѣтъ истинный—и тьма не объемлетъ его!

А. Луначарскій.

Л. Войтоловскій.

Итоги русскаго модернизма.

I.

На декадентской улицѣ праздникъ.

Какъ извѣстно, русская интеллигенція и русская критика до послѣдняго времени не особенно жаловали сторонниковъ ультра-новѣйшаго искусства. Въ ихъ столкновеніяхъ на страницахъ толстыхъ журналовъ всегда звучала открытая враждебность. И нельзя сказать, чтобы отчужденіе исходило со стороны декадентовъ.

И вотъ, совсѣмъ неожиданно декадентское искусство бурнымъ потокомъ влилось въ современную литературу и стало фактомъ общественнымъ. О немъ заговорили, заспорили. Оно завладѣло вниманіемъ публики. Завладѣло рынкомъ и типографскимъ станкомъ. И, что дѣйствительно важно, оно начинаетъ оказывать вліяніе на развитіе литературнаго вкуса.

Гордые этимъ шумнымъ романомъ, такъ неожиданно завязавшимся между ними и русской интеллигенціей, и справедливо опасаясь за его долголѣтіе, представители новаго искусства принялись съ азартомъ насвистывать отходную всей „направленской" литературѣ и доказывать всю важность и неизбѣжность своего собственнаго появленія для процвѣтанія русскаго искусства.

„Исторія новаго искусства есть прежде всего исторія его освобожденія... Нынѣ искусство, наконецъ, свободно" *)—осіянно провозгласили эстеты и съ этимъ лозунгомъ ринулись въ большую печать.

Собственно проповѣдь „литературнаго освобожденія", такъ пышно развернувшаяся какъ разъ на ущербѣ политической жизни, уже тянется давно, но въ узкихъ предѣлахъ спеціально художественныхъ кружковъ. Но лишь теперь — она вынесена на страницы широкой прессы.

Въ чемъ-же сущность и смыслъ достигнутаго „новымъ искусствомъ" освобожденія?

Пришло, наконецъ, время,—въ сотый разъ повторяютъ декаденты, — освободить русскую литературу и смыть съ нея поли-

*) „Вѣсы", 1904 г.

тическій гримъ, въ который она рядилась по горькой необходимости. До сихъ поръ Струве, и Хвостъ, и Пройда, и вмѣстѣ съ ними и вся тосковавшая по политикѣ интеллигенція наша вынуждены были въ концѣ концовъ выливать свои аграрныя, соціальныя, политическія и прочія мнѣнія въ формѣ романовъ, сонетовъ, поэмъ и балладъ. Такими переодѣтыми Пройдами кишмя-кишѣла вся русская печать — отъ тощей газетки до самаго толстаго журнала. И это было понятно, потому что книжка журнала замѣняла россійскому читателю парламентъ, въ которомъ загримированный Пройда честно притворялся поэтомъ, критикомъ, беллетристомъ.

Современное же художественное творчество вступило въ полосу автономнаго бытія. Оно смываетъ съ себя слѣды политическаго грима, и усадивъ своего Пройду на скамью депутатовъ, категорически отмежевывается и отъ него, и отъ вторженія впредь въ свои эстетическіе предѣлы какой бы то ни было тенденціи.

— Не надо политики и передовицы, — молитъ оно за себя и за русскаго читателя. Не надо статей о муниципализаціи, если журналы дѣйствительно хотятъ, чтобы ихъ снова призналъ и полюбилъ русскій читатель.

И съ легкой руки литературныхъ ушкуйниковъ этотъ эстетическій перезвонъ сталъ повторяться на разные лады во всей прогрессивной печати.

Каждая крупная газета, каждый журналъ обзавелись, такъ сказать, своимъ собственнымъ декадентомъ. И въ то время, какъ одна часть журнальной книжки продолжаетъ упрямиться,— продолжаетъ считать себя парламентомъ—и по-прежнему заполняетъ свои отдѣлы статьями, норовящими даже изъ поэтической вещи сдѣлать передовицу на тему: „долой Столыпина“, бокъ-о-бокъ съ твердыней „направленства“, подъ той же обложкой

Въ предчувствіи весенъ, въ дрожаніяхъ струнъ
Не вѣшнихъ, не здѣшнихъ, не здѣшнихъ, не вѣшнихъ—

вьются „цвѣтныя перевязи“ и „бѣловѣйныя виры“ декадентскихъ шамановъ.

Правда, ступивъ на новую почву, господа модернисты прежде всего поторопились приступить къ реставраціи политическаго облика своей группы въ глазахъ незлопамятныхъ читателей.

„Среди обвиненій, направленныхъ противъ служителей новаго искусства,—заявляетъ одинъ изъ горячихъ приверженцевъ послѣдняго — Г. И. Чулковъ, — имѣло мѣсто тяжелое обвиненіе въ настроеніи анти-общественномъ и даже въ реакціонности“. Къ сожалѣнію, сами декаденты давали иногда къ этому поводъ. Такъ, напр., „Міръ Искусствъ“, культурное значеніе котораго огромно, имѣлъ неосторожность напечатать тѣ страницы въ статьяхъ г. Мережковскаго о Толстомъ и Достоевскомъ, гдѣ

этотъ богословствующій декадентъ защищаетъ идею самодержавія, отъ котораго онъ теперь уже отрекается“ *).

Итакъ, нѣтъ дыма безъ огня, и упреки по адресу декадентовъ имѣли въ свое время основаніе, смиренно признается Г. Чулковъ. Но теперь ужъ всему конецъ, завѣряетъ онъ свою новую аудиторію. Отсырѣвшая было и покрывшаяся реакціонною плѣсенью репутація „новаго искусства“ перекрашена заново и жрецы его, заканчиваетъ онъ обычной декадентской руладой, „пользуются успѣхомъ у читающей публики, и такіе журналы, какъ „Образованіе“, Міръ Божій“, „Журналъ для всѣхъ“ и друг., спѣшатъ помѣщать произведенія недавно еще гонимыхъ поэтовъ“.

Но дѣло не въ томъ, разумѣется, существуетъ ли новое искусство съ благословенія того, а не иного журнала. Сущность искусства мало зависитъ отъ того, какими путями добиваются своихъ геростратовыхъ лавровъ искатели новыхъ теософическихъ культовъ. И станетъ-ли г. Мережковскій причислять себя къ консерваторамъ или либераламъ, а г. Ник. Бердяевъ—къ мистическимъ анархистамъ или къ огнепоклонникамъ, лозунги декадентскаго искусства остаются все тѣ-же:

— Не надо политики! Искусству нѣтъ никакого дѣла до философскаго, соціальнаго или политическаго содержанія картины, пѣсни, разсказа. Передъ нимъ на первомъ планѣ стоятъ его чисто техническія задачи. Все прочее—не болѣе, какъ негодная примѣсь, литературная лигатура, уменьшающая достоинства чистаго искусства. Не политика и не идея рождаетъ красоту, а гармоническое сочетаніе звуковъ, красокъ и ритма. Искусство должно быть безыдейнымъ.

Таковъ всеобщій голосъ защитниковъ новаго искусства.

И его ежедневныя побѣды—въ смыслѣ количественнаго роста и территоріальныхъ завоеваній въ рядахъ идейной печати—внушаютъ многимъ довольно унылое раздумье. Скорбитъ г. Маловѣръ въ „Товарищѣ“, кисло утѣшаетъ „уставшую“ интеллигенцію, „стремящуюся“ уйти куда-то въ сторону, чтобы отдохнуть отъ жизни, отъ политики“, г. В. Ч. въ „Извѣстіяхъ“. И это весьма симптоматично. Разница вѣдь лишь въ настроеніяхъ—не больше. То, что заставляетъ играть весельемъ и бодростью бойкое перо г. Чуковскаго, покрываетъ грустью лица его противниковъ. Но припѣвъ неизмѣнно тотъ же: тощія тетрадки господъ эстетовъ пожираютъ толстыя журнальныя книжки.

II.

Въ чемъ-же соціологическій смыслъ происходящаго теперь литературнаго перелома? Въ какомъ направленіи совершается

---

*) „Товарищъ“, 1907 г., № 337.

развитіе новѣйшихъ теченій? Существуетъ-ли живая преемственная связь между нами и литературными традиціями прошлаго? Какъ понимаетъ новѣйшее искусство свои техническія задачи и какими путями осуществляетъ послѣднія?

Иными словами, образуютъ-ли наши модернисты въ дѣйствительности новую литературную школу съ извѣстной преемственностью въ прошломъ и съ запасомъ творческихъ элементовъ, обезпечивающихъ ей закономѣрное развитіе въ будущемъ?

За рѣшеніемъ этого вопроса всего-бы естественнѣе, конечно, обратиться къ содѣйствію теоретиковъ „новаго искусства". Но на этомъ пути насъ ожидаетъ очень много полемическихъ перловъ, которыми обмѣниваются представители различныхъ декадентскихъ теченій, и очень мало удачи. „Вѣсы", „Перевалъ" и „Золотое Руно"—три враждующихъ декадентскихъ палладіума—много толкуютъ о кризисѣ индивидуализма, объ идеѣ соборности, о мистическомъ анархизмѣ. Но въ чемъ источники разногласія, чѣмъ отличается одно теченіе отъ другого, гдѣ кончается соборный индивидуализмъ, и гдѣ начинается мистическій анархизмъ, отъ котораго такъ злобно открещиваются его декадентскіе собратья—понять рѣшительно невозможно. По свидѣтельству компетентнаго въ этихъ вопросахъ автора—г. Философова, исправно сотрудничающаго во всѣхъ трехъ декадентскихъ журналахъ,—эти журналы отличаются, и очень рѣзко, только шрифтомъ, обложкой и форматомъ; и чтобъ не перепутать всѣхъ трехъ теченій, нужно неуклонно читать всѣ декадентскія журналы и неусыпно слѣдить, кто кого ругаетъ и кто кого хвалитъ. Для противниковъ „чистаго" искусства задача довольно щекотливая.

„Я присутствовалъ, можно сказать, при самомъ зарожденіи мистическаго анархизма,—вскрываетъ г. Философовъ на страницахъ „Товарища" домашнюю подоплеку декадентскихъ расколовъ, и отлично знаю, что именно Вячеславъ Ивановъ и Блокъ были совершенно солидарны съ г. Чулковымъ... Вячеславъ Ивановъ написалъ даже предисловіе къ брошюрѣ г-на Чулкова (совсѣмъ какъ у Струве съ Ник. Бердяевымъ. Л, В.). И пока мистическій анархизмъ оставался экзотическимъ цвѣткомъ, выросшимъ въ парникахъ декадентской кружковщины,—ни Вяч. Ивановъ, ни Алексадръ Блокъ отъ него не открещивались, а самодовольно радовались своей выдумкѣ. Но когда критика начала свой походъ противъ этой новинки, Вяч. Ивановъ и Блокъ сейчасъ-же отъ своего излюбленнаго дѣтища отказались, предоставивъ Г. И. Чулкова всецѣло на съѣденіе обозлившихся сотоварищей" *).

Еще болѣе откровенную и рѣшительную отповѣдь даетъ всей модернистской литературѣ pontifex maximus русскаго декаданса—г. Антонъ Крайній.

---

*) „Товарищъ" 1907 г., № 379.

„Декадентство новѣйшаго періода смялось, оборвалось, распалось, — горько сѣтуетъ онъ на страницахъ „Вѣсовъ“,—и... начался „декадансъ декаданса“. Пустое мѣсто заполнилось: образовалась лже-среда. Появилась „культурность“, и „искусство“, и „метафизика“,—и они страшнѣе прежней пустоты, ибо прежде мы имѣли „а-культурность“, а-искусство“—а теперь—анти-искусство и анти-культурность... Посмотрите наши „художественные“ и „литературные“ журналы, вглядитесь въ „культурную“ и „литературную“ жизнь нашихъ центровъ за послѣдніе годы. Вы увидите, что „декадансъ декаданса“ расползся гораздо шире сейчасъ, нежели просто „декадансъ“ за все время своего существованія... Эта „среда“—сравнительное ничтожество. Но зато почти всѣ писатели и художники, все работающее въ данный моментъ въ области искусства и литературы, отъ бездарнаго до талантливаго, такъ или иначе соприкасаются именно съ этой ложной средой, барахтается въ этой лужѣ... А на днѣ этой лужи происходитъ страшная, отвратительная и смѣшная пляска: тамъ вѣнчаются, сочетаются, смѣшиваются уже не „жидъ съ лягушкою“, это-бы ничего, а невинное слово съ безобразнымъ дѣломъ, святыя имена съ рыбьими костями, богоборчество съ кощунствомъ, миѳологія съ развратишкомъ, творчество съ плагіатомъ, возрожденіе съ варварствомъ, философія съ физіологіей, экстазъ съ разсчетомъ, искусство—съ проституціей“... *).

Наконецъ, не менѣе ѣдко высказывается объ отдѣльныхъ теченіяхъ въ декадансѣ одинъ изъ наиболѣе искреннихъ и даровитыхъ его вождей—г. Андрей Бѣлый. Особенно достается Г. И. Чулкову. Съ совершенно несвойственной ему декадентской стремительностью авторъ обрушивается на этого бѣднаго модернистскаго Макара и перебираетъ по адресу послѣдняго на протяженіи двухъ-трехъ страницъ всѣ позорныя и бранныя прозвища, накопленныя опытомъ цѣлаго столѣтія, вплоть до „провокатора символизма“.

Одинъ лишь главный виновникъ этой принципіальной полемики благодушно взираетъ на судьбы русскаго декаданса, полагая, что вся эта склока только свидѣтельствуетъ въ пользу здоровой, хотя и нѣсколько бурной дифференціаціи въ рядахъ провозвѣстниковъ новыхъ эстетическихъ цѣнностей. Впрочемъ, въ значеніи этой „бурной дифференціаціи“ „внутри школы“ допускаетъ возможность иныхъ рѣшеній и самъ Г. И. Чулковъ. Но объ этомъ ниже, когда рѣчь зайдетъ о причинахъ этой пестрой разноголосицы, драпирующейся въ пышныя прозвища „принципіальныхъ расколовъ“.

---

*) „Вѣсы“, 1907 г., V.

III.

Итакъ, изученіе русскаго модернизма со стороны его общаго—чисто философскаго содержанія надо признать совершенно безнадежной попыткой. И станемъ-ли мы всѣхъ ихъ валить въ одинъ мѣшокъ мистическаго анархизма, какъ это дѣлаетъ г. Философовъ, или допустимъ, вмѣстѣ съ г. А. Горнфельдомъ, что г. Вячеславъ Ивановъ предлагаетъ нѣкоторый новый „синтезъ личнаго начала и общественности", изъ котораго дѣлаются выводы въ области эстетики, принимаемые въ литературномъ кружкѣ „Оръ" къ руководству,—мы одинаково оперируемъ надъ совершенно произвольнымъ матеріаломъ.

Во всякомъ случаѣ, та непрерывная полемика, которой заполнены всѣ страницы декадентскихъ журналовъ, не сумѣла выдѣлить ни одной мало-мальски существенной черты для характеристики возбужденнаго ими раздора. Это—все больше психологическіе документы, дающіе скорѣе матеріалъ для сужденія о темпераментѣ, нежели о міровоззрѣніи авторовъ.

Но если группировка, происходящая въ рядахъ декадентовъ, обусловлена дѣйствительно творческимъ процессомъ, еще не достигшимъ философской дифференціаціи въ умахъ его представителей, то для рѣшенія вопроса, имѣемъ-ли мы дѣло въ лицѣ модернистовъ со вновь нарождающейся литературною школой, намъ остается обратиться къ анализу литературно-художественной стороны современнаго модернизма т. е. стиля и формы декадентскихъ произведеній.

Здѣсь мы сразу встрѣчаемся съ совершенно опредѣленной тенденціей декадентскаго свойства съ полнымъ и рѣшительнымъ отрицаніемъ реализма. Я говорю съ тенденціей, а не съ характеромъ и не съ методомъ творчества, потому что во всей ихъ литературной манерѣ сквозитъ постоянное, рѣзко подчеркиваемое стремленіе облечь свою творческую дѣятельность въ формы художественной символики; но символизмъ ихъ часто носитъ довольно странный характеръ.

Символизмъ, по мнѣнію теоретиковъ „новаго искусства", не только является литературной характеристикой современнаго творчества, но—въ преодолѣніи символизма для нихъ заключается рѣшеніе всѣхъ важнѣйшихъ проблемъ человѣческаго духа.

Символизмъ,—говоритъ Андрей Бѣлый въ своей лекціи о „развитіи новаго искусства", подводитъ искусство къ той роковой чертѣ, за которой оно перестаетъ быть только искусствомъ; оно становится новой жизнью и религіей свободнаго „человѣчества" *). И самое символическое искусство въ ихъ глазахъ

*) „Въ мірѣ Искусствъ", № 17—18.

нерѣдко является лишь неосознанной формой религіозныхъ исканій. Отсюда—и эстетико-богословская теорія Мережковскаго; и соборное творчество, открываемое въ „трагическомъ дѣйствѣ“ символической драмы, неизбѣжно ведущей будто-бы къ превращенію „драмы въ мистерію“, т. е. зрительнаго зала въ религіозное сборище. Отсюда и знаменитый мистическій анархизмъ Г. И. Чулкова, „какъ попытка разъяснить символъ мистической поэзіи Владиміра Соловьева и Александра Блока“ (того самаго Блока, который самъ-то и руками и ногами отбивается отъ Г. И. Чулкова); и мечты о сближеніи новаго русскаго искусства—въ лицѣ С. Городецкаго и Ремизова—съ „миѳотворчествомъ“ народной поэзіи, и проч., и проч.

И нѣтъ ничего естественнѣе, по мнѣнію Андрея Бѣлаго, что „пророки новой жизни—Ницше, Ибсенъ,—подобно религіознымъ проповѣдникамъ прошлаго, обратились къ художественной символикѣ. Это глубоко понялъ еще Уайльдъ, понявшій Христа какъ художника-символиста“ *).

И, конечно, тѣмъ-же путемъ „вѣщаній углубленнаго смысла“ идетъ развитіе русскаго символизма.

Не даромъ-же, въ самомъ дѣлѣ, такъ богомольно устремилась къ нему вся русская интеллигенція въ минуту всеобщей растерянности.

Навѣрное жизнь не оставитъ онъ такъ.
Системы придумаетъ, дастъ имъ названья...
Надѣвши халатъ и ночной свой колпакъ,
Онъ штопаетъ дырки всего мірозданья.

Итакъ, „символизмъ подводитъ искусство къ той роковой чертѣ, за которой онъ перестаетъ быть только искусствомъ“...

Какіе-жъ пути избираетъ для этого символическое искусство и въ чемъ заключается самый методъ символизаціи?

„Символическое искусство, читаемъ мы въ статьѣ „Символическій театръ“, имѣетъ цѣлью показать въ образѣ его внутренній смыслъ, независимо отъ того, будемъ-ли мы признавать этимъ смысломъ выраженіе нашего переживанія, или нѣкоторый вѣчный смыслъ (какъ говорятъ—Платонову идею). Символъ съ этой точки зрѣнія есть образъ, выражающій собою пересѣченіе двухъ порядковъ послѣдовательностей, какъ-бы пересѣченіе двухъ прямыхъ въ одной точкѣ. Но точка пересѣченія двухъ прямыхъ одна: и потому единство образа, занимающаго, такъ сказать, мѣсто пересѣченія двухъ послѣдовательностей,—наиболѣе полно передаетъ символическій методъ въ искусствѣ“ **).

Говоря проще, характерной чертой символизма въ искусствѣ является стремленіе заставить образы говорить нѣчто другое,

*) „Въ мірѣ Искусствъ“, № 17—18.
**) Андрей Бѣлый: „Символическій театръ“.

нѣчто большее, помимо того, что они выражаютъ сами по себѣ, и притомъ такъ, чтобы за предѣлами своихъ очертаній они открывали намъ рядъ „убѣгающихъ перспективъ“ безграничные горизонты. Простой матеріальный образъ путемъ утонченной имволизаціи,, углубленнаго „интимизма“ пріобрѣтаетъ смыслъ сумственный нравственный и даже соціальный.

Таковы задачи, которыя ставитъ себѣ символическое искусство въ предѣлахъ литературнаго творчества. И въ подобной теореітической постановкѣ формула символизма съ любой точки зрѣня совершенно пріемлема. Даже больше. Въ этомъ смыслѣ переходъ къ символическому стилю надо признать вполнѣ закономѣрнымъ явленіемъ, цѣликомъ обусловленнымъ соціально-психологическими условіями современной дѣйствительности. Но на практикѣ дѣло обстоитъ совершенно иначе. Декадентское творчество—у огромнаго большинства модернистовъ--отливается въ формы чистѣйшаго импрессіонизма такъ называемой упадочной литературы на Западѣ.

Объяснимся подробнѣе.

IV.

Старыя формы въ искусствѣ умираютъ столь-же естественною смертью, какъ и старыя формы общежитія. Каждый общественный укладъ, подобно каждой естественной средѣ, создаетъ и культивируетъ опредѣленный видъ литературнаго стиля. Подобно тому, какъ въ ритмѣ и цезурѣ стиха сохраняется отзвукъ поэтической страсти, заставляющей биться въ унисонъ и другія сердца, такъ точно въ стилѣ каждой эпохи отражается біеніе породившей его общественной жизни. Это—пульсъ коллективныхъ настроеній данной эпохи.

Сравните картину, открывающуюся взору изъ глубины шарабана, который тащитъ, выбиваясь изъ силъ, савраска по скучнымъ, ухабистымъ дорогамъ, съ панорамой, развертывающейся по сторонамъ полотна изъ вагона курьерскаго поѣзда, который мчится легко и плавно по рельсамъ, „могучій, какъ воля, смѣлый и легкій, какъ надежда“.

Сравните сонный покой Обломовки съ тѣмъ неисчислимымъ количествомъ раздраженій, которыя падаютъ на глазъ и ухо современнаго горожанина.

Воздухъ, сверкающій электрическими огнями, тротуары, залитые потоками тѣлъ, наполненные гуломъ бульвары, шумныя удовольствія, лживые разговоры, хитрыя и преступныя чувства тысячами отравленныхъ стрѣлъ впиваются въ душу современнаго человѣка и создаютъ утомленіе и тягость.

Въ острой погонѣ за кускомъ, въ шумномъ потокѣ впечатлѣній его мозгъ непрерывно занятъ, его нервы напряженно

дрожатъ, и какъ нервы опіомана, болѣзненно требуютъ незнакомыхъ и новыхъ ощущеній. Подъ жуткимъ страхомъ нужды, конкурренціи и риска ростетъ капризная неустойчивость чувства.

Въ захваченномъ лихорадочной работой мозгу создаются новые способы разсматривать, судить и оцѣнивать явленія жизни. И подчиняясь велѣніямъ послѣдней, искусство выдвигаетъ новыя направленія, новые литературные стили.

Стиль—это способъ подчинить себѣ языкъ, сдѣлать его красочнымъ, гибкимъ и напѣвнымъ, сообщить ему ту особую чуткость передачи, которая въ каждомъ событіи, въ пестрой смѣнѣ оттѣнковъ умѣетъ уловить его ускользающій смыслъ, придать ему то освѣщеніе, при которомъ легче всего выступаютъ его сокровенные изгибы.

Въ этомъ и заключается сущность импрессіонистскаго стиля, явившагося на смѣну старому-громоздкому и протокольно-сухому—стилю натурализма. Техническія особенности импрессіонизма заключается въ томъ, что въ своихъ описаніяхъ онъ пользуется сжатой и выпуклой передачей по впечатлѣнію, безъ регистрацій мелочей. Подчеркивая характерное, драматизируя и оживляя событія, задѣвая сразу всѣ ощущенія—зрительныя, слуховыя, моторныя, т. е. сильно и сжато отражая дѣйствительность во всей интенсивной полнотѣ, но безъ излишнихъ и случайныхъ деталей, импрессіонизмъ является наиболѣе экономнымъ, а слѣдовательно и наиболѣе цѣлесообразнымъ и эстетическимъ изображеніемъ жизни. И въ этомъ смыслѣ, въ смыслѣ живости красокъ и выпуклой игры настроеній, наши художники всѣ—импрессіонисты. Импрессіонисты не только Чеховъ, Горькій, Юшкевичъ, Арцыбашевъ и вся современная плеяда литературныхъ именъ, но черты импрессіонизма уже замѣтны у Надсона, Гаршина и даже у Льва Толстого. Это повторяю—литературный показатель цѣлой эпохи! И онъ является такимъ же естественнымъ продуктомъ рѣзко измѣнившагося темпа окружающей жизни, какъ и царящая въ послѣдней всеобщая нервозность.

Но продуктъ это крайне несовершенный. Это — какъ-бы только первичный рефлексъ со стороны потрясенной литературы, неорганизованный слабый и еще не овладѣвшій своей задачей.

Задача литературнаго стиля, какъ я указывалъ выше,—заставить служить себѣ языкъ, съ помощью старыхъ и заношенныхъ словъ создавать рядъ новыхъ поэтическихъ цѣнностей. И импрессіонизмъ съумѣлъ нащупать совершенно правильный путь.

Съ поверхности реальнаго образа онъ съумѣлъ проникнуть въ самую глубь, въ структуру жизненныхъ отношеній.

И въ этомъ „интимизмѣ“, въ углубленіи внутренняго смысла явленій и лежитъ коренная особенность импрессіонистскаго стиля.

Какъ стиль переходной эпохи, стиль, рожденный хаотическимъ вторженіемъ капитала, импрессіонизмъ является только

первымъ этапомъ на пути къ формированію новой художественной формы. Обладая умѣньемъ схватывать интимныя стороны явленій, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ не способенъ къ передачѣ длительной страсти. Изобразительная сила импрессіонизма сосредоточена главнымъ образомъ на вспышкахъ мимолетныхъ и неустойчивыхъ впечатлѣній. И на этой почвѣ онъ легко превращается въ культъ утонченной и болѣзненной впечатлительности. Такова, напр., вся группа сѣверныхъ импрессіонистовъ съ Хола Гансономъ во главѣ, сводящихъ все свое импрессіонистское творчество къ филигранной отдѣлкѣ едва уловимыхъ настроеній.

Но въ то-же время толкаемый безконечно возрастающимъ содержаніемъ жизни, импрессіонизмъ постепенно передвигаетъ центръ тяжести въ сферу усложненныхъ переживаній и преобразуется—въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи—въ методъ символизаціи послѣднихъ. Тонкіе переливы ощущеній уступаютъ мѣсто напряженности мысли и интенсивности чувства. Жажда творчества и борьбы, охватившая народныя массы, поглощаетъ вспышки одинокихъ титановъ. Мѣсто Теллей, какъ и въ жизни, занимаютъ Штауффахеры. И искусство отъ психологіи „героя" переходитъ къ изображенію героическаго подъема „толпы". Человѣкъ съ его личными инстинктами уступаетъ мѣсто человѣческому, всеобщему. Подъ тайнымъ давленіемъ групповыхъ интересовъ и идеаловъ человѣкъ перестаетъ быть игралищемъ необузданной страсти. Его сердце, соціализируясь, вступаетъ въ живой и кровавый союзъ съ другими сердцами и тысячью нитей переплетается съ судьбами обширнаго класса. И художникъ въ изображеніяхъ жизни нерѣдко игнорируетъ элементы личныхъ переживаній и подчеркиваетъ лишь такіе моменты, въ которыхъ символически отражается все идейное содержаніе данной общественной категоріи.

Такимъ образомъ, если самый процессъ „урбанизаціи", процессъ хаотическаго вторженія капитала явился причиной возникновенія импрессіонистскаго стиля, то процессъ дальнѣйшей соціализаціи жизни ведетъ къ утвержденію символизма въ искусствѣ.

Соціальное содержаніе современнаго творчества — вотъ что является жизненнымъ нервомъ символизма. Путемъ синтетическаго трактованія жизни онъ переноситъ изображеніе трагизма изъ сферы отдѣльныхъ переживаній въ міръ широкой дѣйствительности, превращая случайный, мгновенный эпизодъ въ феноменъ общественнаго значенія. Выдвигая ту или иную черту, неожиданно выплывающую подъ ударами рока, символизмъ, точно внезапнымъ нажатіемъ таинственной кнопки, помѣщенной въ символическомъ фокусѣ, раздвигаетъ предѣлы своихъ образовъ и за видимой гранью открываетъ совершенно новыя очертанія.

Самый методъ соціальнаго трактованія жизни складывается

у различныхъ художниковъ въ совершенно различные пріемы. Я не имѣю въ виду останавливаться на разборѣ послѣднихъ *). Укажу лишь для иллюстраціи на извѣстный разсказъ Леонида Андреева: „Большой Шлемъ". Съ первыхъ-же строкъ разсказа чувствуется, что за странными игроками — въ ихъ нудно-филистерскихъ бесѣдахъ, во всемъ ихъ нелѣпомъ картежномъ фанатизмѣ—скрывается что-то большее, чѣмъ само содержаніе разсказа. И это впечатленіе ростетъ и странно приковываетъ вниманіе читателя по мѣрѣ того, какъ игроки перебрасываются отдѣльными фразами, такими скупыми и скучными, какъ будто все то, что совершалось за стѣнами „высокой комнаты" происходило въ чужомъ и далекомъ мірѣ. И потомъ, когда дыханіе смерти на мгновеніе наполняетъ ужасомъ эту сонную атмосферу, и терзаемый чувствомъ безысходной тоски передъ ея нелѣпымъ и загадочнымъ вторженіемъ Яковъ Иванычъ продолжаетъ, глотая слезы, играть за умершаго партнера, каждое слово сразу обростаетъ какимъ-то новымъ, значительнымъ выраженіемъ.

Человѣкъ, потрясенный смертью, и тутъ-же въ присутствіи горько оплакиваемаго трупа самъ съ собой продолжающій прерванную игру — очевидная, бьющая въ глаза своей дѣланностью нелѣпость. Мысль, застигнутая врасплохъ, потрясенная искусно разсчитаннымъ диссонансомъ, начинаетъ доискиваться смысла. И невольно приходишь къ заключенію, что игроки эти не конкретныя лица, поддающіяся простому психологическому учету, не психологическіе типы, а соціальные символы. Не люди воспроизведенные цѣликомъ со всѣми своими индивидуальными чертами, темпераментомъ и характеромъ, а люди опредѣленной среды, олицетворяющіе общественную энергію этой группы. Они выступаютъ передъ нами лишь постольку, поскольку они являются созданіями извѣстныхъ общественныхъ условій, поскольку они проявляютъ и выражаютъ свою соціальную личность, свое активное отношеніе и участіе въ жизни. И мы видимъ, что эти условія придавили, затушевали, обезличили въ нихъ свободное соціальное „я" и сдѣлали ихъ нѣмымъ историческимъ матеріаломъ. Это люди, стоящіе спиною къ дѣйствительной жизни, люди, давно разучившіеся дѣлать что-нибудь свое, „непривычное и неприказанное". Ихъ личная психологія становится ясной въ связи съ тѣмъ общественнымъ укладомъ, который рисуется сквозь мертвыя маски этихъ обезличенныхъ игроковъ.

---

*) Болѣе подробно касаюсь я этой темы въ статьѣ „Соціально-психологическіе типы въ разсказахъ", Л. Андреева. „Правда", 1905 г., VIII.

V.

Человѣкъ, потрясенный смертью, и тутъ-же, въ присутствіи неостывшаго трупа, съ горькимъ надрывомъ въ сердце, серьезно и вдумчиво продолжающій пустую, безсмысленную работу!.. Вотъ тотъ символическій образъ, въ которомъ такъ тонко соприкасаются міръ двухъ дѣйствительностей (или двухъ послѣдовательностей, какъ выражаются модернисты)—міръ личной и міръ общественной психологіи. Та символическая кнопка, нажатіемъ которой раскрывается общественный и общечеловѣческій смыслъ, лежащій въ основѣ всего разсказа.

Но что сообщаетъ символу его двигательную силу? Или говоря иными словами, что заставляетъ насъ чувствовать его углубленный смыслъ?

Прежде всего, конечно, глубина самой мысли и энергія чувства, запечатлѣнная въ стилѣ художника. Именно въ этомъ смыслѣ и должно быть истолковано выраженіе Гегеля, что символическое искусство постигается „въ энергіи самоосуществленія и саморазвитія идеала въ міръ красоты".

Но ясно что энергія творчества, характеризующая символическій стиль, играетъ въ данномъ случаѣ, хотя и существенную, но все-же чисто формальную роль. Она является возбудителемъ извѣстныхъ чувствъ и идей, однимъ изъ способовъ прояснить содержаніе символа, углубить его смыслъ, т. е. не цѣлью творческаго процесса, а способомъ его выраженія.

Между тѣмъ, развитіе модернизма идетъ какъ разъ въ обратномъ направленіи. Энергія творчества сама по себѣ,—безотносительно къ выражаемому имъ содержанію,—составляетъ главную задачу модернистскаго стиля. Эта задача и выражается въ требованіи для искусства maximum'а свободы.

Всѣ художники, поскольку они были художники, оставались стихійно вѣрны этому завѣту, говоритъ Андрей Бѣлый. Не всегда, однако, они умѣли сознать свое право. Правильно утверждаетъ Кантъ, что геній—законодатель вкуса: вѣдь всѣ эстетическіе догматики—только результатъ позднѣйшаго анализа тѣхъ или иныхъ образовъ художественнаго законодательства. И попытки сковать новое творчество старыми догмами шли вопреки Канту. Художники-символисты впервые написали на знамени своей школы право художника быть законодателемъ вкуса. Личные взгляды отдѣльныхъ художниковъ, какъ Priva-Sache превратили они въ параграфъ художественной платформы новаго искусства *).

Надо отдать справедливость г. Андрею Бѣлому. Трудно найти

---

*) Андрей Бѣлый: „Развитіе новаго русскаго искусства".

болѣе сжатую и болѣе вѣрную формулу модернистскаго творчества. Свобода искусства, регулируемая личнымъ капризомъ художника—вотъ ея смыслъ. Ибо искусство,

Себя собою составляя,
Собою изъ себя сіяя,

только дотолѣ и пользуется правомъ законодательства въ области вкуса, доколѣ въ жилахъ его течетъ самая чистая, безпримѣсная, а-политическая кровь. И человѣкъ, снабженный поэтическимъ титуломъ, (засвидѣтельствованнымъ, разумѣется, тѣмъ или инымъ изъ законодателей декадентскаго вкуса), пріобрѣтаетъ высокую привиллегію выдавать за образцы поэтическаго творчества самую двусмысленную отсебятину (см. соотвѣтствующій „параграфъ художественной платформы новаго искусства").

Что искусство обладаетъ своимъ самостоятельнымъ бытіемъ въ ряду человѣческихъ идей и эмоцій,—это можно считать вполнѣ установленнымъ и общепризнаннымъ фактомъ. Но говорить въ силу этого о „безыдейности" искусства есть не болѣе основаній, чѣмъ говорить о „безыдейности" логики. Искусство не болѣе, какъ одинъ изъ способовъ выраженія человѣческой души. Для насъ совершенно безразлично, или по меньшей мѣрѣ, не важно, въ звукахъ-ли скрипки, въ бронзѣ-ли, мраморѣ или въ поэтическомъ словѣ воплотилъ свою свѣтлую печаль, свои грезы о счастьѣ художникъ. Это такъ. Лишь-бы чувство, звучавшее въ глубинѣ его творческихъ исканій, находило трепетный откликъ въ нашемъ собственномъ сердцѣ. Лишь бы такъ или иначе удалось пробудить ему нашу дремлющую мысль.

Задача искусства, какъ одной изъ формъ человѣческаго общенія, аккумулировать явленія жизни, и рисуя послѣднюю въ сгущенныхъ и насыщенныхъ формахъ, давать ей живое, конкретное истолкованіе. Художникъ подобенъ центрифугѣ, отбивающей всѣ постороннія и случайныя примѣси отъ яркихъ частичекъ жизни, одиноко разсѣянныхъ въ безцвѣтной обывательской мути. Онъ стилизуетъ и синтезируетъ свои образы въ направленіи идеала и этимъ, выражаясь нѣсколько рѣзко, беретъ на кнутъ нашъ энтузіазмъ.

Благородная, красивая страсть, едва зародившаяся, едва только вспыхнувшая въ протестующемъ взорѣ мечтателя и погибшая, никуда не направленная, не понятая и опошленная неожиданно воскресаетъ во всей своей силѣ подъ ударомъ волшебнаго пера.

И жизнь, давно засосавшая, давно покрывшая плесенью будней безпокойнаго мечтателя, въ звонкой ликующей пѣснѣ художника вновь улыбается бѣдному мечтателю во всемъ обаяніи надежды и смѣло и радосто манитъ его куда-то, въ даль идеала, на свѣтлую, вольную дорогу, какъ прекрасный, таинственный голосъ пробудившейся юности.

Но духъ искусства питается не наитіемъ свыше, а богатствомъ идей и чувствъ, полнотой и разнообразіемъ образовъ. Конечно, искусство само по себѣ, an und für sich, независимо отъ его содержанія никогда и нигдѣ не служило знакомъ упадка. Напротивъ, по самой природѣ своей, оно является самымъ пышнымъ, самымъ яркимъ цвѣткомъ, выростающимъ на стеблѣ данной идеологіи; и художникъ невольно отражаетъ идеалы, думы и страсти, которыми волнуется классъ, наиболѣе ему близкій. И само собою понятно, чѣмъ больше блеска, живого и огненнаго творчества въ душѣ самого художника, тѣмъ шире полетъ его творческой мечты, тѣмъ глубже святое безпокойство, рожденное и навѣянное глубиной и искреннимъ паѳосомъ ея содержанія. Но богатство пріятныхъ впечатлѣній и утонченный лиризмъ еще далеко не обезпечиваютъ размаха творческой мысли. Даже какъ разъ наоборотъ. Могучій творческій синтезъ во всей своей свѣтлой и жизнерадостной силѣ способенъ развернуться только подъ животворнымъ воздѣйствіемъ труда, борьбы и усилій. Тамъ-же, гдѣ сфера жизненнаго опыта урѣзана, ограничена, сужена, тамъ и задачи искусства неминуемо будутъ сведены къ богатству пріятныхъ впечатлѣній, къ погонѣ за украшеніемъ формы, къ нелѣпой фантастикѣ. „Представителей послѣдняго типа всего больше бываетъ, какъ указываетъ А. Богдановъ въ своей статьѣ о психологіи общества, среди паразитическихъ классовъ, въ началѣ ихъ вырожденія, и понятно почему. Паразитизмъ обезпечиваетъ богатство пріятныхъ впечатлѣній, но суживаетъ сферу жизни вообще, исключая изъ нея полезный трудъ и общеніе съ другими классами, живущими болѣе активной и полной жизнью“ *).

На почвѣ подобнаго разрозненнаго опыта и развивается тотъ импульсивный — безъ энергіи, вялый, неустойчивый и неуравновѣшенный типъ импрессіониста, устами котораго говоритъ декадентское искусство. Та безыдейность и безпринципность, которую проповѣдуетъ это искусство, является въ сущности литературнымъ отображеніемъ разлада, царящаго во всей ихъ психической организаціи. Цѣль въ работѣ художественной мысли, какъ и во всякой работѣ, требуетъ долгихъ усилій ума и чувства, твердой обдуманности и глубокаго плана. А художникъ-упадочникъ — безвольный рабъ своего минутнаго настроенія. И вотъ, свою неспособность къ координаціи, къ достиженію цѣли онъ именуетъ культомъ нестѣсненнаго творчества, и провозгласивъ свое право на оглашеніе „Privat-Sache“, спокойно разворачиваетъ передъ читателемъ „секретныя доссье“ своей клинической мудрости. Между двухъ указанныхъ полюсовъ и вращается большинство произведеній, пріютившихся подъ

*) А. Богдановъ: Изъ психологіи общества.

гостепріимнымъ флагомъ „законодателей вкуса“, почему-то именующихъ себя „школой русскаго символизма“.

Но одни изъ этихъ произведеній носятъ всѣ признаки чистѣйшаго импрессіонизма, т. е. той зачаточной формы литературнаго стиля, возникновеніемъ которой русская литература меньше всего обязана ея теперешнимъ представителямъ (Осипъ Дымовъ, Сергѣевъ-Ценскій, Зайцевъ, Каменскій, Кречетовъ, Рукавишниковъ и проч.—имъ-же нѣсть числа). А другіе, на подобіе новелъ Кузьмина, если тутъ можетъ быть рѣчь о какой-бы то ни было „школѣ“, должны быть признаны самостоятельной школой „обнаглѣвшаго натурализма“, превосходящаго своей, далеко не символической откровенностью даже такія произведенія, какъ „Lediable au corps“ и „пріапическіе фрагменты“, относящихся къ „исторіи наслажденія въ 10,000 стр.“, рекламируемой на страницахъ бульварной прессы.

Что касается творцовъ современнаго декаданса (В. Брюсовъ, З. Гиппіусъ, А. Бѣлый, К. Бальмонтъ, Ѳ. Сологубъ et dii minores), то понимая глубже и шире задачи и методы художественной символики, они тѣмъ не менѣе не съумѣли создать ни однаго образца символическаго стиля хотя-бы средняго достоинства. Вмѣсто символики у нихъ повсюду выдвигается затемнѣніе смысла, примѣсь фантастики, магіи кабалистики и прочаго тумана, съ помощью котораго они добиваются лишенія образовъ ихъ реальной опредѣленности, полагая, что этимъ содѣйствуютъ символизаціи стиля. Къ тому-же и вся эта фантастика либо со слѣдами тяжелаго, вульгарнаго привкуса, какъ напр. „Незнакомка“ А. Блока, либо къ ней припутаны въ изрядной дозѣ элементы садизма, какъ въ „Огненномъ Ангелѣ“ В. Брюсовъ и почти повсюду—у Ѳ. Сологуба.

Тонкій и чуткій А. Бѣлый, понимая, какъ мало похожи эти ублюдочные символы декадентскихъ произведеній на то, чѣмъ желаютъ они казаться, дѣлаетъ слабую попытку найти имъ оправданіе. Наши символисты, говоритъ онъ, исходятъ не столько отъ того или иного схоластическаго взгляда на искусство, сколько отъ протеста противъ монополіи того или иного способа творчества въ ущербъ инымъ.

„Тамъ, гдѣ догматики реализма ограничиваютъ творчество предѣлами эмпирической дѣйствительности, символизмъ возстаетъ противъ этого догматизма, выдвигая образы вымысла на первый планъ... гдѣ господствуетъ тенденція,—провозглашаютъ культъ слова и формы“ *).

Выходитъ, что декаденты пишутъ скверныя вещи на зло реалистамъ.

Такъ или иначе кличка „символической школы“ присвоена русскому модерну безо всякаго основанія. Судя по стилю этой

*) „Въ Мірѣ Искусствъ“, № 17—18.

группы, большинство ихъ—типичные упадочники, надѣленные всѣми чертами вырожденія упадочной литературы на Западѣ.

„Въ произведеніи декадента вмѣсто того, чтобы часть была сдѣлана для цѣлаго, цѣлое дѣлается для части; не только страница становится независимой, но она пріобрѣтаетъ больше значенія, чѣмъ самая книга, параграфъ, больше, чѣмъ страница, фраза больше, чѣмъ параграфъ, и въ самой фразѣ выдается и господствуетъ одно слово. Слово это—тиранъ писателей упадка: культъ слова замѣняетъ культъ идеи; вмѣсто истины и слѣдовательно—вмѣсто закона или факта ищутъ эффекта, т. е. сильнаго ощущенія“.

Это говоритъ Поль Бурже о декадентахъ во Франціи. Но характеристику эту можно съ удобствомъ приложить и къ нашему декадансу. Та же анархія — въ настроеніяхъ и въ стилѣ.

Въ области болѣе высокаго порядка это отсутствіе организующей тенденціи принимаетъ характеръ широкаго эклектизма, прикрывающаго собою на первыхъ порахъ безсвязность, распадъ и разложеніе съ сферѣ идейно-психологическихъ переживаній. Пестрая разноголосица, „декадансъ декаданса“ облекается въ пышныя прозвища „принципіальныхъ расколовъ“. А истинная сущность происходящаго разложенія маскируется двумя-тремя жизнеспособными теченіями,вѣрнѣе жизнеспособными окрасками, подъ которыя—въ силу тѣхъ или иныхъ соображеній—начинаетъ подмалевывать себя вся разлагающаяся группа.

VI.

„Безыдейность“ разумѣется связана съ „анолитичностью“ въ искусствѣ, и послѣдняя теоретически вытекаетъ изъ первой. Но есть и другая причина, побуждающая соратниковъ декадентства къ раскрѣпощенію эстетики—этого Прометея, прикованнаго къ скалѣ политическаго „направленства“. Въ тѣхъ рядахъ, въ тѣхъ общественныхъ группахъ, гдѣ революція по мѣрѣ своего поступательнаго движенія пробуждаетъ довольно грозныя опасенія, искусство довольно охотно откликается на призывъ отдѣлаться отъ политики. Въ рѣчахъ ихъ критиковъ то и дѣло звучитъ нотка радостнаго торжества по случаю избавленія художественной литературы отъ „муниципализаціи г. Пройды“. И привѣтствуя отдѣленія парламента отъ литературы, г. Чуковскій въ сущности притворяется только, что и онъ за политику. Для него и муниципализація, и Пройда, даже „переодѣтые въ болѣе подходящіе костюмы“, служатъ просто весьма неудобнымъ напоминаніемъ о томъ, что по его затаенному убѣжднѣію давно уже требуетъ ликвидаціи.

Не спорю. Весьма возможно, что онъ притворяется честно.

Что, обладая сердцемъ художника, г. Чуковскій совершенно не замѣчаетъ, какія анти-художественныя цѣли и чувства таятся подъ его презрительнымъ эстетизмомъ.

Но искреннему художнику нашихъ дней не внушить своему вдохновенію отвернуться отъ пламеннаго костра, надъ которымъ льется потоками жертвенная кровь его нации. Развѣ лучшія произведенія Леонида Андреева: „Губернаторъ", „Такъ было", „Къ звѣздамъ", „ Красный Смѣхъ" и всѣ другія послѣднія его вещи не созданы въ самый кипучій періодъ политической жизни и не гремятъ всѣми мощными перекатами народной грозы? Но уменьшился-ли отъ того интересъ къ его художественной работѣ? Напротивъ. Къ искусству устремляются теперь милліоны новыхъ читателей, чуткихъ, отзывчивыхъ и мятежно взыскующихъ новой правды. Отъ него они ждутъ отвѣтнаго отклика своимъ надеждамъ, волненіямъ и пробудившейся жаждѣ жизни. Они пришли изъ мрака и холода, чтобы вынести на своихъ плечахъ всю тяжесть великаго боренія, и въ пламенныхъ образахъ художника они хотятъ почерпнуть сознаніе своей силы и закалить ее бурнымъ стремленіемъ къ свободѣ.

Для нихъ интересъ къ художественной литературѣ—не „эстетическій сдвигъ" и искусство—не коверъ-самолетъ, на которомъ гг. Чуковскіе пытаются унести своего читателя за три-девять земель отъ муниципализаціи, Пройды и его безпокойнаго окрика: а подать сюда монастырскія земли!..

Въ искусствѣ они дѣйствительно черпаютъ новыя силы.

Сила революціонной эпохи — какъ разъ въ повышенной чуткости, въ глубокой и страстной отзывчивости на явленія соціальной и политической жизни. И бѣлый терроръ стремится обрушиться со всею силой на этотъ нервъ общественной жизни, стремится вызвать притупленіе общественной впечатлительности.

На такомъ пониженномъ настроеніи среди широкихъ массъ населенія и построены всѣ расчеты контръ-революціонной политики.

И вотъ въ такіе моменты на искусствѣ лежитъ оживляющая роль, роль будильника политической чуткости.

Но именно съ этой стороны декадентство старается лишить его всякаго значенія.

VII.

„Безыдейность" и „аполитичность"—вотъ, выражаясь языкомъ декадентовъ—„непримиримое Нѣтъ" декадентскаго творчества.

Въ чемъ-же „слѣпительное Да" модернистовъ?

Въ числѣ величайшихъ козырей декадентская критика очень усердно выдвигаетъ „стихію". Разобраться, что разумѣютъ

они подъ стихіей, при ихъ непреодолимой тенденціи говорить „непримиримое Нѣтъ“ тамъ, гдѣ другимъ уже сказано „слѣпительное Да“—по обыкновенію невозможно. Для однихъ вся художественность проявляется исключительно въ „миѳотворчествѣ“, для другихъ—настоящій огонь поэзіи таится въ глубинѣ безсознательнаго. При этомъ одни миѳотворцы прославляютъ Вяч. Иванова, ругаетъ „Жаръ-Птицу“ К. Бальмонта и хвалятъ „Яръ“ С. Городецкаго. Другіе—неизвѣстно почему—переносятъ симпатіи на Бальмонта и ругаютъ „Перуна“ Городецкаго. А любители чаръ и волхвованій сопровождаютъ презрительной ужимкой каждое слово о „миѳотворчествѣ“ и его представителяхъ и восторгаются исключительно „Огненнымъ Ангеломъ“ Валерія Брюсова. И по странной ироніи тамъ, гдѣ одинъ различаетъ у автора „истинные голоса непробужденной земли“ и ясно слышитъ, какъ „стонетъ, ворачается и дышетъ стихія“, другой торжественно заявляетъ, что какъ разъ въ этомъ-то мѣстѣ „природа состоитъ съ нимъ въ безнадежномъ разводѣ“.

Но если внимательно вглядѣться въ произведенія декадентовъ, которые дѣйствительно пользуются популярностью въ публикѣ, то декадентская „стихійность“ сведется къ такимъ элементамъ, которые едва-ли могутъ быть названы привиллегіей декадентскаго стиля. Два наиболѣе популярныхъ беллетриста, отмѣченныхъ этими чертами, которыя перешагнули къ извѣстности отчасти черезъ порогъ декадентскихъ журналовъ—С. Сергѣевъ-Ценскій и Борисъ Зайцевъ.

Основнымъ фономъ, на которомъ развертывается творчество обоихъ писателей, является отчасти слѣпая, размашистая стихійность. Это—малявинскіе „Вихри“ („Бабы“), воплощенные въ слово, ослѣпительное, мощное и безликое. Особенно рѣзко выступаетъ это въ разсказахъ Бориса Зайцева, въ которыхъ больше естественности и простоты. Здѣсь, дѣйствительно, какъ-бы совершенно отсутствуетъ личное, ясно оформленное сознаніе. Могучая творческая сила сытно напоила небо, землю, весь міръ своимъ созидающимъ началомъ и что-то тихо зрѣетъ въ нѣдрахъ вселенной. И полная кипучихъ порывовъ и невѣдомыхъ тайнъ природа совершаетъ великое таинство жизни и смерти. И только кое-гдѣ въ дикомъ страданіи, въ щемящей боли рождается дыханіе правды и мечта о далекомъ избавленіи.

Но гораздо глубже, сильнѣе и выразительнѣе выступаетъ тотъ-же стихійный пантеизмъ и у другихъ современныхъ беллетристовъ, очень далекихъ отъ декаданса. У М. Арцыбашева, напр., эта могучая стихійность разливается страстнымъ гимномъ природѣ и дышетъ красотою чисто космическаго паѳоса. Радость и поэзія живой и ликующей природы, грубо растоптанныя условной и безсмысленной ложью буржуазной культуры, составляютъ основной фонъ, на которомъ авторъ съ поразительнымъ мастерствомъ развертываетъ рядъ интересныхъ психологическихъ

проблемъ. Этотъ пріемъ его творчества особенно чувствуется въ „Санинѣ“ и въ значительной степени обусловливаетъ вниманіе публики къ этому роману. Яркія, дышащія трепетомъ радости и силы, сочныя краски ложатся рядомъ съ траурными бликами, скучными, чахлыми словами, назойливо липнущими своей докучливой прозой. И передъ глазами читателя встаютъ какъ-бы два независимыхъ міра, въ которыхъ вращается жизнь изображаемыхъ авторомъ героевъ. Въ одномъ—урѣзанномъ, тѣсномъ, уродливомъ—они калѣчатъ и наносятъ другъ другу неисцѣлимыя раны въ то время, какъ тутъ-же рядомъ стелется огромный и привѣтливый міръ, блещущій всѣми радостями бытія, и куда неотступно влечетъ могучій голосъ крови, инстинктовъ, сердца.

Здѣсь нѣтъ ничего спеціально декадентскаго. Въ эпохи бурныхъ подъемовъ, когда юныя силы стихійно рвутся наружу, природа неизмѣнно овладѣваетъ сердцемъ искусства. Это не разъ повторялось въ исторіи человѣчества, начиная съ Руссо и кончая нѣмецкимъ романтизмомъ. И тѣмъ-же путемъ идетъ и наша литература. И задолго до Зайцевыхъ и Ценскихъ на этомъ пути у насъ явился М. Горькій. Явился предтечей первыхъ неясныхъ стихійныхъ вдохновеній. Съ первыхъ аккордовъ онъ захватилъ насъ своимъ безудержнымъ пыломъ, своей бьющею черезъ край полнотою творческихъ силъ, той горячей и необузданной мощью, которой брызжетъ каждая строчка его разсказовъ.

Его бродячіе рыцари ночлежки ни въ комъ не вызывали иллюзій. Но какъ яркіе символы, какъ безотчетное проявленіе мощи, въ которой глухо закипала страна, они были подхвачены стихійнымъ потокомъ. И въ ихъ страстныхъ и патетическихъ позахъ, чрезвычайно удачно задрапированныхъ въ лохмотья деклассированнаго протеста, въ ихъ потокахъ пламенныхъ обличеній невольно усматривались первыя искры, первые грозовые удары.

Какъ апостолъ гнѣва и скорби и того слѣпого, чисто стихійнаго протеста, которымъ было проникнуто русское общество, Горькій первый проявилъ въ своемъ дарованіи тотъ мощный паѳосъ стихіи, который такъ старательно культивируютъ въ себѣ новѣйшіе беллетристы.

Только въ этомъ смыслѣ и цѣнно то стихійное настроеніе, которымъ проникнута поэзія Зайцева, Сергѣева-Ценскаго и другихъ модернистовъ.

VIII.

„По реакціи противъ соціальныхъ страданій родились у Руссо два совершенно истинныя и здоровыя чувства и которыя очень скоро распространились: любовь къ природѣ и любовь къ свободѣ. Эти два чувства вѣчны: они живутъ въ самомъ сердцѣ

человѣка, и если-бы они были признакомъ сумасшествія, мы всѣ были-бы здѣсь сумасшедшіе; этими двумя чувствами должна была жить литература послѣ Руссо". (В. Гюго).

По реакціи противъ соціальныхъ страданій стремится и русское искусство къ природѣ. У стихійныхъ истоковъ жизни оно ищетъ подъема творческихъ силъ. Но тѣ стихійные элементы, о которыхъ твердитъ декадентская литература, берутъ начало не въ подъемѣ творческихъ силъ, не на груди созидающей природы, а въ „темныхъ провалахъ садизма", въ хлыстовскихъ радѣніяхъ, въ которыхъ ищутъ „праведнаго сладострастія, дарующаго вліяніе благодати на душу и тѣло".

Для иллюстраціи я приведу здѣсь полностью стихотвореніе К. Бальмонта „Царь Духъ" изъ цвѣтника „Оръ":

Царь Духъ! Царь Духъ! Царь Богъ! Царь Богъ!
Царь Духъ! Царь Богъ! Царь Духъ!
Возьми, прими мой стонъ, мой вздохъ!
Войди, какъ звонъ, въ мой слухъ!
Ой, Духъ! Ой, Духъ! Царь Богъ! Царь Богъ!
Твой зовъ нѣжнѣй, чѣмъ пухъ!
Въ меня, какъ дождь, чтобъ умъ не сохъ!
Царь Богъ! Царь Богъ! Царь Духъ!

И тѣмъ, для кого остался невыясненнымъ смыслъ приведенныхъ выкликаній, я рекомендовалъ бы прочесть разсказъ г-жи Зинаиды Гиппіусъ: „Сокатилъ" или хотя-бы не столь выразительные по откровенности, но тоже изображающіе одинъ изъ дальнѣйшихъ этаповъ на пути къ „благодати", стихи Бальмонта:

. . . . . .
Мы, какъ птицы носимся.
Другъ ко дружкѣ просимся,
Другъ ко дружкѣ льнемъ...
Пляшемъ разомлѣлые,
А рубахи бѣлыя,
Какъ метель кругомъ...

Само собою, что подобной поэзіи должны быть чужды элементы идейнаго содержанія. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ образцами того своеобразнаго культа эротизма, который составляетъ вполнѣ самобытную черту декадентскаго искусства. Но и въ этомъ отношеніи любой графоманъ—эпилептикъ можетъ поспорить даже съ такой спеціалисткой по этимъ вопросамъ, какъ авторъ разсказа „Сокатилъ".

И надо думать, что подобными настроеніями въ значительной мѣрѣ поддерживаются и тѣ половые ужасы, которыми такъ любятъ хвалиться герои „послѣдняго кощунства", и поиски углубленныхъ мистическихъ откровеній, и стремленіе въ „тайныя глуби бытія" по „недоступному океану въ ладьяхъ магіи и гаданія".

Нѣтъ. Тайны жизни, волнующія современное общество, иного происхожденія. Жизнь, слѣпо тронувшаяся съ вѣковѣчныхъ устоевъ, сдернула темную завѣсу, и растерянный обыватель, знавшій доселѣ два великихъ спасенія—тупую покорность и надежду на милость свыше—вступилъ неожиданно въ полосу небывало-яркаго свѣта. Эта великая метаморфоза сильнѣе всякихъ мистерій поразила воображеніе цѣлаго народа. И въ то время, какъ господа декаденты выступаютъ апостолами изощренной эротики, онъ судорожно рвется изъ заколдованной сѣти, въ которой такъ дико сплелись отголоски новой жизни и старые счеты, причудливая фантазія и суровая дѣйствительность, свободная, безпощадная критика и узкій догматизмъ.

Но декадентство, возлюбившее тайну смерти, тайну безсилія, молча проходитъ мимо этой слѣпой, могучей и безмолвной стихіи. Жизнь со всѣми своими живыми печалями и радостями, не задѣваютъ его.

IX.

Любопытно, что декадентское искусство, такъ много трактующее о любви, красотѣ и свободѣ творчества, совершенно не знаетъ чувства общительной веселости, той свѣтлой игры ума, которую, смотря по тѣмъ или другимъ ея измышленіямъ, называютъ остроуміемъ, юморомъ и веселостью.

Одинъ Ѳ. Сологубъ, но это „юморъ висѣльника“, надгробнаго характера.

Веселье есть нестѣсненное проявленіе нашей личности, вольное и беззаботное утвержденіе нашего свободнаго „я“ подъ формой искусства. Между радостью и свободой существуетъ неразрывная связь. Иронія, юморъ, остроуміе цѣликомъ питаются быстрымъ полетомъ мысли, свободой психическихъ ассоціацій, которыя свойственны только веселому настроенію. Человѣкъ опечаленный, связанный думами о собственномъ горѣ, не выходитъ изъ тѣснаго плѣна своихъ личныхъ невзгодъ и огорченій, тогда какъ веселью присуще свободное движеніе мысли. Подобно смѣху въ его физіологическомъ механизмѣ, мысль, питаемая весельемъ, гонитъ окольными путями каскады свободныхъ ассоціацій, дробится и сталкивается со всей проистекающей отсюда свободой сопоставленій, неожиданныхъ qui pro quo и курьезныхъ открытій, изъ которыхъ слагаются блескъ и живое остроуміе свободной творческой мысли.

Веселье и радость никогда не склонны замыкаться въ себѣ. Они довѣрчиво открываются навстрѣчу каждому взгляду. Они готовы братски и дружественно подѣлиться своимъ собственнымъ счастьемъ. И чѣмъ выше предметъ радости, тѣмъ шире вытекающая изъ нея свобода, и наоборотъ, чѣмъ значительнѣе и

выше область свободы, тѣмъ шире вытекающая изъ нея радость. Это—два ручья, у истоковъ которыхъ получили крещеніе всѣ симпатическія, коллективныя чувства.

Изъ нихъ родится тотъ великій объединяющій паѳосъ общественныхъ подъемовъ, который сливаетъ воедино сердца многотысячной толпы и вдохновенно рветея наружу въ могучемъ, радостномъ крикѣ свободы, равенства, братства.

И не случайно то, что расцвѣтъ свободы у всѣхъ народовъ неразрывно связанъ съ расцвѣтомъ сатирическихъ листковъ, въ которыхъ бьетъ ключомъ искрометное, ничѣмъ не стѣсненное остроуміе.

Но именно этого радостнаго смѣха совсѣмъ лишено декадентское искусство. Даже больше. Лейтъ-мотивомъ всѣхъ его настроеній является упадокъ, подавленность и страхъ передъ жизнью. По искреннему свидѣтельству Андрея Бѣлаго „современное искусство — настоящее и прошлое — только о смерти". Вся яркость жизненныхъ красокъ, блескъ солнца, радость побѣды и вдохновеніе подвига — все стирается передъ ужасомъ смерти. И этотъ ужасъ, рожденный пугливой мыслью, замкнутой въ тѣсномъ кругу своего личнаго бытія, принимаетъ крайне уродливый характеръ.

Исхода нѣтъ... Таковъ обычный припѣвъ потрясенныхъ ужасомъ смерти декадентскихъ героевъ. Я не ставлю вопроса о смыслѣ такихъ рѣшеній для соціальнаго мышленія. Но даже ставъ на точку зрѣнія чистаго индивидуализма, нельзя назвать „трагической безысходностью" тѣхъ фантастическихъ ужасовъ, которые нагромождаетъ, напр., вмѣстѣ съ трупами воображеніе С. Сергѣева-Ценскаго. Но не только трупъ и трагедія, но даже трупъ и смерть—понятія не всегда идентичныя.

А между тѣмъ этотъ унылый мотивъ, это „черное предостереженіе" звучитъ, какъ надгробное рыданіе, почти надъ всей декадентской литературой. Исканіе смысла трепетно замираетъ передъ темнымъ хаосомъ смерти. И въ этомъ трепетномъ чувствѣ гораздо больше слѣпого, животнаго ужаса могилы, нежели робкаго преклоненія передъ всеобщей угрозой смерти. Психологическій анализъ, лишенный реальнаго содержанія, превращается въ игру на нервахъ читателя. Эффектное становится на мѣсто правдиваго.

Единственной заслугой декадентскаго искусства передъ русской художественной литературой являются ихъ успѣхи въ области формы, въ утонченной отдѣлкѣ которой декадентство усматриваетъ единственную, или во всякомъ случаѣ самую важную, задачу искусства. Но и здѣсь чаще встрѣчается пустое и вычурное фразерство, прикрывающееся загадочнымъ глубокомысліемъ — рядъ готовыхъ и мало продуманныхъ словъ, нагроможденныхъ въ крикливыхъ, манерныхъ сочетаніяхъ. И вмѣстѣ

съ мѣщанскимъ пессимизмомъ это—все, что внесла декадентская литература въ нашу новѣйшую беллетристику.

X.

Резюмируя все вышесказанное, мы приходимъ къ такому заключенію.

Декадентство по самой природѣ своей носитъ явно противообщественный характеръ. Оно лишено элементовъ здороваго искусства и въ томъ числѣ главнѣйшихъ эстетическихъ цѣнностей—свободы и радости,—безъ которыхъ искусство лишается всей своей внутренней поэзіи и общественаго смысла.

Декадентство возникло на почвѣ болѣзненныхъ настроеній общественной среды, и какъ продуктъ разложенія, оно отмѣчено всѣми чертами упадочной литературы.

Пестрый распадъ, наблюдаемый теперь внутри декадентства, свидѣтельствуетъ не о его жизнедѣятельности, не о здоровой группировкѣ въ его рядахъ, а о самомъ простомъ и наивномъ эклектизмѣ, который явился результатомъ „аполитической" и „асоціальной" природы новѣйшаго модерна, отрѣзавшей его отъ общенія съ другими классами, живущими болѣе активной и полной жизнью.

Популярные мотивы современнаго творчества, за которыми декадентскіе альманахи спѣшатъ закрѣпить свой пріоритетъ и выпускаютъ ихъ на рынокъ подъ фирмой чистѣйшаго модерна, въ дѣйствительности обусловлены цѣлымъ рядомъ сложныхъ психобіологическихъ и соціальныхъ причинъ и въ корнѣ враждебны декадентству.

Послѣднее не знаетъ любви, какъ источника органическаго и моральнаго обновленія, и наплывъ эротическихъ настроеній въ его засоренныхъ водахъ переходитъ въ культъ организма.

Оно умерщвляетъ сердце поэзіи и культъ илеала, культъ внутренней красоты замѣняетъ погоней за украшеніемъ формы. И если инымъ изъ представителей декаданса и удалось добиться блеска и выпуклости во внѣшней отдѣлкѣ, то у большинства на этой почвѣ создался вкусъ къ манерному, вычурному стилю, за которымъ чаще всего скрывается безсиліе творческой мечты.

„Я цѣлую тебя жертвенно
Въ побѣлѣвшія уста,
Но молитва твоя мертвенна
И пуста".

Это характерное въ своей вздорной и наивной напыщенности четверостишіе Г. Чулкова могло-бы служить подходящимъ эпиграфомъ для всей декадентской литературы.

Л. Войтоловскій.

Н. Троцкій.

Франкъ Ведекиндъ.

Одинъ Петербургскій литературный критикъ посмотрѣлъ Изадору Дунканъ, убѣдился собственными глазами, что она даетъ ощущеніе вѣковѣчной красоты человѣческаго существа, и написалъ: „Можно еще жить". (См. „Товарищъ").

Значитъ дѣйствительно прижали человѣка до послѣдней крайности, если пріѣзжей американской танцовщицѣ пришлось напоминать ему о его правѣ на существованіе. Было бы несправедливо винить въ этомъ печальномъ обстоятельствѣ исключительно охранное отдѣленіе. Я не чувствую себя призваннымъ защищать его. Но я не забылъ вчерашняго дня, когда это самое охранное отдѣленіе и придавало смыслъ существованію: борьба съ нимъ составляла содержаніе жизни. Значитъ совершился процессъ какого-то внутренняго перерожденія, что то оборвалось, что то наросло, возникла какая то „новая мозговая линія" или по крайней мѣрѣ основательно стерлись старыя.

Wie schade, dass alles Schöne vergeht,
Auch deine Hoheit. Die Pubertät
Macht dich den übrigen Flegeln ähnlich.
Der Duft ist hin und du wirst gevönlich. *)

F. Wedekind, „Vergänglichzeit").

Какому-нибудь Кузмину или Еремину, вывернувшему любовь наизнанку, можетъ казаться, что онъ открываетъ человѣчеству совершенно новые пути. На самомъ дѣлѣ новѣйшій фазисъ самоопредѣленія буржуазной интеллигенціи проходитъ такъ „закономѣрно", что даже скучно смотрѣть со стороны. Ни одного оригинальнаго штриха! Ни одной самостоятельной формулы! Всюду историческій рецидивъ, прикрытый литературнымъ плагіатомъ. Никто не отваживается на попытку „самобытной" философской системы. Довольствуются беллетристикой, на девять десятыхъ переводной. На всемъ печать интернаціональнаго рынка. Какъ заѣзжимъ ногамъ американки пришлось вытанцовывать для радикальнаго критика смысль жизни, такъ наспѣхъ переведенныя эротическія произведенія, извлеченныя изъ книж-

*) Какъ жаль, что все прекрасное проходитъ,—даже и твое величіе. Зрѣлость дѣлаетъ тебя подобной всѣмъ прочимъ остолопамъ. Ароматъ исчезъ,—ты становишься обыденной.

ныхъ складовъ Европы, должны утѣшать и ободрять россійскую интеллигенцію, которой исторія дала щелчокъ по носу. Среди европейскихъ писателей, попавшихъ у насъ нынѣ „въ случай", на первомъ мѣстѣ стоитъ Ведекиндъ.

Что такое Ведекиндъ и почему собственно онъ вытѣснилъ „платформу" Союза Союзовъ?

I.

„Обвиняемый Франкъ Ведекиндъ,—такъ характеризуетъ писателя приговоръ берлинскаго суда по поводу драмы „Ящикъ Пандоры",—проживаетъ въ Мюнхенѣ, въ теченіе продолжительнаго времени драматическій писатель. Въ качествѣ таковаго, онъ излюбилъ заимствовать свои темы изъ темныхъ сторонъ человѣческой жизни, въ особенности же—художественно обрабатывать проблемы чисто-половой области".

Своихъ героевъ Ведекиндъ вербуетъ изъ интеллигенціи. Это—поэты, врачи, редактора, драматурги, актрисы, музыканты, атлеты, пѣвцы и сыщики. Ибо сыщиковъ — по крайней мѣрѣ, высшаго полета—тоже приходится отнести къ людямъ „свободныхъ профессій". Пестрая публика, которая однимъ флангомъ соприкасается съ ночлежными домами, а другимъ входитъ въ самые блестящіе салоны. Непремѣннымъ условіемъ ея расцвѣта является большой капиталистическій городъ, этотъ новый соціально-культурный типъ. Милліоны людей обречены здѣсь на тѣсное физическое общеніе. Телефонъ и пневматическая почта, электрическая уличная дорога и автомобиль создаютъ постоянную возможность общенія и передвиженія. Ночь превращается въ день. Обезличивается и исчезаетъ жизнь семьи, создаются новые очаги: ночное café, редакція, variété. Формируется новая психика. Въ мимолетныхъ столкновеніяхъ людей рождаются краткія формулы, торопливая проницательность, стенографическое мышленіе. Ничто не вынашивается и не возводится въ перлъ созданія: ни любовь, ни произведеніе искусства. Системы нѣтъ—есть стиль. Стиля нѣтъ — его замѣняетъ техника. Техника во всемъ: въ музыкѣ, живописи, литературѣ. Она подавляетъ личность, давая ей всюду и вездѣ готовыя формы. Активность перешла въ учрежденіе, личность склонна къ пассивному автоматизму.

Артистическая богема — наиболѣе интернаціональная часть каждой страны. Ея воспроизводительная сила ничтожна, дѣти составляютъ для нея непосильную обузу,—зато она непрерывно пополняется изъ всѣхъ классовъ и главнымъ образомъ изъ провинціальнаго мѣщанства. Одинъ палъ изъ сферъ купеческой аристократіи до роли пѣвца, другой оставилъ отцовскій дворъ, чтобы съ ножемъ въ рукахъ выйти на большую дорогу журналистики. Такимъ образомъ всѣ они такъ или иначе деклас-

рованны. Выходцы, выскочки или неудачники, они лишены соціальныхъ традицій и соціальныхъ привязанностей. За презрительной гримасой или анархической фразой по адресу „существующаго порядка“ у нихъ никогда не будетъ остановки. Дальше этого дѣло, однако, не идетъ. „Существующій порядокъ“ снисходительно взираетъ на нихъ, когда они высовываютъ ему языкъ, и затѣмъ спокойно эксплуатируетъ ихъ въ своихъ цѣляхъ. Кто оказался недостаточно вооруженъ, того сбиваютъ съ ногъ и въ лучшемъ случаѣ ему разрѣшаютъ влачить существованіе въ качествѣ газетнаго кули, тапера или сочинителя рекламъ. Если онъ при этомъ, стиснувъ зубы, проклинаетъ буржуазное общество, это его право. Но его проклятья не интересуютъ никого. Если же онъ—талантъ, ему, прежде чѣмъ достигнуть признанья, приходится продѣлать трудную работу взаимоприспособленія, въ теченіе которой его презрѣніе къ „заказчику“ растетъ въ той же мѣрѣ, какъ и способность приспособляться къ нему. Соціальный цинизмъ съ оттѣнкомъ презрѣнія къ самому себѣ оказывается не только неизбѣжнымъ плодомъ этого процесса, но и становится необходимой формой духовнаго самосохраненія для каждаго художника. Съ другой стороны, буржуазное общество научается понимать, что если оно хочетъ сохранить для своего употребленія крупныхъ художниковъ, писателей и артистовъ, оно должно разрѣшить имъ добрую долю презрѣнія къ себѣ.

„Бѣдный Ведекиндъ!—писалъ въ 1903 г. вѣнскій драматургъ и критикъ Германъ Баръ,—недавно въ Берлинѣ съ „Духомъ Земли“, а теперь здѣсь (въ Вѣнѣ)—неожиданно ты станешь въ концѣ концовъ „излюбленнымъ авторомъ!“. Это трагедія успѣха Трагедія—ибо она показываетъ художнику, что его не боятся. Сатира еще никогда не разрушала соціальныхъ учрежденій. Буржуазное общество можетъ себѣ позволить эту роскошь—и даже наградить отрицателя успѣхомъ. Драма сближенія отрицаемыхъ съ отрицающимъ облегчается цѣлымъ рядомъ посредниковъ—издателемъ, режиссеромъ, актеромъ и критикомъ. Критикомъ—въ особенности.

Недавно вышла драма Ведекинда „Музыка“. По объективному смыслу—это душу раздирающій крикъ протеста противъ того безвыходнаго для дѣвушки противорѣчія, которое современный бракъ съ его офиціальной моногаміей, узаконенными суевѣріями, церковнымъ нимбомъ и абортивными средствами создаетъ между любовью и ея естественными послѣдствіями. Если взять уже—это протестъ противъ того законодательства, которое запрещаетъ женщинѣ избавиться отъ послѣдствій любви и не даетъ ей въ то же время средствъ нести ихъ на себѣ. „812 параграфъ“ доводитъ героиню, ученицу консерваторіи, до тюрьмы, нищеты и безумія.

Эта драма, выпущенная въ свѣтъ, какъ и большинство про-

изведеній Ведекинда, Альбертомъ Лангенъ въ Мюнхенѣ издателемъ Simplicissimus'а выставлена нынѣ въ книжныхъ витринахъ всѣхъ областей нѣмецкаго языка. Оселъ знаетъ ясли господина своего, а издатель знаетъ нравы своей публики. Вотъ какъ рекомендуетъ Лангенъ послѣднее произведеніе Ведекинда въ рекламномъ объявленіи Simplicissimus'а: „Новая драма Ведекинда „Музыка"—рѣзко тенденціозная вещь. Тенденція, лежащая въ основѣ этой картины нравовъ—борьба съ злосчастнымъ изученіемъ музыки, которое все болѣе распространяется съ каждымъ годомъ, убивая умственную дѣятельность несравненно большаго числа людей, чѣмъ число тѣхъ, которые когда-либо получатъ отъ этого изученія художественное наслажденіе". Далѣе слѣдуетъ выкладка: изъ ста ученицъ въ лучшемъ случаѣ одна станетъ серьезной музыкальной силой, а между тѣмъ каждая дѣлаетъ невозможнымъ умственный трудъ minimum для ста душъ. Если такимъ образомъ принять во вниманіе, что на одну дѣйствительно музыкальную фигуру приходится около десяти тысячъ жертвъ, тогда придется привѣтствовать новую драму, какъ мужественное и заслуживающее общей признательности дѣло.

Объявленіе, впрочемъ, — слишкомъ наглая фальсификація, если это только не грубое издѣвательство... столько же надъ публикой, сколько и надъ авторомъ. Но и въ томъ и въ другомъ случаѣ изъ подъ дурацкаго колпака издательской рекламы на насъ глядитъ дѣйствительная физіономія отношеній между „безпощаднымъ отрицателемъ", авторомъ, и соціально-иммунизированной аудиторіи. Они уживаются, и формы ихъ приспособленія настолько же разнообразны, насколько эластична человѣческая психика.

* * *

Обстановка капиталистическаго Вавилона не только опредѣляетъ соціальную тенденцію новѣйшей литературы, но и налагаетъ тяжелую руку на ея художественную оболочку.

Калейдоскопъ индивидуальностей убиваетъ вкусъ къ индивидуальному. Душа не хочетъ дробиться на тысячи переживаній и торопится замѣнить эмоцію поверхностнымъ обобщеніемъ. Глазъ, боящійся растеряться, привыкаетъ игнорировать личное и выдѣляетъ видовое. Ароматъ сантиментальности исчезаетъ изъ личныхъ отношеній. Но тонко въ жизни души только личное. Видовое всегда вульгарно, какъ любовь, которую покупаютъ на улицѣ. Отсюда грубый типизмъ,—сознательная и утрированная вульгарность, которые сперва оскорбляютъ, а затѣмъ покоряютъ—вы найдете ихъ въ произведеніяхъ Октава Мирбо, на страницахъ L'assiette au beurre или Simplicissimus'а. Но индиви-

дуальное не исчезаетъ. Оно уходитъ съ поверхности и становится болѣе интимнымъ, наконецъ безплотнымъ. Таковы герои Метерлинка. Соединеніе интимнаго съ вульгарнымъ и есть, можетъ быть, наиболѣе общая черта новѣйшаго искусства. Одинъ критикъ выразился о танцовщицѣ Saharet, что она выглядитъ, какъ Миньона, ведетъ себя на подмосткахъ, какъ обезьяна, и въ то же время передаетъ мимоходомъ нѣжнѣйшія ощущенія. Герои Ведекинда—соединеніе безплотныхъ образовъ Метерлинка съ обезьяной Saharet. Повторяемъ: можетъ быть это искусство и есть наиболѣе выразительный продуктъ новѣйшей культуры большихъ городовъ.

* * *

Если вы откроете „Четыре времени года“ *), вы найдете въ этомъ сборникѣ своеобразнѣйшей лирики какое то родство съ „Книгой пѣсенъ“ Не сходство формы,—хотя и оно несомнѣнно,—а близость духа. То же соединеніе романтики, которая иронизируетъ надъ собою, и дерзкаго реализма, который хочетъ ввысь. И вмѣстѣ — какое необъятное различіе! Цѣлая историческая эпоха пролегла между ними.

Гейне складывается въ религіи свободы. Онъ отрицаетъ бога и загробную жизнь, потому что не нуждается въ нихъ. Онъ не мѣряетъ времени брабантскимъ или гамбургскимъ аршиномъ, каждую минуту онъ превращаетъ въ безконечность, завоевывая себѣ царство въ прошедшемъ и будущемъ. Революціонный барабанщикъ молодой Германіи, онъ съ восторгомъ привѣтствуетъ іюльскіе дни: „Какое, вѣроятно, великолѣпное зрѣлище, когда Лафайэтъ проѣзжаетъ по парижскимъ улицамъ—онъ, гражданинъ обоихъ полушарій, богоподобный старецъ, серебряныя кудри котораго волнами падаютъ на священныя плечи“...

Но уже черезъ десять лѣтъ, въ Парижѣ, Гейне пришлось убѣдиться, что на самомъ дѣлѣ вещи выглядѣли совсѣмъ не такъ, какъ они ему представлялись въ ореолѣ его собственнаго энтузіазма. Серебряные волосы, которые онъ такъ щедро разсыпалъ по плечамъ богоподобнаго Лафайэта, героя обоихъ міровъ, превратились при близкомъ разсмотрѣніи, въ „парикъ коричневаго цвѣта, скудно прикрывающій узкій черепъ“.

Движеніе пролетаріата, не какъ частность общественной механики, а какъ вопросъ міровой культуры, встало предъ поэтомъ—предъ интеллигенціей вообще—и потребовало отвѣта

Много лѣтъ спустя, переживъ революцію 48 года, іюньскую расправу Кавеньяка, переворотъ Бонапарта, побѣдоносную контръ-революцію въ Германіи, Гейне обощилъ свое двойствен-

*) F. Wedekind, «Die vier Iahreszeiten». Gedichte. 1905.

ное отношеніе къ революціонному коммунизму: „ихъ время еще не наступило, но спокойное выжиданіе не есть потеря времени для людей, которымъ принадлежитъ будущее. Это признаніе, что будущее принадлежитъ коммунистамъ, было сдѣлано мною самымъ осторожнымъ и боязливымъ тономъ,—и увы!—этотъ тонъ отнюдь не былъ притворнымъ. Дѣйствительно только съ ужасомъ и трепетомъ думаю я о времени, когда эти мрачные иконоборцы достигнутъ господства; своими грубыми руками они безпощадно разобьютъ всѣ мраморныя статуи красоты, столь дорогія моему сердцу; они разрушатъ всѣ тѣ фантастическія игрушки искусства, которыя такъ любилъ поэтъ; они вырубятъ мои олеандровыя рощи и станутъ сажать въ нихъ картофель...— и увы!...—изъ моей „Книги пѣсенъ“ бакалейный торговецъ будетъ дѣлать пакеты и всыпать въ нихъ кофе или нюхательный табакъ для старыхъ бабъ будущаго...

„И несмотря на это — сознаюсь откровенно—этотъ самый коммунизмъ, до такой степени враждебный моимъ склонностямъ и интересамъ, производитъ на мою душу чарующее впечатлѣніе, отъ котораго я не могу освободиться“...

Конечно, Гейне могъ не опасаться того, что варварскіе лавочники коммунизма израсходуютъ его пѣсни на оберточную бумагу,—уже хотя бы потому, что коммунизмъ получитъ въ наслѣдство совершенно достаточное для хозяйственныхъ потребностей количество макулатуры отъ вѣнчанныхъ колпаковъ офиціальной науки, поэтовъ лошадинаго топота національныхъ традицій и всей прочей духовной челяди сегодняшнихъ господъ. Но двойственное отношеніе великаго поэта къ коммунизму имѣло болѣе глубокія психологическія причины, чѣмъ страхъ за судьбу своихъ пѣсенъ,—и въ теченіе всего послѣдняго полувѣка эта двойственность опредѣлила судьбу отношеній лучшей части буржуазной интеллигенціи къ пролетаріату. Его борьба съ богами и князьями стараго міра, которые такъ долго преслѣдовали мысль и съ которыми она собственными силами не могла справиться, его возстаніе противъ самодержавія золотыхъ тельцовъ и золотыхъ ословъ, которые требуютъ, чтобъ все искусство и вся наука блеяли и мычали заодно съ ними, будитъ сочувственный откликъ въ каждой творческой душѣ. Но добровольно-суровая дисциплина, но компактный духъ массовой солидарности, но безыменное упорство и анонимный героизмъ безконечно чужды полуэстетическому, полуневрастеническому индивидуализму современнаго художника. Онъ колеблется между вѣрой и невѣріемъ,—и безразличіе становится его удѣломъ подъ фирмой пессимизма или скептицизма.

Уже періодъ побѣдоносной контръ-революціи и буржуазнаго отрезвленія въ Германіи призвалъ къ власти надъ умами философію пессимизма. Произведенія Шопенгауэра, не находившія сбыта въ до-революціонную эпоху, теперь были извлечены изъ

книжныхъ амбаровъ. Пессимизмъ обезцѣнивалъ всѣ „высшія“ цѣнности только затѣмъ, чтобы дать „образованному обществу“ возможность расплеваться со старыми идейными обязательствами. Такимъ образомъ философскій пессимизмъ былъ ничѣмъ инымъ, какъ орудіемъ политической кастраціи. Когда операція была произведена, пессимизмъ естественно смѣнился болѣе портативнымъ скептицизмомъ. „Быть готовымъ на все—въ этомъ, можетъ быть, и состоитъ мудрость. Предаваться, смотря по времени, довѣрчивости, скептицизму, оптимизму, ироніи — вотъ средство быть увѣреннымъ въ томъ, что хотя бы минутами мы не ошибались“. Такова законченная ренановская формула скептицизма—этого полового безсилія мысли. Нелишне будетъ, вѣроятно, напомнить, что самъ Ренанъ, котораго у насъ такъ старательно распространяютъ въ плохихъ переводахъ и въ еще худшихъ фальсификаціяхъ, представляетъ собою продуктъ крушенія принциповъ 89 года. Положительная наука разбила его вѣру въ стараго личнаго бога, почетнаго предсѣдателя католической церкви, а событія 48—51 гг. разрушили его вѣру въ принципы революціи и демократіи. Когда пролетаріатъ, вынесшій іюньскіе дни, издѣвался надъ горестными поминками демократовъ по республикѣ Кавеньяка, Ренанъ разочаровался въ „народѣ“. Онъ сталъ чистымъ типомъ безкорыстнаго мыслителя—безкорыстнаго въ абсолютномъ смыслѣ слова, т. е. совершенно не заинтересованнаго въ результатахъ собственнаго мышленія. Стиль произведенія для него всегда важнѣе содержанія, такъ же какъ форма мышленія важнѣе его объекта и вывода. Его холодный энтузіазмъ къ истинѣ, къ интенсивной культурѣ духа, есть только изящная форма его безразличія. Всякій человѣкъ имѣетъ право обманывать себя на свой образецъ — вотъ руководящій принципъ его философской критики. Важно только, чтобы люди обманывали себя не слишкомъ грубо, крикливо и безпокойно. Впрочемъ, если нѣтъ благословеній, можно примириться и съ проклятіями—особенно, если они хорошо стилизированы *).

Умонастроеніе Ренана распространилось гораздо шире, чѣмъ знакомство съ его взглядами. Крахъ демократіи привелъ къ тому что общественные интересы превратились въ достояніе профессіональной касты, политика стала вульгарнымъ искусст-

---

*) Ренановскую философію банкротства и пассивности, написанную неподражаемымъ французскимъ языкомъ, гг. Струве и Франкъ пытались въ трижды покойной „Полярной Звѣздѣ“ перевести на тощій языкъ своей философской ограниченности. Это, конечно, нѣчто большее, чѣмъ плохой переводъ: это траурное философское предвосхищеніе, заблаговременная политическая эпитафія. Когда доктринеры партіи, объективно вынужденной симулировать признаки жизни, обворовываютъ философію политическаго равнодушія для своего Credo, тогда запахъ философскаго плагіата заглушается трупнымъ запахомъ заживо-гніющаго либерализма.

вомъ. Съ другой стороны, эстетическій восторгъ предъ суровыми иконоборцами и свѣжее чувство страха предъ ихъ вандализмомъ очень быстро износились и уступили мѣсто литературно округленному безразличію. Но созерцательный скептицизмъ Ренана со своимъ полуироническимъ почтеніемъ ко всѣмъ завоеваніямъ человѣческаго духа, какъ и потусторонній пессимизмъ Шопенгауэра, не устоялъ въ вихрѣ соціальныхъ страстей. Демократическіе принципы—въ отрепьяхъ, пролетарскія массы не вѣрятъ старымъ словамъ, капиталистическая эксплуатація подло оголена, кулакъ напряженъ противъ кулака, — эстетическое равнодушіе „умственной аристократіи" впитало въ себя возбуждающій ядъ цинизма. Это — литература декаданса.

Въ рамкахъ политическаго распада буржуазной демократіи, общаго разложенія ея философіи и эстетики, были свои приливы и отливы, были групповыя попытки начать сначала. Лѣтъ пятнадцать-двадцать тому назадъ, когда германская соціалдемократія въ ореолѣ непобѣдимости вырвалась изъ кандаловъ исключительнаго закона, къ ней потянулось молодое поколѣніе художниковъ, взрастившее Гауптмана. Они шумно вырвались изъ скверныхъ каморокъ мѣщанской семьи, гдѣ воняетъ жадностью, глупостью и дѣтскимъ бѣльемъ, глубоко вдохнули свѣжій воздухъ отрицанія и думали покорить міръ. Они казались себѣ пророками пролетаріата.

Drum her, o her zu mir,
Die ihr beladen seid!
Mein Reich ist ja von hier!
Mein Reich ist diese Zeit!
Der Knechtschaft Dorngestäuch,
Mein Schwert soll es zerkrachen,
Ich will aus Sklaven euch
Zu freien Menschen machen! *)

Сближеніе искусства съ соціализмомъ, однако, скоро оборвалось, поэты ушли одинъ за другимъ. Почему? Потому что, гордо объяснялъ одинъ изъ нихъ, „партія была партіей, а мы были художниками". Гауптманъ продѣлалъ эволюцію къ мистикѣ „одинокаго", другіе попытались синтезировать Христа съ маркизомъ де-Садомъ, третьи перешли на водевиль. Франкъ Ведекиндъ принадлежитъ къ этому поколѣнію.

Соціальный нигилизмъ заставляетъ всѣхъ ихъ непрерывно вращаться вокругъ собственной оси. Со словами гордаго презрѣнія на устахъ они безпомощно, какъ слѣпые котята, мечутся изъ угла въ уголъ, движимые страхомъ смерти и ин-

*) Такъ пѣлъ Арно Гольцъ: „Поэтому—сюда, сюда ко мнѣ, вы, обремененные! Царство мое отъ міра сего! Царство мое отъ времени сего! — Терновый вѣнецъ рабства да будетъ разсѣченъ моимъ мечемъ, изъ рабовъ я хочу сдѣлать васъ свободными людьми!"

стинктомъ пола. Эротизмъ создаетъ для нихъ временно жизненную философію.

„Единственный чистый небесный цвѣтокъ въ загаженномъ потомъ и кровью терновомъ кустарникѣ жизни—солнцемъ осіянное, смѣющееся чувственное наслажденіе... Ибо оно — единственное неомраченное счастье, единственная чистая полная радость, какую предлагаетъ намъ земное бытіе“ (Wedekind, „Totentanz“).

Отрицаніе, сатира, нерѣдко безжалостная, но всегда отказывающаяся отъ соціальныхъ выводовъ—вотъ атмосфера, которою они дышатъ. Глумящійся и шумный нигилизмъ, невѣріе въ судьбу общественныхъ отношеній, съ неотвратимой силой влечетъ ихъ—черезъ эротизмъ—къ мистицизму: если нѣтъ надежды на то, что коллективный человѣкъ осмыслитъ свою жизнь здѣсь, на землѣ, то индивидуальному человѣку остается искать смысла только въ небѣ.

Шопенгауэръ, какъ предтеча дома утѣхъ, и домъ утѣхъ, какъ предтеча церкви.

II.

Des Weibes Leib ist ein Gedicht,
Das Gott der Herr geschrieben
Ins grosse Stammbuch der Natur,
Als ihn der Geist getrieben.

H. Heine.

У Ведекинда — циника и скептика есть свой культъ. Разумѣется, не соціальный, не этическій, а эстетическій. Онъ боготворитъ красивое человѣческое тѣло, вѣрнѣе, женское тѣло, благородную посадку головы, плавность и законченность движеній. Преклоненіе предъ совершенствомъ тѣла проходитъ неизмѣнно чрезъ все, что когда-либо писалъ Ведекиндъ — неизмѣнно и почти однообразно. Въ этой области для него нѣтъ ничего неяснаго. Онъ продумалъ свои мысли до послѣднихъ деталей. По его произведеніямъ можно прослѣдить съ какимъ упорствомъ онъ въ теченіе ряда лѣтъ размышлялъ надъ механикой походки.

На своемъ эстетическомъ культѣ Ведекиндъ строитъ систему воспитанія. Впрочемъ, это слишкомъ сильно сказано: система воспитанія. Mine-Haha есть нѣчто среднее между „воспитаніемъ молодыхъ дѣвушекъ“ и тренировкой мускулатурю.

До девяти-десятилѣтняго возраста дѣвочки и мальчики живутъ совмѣстно. Они спятъ въ общей спальнѣ и цѣлыми часами барахтаются въ прудѣ. Прекрасная Гертруда учитъ ихъ ходить. О, это не простое искусство! Гертруда приподнимаетъ слегка колѣно и выбрасываетъ впередъ конецъ ноги; затѣмъ

она медленно опускаетъ пяту, но земли касается не раньше, чѣмъ ступня вплоть до большого пальца образуетъ прямую линію съ голенью. Ея полное круглое, но нѣжно оформленное колѣно распрямляется въ тотъ самый моментъ, когда пята касается земли. Но главное—это бедра. Они должны при ходьбѣ оставаться совершенно спокойными. И въ то же время всѣ движенія, какъ въ верхней части тѣла, такъ и въ ногахъ, вплоть до кончиковъ пальцевъ, должны исходить изъ бедръ и ими управляться. При ходьбѣ—такъ учила прекрасная Гертруда—не нужно ощущать земли подъ ногами, не нужно чувствовать, самихъ ногъ, нужно только чувствовать, что имѣешь бедра. Сама Гертруда была совершеннымъ воплощеніемъ своего искусства. Когда она двигалась на васъ, вамъ совершенно не казалось, что у нея есть тѣло извѣстной тяжести. Вы видѣли только формы. И самыя формы вы почти забывали изъ-за красоты движеній.

Къ десяти годамъ дѣвочекъ и мальчиковъ раздѣляютъ. Гидалла (Hidalla), которая ведетъ разсказъ, попадаетъ въ огромный паркъ, населенный дѣвочками въ возрастѣ отъ десяти до четырнадцати лѣтъ. Въ паркѣ тридцать одноэтажныхъ домиковъ, въ каждомъ — семь дѣвочекъ различнаго возраста. Онѣ занимаются гимнастикой, учатся танцамъ, плаванію и музыкѣ. Паркъ—ихъ міръ. Что дѣлается за его стѣнами, откуда и какъ онѣ сами пришли въ этотъ міръ,—для нихъ абсолютная тайна, а гармоническое спокойствіе жизни создаетъ полную безмятежность маленькихъ душъ и позволяетъ не задаваться никакими вопросами. Четыре года дѣвочки проводятъ въ паркѣ, танцуютъ, играютъ на разныхъ инструментахъ, ходятъ на рукахъ, ныряютъ въ своемъ ручьѣ,—и только наступленіе половой зрѣлости нарушаетъ равновѣсіе тѣла и духа. Но съ этимъ моментомъ кончается періодъ воспитанія. Дѣвочки выводятся изъ парка, встрѣчаются съ мальчиками такого же возраста и уходятъ съ ними по парно. Куда?.. Но на этомъ обрывается разсказъ Гидаллы.

Mine-Haha это „тѣлесное воспитаніе молодыхъ дѣвушекъ". Такъ оговариваетъ свою систему самъ Ведекиндъ. Но гдѣ же душевное воспитаніе? О немъ не говорится. Мало того, для него не оставлено ни одной щели. Все время поглощено физическими упражненіями и музыкой. Ни книгъ, ни бумаги, ни чернилъ! И это не случайность, что все воспитаніе женщины въ идеалѣ Ведекинда сводится къ эстетическому культу тѣла. Когда онъ говоритъ о совершенной женщинѣ, о расовой женщинѣ, которая представляетъ собою „произведеніе искусства въ лучшемъ смыслѣ этого слова", предъ нимъ всегда стоитъ только законченное воплощеніе идеи пола. „Женщина, которая добываетъ средства существованія любовью, все еще выше стоитъ въ моемъ уваженіи, чѣмъ женщина, которая унизилась до того, что пишетъ фельетоны и даже книги",—этими словами Гидалла только выражаетъ основную мысль всей системы Mine-Haha.

Женщина, павшая до умственнаго труда, ниже той, что торгуетъ своими бедрами.—Какая дерзость!.. Но точно дерзость ли? Вѣдь въ сущности и здѣсь, какъ во многихъ другихъ вопросахъ, Ведекиндъ только съ нравственнымъ цинизмомъ эстета, которому все позволено, высказываетъ вслухъ то, что на половину думаетъ про себя каждый филистеръ.

Полемизировать противъ этихъ банальныхъ предразсудковъ, которымъ взвинченная парадоксальность формы придаетъ видъ дерзкой парадоксальностн, значитъ самому впадать въ банальность. Гораздо интереснѣе повернуть систему Mine-Haha вокругъ ея оси и взглянуть на нее совсѣмъ съ другой точки зрѣнія.

Ведекиндъ ищетъ тѣлесной красоты. Онъ не находитъ ее въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ живетъ. И онъ строитъ свой идеальный міръ, онъ пишетъ Mine-Haha. Основу его исканій составляетъ въ послѣднемъ счетѣ очень ограниченная мысль: онъ хочетъ, чтобъ у женщины была эластичная мускулатура, чтобъ бедра были спокойны при ходьбѣ, чтобъ колѣно распрямлялось не раньше, чѣмъ пятка коснется земли. И въ поискахъ за красотой физическихъ отношеній Ведекиндъ приходитъ къ полному отрицанію современной семьи—по крайней мѣрѣ, поскольку дѣло идетъ объ отношеніи между родителями и дѣтьми. Онъ даетъ картину соціализированнаго воспитанія дѣтей. Уже въ началѣ пятаго года жизни мальчики и дѣвочки пріучаются ухаживать за младенцами. Годомъ-двумя позже каждое дитя получаетъ своего питомца, котораго оно—подъ общимъ руководствомъ взрослой няни—должно держать въ чистотѣ, выносить на цѣлый день въ садъ или въ деревянную галлерею, если идетъ дождь, и давать ему рожокъ. Такимъ образомъ уже въ самомъ молодомъ возрастѣ послѣдовательныя поколѣнія дѣтей воспитываютъ другъ друга.

Среди дѣвочекъ въ паркѣ царилъ тотъ же порядокъ. Во главѣ каждой группы стояла дѣвочка лѣтъ 13—14. Она обучала другихъ гимнастикѣ, распредѣляла пищу за столомъ и руководила бесѣдами. Сверхъ того каждая новенькая поступала подъ спеціальный надзоръ одной изъ болѣе взрослыхъ.

Эти указанія мимоходомъ разбросаны Ведекиндомъ тамъ и сямъ, среди тщательныхъ и любовныхъ описаній костюма, ѣды и пляски. И тѣмъ не менѣе мысль невольно задерживается на нихъ. Картина этого огромнаго дѣтскаго муравейника, гдѣ въ тѣсномъ соприкосновеніи и сотрудничествѣ растутъ и распрямляются молодыя тѣла и сердца, гдѣ первыя знанія и помощь такъ же естественно передаются отъ возраста къ возрасту, какъ вода стекаетъ по ступенямъ лѣстницы,—эта прекрасная картина, несмотря на всѣ ошибки перспективы, поражаетъ взоръ! Какая разница по сравненію съ современной обычной семьей, гдѣ общимъ узломъ экономической зависимости насильственно связаны два отдѣленныя другъ отъ друга полужизнью поко-

лѣнія, которыя такъ часто становятся другъ другу поперекъ пути.

Культъ тѣла, борьба за его совершенство, приводитъ художника къ провозглашенію соціалистическихъ условій воспитанія! Этотъ фактъ съ одинаковой силой говоритъ и о художественной чуткости Ведекинда и о внутренней неотразимости соціалистическихъ формъ существованія.

Но остается еще вопросъ о соціальной оправѣ, въ которую поэтъ вставляетъ свой гармоническій мірокъ.

Ведекиндъ близко подходитъ къ вопросу о производительной работѣ дѣтей. Прежде всего воспитаніе старшими младшихъ есть огромный производительный трудъ, перенесеніе котораго на самихъ дѣтей не только внесетъ несравненно больше гармоніи въ жизнь малыхъ сихъ, но и облегчитъ взрослыхъ, освободивъ ихъ творческія силы отъ хозяйственныхъ путъ, налагаемыхъ нынѣшней кухонно-лазаретно-прачешной семьей. Но не только это. Hidalla разсказываетъ мимоходомъ, что дѣти 6—9 лѣтъ плели у двери своего дома солому для своихъ лѣтнихъ шляпъ въ то время, какъ у ногъ ихъ, на пескѣ, играли малютки. А остальныя работы? Кто готовитъ пищу? Убираетъ въ домѣ? Стираетъ бѣлье? Эти работы не такъ изящны, какъ плетенье шляпъ съ широкими полями, и безпомощный авторъ призываетъ себѣ на помощь двухъ отвратительныхъ старухъ. Откуда онѣ? Это бывшія воспитанницы, находящіяся здѣсь въ вѣчномъ заточеніи за проступки противъ основныхъ правилъ парка. Наивно и неуклюже, какъ сказаніе объ аистѣ, приносящемъ дѣтей. Но что другое можетъ предложить Mine-Haha? Однако, и старухи не рѣшаютъ вопроса. Какова связь парка съ внѣшнимъ міромъ? Кто доставляетъ все необходимое? На какія средства существуетъ весь институтъ? Ведекиндъ строитъ при своемъ паркѣ театръ. Каждый вечеръ тамъ дается балетное представленіе. Ничего не понимающія дѣвочки подъ руководствомъ своей учительницы танцевъ разыгрываютъ крайне откровенныя пантомимы. Эта послѣдняя подробность понадобилась Ведекинду, очевидно, для того, чтобы объяснить, почему театръ былъ всегда полонъ. Но если даже принять эту систему цѣликомъ— вплоть до оплаты дѣвочками своего воспитанія участіемъ въ пантомимахъ изъ Moulin rouge, и тогда придется придти къ выводу, что Mine Haha — воспитаніе для немногихъ. Иначе въ странѣ было бы слишкомъ много балетовъ, и обезпечить „физическое воспитаніе молодыхъ дѣвушекъ" можно было бы не иначе, какъ сдѣлавъ для всего остального населенія посѣщеніе балетовъ принудительнымъ.

Безпокойный эстетизмъ Ведекинда, раскрывающій передъ нимъ маленькій уголокъ будущаго, оставляетъ его безпомощнымъ у воротъ парка. Любовь къ пластическимъ формамъ недостаточна, чтобъ перевернуть міръ.

III.

Jch liebe die Liebe, die ernste Kunst,
Urewige Wissenschaft ist—(„Lulu“)
Я люблю любовь, это серьезное искусство,
Эту вѣковѣчную науку.

An hundert Weiber hatt' ich wohl im Sold,
Mit denen ich mein Gut und Blut vertolt,
Die schönsten Nymphen in modernen Babel,
Und ich blieb leer, vom Scheitel bis zum Nabel.
(„Das tote Meer“).

Сотня женщинъ была у меня на жалованьи—
Прекраснѣйшія нимфы въ современ. Вавилонѣ,
Съ которыми я промоталъ свое достоянье и свое здоровье,—
И остался пустъ, отъ темени до пупка.

Ведекиндъ продѣлалъ внутреннюю эволюцію—мы говоримъ о ней исключительно на основаніи его литературныхъ произведеній,—замѣчательную по своей опредѣленности и соціально-психологической типичности. Плотскій эстетизмъ и соціальный цинизмъ, какъ предпосылка и результатъ всѣхъ его душевныхъ опытовъ, исчерпали до дна свое содержаніе и перешли въ свою противоположность. Трусливымъ мистикомъ сталъ дерзкій отрицатель!

Въ „Пробужденіе весны“, одномъ изъ раннихъ своихъ произведеній, онъ подстерегаетъ первыя робкія движенія пола. Здѣсь все трогательно, безпомощно и прекрасно въ своей безпомощности, потому что полно возможностей. Даже такія трагедіи, какъ самоубійство Морица и убійство Вендлы не нарушаютъ общаго впечатлѣнія весны, потому что кажутся внѣшними несчастіями, вызванными безсмысленной школой и уродливой семьей, проклятой двойной цѣпью изъ ржавыхъ звеньевъ. Какое это эстетическое кощунство— ставить „Пробужденіе весны“ на сценѣ, гдѣ среднихъ лѣтъ господа съ бритыми физіономіями должны симулировать изломъ дѣтскаго голоса на юношескій!

Но полъ пробудился и расправилъ крылья. Онъ порвалъ на себѣ—по крайней мѣрѣ, ему такъ кажется—цѣпи старой семьи, онъ поставилъ себя—по крайней мѣрѣ, онъ такъ воображаетъ—выше всѣхъ соціальныхъ ограниченій. Ни религіи, ни философіи, ни соціальнаго идеала. Только непрерывный рядъ эстетическихъ переживаній—такова свита, въ сопровожденіи которой выступаетъ полъ. Еще шагъ—и онъ становится „Духомъ Земли“.

Это уже не маленькая Вендла, которая требуетъ, чтобъ ей разгадали загадку аиста, теперь это прекрасная, какъ грѣхъ,

Лулу. Гибкая, какъ змѣя, трепещущая чувственностью въ каждомъ движеніи, думающая бедрами, обнаженная въ каждомъ нарядѣ, не знающая ни жалости, ни сомнѣнія, ни угрызенія совѣсти, она стихійна, какъ полъ, воплощеніемъ котораго она стоитъ предъ міромъ. Она—злой духъ земли. Пассивная, какъ пассивенъ магнитъ, вокругъ котораго распредѣляются желѣзныя опилки, Лулу сѣетъ вокругъ себя адскую страсть, непреодолимымъ безуміемъ пола заражаетъ стариковъ и юношей, разбитыми существованіями и трупами отмѣчаетъ свой побѣдный путь. Ея первый мужъ умираетъ отъ удара, застигнувъ ее съ любовникомъ-художникомъ. Художникъ становится ея мужемъ и перерѣзываетъ себѣ бритвой горло, когда старый любовникъ Лулу, редакторъ Шенъ, открываетъ ему глаза. Въ свою очередь Шенъ застаетъ свою жену въ обществѣ цирковаго атлета, гимназиста и собственнаго сына, литератора. Лулу убиваетъ мужа изъ револьвера. Никто и ничто не можетъ обуздать эту прекрасную бестію,—и обезсиленный Ведекиндъ передаетъ ее въ руки полиціи.

Но и полиціи не удается справиться съ духомъ земли. Лулу убѣгаетъ изъ тюрьмы, чтобъ выполнить до конца свое предназначеніе. Вотъ она снова передъ нами въ „Ящикѣ Пандоры". Она овладѣваетъ литераторомъ Альва Шеномъ, сыномъ своего третьяго мужа, и скрывается съ нимъ въ Парижѣ, окруженная игроками, кокотками, банкирами и сыщиками. Состояніе Шена истощается гораздо скорѣе, чѣмъ злыя чары Лулу. Она убѣгаетъ въ Лондонъ, живетъ на чердакѣ и продаетъ себя на улицѣ. При ней ютится Альва Шенъ, полусгнившій обломокъ ея прошлаго. Въ концѣ концовъ Лулу приводитъ къ себѣ Джека потрошителя и падаетъ подъ его ножомъ. Неутомимая жрица пола, она гибнетъ на кровавомъ алтарѣ иступленной чувственности.

Три драмы—три фазы въ жизни пола и три этапа въ творчествѣ Ведекинда. Сперва робкіе трепетанія, даже въ болѣзненности своей обвѣянныя ароматомъ юности. Это—„Пробужденіе весны", лучшее произведеніе Ведекинда.

Но этотъ этапъ остается вскорѣ позади. Его смѣняетъ неограниченное царство пола. Существуетъ фотографія, изображающая Лулу на шеѣ Ведекинда. Лулу въ костюмѣ Пьеро, лѣвый башмачекъ упирается въ кисть писателя, лежащую на колѣнѣ. Какая безсознательная увѣренность на ея лицѣ и радостная покорность на его! Полъ царитъ. Онъ неистощимъ въ созданіи новыхъ комбинацій! Онъ знаетъ одну мораль:

Greife wacker nach der Sünde
Aus der Sünde wächst Genuss! („Erdgeist").

И, наконецъ, послѣдній этапъ. Въ сущности, нигдѣ самовластье пола не достигаетъ такихъ размѣровъ, какъ здѣсь. Оно освобождается отъ всякихъ ограниченій. Полъ расправился съ эсте-

тикой, какъ раньше съ традиціей и вѣрой. Оголенный, злобный, онъ рыщетъ по улицамъ и ловитъ прохожихъ за край платья. Онъ истощаетъ себя до дна и въ стремленіи проложить себѣ новый путь, онъ вооружается ножемъ и погружаетъ его въ тѣло женщины. Ведекиндъ уже не служитъ теперь покорнымъ пьедесталомъ для царственной Лулу. На мюнхенской сценѣ онъ, какъ актеръ, играетъ Джека-Потрошителя.

На этомъ пути все взято, что можно было взять, и итогъ подведенъ кровавой чертой.

„Что мнѣ еще дѣлать на свѣтѣ, если и чувственное наслажденіе—ничто иное, какъ адское мучительство человѣка, какъ сатанинское живодерство, подобно всему остальному земному бытію! Итакъ, исчезаетъ единственный божественный лучъ свѣта, пронизывающій страшную ночь нашей мученической жизни" (Totentanz).

Эволюція въ своей основѣ крайне элементарна: въ сущности, рѣшающій голосъ принадлежитъ физіологіи возраста. Но конечный результатъ несравненно содержательнѣе: это не просто банкротство эстетическаго эротизма, а прахъ цѣлой жизненной философіи. Что же остается? Психическая потребность установить какой-то контроль, высшую цензуру надъ элементарнымъ ритмомъ жизни.

„Цензура" — такъ и называется одноактная „теодицея" Ведекинда, напечатанная надняхъ въ еженедѣльникѣ В. Зомбарта и Г. Брандеса „Morgen".

„Намъ необходима духовная связь между нами",—говоритъ литераторъ Буриданъ своей возлюбленной.

Что это значитъ? восклицаетъ прекрасная Кадидя. Заниматься философіей? „Я этого не сдѣлаю уже по той простой причинѣ, что это было бы мнѣ не къ лицу".

Уже восемнадцать мѣсяцевъ, какъ они вмѣстѣ. Уже прошелъ первый періодъ страсти, которая не оглядывается и не спрашиваетъ. Уже не рѣдки моменты, когда онъ не замѣчаетъ ея, хотя она совсѣмъ близко стоитъ передъ нимъ. Кадидя — облагороженная и углубленная Лулу. Жизнь чувства для нея вся жизнь. Литературное творчество, отъ котораго оторвался Буриданъ для нея и къ которому порывается вернуться, чувствуется ею, какъ помѣха. И въ свою очередь Буриданъ видитъ помѣху въ своихъ отношеніяхъ къ Кадидѣ. Онъ любитъ ее. Его страшитъ одна мысль потерять ее. И въ то же время онъ чувствуетъ себя физически связаннымъ—не столько автоматизмомъ семейно-домашней обстановки, сколько автоматизмомъ самыхъ любовныхъ отношеній. Онъ хочетъ больше простора, больше свободы отъ другого существа, которое удовлетворяетъ только одну часть его природы, а заявляетъ требованіе на него цѣликомъ. И Ведекиндъ—тотъ самый, который писалъ, что женщина, продающая свое тѣло, въ его глазахъ все еще выше женщины, павшей до умственнаго труда, Ведекиндъ, который растворилъ

воспитаніе дѣвушки въ гармоническомъ упражненіи икръ, говоритъ со стономъ своей Кадидѣ: „Намъ необходима духовная связь между нами“...Что это: возрожденіе? или банкротство? Нѣтъ, только банкротство. И Кадидя понимаетъ это. Послѣ отчаянной попытки увлечь его снова своимъ тѣломъ, она освобождаетъ Буридана. „Я посѣяла вражду между тобою и міромъ твоихъ мыслей; я возвращу тебя твоимъ мыслямъ“. И она бросается на мостовую. Но этимъ она освобождаетъ только себя, не Буридана.

Und ist erst Seelenleben entweibt,
Dann sind sämtliche Lampen erloschen.
Für das, was für mich dann noch übrig bleibt,
Dafür gebe ich nicht einen Qroschen *).

Я отождествляю Буридана съ Ведекиндомъ не потому только, что Ведекиндъ—самый субъективный изъ писателей, но потому что онъ самъ придаетъ своему субъективизму личный характеръ: Буриданъ говоритъ о себѣ какъ объ авторѣ „Пандоры“. Его судьба — трагическій протестъ противъ того циническаго эпикуреизма, который замѣнялъ жизненную философію автору „Четырехъ временъ года“ *). Еще до самоубійства Кадиди Буриданъ дѣлаетъ попытку поставить всю свою жизнь подъ высшую „цензуру“. Гдѣ онъ ищетъ ея? Не въ наукѣ, не въ соціальной борьбѣ, не въ морали. Въ церкви, у католическаго бога, у мюнхенскихъ поповъ ищетъ высшаго смысла жизни циникъ и отрицатель. Онъ приглашаетъ къ себѣ священника, чтобъ поговорить съ нимъ о церковномъ вѣнчаніи съ Кадидей. „Я не знаю на свѣтѣ ничего болѣе достойнаго сожалѣнія, — говоритъ онъ представителю церкви, — чѣмъ глупецъ, который не вѣритъ въ бога“. „Съ самаго ранняго дѣтства ищу я согласія съ вашимъ царствомъ. Съ раннихъ лѣтъ ищу я единомыслія съ тѣми, которымъ открыты вѣчныя истины! Вы не представляете себѣ, какъ горячо, какъ ревностно стремится душа моя къ тому царству, въ которомъ вы имѣете завидное счастіе дѣйствовать и бороться! Чего бы я не далъ въ этотъ моментъ, чтобъ помѣняться съ вами мѣстами! „И когда нетерпимый попъ отталкиваетъ протянутую за духовнымъ подаяніемъ руку, и когда Кадидя бросается съ балкона на мостовую Буриданъ кричитъ, извиваясь въ корчахъ, какъ придавленный сапогомъ червякъ: „Онъ не позволяетъ издѣваться надъ собою! Онъ не позволяетъ искушать себя!.. О, Боже!.. О, Боже, какъ неисповѣдимъ Ты!..“ Какой вопль сиротливаго безсилія, трусости и духовной нищеты! И это послѣ столѣтія разрушеній и отрицаній. Жалкій, нищенскій, позорный результатъ!

---

*) И если женщина покинула жизнь моей души, тогда потухли для меня всѣ лампы, а за то, что остается еще для меня послѣ этого, я не дамъ ни гроша (Ведекиндъ).

*) F. Wedekind, „Vier Iahreszeiten“.

Еслибъ я почувствовалъ въ себѣ на часъ призваніе моралиста, я бы сказалъ:

Милостивыя государыни и милостивые государи! Изъ всего „освободительнаго движенія",—говоря отвратительнымъ жаргономъ либеральной прессы — хотите нынѣ извлечь одно лишь освобожденіе плоти. Это ваше естественное право. Правда, вы имъ злоупотребили и ударились въ максимализмъ. Но такова ваша природа, и противъ этого я по существу ничего не могу возразить. Вы заказали вашимъ издателямъ доставить вамъ въ двадцать четыре часа все, что было написано „по этой части" въ обоихъ полушаріяхъ. При этомъ вы естественно захватили Ведекинда и создали ему популярность, какой онъ не имѣетъ у себя на родинѣ. Что Ведекиндъ принадлежитъ вамъ, а не намъ—съ этимъ я согласенъ. Но чтобъ Ведекиндъ былъ аргументомъ въ пользу анархизма плоти — противъ этого я буду спорить. Ведекиндъ сказалъ:

Immer hofft ich, meine Qual
Müsste doch bei dem Andern (der Andern) entschwinden.
Es war nur Bitternis jedes Mal,
War keine Ruhe für mich zu finnden,
Den es war stets nur der höllische Trieb
Aus dem an Freude nichts übrig blieb *).

Ведекиндъ достаточно свободно прошелъ этотъ путь, чтобы не питать суевѣрнаго преклоненія золотушныхъ филистеровъ предъ прекраснымъ грѣхомъ. Наоборотъ. Ведекиндъ показалъ, что анархизмъ плоти имѣетъ свое естественное завершеніе — въ практикѣ Джека-Потрошителя.

Милостивыя государыни и милостивые государи! Дѣятельность Джека-Потрошителя не похожа на лучшій цвѣтокъ нашей земли, не говоря уже о томъ, что она приводитъ въ столкновеніе съ прокуратурой.

Такъ сказалъ бы я, еслибъ почувствовалъ въ себѣ призваніе моралиста.

Н. Троцкій.

14 февраль 1908 г.

---

*) Всегда надѣялся я, что мою муку успокоитъ другая. Но каждый разъ я чувствовалъ лишь горечь и не находилъ покоя. Ибо это была всегда лишь адская похоть, которая не оставляла послѣ себя никакой радости.

В. Базаровъ.

Личность и любовь въ свѣтѣ „новаго религіознаго сознанія“

Въ одномъ изъ лѣтнихъ №№ „Товарища“ г. Д. В. Философовъ помѣстилъ очень горячій фельетонъ о „разложеніи матерьялизма“ и торжествѣ идеализма, — вѣрнѣе, о необходимости торжества идеализма въ интересахъ соціальнаго и всякаго иного возрожденія человѣчества. Почтенный авторъ ухитрился въ этой небольшой статейкѣ выпалить, такъ сказать, однимъ залпомъ весь зарядъ тѣхъ философскихъ постулатовъ и религіозныхъ мотивовъ, изъ которыхъ складывается господствующее среди современной солидной интеллигенціи идеалистическое настроеніе.

„Послѣдовательный матерьялизмъ по существу своему не можетъ быть непримиримымъ. Онъ идейный врагъ всякаго абсолюта, всякаго далекаго идеала, который прежде всего не наученъ и утопиченъ“, — пишетъ г. Философовъ. Никакой живой человѣкъ не согласится „пребывать въ духотѣ буржуазной лженаучности, того позитивизма, который незамѣтно отъ скромнаго признанія непознаваемаго перешелъ къ грубому его отрицанію“. Между тѣмъ соціалистическія партіи—и въ первую голову марксисты—стараются навязать „эту дурную болѣзнь, унаслѣдованную отъ буржуазной философіи“ рабочимъ и этой отравой губятъ „святую интуицію“ пролетарскаго класса. „Революціонный паѳосъ въ корнѣ идеалистиченъ, я бы даже сказалъ религіозенъ. Онъ весь трагиченъ и чуждъ оппортунизма, присущаго именно матерьялизму и его дѣтищу—самодовольной буржуазіи“.—Ядомъ буржуазной пошлости отравлена наша художественная литература. Въ качествѣ примѣра авторъ ссылается на Андреевскую „Жизнь человѣка“ — произведеніе, по его словамъ „ужасное, отчаянное“. „Жизнь человѣка“—одно изъ самыхъ реакціонныхъ произведеній русской литературы... Оно уничтожаетъ всякій смыслъ жизни и исторіи... Стоитъ ли бороться, стоитъ ли жертвовать своей жизнью, итти на каторгу, на висѣлицу — когда жизнь человѣка сплошное издѣвательство „Сѣраго Нѣкто“, когда здѣсь на землѣ все обманъ и суета?“ И однако „Жизнь человѣка“ имѣла значительный успѣхъ, она не встрѣтила себѣ достаточнаго отпора со стороны прогрессивной публицистики. Въ этомъ опять таки виноватъ матерьялизмъ, покончившій съ абсолютами и создавшій на ихъ мѣсто какую то „разлюли мою малину“, духовное хулиганство. Наиболѣе яркій выразитель этого

хулиганства, „мистическій анархизмъ“ возвелъ порнографію на степень религіи: „вся порнографія стала не просто „клубничкой“, а блюдомъ изъ клубнички подъ якобы мистическимъ и религіознымъ соусомъ“. И этимъ „шабашомъ“, этой „гнусной хлыстовщиной“ кичится „современная инеллигенція“. „Слишкомъ дешево покончивъ съ абсолютной личностью, считая ее „біологическимъ комкомъ“, она обезоружила самые святые свои идеалы отъ вторженія хулиганства. „Біологическій комокъ“ жестоко мститъ и старается во всю использовать тѣ минуты наслажденія, которыя ему предоставляетъ „Сѣрый Нѣкто“. Стоя на почвѣ матерьялизма, этому „біологическому комку“ возражать нечѣмъ“.

Несмотря на архи-революціонный, „синдикалистскій“ налетъ, психо-философія, выразившаяся въ цитированномъ фельетонѣ, чрезвычайно типична, какъ я сказалъ, для солиднаго „прогрессивнаго“ интеллигента нашего времени. Типична прежде всего соціально-профилактическая или—что то же—полицейская точка зрѣнія на абсолютъ. Только властная длань абсолюта можетъ удержать человѣка на стезѣ прогрессивной благонамѣренности, — стоитъ устранить сію длань, предоставить человѣка свободной игрѣ его эмпирическихъ склонностей, — и этотъ „біологическій комокъ“ неизбѣжно отбросить всякія отдаленныя цѣли, всякія широкія задачи и погрязнетъ въ гнуснѣйшей порнографіи. Нашъ наивный проповѣдникъ не замѣчаетъ, что его „идеализмъ“ есть въ сущности апоѳеозъ порнографической стороны человѣческаго существа. Вѣдь выходитъ, что эмпирическая природа человѣка насквозь порнографична, что удержать человѣка отъ выполненія его естественнаго порнографическаго предназначенія можетъ только сверхъ-естественная, сверхприродная и сверхразумная сила абсолюта.

Благонамѣренный буржуа, несмотря на все свое сентиментальное расшаркиваніе передъ „святой интуиціей“ рабочаго класса, фактически не въ состояніи представить себѣ не только цѣлаго класса людей, но даже отдѣльнаго человѣка, для котораго порнографическія перспективы были бы не соблазнительны конкретно, эмпирически, независимо отъ существованія или несуществованія какой либо высшей моральной санкціи.

И совершенно напрасно старается г. Философовъ утвердить эту санкцію на фундаментѣ „абсолютной личности“. На русской почвѣ абсолютной личности не посчастливилось. Если для нѣмецкаго интеллигентнаго бюргера при его выдержкѣ и самодисциплинѣ „внутренній жандармъ“ является вполнѣ достаточной гарантіей благопристойности, по крайней мѣрѣ внѣшней и, такъ сказать, офиціальной,—то широкую русскую натуру такими пустяками не обуздаешь. Давно ли наши идеалисты импортировали къ намъ нѣмецкую абсолютную личность, чистенькую, солидную, щепетильную, глубоко проникнутую сознаніемъ своей

„культурной миссіи“, однимъ словомъ, скроенную и сшитую по самой послѣдней картинкѣ нео-кантіанскихъ модныхъ журналовъ. Не прошло десяти лѣтъ, — и подъ видомъ „мистическаго анархиста“ эта личность уже щеголяетъ въ истинно національномъ костюмѣ комаринскаго мужика и загибаетъ трехэтажныя...

Правда, г. Философовъ не признаетъ родства: онъ пытается вывести мистическій анархизмъ не изъ абсолютной личности, а изъ ея противополжности—„біологическаго комка“. Но это уже явная подтасовка, совершенно очевидное искаженіе общеизвѣстныхъ фактовъ. Мистическій анархизмъ не дожилъ еще и до своего трехлѣтняго юбилея, такъ что едва ли кто нибудь успѣлъ забыть его происхожденіе. Мы всѣ помнимъ, что онъ возникъ, какъ отвѣтвленіе того потока, который ведетъ свое начало отъ „Проблемъ идеализма“ и „Новаго пути“. Не бунтъ біологическаго комка противъ абсолютной личности выразился въ мистическомъ анархизмѣ, а, наоборотъ, бунтъ абсолютной личности противъ біологической и всякой иной природной закономѣрности. И если абсолютная личность находитъ въ педерастіи и лесбійской любви свое высшее мистическое и религіозное призваніе, то она поступаетъ вполнѣ послѣдовательно, она остается вѣрна своей сверхприродной сущности, она совершаетъ здѣсь свою первую, правда пока весьма несложную, революцію противъ позитивнаго, матерьялистическаго міропорядка, она наноситъ смертельный ударъ біологическому комку съ его „естественнымъ“ родовымъ инстинктомъ двуполой любви.

Вопреки утвержденію г. Философова, именно „стоя на почвѣ матерьялизма“ и біологіи никакъ нельзя прійти къ апоѳеозу однополой любви и даже порнографіи вообще. „Гипертрофія половыхъ и пищеварительныхъ функцій есть специфическій признакъ паразитическаго вырожденія и упрощенія организма“, — вотъ все, что можетъ сказать по данному вопросу матерьялистическая біологія. Конечно, въ глазахъ сверхприроднаго мистика это отнюдь не аргументъ противъ половой религіи, но очевидно, это совсѣмъ не подходящій матерьялъ для построенія такой религіи. Очевидно съ другой стороны, что съ точки зрѣнія абсолютной личности, „возражать“ противъ религіозной порнографіи уже совсѣмъ не приходится. Вѣдь абсолютизмъ личности состоитъ какъ разъ въ абсолютной автономности ея моральнаго, т. е., въ конечномъ счетѣ, религіознаго самоопредѣленія. И если въ результатѣ такого самоопредѣленія данная группа автономныхъ личностей приходитъ къ формулѣ „мужеложство, sive amor supranaturalis, sive substantia sive Deus“, то г. Философову, какъ партизану абсолютнаго индивидуализма, остается только почтительно преклонить голову передъ этимъ актомъ мистическаго самоутвержденія „я“. А онъ вмѣсто того ругается и кощунствуетъ: „якобы мистическій соусъ“, „шабашъ“, „гнусная хлыстовщина“, „мистическое хулиганство“. Ругатель-

ство не только не аргументъ, но нѣчто прямо противоположное: testimonium paupertatis, сознаніе въ собственномъ безсиліи. Въ самомъ дѣлѣ, какое право имѣетъ г. Философовъ говорить о „якобы“ мистическомъ соусѣ? Личность мистическаго анархиста самоопредѣляется не въ томъ направленіи, въ какомъ ищетъ свое сверхприродное призваніе личность г. Философова. Но если истинная мистика, истинная религія въ противоположность „якобы“ религіозному соусу возможна только въ рамкахъ тѣхъ нормъ и постулатовъ, которые декретируетъ нашъ строгій моралистъ, то при чемъ же тутъ абсолютная личность? Куда дѣвалась ея безусловная автономія? Очевидно одного „внутренняго жандарма“ тутъ недостаточно, необходима духовная полиція, стоящая превыше всякаго индивидуальнаго суемудрія. Но тогда такъ и надо сказать: абсолютная личность поселяетъ въ душѣ человѣческой развратъ еще горшій, нежели біологическій комокъ; а посему, да здравствуетъ старый, добрый, испытанный авторитетъ, безпощадно карающій злые и награждающій добрые „я“.

Что нѣмцу здорово, то русскому смерть. Конечно и европейскій культурный буржуа отнюдь не чуждъ половыхъ „эксцессовъ“. Совсѣмъ напротивъ,—даже въ области мужеложства онъ несравненно компетентнѣе, чѣмъ наша юная интеллигенція. Но онъ понимаетъ, что командующему классу нельзя возводить порнографію въ перлъ религіозно-философскаго творчества, что порнографія должна принадлежать къ числу тѣхъ интимныхъ устоевъ домашней жизни, тѣхъ святынь семейнаго очага, которые неприлично и опасно „выносить на улицу и трепать тамъ“, употребляя картинное выраженіе г. Философова.—И не только внѣшній страхъ передъ „улицей“, не только боязнь потерять престижъ въ ея глазахъ руководитъ въ данномъ случаѣ западно-европейскимъ культуртрегеромъ, но и здоровый инстинктъ внутренняго самосохраненія. Идеологія, ограничивающая извѣстными „моральными“ предѣлами разливное море порнографической оргійности, необходима самому культуртрегеру для того, чтобы поддержать свою психику на уровнѣ, требуемомъ его культурно-организаторскими функціями въ современномъ обществѣ.

Совершенно неправильно утвержденіе г. Философова, что міросозерцаніемъ европейской буржуазіи является только такъ называемый „практическій позитивизмъ“, подъ которымъ авторъ, какъ и всѣ идеалисты, понимаетъ совокупность желудочно-половыхъ инстинктовъ. Нѣтъ, европейскій буржуа одинаково искренно исповѣдуетъ и свою парадную „идеалистическую“ религію высшаго культурнаго предназначенія личности, и свою будничную гастрономически-порнографическую вѣру. Характерная особенность буржуа состоитъ именно въ томъ, что онъ старается поддерживать оба эти принципа въ „разумномъ равновѣсіи“, одинаково опасаясь преобладанія какъ того, такъ и

другого. Всю работу положительнаго знанія, работу науки и неразрывно съ ней связанную конкретную практику человѣческаго труда — буржуа разсматриваетъ, какъ средство для удовлетворенія гастрономически-порнографической стороны своего духа. Поэтому онъ согласенъ допустить науку, признать ее не химеричной, а „позитивной", лишь въ этихъ предѣлахъ; онъ требуетъ, чтобы наука скромно остановилась на указанной границѣ, признала не подлежащей своей компетенціи, непознаваемой, утопичной всякую задачу, которая враждебно сталкивается съ условіями существованія буржуазіи, какъ командующаго класса. Буржуазная самодовлѣющая личность должна быть въ качествѣ „познающаго субъекта" признана предпосылкой всякаго научнаго, раціональнаго познанія. Коммунизмъ, ставящій своей практической задачей уничтоженіе самой возможности существованія командующаго класса, уничтоженіе самого раздѣленія общественно-трудовыхъ функцій на организаторскія и исполнительныя, долженъ быть объявленъ „утопіей", религіозной мечтой, которой въ реальной жизни можетъ соотвѣтствовать лишь смягченіе участи командуемыхъ путемъ гуманныхъ реформъ въ организаціи способовъ господства надъ ними.

И любопытно, что въ архи-революціонномъ и анти-буржуазномъ фельетонѣ г. Философова съ предательской настойчивостью звучитъ именно эта нотка, столь типичная для всякаго истинно буржуазнаго міросозерцанія: „Далекій идеалъ прежде всего не наученъ и утопиченъ"; „матерьялизмъ" виноватъ, главнымъ образомъ, въ томъ, что преступилъ разумные предѣлы своего господства, „отъ скромнаго признанія непознаваемаго перешелъ къ грубому его отрицанію". Г. Философовъ не видитъ, что отрицаніе ирраціональнаго и утопичнаго со стороны революціоннаго „матерьялизма" вовсе не означаетъ отрицанія тѣхъ практическихъ и теоретическихъ задачъ, которыя господствующая буржуазная идеологія старается запрятать въ область непознаваемаго или эмпирически недостижимаго. Какъ разъ наоборотъ: это—попытка „эмпирически", т. е. научно или практически рѣшить такія задачи, воплотить искомые „идеалы" въ конкретной дѣйствительности.

Достаточно самымъ бѣглымъ образомъ сопоставить утопіи такихъ „идеалистовъ", какъ Фурье или Сенъ-Симонъ съ одной стороны и коммунистическое общество „матерьялиста" Маркса съ другой, чтобы убѣдиться, что и Фурье, и Сенъ-Симонъ, и Робертъ Овэнъ дѣлали гораздо больше уступокъ буржуазной психологіи и философіи, чѣмъ Марксъ. Тотъ коммунистическій строй, который научно предвидятъ, за который практически борются марксисты, по своимъ общественнымъ отношеніямъ, по всему складу своей культуры несравненно дальше отстоитъ отъ современнаго общества, несравненно рѣзче порываетъ со всѣми его устоями, нежели „утопіи" начала прошлаго столѣтія. Да и

нелѣпо противопоставлять соціалъ-демократамъ авторовъ утопій, какъ сознательныхъ „идеалистовъ“. Ни Фурье, ни Сенъ-Симонъ, ни Робертъ Овэнъ не были „утопистами“ сами для себя. Ни одному изъ нихъ и въ голову не приходило выносить „идеалъ“ за предѣлы конкретной практики; наоборотъ, всѣ они разсматривали свои планы, какъ эмпирически осуществимыя задачи, а слѣдовательно относились къ нимъ, по терминологіи идеализма, „позитивно“ или „матерьялистически“. Утописты хотѣли, но въ силу цѣлаго ряда условій не могли быть научными въ своихъ построеніяхъ. Въ ихъ рукахъ еще не было того рычага, который фактически способенъ свести „утопіи“ съ небесъ безплотнаго идеала на землю практическаго творчества. Марксизмъ нашелъ этотъ рычагъ, при чемъ оказалось, что небесныя утопіи отъ соприкосновенія съ землей не только ничего не утратили въ своемъ революціонномъ содержаніи, но безконечно обогатились и расширились.

Совершенно понятно, почему буржуазія, сознательно и гордо несущая свое буржуазное знамя, зорко охраняетъ „непознаваемое“ отъ посягательствъ позитивной науки, „утопичное“ отъ посягательствъ позитивной практики. Гораздо менѣе понятно, почему г. Философовъ и французскіе синдикалисты, подъ сильнымъ вліяніемъ которыхъ написана его статья, считаютъ необходимымъ засорять „святую интуицію“ пролетаріата буржуазной дребеденью въ родѣ „трагичности (т. е. принципіальной безысходности) революціоннаго паѳоса“, теоріи „соціальнаго миѳа“ и т. п. Очевидно передъ нами опять забвеніе родства.

Но если буржуазія никоимъ образомъ не можетъ сочувствовать вторженію положительной науки и практики въ область „утопичныхъ“ религіозныхъ чаяній, то столь же мало симпатій питаетъ она къ „эксцессамъ“ религіознаго энтузіазма, къ попыткамъ вѣрующихъ „фанатиковъ“ превратить всю эмпирическую жизнь въ религіозную. Не только позитивная наука буржуазіи почтительно умолкаетъ тамъ, гдѣ начинается царство идеаловъ, но и идеалы строго соблюдаютъ свой потусторонній нейтралитетъ по отношенію къ позитивной практикѣ. Гдѣ начинается „положительная работа“, т. е. работа, упрочивающая условія существованія буржуазнаго общества, тамъ не мѣсто утопіямъ, религіи, идеаламъ,—поскольку, разумѣется, сами эти идеалы заключаютъ въ себѣ что либо революціонное, а не являются лишь моральными нормами, регулирующими позитивную работу на благо буржуазіи.—Очевидно въ самомъ дѣлѣ, что поглощеніе религіи эмпиріей, и превращеніе всего эмпирическаго бытія въ религіозное — лишь различныя названія для одного и того же процесса. Суть его заключается въ томъ, что уничтожается трансцендентная, непереходимая граница между самыми смѣлыми идеалами человѣка и его самой „будничной“

повседневной работой, вмѣстѣ съ тѣмъ исчезаетъ всякій смыслъ дѣленія человѣческой практики на „позитивную“ и „религіозную“. Поднять землю вверхъ на небо, и спустить небо внизъ на землю — совершенно одно и то же; ибо „верхъ“ и „низъ“ возможны лишь по отношенію къ чему либо третьему, неподвижному, въ процессѣ сліянія неба и земли не участвующему; но процессъ этотъ какъ разъ и заключается въ уничтоженіи всего „третьяго“, всего неподвижнаго, онъ не оставляетъ ничего „трансцендентнаго“, т. е. лежащаго внѣ или „по ту сторону“ себя.

Я сказалъ выше, что широкая натура русскаго интеллигента съ трудомъ нащупываетъ то „разумное“ равновѣсіе между идеальнымъ и позитивнымъ, которое само собою устанавливается въ душѣ культурнаго европейскаго буржуа и потому кажется послѣднему чѣмъ то апріорнымъ, присущимъ его автономной личности, какъ таковой. Но разумѣется, эта широта натуры не есть какая либо специфически національная черта,—она свидѣтельствуетъ лишь о незрѣлости, о молодости нашей культурной буржуазіи, которая не является еще командующимъ классомъ въ строгомъ смыслѣ этого слова, а только готовится стать имъ, и пока что вынуждена теоретически доказывать свою „работоспособность“ въ этомъ направленіи.

Если мы возьмемъ европейскую интеллигенцію въ аналогичный періодъ ея развитія; напримѣръ, нѣмецкую конца 40-хъ годовъ прошлаго вѣка, то mutatis mutandis увидимъ ту же картину психической неустойчивости, неуравновѣшенности, — даже для мистическаго анархизма съ его половымъ и всякимъ инымъ „хулиганствомъ“ найдется очень поучительная аналогія въ передовыхъ берлинскихъ кружкахъ того времени, группировавшихся около Бауэровъ, Макса Штирнера и др.

Напрасно поэтому г. Философовъ отчаивается въ судьбѣ абсолютной личности. Mit der Zeit kommt es schon. Несомнѣнно, что и на русской почвѣ абсолютная личность выровняется, округлится и расцвѣтетъ не хуже нѣмецкой, позабудетъ о мистико-анархическихъ грѣхахъ своей молодости и утвердитъ на самомъ корректномъ, солидномъ и внушительномъ основаніи святое царство идеала. Конечно, для выполненія этой „культурной миссіи“ и для созданія соотвѣтствующей ей идеологіи нашей прогрессивной интеллигенціи надо не только теоретически переживать свою государственную работоспособность, но и фактически протискаться въ высшія сферы командующихъ; но этотъ процессъ совершенно неизбѣженъ, какія бы мѣры ни принимались противъ него въ „сферахъ“, какія бы героическія усилія ни дѣлали утописты черной сотни.

И даже въ настоящее время, въ періодъ подготовки къ культурной миссіи, увлеченія, подобныя мистическому анархизму, вовсе не типичны для интеллигенціи, взятой въ цѣломъ. Среди

солидныхъ интеллигентныхъ круговъ это умонастроеніе вовсе не нашло себѣ замѣтнаго резонанса; да и среди публики болѣе богемнаго характера мистико-анархическая мода замѣтно идетъ на убыль, встрѣчая себѣ противовѣсъ въ религіозныхъ исканіяхъ, гораздо болѣе корректныхъ по внѣшней формѣ, гораздо болѣе уравновѣшенныхъ по существу.

Мистическому анархизму по всей вѣроятности такъ и не удастся отпраздновать свой трехлѣтній юбилей. Повидимому, уже теперь настроеніе интеллигенціи—не только большой, но и малой—лежитъ въ иной мистической плоскости,—въ той, которая раскрывается, напр., въ послѣдней книгѣ г. Бердяева „Новое религіозное сознаніе и общественность". Авторъ совершенно чуждъ „разлюли-малинному" паѳосу безпардоннаго анархомистическаго бунтарства. Наоборотъ, онъ проникнутъ глубоко-аристократическимъ духомъ уваженія къ святымъ традиціямъ, онъ хочетъ сохранить и обогатить завѣщанное предками религіозное наслѣдство. Конечно, какъ человѣкъ либеральный, онъ врагъ всякаго „внѣшняго" авторитета; но онъ въ то же время отнюдь не сторонникъ личнаго субъективно-психологическаго произвола въ области религіи; онъ хочетъ, чтобы абсолютная личность автономно отреклась отъ субъективизма и признала объективную истинность историческихъ догматовъ православія.

Г. Бердяевъ обстоятельно разбираетъ съ своей точки зрѣнія существующую „общественность", а также анархическій и соціалистическій идеалы общественности. Но этой стороны его книги я не буду касаться, — ничего кромѣ вульгарнѣйшихъ банальностей вульгарнѣйшаго либерализма мы здѣсь не встрѣтимъ. Чтобы не быть голословнымъ, укажу лишь въ видѣ иллюстраціи, какъ разрѣшается въ свѣтѣ новаго религіознаго сознанія проблема государства. „Государство", пишетъ г. Бердяевъ, „въ существѣ своемъ—не только борьба съ изначальнымъ міровымъ зломъ, распаденіемъ бытія на атомизированныя частицы и ихъ взаимнымъ порабощеніемъ, подчиненіемъ закону необходимости, но также и отраженіе этого первоначальнаго зла, распада и порабощенности, поддержаніе царства необходимости и борьбы" *). Но пока не произошло мистическаго преображенія человѣчества, пока человѣчество „не приняло внутрь себя Христа", оно не освободится „отъ потребности въ принудительной государственности". Другими словами, „освобожденіе отъ государственнести" есть трансцендентный идеалъ, осуществимый лишь на другой день послѣ второго пришествія, лишь послѣ того, какъ Господу Богу угодно будетъ преобразовать эмпирическую природу человѣка. А пока что—необходима полиція. Но полиція въ религіозно-мистическомъ существѣ своемъ не есть „мерзость и низость, сыскъ и шпіонство", она—„благород-

*) „Новое рел. созн. и т. д. Стр. 59.

ное, высокое призваніе защиты насилуемыхъ, спасеніе погибающихъ, предотвращеніе насилій, рыцарское призваніе. Охрана спокойствія и порядка, человѣческой жизни и чести можетъ быть вручена только рыцарямъ, а не подонкамъ общества, изъ которыхъ вербуетъ полицію современное государство" *). Итакъ, „навербовать" околоточныхъ и частныхъ приставовъ изъ среды „рыцарей" новаго религіознаго сознанія,—и дѣло въ шляпѣ, и вопросъ о принудительной государственности благополучно разрѣшенъ вплоть до второго пришествія. Просто и мило. И какая доблестная вѣрность историческимъ національнымъ традиціямъ! Кто бы могъ подумать, что изъ нѣдръ полныхъ трагизма исканій мистика XX столѣтія возникаетъ въ качествѣ идеала тотъ самый „утирающій слезы жандармъ", въ образѣ котораго русская государственная идея была такъ удачно воплощена императоромъ Николаемъ I почти сто лѣтъ тому назадъ!

Но, повторяю, общественной или, какъ принято выражаться на модномъ жаргонѣ, „соборной" стороны философіи г. Бердяева я здѣсь не буду касаться. Меня интересуетъ лишь интимная подоплека абсолютной личности въ интерпретаціи этого мыслителя,—та область, гдѣ скрываются наиболѣе глубокіе мистическіе корни „я", ищущаго своего „неповторимаго предназначенія", т. е. метафизика пола и любви.

„Въ исторіи міровой философіи", пишетъ г. Бередяевъ, „я знаю только два великихъ ученія о полѣ и любви: ученіе Платона и Вл. Соловьева". „По ученію Платона... полъ есть результатъ разрыва... распаденія индивидуальности на двѣ половины, любовь есть томительное желаніе возсоединенія въ цѣлую индивидуальность, стремленіе каждой половины, каждаго пола найти свою другую половину, свой другой полъ, таинственное влеченіе къ тому, что возстанавливаетъ индивидуальность" **).

Владимиръ Соловьевъ „устанавливаетъ противоположность между индивидуальностью и родомъ. Любовь родовая, рождающая, дробящая индивидуальность, есть для него Афродита вульгарная, подчиненіе природой необходимости. Истинная любовь всегда лична, завоевываетъ вѣчность, индивидуальное безсмертіе, она не дробитъ индивидуальности въ рожденіи, а ведетъ къ полнотѣ совершенства индивидуальности" ***). Итакъ мужчина и женщина не индивидуумы, а разорванныя половинки цѣлостной индивидуальности. Соединеніе этихъ половинокъ въ актѣ истинной, не вульгарной любви перерождаетъ человѣческую природу, ведетъ не къ дурной безконечности дѣторожденія, а къ безконечности хорошей, т. е. къ безсмертію возсоединившейся въ любви личности. Такъ какъ до сихъ поръ еще ни разу не случилось, чтобы половая любовь даровала кому

*) „Новое религ. сознаніе и общественность", стр. 59.
**) Тамъ же, стр. 161.
***) Тамъ же, стр. 162.

нибудь безсмертіе, то, очевидно, все, извѣданное человѣчествомъ въ области любви, относится къ различнымъ проявленіямъ Афродиты вульгарной. Истинная любовь никѣмъ и никогда еще не была найдена.

Какъ же и гдѣ искать ее? Прообразомъ, дающимъ нѣкоторое представленіе объ истинной любви, является по мнѣнію г. Бердяева романтическая любовь: средневѣковый культъ „прекрасной дамы", любовь Данте къ Беатриче, Огюста Конта къ Клотильдѣ де-Во. Къ сожалѣнію, въ настоящее время люди дальше отъ воплощенія истинной любви, чѣмъ когда бы то ни было. Виноватъ тутъ и „позитивизмъ", и даже „соціалъ-демократы", безъ участія которыхъ не обходится вообще ни одно огорченіе, доставляемое г. Бердяеву современной культурой,— но прежде всего виновато женское эмансипаціонное движеніе: „женское движеніе, несмотря на справедливую свою сторону, по основной тенденціи своей направлено противъ смысла любви, оно проходитъ мимо глубинъ пола, создаетъ поверхностное иллюзорное бытіе" *). Женщины вообразили, что „мужчина есть нормальный человѣкъ, полная индивидуальность, а не полъ, не половина индивидуальности" и стараются „обезъянить мужчину", отрекаясь отъ своего „женскаго начала". Въ результатѣ получаются „мужчины второго сорта". Все, созданное женщинами въ политикѣ, въ наукѣ, въ литературѣ, въ искусствѣ, во всѣхъ вообще областяхъ человѣческаго творчества, носитъ на себѣ печать посредственности. Истинное назначеніе женской половины человѣческой индивидуальности состоитъ вовсе не въ томъ, чтобы что-нибудь творить, создавать, воплощать въ жизнь. Творчество—удѣлъ мужчины. Женщинѣ предопредѣлено быть не творцомъ, а прекраснымъ твореніемъ не художникомъ, а „произведеніемъ искусства, примѣромъ творчества Божьяго, силой, вдохновляющей творчество мужественное" **).

Но что значитъ „вдохновлять" творчество? Уяснять задачу этого творчества? поддерживать въ трудныя минуты? указывать выходъ изъ затрудненій? Никоимъ образомъ. Всякій такой способъ „вдохновенія" былъ бы сотрудничествомъ, практическимъ участіемъ въ творчествѣ, что, какъ намъ извѣстно, строжайше воспрещено женщинѣ самой мистической ея природой, И въ какой области можно быть прекраснымъ твореніемъ, не будучи творцомъ? Очевидно, напр., что душа человѣка никоимъ образомъ не можетъ быть прекраснымъ поэтическимъ произведеніемъ, если человѣкъ не поэтъ; столь же не мыслимо быть воплощеніемъ совершеннаго интеллекта, не будучи творцомъ въ умственной области. Какую бы сферу человѣческой дѣятельности мы ни взяли, рѣшительно вездѣ твореніе и творецъ совпадаютъ

*) Тамъ же, стр. 175.
**) Тамъ же, стр. 179.

между собой,—быть прекраснымъ твореніемъ значитъ въ то же время быть искуснымъ творцомъ. Существуетъ только одна единственная область, гдѣ твореніе и творецъ могутъ быть раздѣлены и дѣйствительно зачастую раздѣляются: это—область физической красоты. Можно обладать классически прекраснымъ тѣломъ и быть совершеннымъ идіотомъ въ эстетическомъ отношеніи, не понимать даже своей собственной красоты, грубо уродовать и вульгаризировать данное природой совершенство при всякой сознательной попыткѣ увеличить свою привлекательность. Очевидно культомъ физической красоты и исчерпывается предвѣчное назначеніе женщины. „Неэстетичность, надругательство надъ вѣчной женственностью—вотъ въ чемъ осужденіе современныхъ эмансипированныхъ женщинъ, набрасывающихся съ подражательнымъ жаромъ на мужскія дѣла“, гремитъ нашъ пророкъ. „Глаза этихъ женщинъ, отрекающихся отъ начала вѣчной женственности, слишкомъ быстро становятся подслѣповатыми отъ несоотвѣтствующихъ ихъ назначенію занятій“ (вспомните незабвеннаго мистика Фамусова: „скажи-ка, что глаза ей портить не годится!...“—о новое религіозное сознаніе!) „и онѣ надѣваютъ очки, превращающіяся въ символъ обезъянничества, искажающій природу женщины. Женщина какъ бы уже не хочетъ быть прекрасной, вызывать къ себѣ восхищеніе, быть предметомъ любви, она теряетъ обаяніе, грубѣетъ, заражается вульгарностью“ *).

Въ самомъ дѣлѣ. Какое уже тутъ „вдохновеніе“ для творчества, если вмѣсто восторженно млѣющихъ, наивно раскрытыхъ глазокъ, въ которые вы въ каждый данный моментъ можете безбоязненно погружаться взоромъ, на васъ серьезно, да еще—horribile dictu!—„черезъ очки“, смотрятъ глаза, скрывающіе очевидно какую то собственную мысль,—если грудь, лишенная ласкающей округлости формъ, вмѣсто того чтобы сладостно колыхаться, обнаруживаетъ холодную и плоскую неподвижность,—если губки, вмѣсто того чобы складываться сердечкомъ, какъ бы для поцѣлуя, испускаютъ леденящія душу тирады, которыя, хотя и исходятъ отъ „мужчины второго сорта“, способны порою поставить въ тупикъ самаго подлиннаго „первосортнаго“ мужчину. Чертъ подери! Тутъ ужъ не „вдохновеніемъ“ пахнетъ, а гнусной „конкурренціей“. Караулъ, грабятъ! И г. Бердяевъ спѣшитъ заклеймить своимъ вдохновеннымъ негодованіемъ всякія незаконныя посягательства женской половины въ сферѣ мужской—т. е. всякой человѣческой дѣятельности: „Нѣтъ ничего отвратительнѣе женскаго демонизма, мужской злобы и мужского самолюбія въ женщинѣ, самообожанія, вносящаго въ міръ раздоръ и вражду. Злая борьба между женщиной и мужчиной за преобладаніе, злобная вражда въ самой любви, отравляющая основы

*) Тамъ же, стр. 177.

пола, можетъ быть прекращена лишь возстановленіемъ религіознаго смысла любви" *).

Хотя г. Бердяевъ и старается увѣрить своихъ читательницъ, что назначеніе ихъ въ качествѣ вдохновительницъ творчества ничуть не ниже назначенія мужчинъ-творцовъ, я не думаю, чтобы метафизика его могла имѣть значительный успѣхъ среди женскихъ половинъ человѣчества. Даже дамы, всецѣло поглощенныя „проблемой пола"—а такихъ въ настоящее время очень не мало—будутъ по всей вѣроятности нѣсколько шокированы той слишкомъ уже примитивной ролью, которую отводитъ имъ въ жизни религіозно-эротическій идеалъ вѣчной женственности. Надо впрочемъ замѣтить, что какъ разъ въ вопросѣ о „преобладаніи" мужчинъ въ процессѣ жизненнаго творчества Бердяевская метафизика пола особенно хромаетъ. Даже оставаясь цѣликомъ на почвѣ ея основныхъ идей, совершенно нельзя понять, на какомъ мистическомъ базисѣ покоится ея специфически-мужской характеръ. Что мужчина до сихъ поръ игралъ творческую, а не вдохновляющую роль,—это только эмпирическій фактъ, который ровно ничего не доказываетъ въ глазахъ мистика. И не объясняется ли кризисъ современнаго міросозерцанія, та трагическая духовная опустошенность, на которую такъ жалуются мистики, именно тѣмъ, что половинки человѣческой личности перепутали свои мѣста, что какъ разъ женщина должна бы быть творцомъ, а мужчина вдохновителемъ? Вѣдь сохранила же намъ исторія смутное преданіе объ эпохѣ патріархата,—эпохѣ, когда человѣчество сдѣлало свои первые и самые геніальные шаги, навсегда отдѣлившіе его отъ міра остальныхъ животныхъ; вѣдь есть серьезныя основанія думать, что Прометей, даровавшій людямъ огонь, совершившій подвигъ, передъ которымъ меркнутъ всѣ завоеванія позднѣйшей культуры, былъ не мужчиной, а женщиной. Современная женщина не создала ни въ одной изъ мужскихъ сферъ ничего великаго, говоритъ г. Бердяевъ. Если бы даже это и было вѣрно, то ровно бы ничего не доказывало. Согласно откровенію новаго религіознаго сознанія работа „творческой" половины человѣка можетъ быть совершенна лишь въ томъ случаѣ, если стоитъ на высотѣ положенія и „вдохновляющая" половина. Но удовлетворяютъ ли современные культурные мужчины хоть въ самой слабой степени тѣмъ условіямъ, которыя необходимы для того чтобы вдохновить женское творчество? Не думаетъ ли г. Бердяевъ, что очки безобразятъ только женскій носъ, и украшаютъ мужской? И неужели неизбѣжная въ 30 лѣтъ лысина представляетъ меньшее „надругательство" надъ эстетическимъ идеаломъ вѣчной мужественности, нежели прегрѣшенія противъ вѣчной женственности со стороны тѣхъ эмансипированныхъ дѣвицъ, которыя такъ возмущаютъ г. Бер-

*) Тамъ же, стр. 181.

дяева своей неэстетичностью. Безпомощно жалкія движенія, лишенныя всякой упругости и силы, впалая грудь, сутулая спина и женоподобно широкій тазъ — вотъ типичныя особенности интеллигента. Развѣ можетъ все это хоть чуточку вдохновить къ творчеству? Если среди современныхъ интеллигентокъ трудно найти Афродиту, то было бы уже совершенно безнадежнымъ занятіемъ искать Адониса среди интеллигентовъ. Я сильно опасаюсь поэтому, что даже тѣ дамы, которыя горячо сочувствуютъ рѣшенію проблемы пола въ духѣ Бердяевской метафизики, сумѣютъ отстоять свои права на „эмансипацію", — и притомъ какъ разъ на почвѣ этой метафизики. Если мы не создали до сихъ поръ ничего геніальнаго, скажутъ онѣ, то въ этомъ виноваты прежде всего вы, милостивые государи. Снимите очки, забросьте ваши книги, занимайтесь гимнастикой, культивируйте идеалъ мужской красоты, создайте для себя гаремно-ристалищный режимъ, превратитесь въ Адонисовъ,—и мы затмимъ своимъ творчествомъ все, что до сихъ поръ было создано мужской культурой. Приходится такимъ образомъ съ грустью констатировать, что проповѣдуемый г. Бердяевымъ „религіозный смыслъ любви" отнюдь не гарантируетъ мужского преобладанія. Въ предѣлахъ этого смысла „злая борьба между мужчиной и женщиной" возможна ничуть не меньше, чѣмъ среди позитивистовъ.

Въ чью бы пользу ни кончилась эта борьба, ясно во всякомъ случаѣ одно; несмотря на всю возвышенность и аристократическую корректность метафизической фразеологіи г. Бердяева, его религіозное сознаніе въ области любви ни на шагъ не выходитъ за предѣлы той примитивной, элементарной физіологичности, которая лежитъ въ основѣ „разлюли-малиннаго" полового хулиганства. Грѣхопаденіе пола, его отклоненіе отъ предвѣчнаго божественнаго назначенія, состоитъ въ томъ, что подъ вліяніемъ „несвойственной" женщинамъ мужской дѣятельности сглаживаются нѣкоторыя специфическія половыя особенности ихъ внѣшняго строенія, — тѣ особенности, которыя біологи называютъ „вторичными половыми признаками". Вслѣдствіе этого женщина перестаетъ быть въ глазахъ самца-идеалиста „конкретнымъ образомъ вѣчной женственности", перестаетъ быть „аппетитной", какъ выразилъ бы ту же самую мысль самецъ-позитивистъ. Только культивируя свои вторичные половые признаки, или—употребляя щедринское выраженіе — свои „атуры", женщина выполнитъ мистическое назначеніе и „божественной силой женственности преобразитъ будни жизни, прозаичность мужскихъ дѣлъ" *). Преображать будни прозаическихъ мужскихъ дѣлъ — вотъ, по истинѣ, высокое назначеніе! „Ehret die Frauen! Sie flechten und weben himmlische Rosen in's ir dische Leben". Извѣстно какую бездонную пошлость скрываетъ

*) Тамъ же, стр. 181.

въ себѣ этотъ излюбленный девизъ идеалистически настроеннаго нѣмецкаго бюргера. Ни на шагъ не выходитъ за предѣлы этой пошлости и любовная метафизика г. Бердяева.

Между тѣмъ въ половой любви есть дѣйствительно интересная сторона,—несравненно болѣе интересная, чѣмъ пресловутая „проблема“ о полярной противоположности половъ; и г. Бердяевъ даже мимоходомъ касается этой стороны любви, совершенно не замѣчая, что она находится въ рѣжущемъ глаза противорѣчіи не только съ его эротической метафизикой, но и съ метафизикой абсолютной личности вообще. Я имѣю въ виду то разрушеніе границъ „личности“, то выхожденіе за предѣлы своего „я“, которое выражаютъ нерѣдко до нельзя затасканной формулой: „сліяніе двухъ душъ“.

„Внутренній міръ чужого „я“ не данъ мнѣ непосредственно“— вотъ исходная точка современнаго человѣка въ вопросѣ о, такъ называемой, „множественности индивидуумовъ“. Я воспринимаю только внѣшнія выраженія, или высказыванія другихъ людей. Что скрывается за этими высказываніями, и скрывается ли за ними что нибудь? Правильно ли я угадываю психическія переживанія другого, и имѣю ли я вообще достаточное основаніе предполагать какую либо психику кромѣ непосредственно мнѣ данной „моей“ психики? Такова одна изъ труднѣйшихъ проблемъ современной философіи. И несомнѣнно для большинства отношеній между людьми проблема эта поставлена правильно. Типичный случай дѣйствительно таковъ, что „даны“ мнѣ лишь высказыванія, на основаніи которыхъ я гипотетически конструирую психику другого человѣка. Однако встрѣчаются исключенія изъ этого общаго правила и особенно часто именно въ отношеніяхъ между любящими. Переживанія любимаго человѣка сплошь да рядомъ „даны“ мнѣ непосредственно, переживаются мною совершенно такъ же, какъ мои собственныя психическія состоянія; и наоборотъ, требуется порой цѣлое психологическое изслѣдованіе, величайшее напряженіе вниманія для того, чтобы открыть тѣ высказыванія, при помощи которыхъ я воспринялъ въ себя эти переживанія другого. Бываетъ даже, что самыя тщательныя изысканія въ этой послѣдней области не приводятъ къ удовлетворительному результату: такъ и остается неразрѣшимой загадкой вопросъ о томъ, при помощи какихъ внѣшнихъ выраженій „вошло въ меня“ и окрасило мою психику настроеніе другого человѣка.

Мы имѣемъ слѣдовательно группу фактовъ, стоящихъ въ полномъ противорѣчіи съ той основной предпосылкой современной философіи, о которой я говорилъ выше. Переживаніе другого человѣка „дано“ мнѣ непосредственно, какъ таковое; наоборотъ высказыванія представляютъ „проблему“: они еще только должны быть найдены; — причемъ эмпирическое наблюденіе сплошь да рядомъ не даетъ матерьяла для безспорнаго

рѣшенія этой проблемы, и высказыванія приходится конструировать гипотетически.

Само собой разумѣется, здѣсь нѣтъ никакого чудеснаго преображенія человѣческой природы, никакого „потусторонняго“ общенія между душами. Все дѣло сводится къ развитію въ опредѣленномъ направленіи обычныхъ способовъ общенія между людьми, къ нѣкоторому своеобразному переходу количества въ качество, въ основѣ котораго лежитъ весьма распространенный въ нашей психической жизни процессъ превращенія сознательныхъ реакцій въ рефлекторныя.

Представимъ себѣ человѣка, дешифрирующаго при помощи словаря и грамматики художественное произведеніе, написанное на совершенно неизвѣстномъ ему языкѣ. Для нашего читателя „даны“ только внѣшніе словесные символы, знаки, на основаніи которыхъ онъ долженъ конструировать внутреннее содержаніе изучаемой книги. — И эти конструкціи далеко не свободны отъ гипотезъ. По нашему предположенію объектомъ изученія является не трактатъ точной науки съ ея однозначными, строго установленными терминами, а поэтическое произведеніе написанное образнымъ языкомъ. Для пониманія образнаго языка самый лучшій словарь даетъ лишь слабые намеки; читателю приходится угадывать дѣйствительное значеніе даннаго слова среди десятковъ различныхъ возможныхъ его значеній, указанныхъ въ словарѣ. Естественно, что въ результатѣ гипотетическихъ построеній читателя получается лишь очень неточное возсозданіе истиннаго смысла прочитаннаго, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и прямое его искаженіе. Совершенно такой же характеръ носитъ обычное, типичное общеніе между людьми въ буржуазномъ обществѣ.

Рѣзко отличную и на первый взглядъ даже діаметрально противоположную психическую картину представляютъ переживанія человѣка, который наслаждается произведеніемъ, написаннымъ на его родномъ языкѣ. Содержаніе прочитаннаго развертывается передъ нимъ само собою, безъ всякаго замѣтнаго „посредства“; напечатанные на бумагѣ знаки не требуютъ никакого „перевода“, совершенно не останавливаютъ на себѣ вниманія, ускользаютъ изъ поля зрѣнія, занятаго непосредственнымъ созерцаніемъ образовъ. Вы зачастую не можете припомнить, какимъ шрифтомъ напечатана только что прочитанная вами книга; вы не видите ни одной опечатки, хотя бы ихъ была масса, — вмѣсто дѣйствительно набраннаго въ книгѣ слова — безсмысленнаго или искажающаго смыслъ — вы видите то слово, котораго тамъ нѣтъ, но которое должно бы быть, вѣрнѣе, вы непосредственно воспринимаете самое содержаніе, соотвѣтствующее этому „истинному“ слову.

Но очевидно никакой разницы по существу, никакой трансцендентной преграды между чтеніемъ перваго и чтеніемъ второго

рода не существуетъ. Для того чтобы отъ гипотетическаго дешифрированія смысла книги перейти къ непосредственному переживанію этого смысла не требуется никакого религіознаго откровенія, никакого прыжка изъ эмпирическаго познанія въ мистическую интуицію,—требуется лишь тщательное изученіе незнакомаго языка. Умѣньемъ говорить на общемъ языкѣ исчерпывается также сущность любовнаго сліянія двухъ душъ въ одну. Кропотливый „переводъ" символовъ—высказываній на языкъ непосредственныхъ переживаній становится излишнимъ, онъ совершается „безсознательно", рефлекторно; вмѣстѣ съ тѣмъ исчезаетъ изъ сознанія и представленіе о границѣ между „я", которому даны лишь высказыванія, и „ты", въ которомъ скрыты соотвѣтственныя переживанія,—исчезаютъ сами эти „я" и „ты". Люди, научившіеся общаться между собой истинно человѣческимъ образомъ, отбрасываютъ свою „абсолютную индивидуальность", какъ отбрасываетъ указку школьникъ, овладѣвшій грамотой, какъ отбрасываетъ словарь человѣкъ, усвоившій чужой языкъ.—А г. Бердяеву кажется, что тутъ утверждается принципъ индивидуальности; и для того чтобы спасти эту драгоцѣнную „индивидуальность", эту ограниченность и нищету буржуазнаго сознанія, нашъ мистикъ дѣлаетъ изъ мужчины и женщины двѣ половинки единой личности.

Г. Бердяевъ нѣсколько разъ подчеркиваетъ, что мистическая проблема пола гораздо глубже проблемы семьи. Мы уже видѣли, что идеалъ „вѣчной женственности" въ интерпретаціи нашего философа не только не выходитъ за рамки семьи вообще, но всецѣло умѣщается въ рамкахъ буржуазной семьи, представляетъ лишь тысяча первую варіацію на архи-мѣщанскую тему о томъ, что призваніе жены—поэтически скрашивать будничную дѣятельность мужа.—Легко убѣдиться, что и ученіе о полахъ—половинкахъ индивидума выростаетъ на той же самой почвѣ. „Внѣ соединенія съ женственностью мужчина никогда не постигнетъ тайну... всемірнаго сліянія въ любви", пишетъ г. Бердяевъ *). Для буржуа „внѣ сліянія съ женственностью", т. е. внѣ брачной пары, тайна сліянія человѣческихъ психикъ дѣйствительно трудно доступна. Ибо въ буржуазномъ обществѣ только въ рамкахъ индивидуальной семьи возможно настолько полное совпаденіе „личныхъ интересовъ", что сліяніе это становится осуществимымъ или по краней мѣрѣ желательнымъ. Всѣ остальныя междучеловѣческія отношенія основаны не на совмѣстномъ творчествѣ жизни, а на борьбѣ изъ-за использованія „продуктовъ" творчества, и при томъ творчества „чужого". Естественно, что нѣтъ ни малейшей возможности превзойти границы „я" и „ты", выучиться говорить между собою безъ помощи словаря, разъ языкъ для обоихъ собесѣд-

*) Тамъ же, стр. 180.

никовъ представляетъ не столько способъ сообщать свои мысли, сколько средство скрывать ихъ.

Нѣтъ рѣшительно никакого основанія усматривать „метафизическую“ связь между половымъ чувствомъ и разрушеніемъ границъ индивидуальности. Сліяніе двухъ душъ, связанныхъ половой любовью, есть лишь несовершенный, блѣдный „прообразъ“ будущаго, слабый намекъ на то сліяніе всѣхъ человѣческихъ душъ, которое будетъ неизбѣжнымъ результатомъ коммунистическаго строя. Недоразвитость и уродливость типичныхъ междучеловѣческихъ отношеній современнаго общества исключаетъ возможность сколько нибудь полнаго устраненія „я“ и „ты“, сколько нибудь цѣлостнаго претворенія „субъективныхъ“ психикъ въ единый объективный міръ даже въ рамкахъ тѣснаго союза немногихъ „индивидуумовъ“, связанныхъ между собой самыми интимными узами любви или дружбы. Если въ 99 случаяхъ изъ ста всѣ мои усилія направлены на то, чтобы охранять непроницаемую ограду моей личности отъ всякихъ посягательствъ со стороны другихъ людей, и только въ одномъ единственномъ случаѣ я жажду сліянія, я хочу забыть о самомъ существованіи этой ограды,—то, конечно, цѣль моя не будетъ достигнута. Мало того, неудовлетворительность общенія съ другими затѣмняетъ и „мою“ психику въ моихъ собственныхъ глазахъ. Какъ разъ та область, которую я особенно тщательно скрываю отъ глазъ другого, тѣмъ самымъ исчезаетъ и изъ моего собственнаго поля зрѣнія. Только воспроизводя свои переживанія для другого, я научаюсь воспроизводить ихъ и для самого себя, но „понять“ какое либо явленіе въ своей психикѣ, „уяснить“ его себѣ—это и значитъ „воспроизвести“ въ памяти. Тамъ, гдѣ отсутствуетъ потребность уясненія для другихъ, исчезаетъ возможность уясненія для себя.

Въ настоящее время единый общечеловѣческій міръ, міръ непосредственно объективный, т. е. не разгороженный на убогія клѣтушки самодовлѣющихъ индивидуальностей, мы можемъ только пердчувствовать, мы можемъ уловить его лишь какъ тенденцію развитія. Никто изъ современныхъ людей не можетъ фактически, конкретно воплотить въ себѣ это міросозерцаніе: вѣдь даже самая задача „воплотить въ себѣ“, т. е. въ „своей“ индивидуальной психикѣ общечеловѣческій сверхъиндивидуальный міръ есть уже contradictio in adjecto. Высоко наивны поэтому попытки современныхъ мистическихъ кудесниковъ и заклинателей однимъ интуитивнымъ скачкомъ перемахнуть въ царство „вселенскаго сліянія человѣчества“.

Не менѣе наивны призывы довольно многочисленныхъ въ наши дни народниковъ отъ марксизма,—призывы отрясти интеллигентски-буржуазный прахъ отъ ногъ своихъ и погрузиться въ „святую интуицію“ рабочаго класса. Это святая интуиція—не болѣе, какъ сентиментальный миѳъ. Конечно самыя условія

пролетарскаго существованія вызываетъ настолько тѣсное сплоченіе индивидуальныхъ усилій въ единой классовой борьбѣ, что признаніе „личности“ абсолютнымъ началомъ всегда было и всегда будетъ чуждо пролетаріату. Конечно, даже самые неразвитые и „несознательные“ рабочіе гораздо ближе къ психологіи будущаго, нежели самые вдохновенные пророки мистическаго возрожденія въ рядахъ буржуазіи. Но все же рабочіе разсматриваютъ свою классовую задачу, какъ результатъ совпаденія многихъ индивидуальныхъ интересовъ, а не какъ объективное, непосредственно-общественное творчество, въ которомъ угасаетъ самое представленіе объ „индивидуумѣ“ и его интересѣ. Естественно, что въ соотвѣтственныхъ формахъ приходится воздѣйствовать на психику „несознательныхъ рабочихъ тѣмъ ихъ „сознательнымъ“ товарищамъ, которые хотятъ фактически осуществить преображеніе міра, а не только грезить о немъ. Да и никакой сознательный коммунистъ, никакой, даже самый непримиримый врагъ буржуазіи, не можетъ вполнѣ освободиться отъ буржуазной психологіи, пока фактически существуютъ буржуазныя отношенія. Новое сознаніе не можетъ быть создано ни отдѣльными индивидуумами или группами индивидуумовъ, ни религіозной сектой, ни политической партіей, оно можетъ быть лишь дѣломъ всего человѣчества, покончившаго съ матерьяльными основами своего буржуазнаго, „предъ-историческаго“ *) существованія.

В. Базаровъ.

---

*) Выраженіе Маркса. Буржуазной общественно-экономической формаціей заканчивается по Марксу „Vorgeschichte“ („предъ-исторія“) человѣчества.

Михаилъ Морозовъ.

Предъ лицомъ смерти.

I. ШУЙЦА И ДЕСНИЦА МИСТИЦИЗМА.

1.

„Адепты справедливости должны быть активны, должны бороться за нее. И въ этомъ случаѣ, думается мнѣ не правъ былъ Марксъ, какъ утверждалъ, что „капиталистическая оболочка промышленности, идущей своимъ „естественнымъ" путемъ, должна подъ конецъ разорваться". Разорвется она или нѣтъ, это еще вопросъ, но во всякомъ случаѣ, ждать ея самовольнаго — такъ сказать—разрыва и тяжело, да и совершенно не къ чему... Какого же рода можетъ быть эта активная дѣятельность, разъ мы положили, что партія справедливости въ меньшинствѣ? Она можетъ быть (это самоочевидно) не иной, какъ подпольной. Адепты справедливости должны сплотиться и составить „кружокъ". Другого исхода нѣтъ. Сила же кружка въ доносахъ и шпіонствѣ и даже убійствахъ тайныхъ (не надо явныхъ, не надо рисковать собой: не къ чему), но неумолимыхъ и неизбѣжныхъ, какъ судьба, какъ миѳическій рокъ или какъ сицилійская „мафія". Какъ и убійства?—воскликнетъ иной шаблонный моралистъ, не успѣвшій достаточно критически оцѣнить эту мораль. Да, отвѣчаю я—и убійства".

Эти кровожадныя слова принадлежатъ смиренному иноку, архимандриту Серапіону Машкину *). Съ необычайной для инока

*) См. "Вопросы Религіи" 1906 г.; вып. I, стр. 190—191. Кромѣ метафизическихъ доводовъ архимандритъ Серапіонъ подкрѣпляется и ссылками на Ветхій Завѣтъ. „Чему, собственно, вы ужасаетесь?—спрашиваетъ онъ.— Вспомните Исходъ, какъ пророкъ Моисей выводилъ народъ Божій... убійствъ не мало, притомъ и коронованныхъ особъ, среди другихъ. Но это Ветхій Завѣтъ, а вотъ и Новый. Вотъ что говоритъ Ѳома Аквинатъ:... „Когда власть несправедлива, подданные имѣютъ право ее низвергнуть, если имѣютъ къ этому возможность. Тираническій образъ правленія несправедливъ, такъ какъ онъ направляется требованіями не общаго блага, но лишь требованіями блага того, кто правитъ и, слѣдовательно, низверженіе такого рода правленія по существу не есть мятежъ... Мятежникомъ здѣсь является скорѣе тиранъ". Итакъ въ убійствѣ—въ самомъ фактѣ, какъ таковомъ, препоны нѣтъ справедливости быть, утверждаться въ своемъ существованіи. Она, и она одна имѣетъ право на opinion armée... Хотите новозавѣтный при-

рѣзкостью и дерзостью онъ высказываетъ свои демократическія симпатіи и одобреніе революціонному террору. „Такое санкціонированное вѣчностью право на opinion armée,—училъ архимандритъ Серапіонъ,—имѣетъ одна справедливость". Онъ понималъ, конечно, что въ эмпирическомъ ходѣ исторіи справедливость можетъ потерпѣть пораженіе. Но все-таки вѣчную побѣду торжествуетъ она, а не ея враги. Онъ вѣритъ, какъ христіанинъ, во вторичную жизнь послѣ смерти, когда земля сгоритъ и съ нею вмѣстѣ сгорятъ и всѣ „зміи, порожденія ехидны" (Матѳ. 23). Въ этомъ предположеніи нѣтъ ничего ненаучнаго,—наивно поясняетъ архимандритъ, ссылаясь на „Основ., Науки" Джевонса. „Праведникамъ же, адептамъ справедливости предлежитъ иная участь: они станутъ одинъ въ другомъ, едино въ Господѣ, и съ Нимъ во Отцѣ, станутъ сами „богами", и наконецъ,—страшно вымолвить—Богомъ". (тамъ же, стр. 142).

Эта забытая да и малоизвѣстная фигура монаха-мистика, недавно умершаго, поражаетъ своей наивной свѣжестью и искренностью. Суровымъ средневѣковіемъ вѣетъ отъ нея. Точно ожилъ человѣкъ XII вѣка. Предъ его прямой и грубой рѣчью вѣрующаго сердца растерянно тускнѣетъ хилый вымученный мистицизмъ-модернъ, этотъ модный товаръ современнаго литературнаго рынка.

Подлинный глубокій мистикъ тихо и заброшенно умираетъ въ ссылкѣ въ скромной безвѣстности въ то самое время, когда литературные пустосвяты мистицизма пожинаютъ плоды дешевой популярности. Своеобразна и цѣльна жизнь этого человѣка. Выйдя въ отставку юношей мичманомъ, онъ поступилъ вольнослушателемъ въ университетъ и, кончивъ естественный факультетъ, отправился на Афонъ, гдѣ пробылъ шесть лѣтъ послушникомъ. Возвратившись въ Россію по настоянію другихъ, поступилъ въ духовную академію, окончилъ ее и постригся въ монахи. Это былъ человѣкъ не только слова, но и дѣла. Какъ мистикъ, онъ вѣрилъ въ непосредственное общеніе и сліяніе съ Богомъ. Его мучили видѣнія и галюцинаціи. Онъ велъ непримиримую борьбу съ осаждавшими его сатанинскими силами, и, только припавъ къ распятію, выходилъ изъ мнимой битвы побѣдителемъ. Человѣкъ необыкновенной доброты, онъ роздалъ около 200.000 рублей своего наслѣдства и самъ жилъ впроголодъ въ ссылкѣ, въ Оптиной Пустынѣ, отдавая просящимъ свой обѣдъ и свою одежду, оставаясь иногда въ одномъ нижнемъ

мѣръ? извольте. Вотъ вамъ мученикъ Іеронъ. Его хотѣли римляне взять и сдѣлать солдатомъ для того, чтобы послать на несправедливую войну, чтобъ преслѣдовать христіанъ и учинить иные „подвиги", достойные Вельзевула. Іеронъ уклонился, спрятался въ пещеру. За нимъ пришли легіонеры. Но онъ—этотъ новый Илія—перебилъ ихъ дубиной, такъ какъ обладалъ феноменальной физической силой мускуловъ"... (см. „Вопросы Религіи" 1906 г. выпускъ I-й, стр. 191—192).

бѣлье. Этотъ мистикъ называлъ соціалъ-демократовъ братьями во всемъ человѣчествѣ, отрицалъ самымъ рѣшительнымъ образомъ мораль современнаго общества и освящалъ всѣ дѣйствія (какъ бы ни казались они возмутительными съ точки зрѣнія нравовъ и „кодексовъ") „кружка справедливыхъ" или даже одного справедливаго, если они имѣли цѣлью благо общее, если вѣчная справедливость, которая есть Богъ, требовала этого. Критерій справедливости—она сама, ея вѣчность.

И разбойникъ имѣетъ силу, а слѣдовательно и право существовать, но его право ложное и потому оно не долговѣчно, ибо „вѣчное бытіе, Вѣчный, Іегова не разбойникъ, а какъ разъ обратное ему. Онъ—любовь".

Въ этомъ странномъ, метафизически построенномъ ученіи архимандрита Серапіона есть одна характерная для мистицизма черта: отсутствіе какого-либо объективнаго мѣрила справедливости даетъ полную возможность съ такими же ссылками на науку и цитатами изъ Ветхаго и Новаго Завѣта оправдывать черносотенный терроръ, какъ оправдываетъ архимандритъ Серапіонъ—красный. Будучи самъ по себѣ, и для нашего времени въ особенности, болѣзненнымъ патологическимъ продуктомъ соціальнаго разложенія и распада личности, мистицизмъ безразлично уживается со всякими политическими тенденціями, если они принимаютъ разрушительный характеръ. Мистикъ не выноситъ нормы. Его переживанія ирраціональны, мнимое общеніе съ духами и внѣприродными силами лишено всякихъ объективныхъ и положительныхъ границъ, которыя дѣлали бы эти переживанія пріемлемыми для другихъ. Отсюда понятно отрицательное отношеніе мистиковъ къ общепринятымъ нормамъ религіи, морали соціальнаго уклада, отсюда ихъ мнимый, а въ сущности вредный, революціонизмъ.

Въ современномъ намъ революціонномъ движеніи среди анархистовъ и террористовъ мы находимъ ярко выраженное тяготѣніе къ мистическому міропониманію и ощущенію жизни. „Не хочу прощаться: вѣдь я съ вами буду?? да?? Вы будете чувствовать меня, я не уйду отъ васъ?—пишетъ близкимъ обреченная у порога казни.—Я иду къ папѣ съ Лялей, я ихъ скоро увижу, я ихъ поцѣлую за васъ всѣхъ". „Чувствуйте Тольку: она будетъ съ вами, какъ и со всѣми людьми. Своею любовью я обниму весь міръ, я всюду буду, хочу всюду быть, я вѣчно хочу любить людей, вѣчно давать имъ все, что у меня есть... Я не умру... Прощайте пока!.." „Ну смотрите на меня, хорошо мнѣ, больно хорошо! Что можетъ быть счастливѣе человѣка, идущаго съ радостью на смерть?..." „Свѣтло, свѣтло кругомъ... Черезъ нѣсколько часовъ не станетъ меня... Жду чего-то свѣтлаго, свѣтлаго... Какъ будто передъ Христовой заутреней въ дѣтствѣ ждешь благовѣсти, кругомъ по-праздничному, и прыгаетъ сердечко отъ какого-то непонятнаго восторга. Разница та,

что восторгъ мой понятенъ мнѣ теперь"... „Небо и земля слились теперь воедино и я—все, все, весь міръ, чувствую его и упиваюсь имъ"... „Какъ хорошо, безконечно хорошо! Весь міръ ощущаю въ своей душѣ! Ясная цѣль, сила—вѣра моя и жизнь чудная, дивная жизнь!"

Вотъ подлинная душа мистика, раскрывавшаяся въ восторженномъ экстазѣ, ощутившая свою внѣприродную связь съ космосомъ, со всѣмъ человѣчествомъ, утонувшая въ восторгахъ мистической любви и вѣры въ безсмертіе.

Такъ писалъ не одинъ обреченный у качающейся надъ его головой петли. И какимъ холодомъ, пустотой, равнодушіемъ и пародійной усмѣшкой предъ лицомъ этихъ мистиковъ безъ словъ дышетъ словесный мистицизмъ г.г. Чулковыхъ, Бердяевыхъ, Булгаковыхъ и иныхъ благополучныхъ россіянъ, мятежно подвизающихся на литературныхъ подмосткахъ въ надеждѣ славы и добра: мистическая похоть скучающихъ душъ своего рода пряная приправа къ пріѣвшейся жизни пресыщенныхъ.

2.

Если грубоватые мистики, принимающіе галюцинацію и миражи за дѣйствительность, воочью лицезрѣющіе Бога, и обнаруживаютъ нерѣдко подлинную любовь къ живому человѣку,— то характернѣйшая черта мистиковъ словесниковъ—это любовь къ мертвымъ, состраданіе къ мертвецамъ и равнодушіе къ живымъ. Если у первыхъ, подобно архимандриту Серапіону, живыя симпатіи къ революціи, освобождающей человѣка для любви, не тускнѣютъ въ пороховомъ дыму, то у вторыхъ именно этотъ ѣдкій дымъ вызываетъ къ ней непримиримую непріязнь, прикрываемую абстрактнымъ альтруизмомъ; пассивное сочувствіе, готовность умереть вмѣстѣ, чтобы только уйти подальше отъ чада жизни — вотъ самое большее, на что они способны; по крайней мѣрѣ на словахъ. Какъ презрительно ни обезцѣниваютъ мистики-словесники нашъ плохой, испорченный эмпирическій міръ, и какъ ни расписываютъ всѣми цвѣтами радуги міры иные, а все-таки цѣпляются дрожащими руками за эту земную и плохую, и тлѣнную жизнь, и не слишкомъ торопятся уйти на покой въ воспѣтую ими распрекрасную, лучезарную даль зіяющей вѣчности.

Таковы мистики-словесники, граждане вселенной и иныхъ міровъ, съ которыми они обращаются за пани-брата. Изящные джентельмены, они не станутъ, какъ Серапіонъ Машкинъ, бѣгать съ кадиломъ, чтобы покадить, не то что на кухню, но даже и въ будуары свѣтскихъ дамъ, и подобно намъ всѣмъ грѣшнымъ, не снимутъ и не отдадутъ встрѣчному просящему верхней одежды и не останутся въ нижнемъ бѣлье. Не знаю, дѣлятся ли

они пищей и голодаютъ ли ради ближнихъ, но зато знаемъ, что г. Бердяевъ ненавидитъ соціалдемократовъ, упрекая ихъ въ подмѣнѣ „хлѣба небеснаго" „хлѣбомъ земнымъ", что г. Мережковскій въ пролетаріатѣ прозрѣлъ грядущаго Хама, который и есть де анархистъ, отецъ лжи; что за ними не ходитъ спеціальный провожатый, когда они отправляются на поиски „небеснаго хлѣба", для удержанія отъ излишествъ въ дѣлахъ милосердія и молитвенности, какъ это было съ тѣмъ же архимандритомъ Серапіономъ. Не знаемъ, молятся ли они, но съ дьявольскими соблазнами не всѣ борются. Такъ Н. Бердяевъ однополую любовь не считаетъ ни безнравственной, ни анормальной, ибо съ „религіозной точки зрѣнія да и съ философской вся природа противоестественна, испорчена, и послушаніе природѣ и ея законамъ не есть мѣрило добра". Съ высшей точки зрѣнія,— учитъ г. Бердяевъ, перевирая Владиміра Соловьева,—противоестественныя формы любви и полового соединенія нисколько не хуже формы такъ называемаго „естественнаго соединенія". Н. Бердяевъ боится морализировать надъ тайной пола, такъ какъ очень легко попасть при этомъ, „въ лапы злой и коварной стихіи рода, послужить не Богу,—а враждебной ему природѣ, принявшей обличіе моральнаго благоразумія", *) но пофилософствовать на эту опасную тему онъ прямо любитъ.

„Единый объектъ любви, органическій идеалъ,—учитъ онъ,— родная душа, мистически предназначенная полярная половина эмпирически раздробляется: въ массѣ женщинъ для мужчинъ, въ массѣ мужчинъ для женщинъ видятся разорванныя черты органическаго объекта—тамъ глаза, здѣсь рука, тамъ душа, здѣсь умъ и т. д. Вѣдь нужно открыто заявить, что мужчины въ извѣстной мѣрѣ влюблены въ слишкомъ многихъ женщинъ, женщины въ слишкомъ многихъ мужчинъ. Всѣ почти во всѣхъ почти въ извѣстномъ смыслѣ влюблены, неутомимая жажда мучитъ людей и любовное томленіе не имѣетъ предѣла" **).

И тутъ опять-таки, „нѣтъ ничего морально предосудительнаго. Но страшная трагедія скрыта въ этой болѣзни любовнагó фетишизма, въ этомъ дробленіи любви и ея объекта".

Всплакнувъ, что „душа человѣческая растрачиваетъ свою божественную силу эроса по милліону поводовъ на неуловимыя дробныя части", г. Бердяевъ все-таки рекомендуетъ преодолѣть

---

*) „Новое религ. созн. и общественность". Стр. 185. Владиміръ Соловьевъ саркастически противопоставлялъ извращеннымъ формамъ половыхъ сношеній „естественное соединеніе", разумѣя подъ нимъ посѣщеніе въ цѣляхъ гигіены лупонаровъ и рѣзко осуждая вообще скотское отношеніе къ половому акту, какъ противное цѣльной природѣ человѣка; а г. Бердяевъ „углубилъ" учителя и разумѣетъ уже не одну продажную любовь, а вообще любовь съ послушаніемъ „природѣ".

**) Тамъ же. Стр. 167—168. Курсивъ нашъ.

фетишизмъ и слиться таинственно съ другимъ, какъ со своей родной, полярной и вмѣстѣ тождественной индивидуальностью. Въ этомъ мистическомъ ощущеніи своей и другой личности весь смыслъ любви. „Преодолѣніе фетишизма есть путь къ индивидуальному безсмертію и реально-мистическому ощущенію и утвержденію личности“ *).

Похоже на бредъ кающагося эротомана. Повидимому болѣзнь еще не достигла кульминаціоннаго пункта, больной еще самъ опасается своихъ переживаній, дробящихъ его личность влеченіемъ то къ ногѣ одной дамы, то къ затылку другой, носу или душѣ третьей. Во всякомъ случаѣ положеніе тяжкое, если приходится уже посулой безсмертія завлекать себя на путь мистическаго общенія съ единой, полярной и тождественной вмѣстѣ, предназначенной въ мірѣ душой.

Г. Чулковъ въ статьѣ „Тайна любви“ дѣлаетъ „послѣдній и страшный выводъ: нѣтъ безсмертной любовницы, есть только Безсмертная Любовь. Слѣдовательно, мы должны искать не Единую, а Двуединую, чтобы создать вѣчную Троицу (но какъ же тогда быть съ г. Бердяевымъ?). Итакъ въ троицѣ полагается начало религіозной общественности и послѣдняя правда безсмертія. Въ троицѣ, какъ изначальной формѣ соборности, раскрывается впервые любовь (красота) безусловно тождественная и неизмѣнная себѣ **).

Кто же изъ этихъ двухъ мистиковъ правъ? Одинъ для безсмертія рекомендуетъ мистически слиться съ одной полярной душой, другой—по крайней мѣрѣ съ двумя (какъ извѣстно, ихъ общій учитель, Владиміръ Соловьевъ, тонко намекалъ на допустимость мистической любви для безсмертія и больше, чѣмъ съ тремя ***). Оба—мистики, оба—равно почтенны. Но г. Бердяевъ, правда, свои философскіе взгляды мѣняетъ, какъ и свои галстухи, а г. Чулковъ прежде всего поэтъ и потому не чувствуетъ себя связаннымъ узами родства ни съ логикой, ни съ философіей, но зато крѣпко онъ привязался къ своему собственному коньку мистическаго анархизма и кормитъ его всякой всячинкой, отъ мистики до р. с. д. р. п. включительно. И чѣмъ бы ни кормилъ—все тому коню въ прокъ: скачетъ себѣ за предѣлами логической досягаемости и баста. Кто же изъ нихъ лучше, кому довѣриться? Единая или Двуединая должна быть любовница? Этотъ важный вопросъ остается открытымъ и впредь вѣроятно останется, хотя бы въ погонѣ за его разрѣшеніемъ оба мистика и загнали своихъ коньковъ до смерти. Не даромъ

---

*) Тамъ-же. Стр. 168.

**) „Факелы“ кн. II. Стр. 223.

***) По стопамъ Соловьева направляется и г. Чулковъ: „формы любви безконечно разнообразны, но всегда желаннымъ моментомъ истинной любви является исходъ изъ эгоизма вдвоемъ, изъ любви парной къ любви вселенской“. См. стр. 216, тамъ-же.

же. г. Бердяевъ такъ усердно ихъ мѣняетъ, а г. Чулковъ доскакался до единства пола. „Проблема троицы,—болѣзненно учитъ онъ,—осложняется вопросомъ о соотношеніи половъ. Единственнымъ разрѣшеніемъ этого рокового вопроса мнѣ представляется признаніе первоначальнаго единства пола“ *).

Только что прочувствовали мы „послѣдній страшный выводъ“, какъ уже предъ нами поставленъ роковой вопросъ! Никакая душа не выдержитъ столько страховъ сразу. Но соберитесь, читатель, съ духомъ: „Итакъ, и женское и мужское начала, по участи г. Чулковъ, потенціально находятся въ равновѣсіи въ каждой личности и только въ индивидуумѣ, т. е. въ эмпирической видимости, мы наблюдаемъ раздѣльность пола“ Очевидно, остается одно — устремиться къ преодолѣнію этой эмпирической видимости и раздѣльности.

Нельзя сказать, стобы страхъ смерти изощрялъ философскія способности. Отъ этого набора мистическихъ словъ, отъ эмпирической раздробленности г. Бердяева, томящагося непрерывно по всѣмъ женщинамъ (тамъ нога, тамъ рука, а тамъ душа, тамъ умъ...), отъ передѣланныхъ въ общую мысль древне-греческихъ побасенокъ объ единствѣ пола—пахнетъ потомъ раба, погнавшагося на четвереньках за безсмертіемъ предъ скучающимъ лицомъ вѣчности. Какъ бы тамъ ни было, предъ нами развернулись широкіе горизонты. Выбирай кого хочешь и будешь безсмертнымъ; цѣломудреннаго Чулкова или сладострастнаго Бердяева. У г. Бердяева есть свое преимущество. Онъ отрицаетъ необходимость естественнаго соединенія. „Не естественно нужно соединяться поламъ, по законамъ природы и раціональной морали, а сверхъестественно. Слово сверхъестественно,— торопится объяснить г. Бердяевъ,—я не въ шутку употребляю, а дѣйствительно думаю и вѣрю, что изъ природнаго міра можетъ быть выходъ въ сверхприродное“ **).

---

*) См. „Факелы“, кн. II, стр. 223. Въ „Пирѣ“ Платона разсказывается, что прежде люди были о четырехъ ногахъ и четырехъ рукахъ, двухъ головахъ и т. д., словомъ двое мужчинъ, или двѣ женщины, или женщина и мужчина вмѣстѣ составляли одного человѣка. Зевсъ убоялся могущества ихъ и разсѣкъ пополамъ. Отсюда три вида любви: каждая половина томится по своей другой изначальной половинѣ.

**) „Новое религіозн. созн. и общественность“. Стр. 186.

3.

Оставьте насъ въ покоѣ. Оставьте вообще всю землю съ вашими выспренностями и якобы „идеализмомъ", который мнѣ представляется преестественной гадостью. В. Розановъ.

Ознакомившись съ проблемой пола г. Бердяева, начинаешь понимать его раздраженныя опасенія противъ „гуманныхъ" соціалистовъ, какъ иронически онъ намекаетъ на жестокосердныхъ соціалдемократовъ. Они, по его словамъ, уже подготовляютъ для подобныхъ ему людей (мистиковъ) богадѣльни, въ которыхъ будутъ обращаться съ ними, какъ съ тихими помѣшанными. Не знаю, правда это или такое же измышленіе г. Бердяева, какъ и его выходъ въ сверхприродное, но мнѣ кажется, г. Бердяевъ никакихъ данныхъ на помѣщеніе его въ такую богадѣльню не имѣетъ. Напротивъ, въ своихъ измышленіяхъ на марксизмъ и на Карла Маркса, устами котораго говоритъ де самъ великій инквизиторъ и чуть-ли не отецъ лжи, дьяволъ, онъ обнаружилъ признаки такого буйства и раздраженія, при которыхъ трудно человѣку считаться и съ фактами, и съ логикой. Не даромъ г. Бердяевъ объявилъ себя врагомъ здраваго смысла и поклонникомъ Большого Разума, какъ по ехидному увѣренію Шестова, ядовито назвалъ г. Бердяевъ собственно Глупость, чтобы окончательно унизить здравый смыслъ.

Г. Бердяевъ изобличаетъ научный соціализмъ въ томъ, что онъ не хочетъ „установить равенство абсолютно всѣхъ людей", т. е. „всѣхъ живыхъ людей", когда-либо существовавшихъ на землѣ, а не только грядущихъ поколѣній; г. Бердяевымъ мертвыхъ считаетъ живыми и горько попрекаетъ соціалъ-демократію, что она признаетъ преимущественное право на счастье за поколѣніями грядущими и такимъ образомъ устанавливаетъ новую пролетарскую аристократію. Г. Бередяевъ добрѣе, онъ „устраиваетъ" равенство всѣхъ, и живыхъ, и мертвыхъ, и имѣющихъ еще родиться чадъ и разсыпающихся отъ ветхости старцевъ. Само собою разумѣется, что это равенство между уже умершими, пока живыми и еще имѣющими родиться нашъ соціалистъ plus que демократъ (его собственное признаніе) *), устраиваетъ не позитивно, а религіозно **). И, конечно, опять-таки слова эти онъ употребляетъ не въ шутку, а дѣйствительно вѣритъ и чаетъ воскресенія мертвыхъ. Но что дѣлать до этого воскресенія, какъ быть съ позитивнымъ неравенствомъ? Какъ поступить съ

*) Стр. 128. „Нов. Р. С. и общ."
**) Тамъ же, стр. 78—79.

милліонами новоявленныхъ аристократовъ соціалъ-демократіи, уже здѣсь на землѣ умирающихъ съ голоду и холоду въ то самое время, когда г.г. Бердяевы пишутъ теплыя и сердечныя вещи объ абсолютномъ равенствѣ всѣхъ?!

Имъ г. Бердяевъ сообщаетъ радостное откровеніе, повидимому, мистическаго происхожденія: „страданіе,—говоритъ онъ,— часто бываетъ лишь хитрымъ средствомъ чувствовать себя лучше“ *).

Всѣ затасканныя старыя обвиненія, которымъ въ свое время подвергался со стороны буржуазныхъ противниковъ соціализмъ, г. Бердяевъ, упрочившись въ великолѣпной позѣ гражданина иныхъ міровъ, вновь бросаетъ въ лицо марксизму. Научный соціализмъ и соціалъ-демократія, и самъ демоническій Карлъ Марксъ оказываются повинными въ неуваженіи и презрѣніи къ человѣку и человѣческой личности, во враждѣ къ свободѣ совѣсти, къ высшей духовной природѣ человѣка. Подобно г. Булгакову Н. Бердяевъ не можетъ переварить отрицательное, воинствующее отношеніе Карла Маркса къ религіи. Еще въ сороковыхъ годахъ Карлъ Марксъ писалъ: „Критика религіи кончаетъ ученіемъ, что человѣкъ есть высшее существо для человѣка, слѣдовательно—категорическимъ императивомъ опрокидывать всѣ условія, въ которыхъ человѣкъ является униженнымъ, окованнымъ, покинутымъ, презрѣннымъ существомъ“. И этому девизу Марксъ остался вѣрнымъ до конца жизни.

Г-на Булгакова **) глубоко возмущаетъ „зловѣщая“ и „опасная“ энергія К. Маркса, которую онъ проявляетъ наряду съ „работой господней“, какой по Булгакову является защита обездоленныхъ въ капиталистическомъ обществѣ и преобразованіе общественнаго строя на началахъ справедливости и свободы. Онъ вмѣстѣ съ Бердяевымъ не можетъ простить ему воинствующаго атеизма, „проповѣди классовой вражды, отрицанія общечеловѣческихъ цѣнностей и общеобязательныхъ нормъ за предѣлами классоваго интереса“. Они ненавидятъ въ Карлѣ Марксѣ безпощадного разрушителя мнимыхъ цѣнностей, примиряющихъ рабовъ съ ихъ унылой долей; имъ дороги наивныя грезы религіи, обезцѣнивающей трагедію борьбы угнетенныхъ классовъ за существованіе, — религіи, осушающей слезы страданія, голода и холода презрительнымъ отношеніемъ къ „бываніе“, къ благамъ міра сего, но зато возвеличивающей трагедію человѣческаго духа, возжаждавшаго на вершинахъ „бытія“ культурныхъ классовъ вѣчнаго продленія жизни, извѣданной и исчерпанной ими сполна. Карлъ Марксъ желѣзной рукой вырвалъ почву изъ подъ ногъ этой волшебной гармоніи, въ которой слезы страданія горятъ веселыми алмазами. Раз-

*) Тамъ же, стр. 92.
**) „Карлъ Марксъ, какъ религіозный типъ“.

сѣянъ миражъ и разбиты сладкія грезы. И всѣмъ сердцемъ ненавидитъ г. Бердяевъ соціалъ-демократію и Карла Маркса. Точно личную обиду человѣку нанесли, никакъ душу отвести не можетъ и все боится богадѣльни. Эта богадѣльня, будто бы уже пріуготовляемая коварными „гуманными соціалистами" для помѣшанныхъ мистиковъ, поистинѣ кошмарныхъ фатумомъ преслѣдуетъ мысль г. Бердяева, когда онъ пишетъ о соціалъ-демократіи. Онъ чувствуетъ, что для этихъ людей, лишенныхъ мистическихъ откровеній и съ дьявольской гордостью отрицающихъ ихъ, весь его мистическій нарядъ—шутовской костюмъ, маскирующій личное горе и вызывающій грустную улыбку надъ бѣдною душой человѣческой, не въ шутку, а въ серьезъ мечтающей о сверхъестественномъ и надприродномъ соитіи половъ, о равенствѣ мертвыхъ и живыхъ.

Какъ ни закутывается г. Бердяевъ въ тогу демократизма и соціализма, а все-таки быть мистикомъ не значитъ еще умѣть мистифицировать. Буржуазный критикъ и идеологъ встаетъ предъ нами во весь ростъ въ своемъ мистическомъ великолѣпіи. Сторонникъ двухпалатной системы, онъ не только обнаруживаетъ индифферентизмъ къ политическимъ формамъ, но и находитъ, что монархія въ иныхъ случаяхъ можетъ оказаться лучше республики, даже съ аристократіей, сознавшей обязанности благороднаго самоотреченія *)

Когда революціонный народъ угрожаетъ господствующимъ классамъ насильственнымъ освобожденіемъ и завоеваніемъ болѣе справедливаго и человѣческаго порядка, — то г. Бердяевъ въ ужасѣ пишетъ: „если только жестокостью, звѣрствомъ, кровавыми жертвами можно уничтожить міръ старый и создать новый—то пусть лучше міръ погибнетъ" **). Когда же стоны и скрежетъ угнетаемаго и эксплоатируемаго народъ доходятъ до его слуха, когда онъ видитъ безконечную вереницу гробовъ замученныхъ до времени медленной смертью или сразу убитыхъ жертвъ, — то г. Бердяевъ утѣшается тѣмъ, что нѣтъ спасенія ни въ революціонномъ соціализмѣ К. Маркса, ни въ „нейтральномъ", думающемъ направить человѣчество по безболѣзненному и мирному пути — Бернштейна. „Спасенія слѣдуетъ ждать не отъ революціонно-соціалистическихъ идеаловъ, а отъ перехода къ новой религіозной вѣрѣ на почвѣ глубокаго разочарованія въ существѣ всякой человѣческой революціи. И во всякомъ случаѣ большого благополучія ждать въ будущемъ нельзя" ***)

Такимъ пессимистическимъ аккордомъ заканчиваются поиски небеснаго хлѣба у гражданина вселенной.

---

*) „Нов. Рел. Созн. и общ.". стр. 128.
**) Стр. 92—93, тамъ же.
***) Тамъ же, стр. 129.

Любопытно сопоставить съ этой мистической болтовней, полной черствыхъ заботъ о безсмертіи своего „я“, мнѣнія объ этомъ же вопросѣ подлиннаго мистика. Архимандритъ Серапіонъ стильнымъ языкомъ рѣшительно заявляетъ, что участь сознательныхъ и упорствующихъ дѣлателей зла должна быть рѣшена сторонниками справедливости, которые прибѣгаютъ къ убійству лишь тогда только, когда исчерпаны всѣ мирные способы воздѣйствія; говоря о правѣ рабочаго класса („общины справедливыхъ тружениковъ“) на рѣшительный образъ дѣйствія, архимандритъ Серапіонъ угрожающее сравниваетъ положеніе современнаго пролетаріата съ положеніемъ евреевъ въ Египтѣ, когда евреямъ нельзя было служить Богу истинному, за что Богъ и побилъ египтянъ. „И теперь при 10 и болѣе часовомъ трудѣ нѣтъ времени рабочему служить Богу истинному, нѣтъ времени развить свой умъ и сердце, такъ какъ только эту службу и требуетъ Богъ истины, а не постовъ, поклоновъ, ничего формальнаго, требуя только познанія истины и любовь къ ней *)

Завоеваніе свободы и лучшихъ условій труда, однимъ словомъ, завоеваніе, хотя бы въ крайности при посредствѣ насилій, земного хлѣба архимандритъ Серапіонъ выставляетъ какъ необходимое условіе служенія и познанія истины, безъ которыхъ невозможна жизнь вѣчная. Именно то, что отрицается г. Бердяевымъ и отвергается съ брезгливостью во имя жизни вѣчной, архимандритъ Серапіонъ утверждаетъ какъ sine qua non служенія Богу истины, т. е. самой истинѣ, а черезъ нее какъ sine qua non вѣчной жизни.

Предъ вами два мистика. Одинъ глубокій мистикъ, вся жизнь котораго была мистическимъ подвигомъ, а другой мистикъ головной, литературный. Одинъ любитъ и вѣритъ въ справедливость рабочихъ, другой ихъ боится и подозрѣваетъ въ мрачномъ звѣрствѣ и даже самопожертвованіе ихъ для грядущихъ поколѣній—считаетъ чѣмъ-то кровожаднымъ и жестокимъ. Но оба ратуютъ за вѣчную жизнь и за Истину, и оба вѣрятъ въ Бога и въ воскресенія Христа. Но у монаха мистика, суроваго подвижника,—справедливость горитъ яснымъ свѣтомъ, живое чувство любви брызжетъ радужнымъ фонтаномъ, не взирая на пророчески гнѣвный и грозный языкъ, а у мистика-литератора мякинная душа и приторно кроткія слова и презрѣніе къ житейскимъ судьбамъ милліоновъ живыхъ людей, для него страшныхъ и враждебныхъ. По истинѣ дьяволъ буржуйства — скажу въ шутку — засѣлъ въ г. Бердяевѣ, говорю въ шутку, потому что не вѣрю ни въ дьявола, ни въ мистику г. Бердяева.

Скучно и прѣсно звучатъ благодушные бердяевскіе совѣты „причинять, какъ можно меньше насилія и горя каждому живому существу, въ каждый данный моментъ бытія, осуществлять

*) Стр. 194 „Вопр. Религіи“. Вып. I-й.

правду ежесекундно, а не создавать благополучія для будущаго, для котораго все позволено". Затхлымъ филистерствомъ и мѣщанской моралью несетъ отъ этихъ заплесневѣвшихъ словъ, вскрывающихъ робкую, пугливую, маленькую душонку сантиментальнаго мѣщанина, вздрагивающаго при визгѣ кошки, ущемившей хвостъ, и равнодушно привычнымъ взглядомъ скользящаго по хроникѣ самоубійствъ и смертей безработныхъ и голодныхъ. Въ великомъ презрѣніи къ хлѣбу насущному г. Бердяевъ позабылъ дать положительный рецептъ осуществленія ежесекундной правды. Не причиняй горя, не причиняй насилія!.. Да и самый рецептъ недѣланія данъ дишь для посрамленія „благополучія будущаго, для котораго все позволено", и которое онъ ненавидитъ. Его правда — бездушная, пустая, формальная правда. Въ немъ раскрывается съ поразительной яркостью буржуазная натура, вся погруженная въ ловленіе момента, азартное переживаніе дня, и глубоко равнодушная къ грядущимъ поколѣніямъ. Для него будущее общество, грядущія поколѣнія— чудовище, „пьющее кровь поколѣній былыхъ и современныхъ, истязующее каждую живую личность во имя свое, во имя своей отвлеченности" *). Онъ предпочитаетъ гибель міра жертвѣ настоящаго для будущаго. До какой степени извращенія понятій нужно дойти, чтобы въ порывѣ любви къ людямъ пожелать міру погибнуть лишь потому, что есть и будутъ люди, которые сами идутъ и другихъ увлекаютъ за собой на жертву во имя прекраснаго будущаго потомковъ, и въ то же время принимать этотъ настоящій міръ, который сейчасъ для кучки презрѣнныхъ хищниковъ сметаетъ съ лица земли цѣлые народы и поколѣнія.

Развѣ будущее общество, а не живое чудовище дня пьетъ кровь живыхъ, истязуетъ живую личность? Нищета массъ, голодъ и насиліе, громоздящіе пирамиды человѣческихъ труповъ— развѣ это не для нынѣ сущаго Молоха власти и капитала, а для далекаго призрака будущаго? Г. Бердяевъ какъ будто не понимаетъ, что сила и побѣда пролетаріата какъ разъ именно въ этой тѣсной и кровной связи съ будущимъ, въ силу которой не хочется безсмысленныхъ страданій и несчастій настоящаго. И ужъ если страдать неизбѣжно, то пусть это страданіе откроетъ двери освобожденія тѣмъ, кого мы любимъ, кто намъ близокъ. Но нѣтъ, онъ отлично понимаетъ, что никакими рецептами бердяевской кухни не отмахнешься отъ этихъ страданій, не убавишь ихъ на іоту, и потому онъ строитъ свое равенство, свою справедливость, свою радость вовсе внѣ плана земной жизни и ея живыхъ отношеній. Съ ловкостью жонглера, играющаго шарами, онъ играетъ словами: „не будемъ ничего дѣлать для будущаго времени, не будемъ думать о будущемъ, о временномъ, будемъ дѣлать только для вѣчности, будемъ

*) „Новое религ. созн. и общ.", стр. 77.

смотрѣть не впередъ, а вверхъ и вглубь, въ хорошую безконечность, не плодящую безъ конца несовершенства міра" *).

Такъ подъ покровомъ заманчивыхъ словъ: вѣчность, вверхъ, вглубь — преподносится старая престарая мелодія: laisser faire, laisser passer.

4.

Равнодушіе къ живой людской жизни расцвѣтаетъ махровыми цвѣтами мистическаго обожанія вѣчности, подъ которымъ скрывается необузданная жажда удержать на вѣки наслажденіе переживаемыхъ мгновеній. Вѣчность это мигъ, остановившійся на вѣки,—это отрицаніе движенія времени. „Коренной врагъ, изначальное зло жизни—время",—говоритъ г. Бердяевъ. Такими побрякушками философско-религіознаго жонглерства г. Бердяевъ расчитываетъ кого то убѣдить, въ комъ то ищетъ сочувствія. И это на языкѣ лакированнаго мистицизма называется попыткой связать себя осмысленно съ реальнымъ, а не съ преходящимъ эмпирическимъ міромъ. „Кто я, откуда я, и зачѣмъ я?—тоскливо восклицаетъ г. Бердяевъ. „Если не пріоткроется таинственный смыслъ мірозданія, мое предназначеніе въ универсумѣ, то мнѣ жить не интересно, тоскливо и не знаю, какъ жить!"—плачется онъ, и наконецъ, откровенно сознается: мнѣ нужна религія, потому что я хочу жить вѣчно, хочу утвердить свою личность во вселенской жизни **). Увѣровалъ человѣкъ въ воскресеніе Христа, чтобы имѣть заручку и для своего собственнаго воскресенія, и думаетъ, что онъ уже и впрямь подлинный мистикъ, прозрѣвшій иные міры. Вы посмотрите, съ какимъ превосходствомъ, съ какой убійственной ироніей этотъ новоявленный мистикъ, сдѣлавшій „парфосный" прыжокъ отъ марксизма черезъ кантіанство ко Христу, говоритъ о заблудшихъ душахъ позитивистовъ: „Что „реальныя" соціальныя реформы гораздо дѣйствительнѣе для жизни, чѣмъ „призрачное" воскресеніе Христа, это мы слыхали отъ всѣхъ позитивистовъ и нисколько этого не страшимся" ***). Оцѣните, читатели, всю убійственную силу ковычекъ г. Бердяева. Словно въ сказкѣ, нашъ мистикъ садится задомъ на передъ, головой внизъ и вверхъ ногами. Что для насъ простыхъ смертныхъ, реально,—для него призрачно, и что призрачно для насъ,—то для него подлинная реальность. Тутъ ужъ ничего не подѣлаешь, всякъ молодецъ на свой образецъ.

*) Тамъ же, стр. 80. (Курсивъ нашъ)

См. также стр. 164: „Совершенный міръ не долженъ продолжаться въ чемъ либо иномъ, не долженъ ничего рождать, онъ остается для вѣчности, остается самимъ въ себѣ".

**) Тамъ же, Введеніе, стр. XVII—XVIII.

***) См. Рус. Мысль 1908, кн. 1. „Проявленіе Новаго Рел. Созн.".

У гражданина вселенной, какъ ему и подобаетъ въ столь величественной позиціи, нѣтъ иныхъ аргументовъ, кромѣ: я утверждаю.

„Или мистика галюцинація и самообманъ, или она объективное состояніе природы человѣка и природы міра", а посему я утверждаю, что всѣ люди мистики въ разной степени. Или религія самообманъ и фикція или она реальность, а посему я утверждаю вѣру въ божественное откровеніе, вѣру въ Господа Бога и въ воскресеніе Христа. Таковъ ходъ разсужденій у г. Бердяева *).

Г. Мережковскій, его вдохновившій, почти прямо говоритъ, что всѣ люди безсмертны, если хоть одинъ человѣкъ когда-либо воскресъ. Я хочу воскреснуть, а слѣдовательно одинъ человѣкъ во истину воскресъ, о чемъ и свидѣтельствуютъ евангелисты.

Это хотѣніе жизни вѣчной, исходящее изъ страха предъ концомъ жизни тлѣнной, проходитъ сквозь душу этихъ людей такимъ опустошительнымъ шкваломъ, что окончательно вытравливаетъ у нихъ соціальные инстинкты, подмѣняя ихъ рафинированнымъ эгоизмомъ. Соборная любовь, свободное сліяніе преображенныхъ людей въ Богѣ, безсмертіе, преодолѣніе времени, преображеніе плоти, воскресеніе — все это наглядные образчики необузданной сладострастной жажды смаковать и смаковать жизнь здѣсь и тамъ, и въ этомъ мірѣ, и въ иныхъ мірахъ. Это эгоизмъ, ставящій центромъ міра свое собственное я, и даже готовый использовать самого Господа Бога для своихъ цѣлей.

5.

Мечтательный мистицизмъ—это свойство буржуазныхъ классовъ. Интеллигенты, революціонеры и теоретики соціализма во Франціи 40-хъ годовъ много пѣли о безсмертіи души, о многократномъ возрожденіи умирающихъ здѣсь на землѣ или въ иныхъ мірахъ; и на землѣ, и странствуя съ одной звѣзды на другую, человѣческая душа съ каждымъ разомъ становится де все ближе къ Богу.

А рядомъ, среди грубыхъ пролетаріевъ вмѣсто этихъ тонкихъ поэтическихъ сказокъ, которыми утѣшали себя интеллигенты революціонеры предъ лицомъ смертной казни или тюремной отсидки,—возникаютъ такія нелѣпыя, но полныя практическаго смысла сближенія, какъ Христа, Робеспьера и Руссо. Эти три имени разсматривались, какъ три лика единой троицы, другъ друга опредѣляющіе, дополняющіе и одинъ изъ другого вытекающіе, какъ три условія одной теоремы. Генрихъ Гейне

*) См. Введеніе XI и XX, XXI стр.

въ своихъ письмахъ изъ Парижа въ 40-мъ году упоминаетъ объ одной конфискованной соціалистической газетѣ, которая, по его словамъ, принадлежала къ самымъ дикимъ продуктамъ радикализма, такъ что при чтеніи ея у всякаго, имѣющаго голову, волосы вставали дыбомъ. Поэтъ выудилъ изъ нея статью о томъ, какъ великая французская революція, торжество и гибель Робеспьера, судьбы Наполеона и проч., — были предсказаны въ Апокалипсисѣ. Съ ужасомъ и отвращеніемъ смотрѣлъ Гейне, какъ религіозный фанатизмъ пилъ брудершафтъ съ политическимъ, какъ самыя радикальныя ученія свободы и равенства выводились изъ библіи. Его страшитъ эта смѣсь земного и небеснаго бреда, санкюлотизма и апокалипсиса. „Представьте себѣ Горквемаду съ трехцвѣтнымъ шарфомъ и въ шляпѣ какого-нибудь représentant du peuple“! восклицаетъ онъ. Предъ такой фигурой и самъ Робеспьеръ окажется въ сущности лишь свѣтскимъ говоруномъ, адвокатомъ.

Но напрасно страшился Генрихъ Гейне, подчеркивая этимъ невольное признаніе разрушительной силы революціи въ союзѣ съ мистицизмомъ. Что было силой для среднихъ вѣковъ, что было умѣстно въ суевѣрной средѣ темныхъ умовъ, то въ наше практическое время колоссальнаго развитія техники и знаній — фатально обречено на забвеніе, что и случилось съ архимандритомъ Серапіономъ, котораго не знали при жизни, а послѣ смерти „зарыли, какъ собаку“, какъ съ горечью замѣтилъ одинъ изъ близкихъ къ нему братій,—или служитъ реакціи въ качествѣ громоотвода романтическими порывами „вверхъ и вглубь“, чтобы помѣшать движенію „впередъ“. Наши широкія и глубокія сектантскія теченія проходятъ почти безслѣдно для политической и соціальной жизни,—не оставляя даже поверхностной ряби. Только невѣжественные умы или слишкомъ далекіе отъ міра и потому чуждые его смыслу люди умудряются въ наши дни съ Божьей помощью посрамлять дьявола и выражать глубокое сочувствіе пролетарскимъ массамъ, этой „общинѣ справедливыхъ тружениковъ“, оправдывая и даже благословляя ихъ завоевательное шествіе. Бываютъ, конечно, исключенія, но мы не о нихъ говоримъ. Какъ бы тамъ ни было, но самымъ реакціоннымъ и самымъ вреднымъ именно по своему внѣшнему благообразію, прикрывающему довольно ядовитое нутро, является тотъ игрушечный мистицизмъ, представители котораго очень много говорятъ о новомъ религіозномъ сознаніи для возрожденія человѣчества и преображенія плоти и слишкомъ глубоко сидятъ въ старомъ отживающемъ укладѣ жизни. Ихъ потуги мысли и чувства являются какъ бы внѣшне выраженными судорогами отмирающихъ устоевъ. Черезъ ихъ головы тупое мѣщанство то протестуетъ противъ культуры, прогресса техники, завоевательной тактики пролетаріата, то ищетъ примиренія съ ними на пути къ преображенной жизни, то мистически утвер-

ждаетъ абсолютизмъ, то объявляетъ его дѣтищемъ и царствіемъ антихриста и, романтически разукрасивъ метафизическими и религіозными побрякушками вѣчную гармонію, вѣчную любовь, вѣчную жизнь. зоветъ назадъ, вспять къ застою и политическому индифферентизму.

6.

Въ современномъ капиталистическомъ строѣ насиліе и гнетъ покоятся не на одной лишь принудительности, силой-ли оружія, силой-ли угрозы быть обреченнымъ на голодную смерть, выброшеннымъ за бортъ процесса производства. Гораздо страшнѣе и сильнѣе та духовная власть миражныхъ цѣнностей на почвѣ религіи, морали и правосознанія, которая дѣйствуетъ изнутри человѣка, какъ голосъ совѣсти или свѣтъ философскаго пониманія жизни, дѣлая его рабомъ, послушнымъ, покорнымъ и преданнымъ наемникомъ враждебнаго ему цѣлаго. Это и есть тѣ великія общечеловѣческія цѣнности и общеобязательныя нормы, о которыхъ такъ хлопочутъ буржуазные идеологи, вродѣ г-на Булгакова. Это и есть отчасти „небесный хлѣбъ“ г. Бердяева, забота о безсмертіи, о равенствѣ живыхъ и мертвыхъ, добрыхъ и злыхъ передъ лицомъ Единаго Вѣчнаго.

Ибо въ этомъ Единомъ и Вѣчномъ растворяются соціальныя различія. Презрѣвъ хлѣбъ земли, враждующіе народы и классы, эти смертельные нынѣ враги, нѣкогда направятся, какъ мечтаютъ буржуазные идеологи, дружно единой стопой къ вѣчной цѣли, къ завоеванію безсмертія, къ преоборенію злой необходимости, къ утвержденію абсолютной свободы. Въ мірѣ механической принудительности, стихійнаго наростанія общественыхъ формъ, въ мірѣ случайнаго быванія, изъ моря слезъ и крови выростаетъ трогательная мечта объ абсолютномъ освобожденіи человѣка отъ власти грубой матерьяльной стихіи, объ утвержденіи свободы творящей воли путемъ преображенія міра и плоти; путемъ чуда. И буржуазные идеологи, прозрѣвая это преображеніе міра и плоти,—обращаютъ свои взоры къ Господу Богу и не пріемлютъ ненависти, какъ строительницы жизни, но признаютъ одну лишь зиждительницу ея—любовь.

Можно не защищать интересы того или иного господствующаго класса и даже бороться противъ нихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ и даже тѣмъ самымъ отстаивать и утверждать самую идею, „метафизическую“ сущность классового общества. Защитниками этой сущности и являются по большей части идеологи, похваляющіеся своимъ внѣклассовымъ положеніемъ и внѣклассовымъ міросозерцаніемъ. Религіозно утверждаютъ они единство цѣли и смысла жизни, религіозно они обезцѣниваютъ то въ жизни, въ чемъ реально противорѣчіе и реальная раздробленность

ея—разрушаетъ миражи единства, религіозно утверждаютъ они абсолютное равенство живыхъ и мертвыхъ. Передъ лицомъ безсмертія и абсолютной свободы истаиваютъ у нихъ послѣднія и самыя глубокія грани, извѣка отдѣлявшія народъ отъ народа, классъ отъ класса, человѣка отъ человѣка. Позитивно они вносятъ примиреніе въ классовыя сношенія, ищутъ основъ для полюбовнаго сближенія враждующихъ классовъ, въ средствахъ культуры и ея задачахъ они стараются найти упоръ для мирнаго соціальнаго реформаторства. Смягчая нравы, пробуждая общечеловѣческія стремленія, симпатіи, они расщищаютъ дорогу къ соціальному реформаторству, цѣль котораго устранить механическія причины дисгармоніи, неустройства и болѣзненной анархіи современнаго строя, обезпечить ему плавный, спокойный и ровный ходъ въ вѣчномъ непрерывномъ возстановленіи подвижного равновѣсія его наличныхъ силъ. Но чтобы не разсыпались въ прахъ эти фантастическія, миражныя затѣи, чтобы упредить взрывъ классовой борьбы и ненависти—необходимо внушить человѣку, что забота о хлѣбѣ небесномъ стоитъ на первомъ планѣ. Только въ свѣтѣ безсмертія и абсолютной творческой свободы найдутъ внутри себя люди готовность идти по примиренческимъ путямъ ревизіонистовъ. Таковъ двойственный ликъ у Н. Бердяева. Одна половина его метафизическаго лица дѣлаетъ глазки ревизіонизму, а другая вытаращила восторженное око въ запредѣльныя выси мистики и религіи. Такъ зло „дурная стихія“ капитализма подшутила надъ гордымъ наслѣдникомъ всѣхъ духовныхъ сокровищъ міра, какимъ считаетъ самъ себя г. Бердяевъ.

И какъ разъ злая и насмѣшливая стихія современнаго строя протягиваетъ свои цѣпкія лапы именно къ тѣмъ, кто по своему положенію, какъ бы нейтраленъ въ современномъ обществѣ: не предприниматель и не рабочій, не буржуй и не пролетарій. Эти-то „внѣклассовые“ элементы, которыми такъ богата наша интеллигенція, болѣзненно чувствительны къ революціоннымъ схваткамъ и судорогамъ, путемъ которыхъ налаживаетъ равновѣсіе своихъ наростающихъ и измѣнчивыхъ силъ буржуазная общественность. Пролетаріи и промышленные феодалы и вообще тѣ классы общества, которые пустили цѣпкіе корни во всѣ поры организованнаго труда и производства, которые являются подлинными дѣлателями и устроителями жизни, ведутъ непримиримую между собою войну за свою роль и свою долю въ процессѣ производства. Для нихъ борьба—законъ, а рѣшительная схватка—часто наиболѣе экономичный и цѣлесообразный пріемъ борьбы. Но каково тѣмъ „надклассовымъ“ элементамъ, которые и играютъ роль прослоекъ, которые заинтересованы не въ судьбахъ того или иного класса, а въ судьбахъ цѣлаго, въ его плавномъ ходѣ развитія, опредѣляющемъ ходъ ихъ собственнаго существованія? Они непріязненно должны от-

носиться ко всему, что выбиваетъ ихъ изъ наложеннаго обихода жизни. Имъ страшны и ненавистны неограниченная власть и жестокая жадность капитала, ибо это угрожаетъ общественному спокойствію. Но не менѣе страшна для нихъ и диктатура пролетаріата, котораго они представляютъ себѣ въ качествѣ пасынка исторіи—разрушителемъ культуры, жаднымъ искателемъ сытости и мѣщанскаго благополучія. Они ищутъ внутренняго смысла и цѣли, какъ выраженія единства и устойчивости общественнаго цѣлаго, которыя оказываются у нихъ за предѣлами эмпирическаго міра. Они стараются разыграть роль соціальной смазки, устраняющей излишнія тренія и облегчающей ходъ заведенной общественной машины. Вотъ почему они рекомендуютъ не отъ человѣческой революціи, не отъ реальной борьбы реальныхъ силъ ждать освобожденія порабощеннаго человѣкомъ человѣческаго рода, а отъ революціи религіозной, отъ вѣры въ истиннаго Бога; вотъ почему они такъ не любятъ соціалдемократіи, которая безжалостно соскабливаетъ эту смазку, мѣшающую развернуться реальной борьбѣ за реальные интересы угнетеннаго класса. Буржуазные идеологи встаютъ на защиту подъ флагомъ абсолютнаго освобожденія всего міра за интересы и цѣли порабощающаго цѣлаго. Вѣковая тысячелѣтняя культура, выросшая на эксплоатаціи человѣка человѣкомъ, зашла въ безвыходный тупикъ, откуда нѣтъ возврата. Она не можетъ перешагнуть самое себя, ибо за ея гранью—старый міръ кончаетъ дни свои, а тамъ, за предѣлами величайшей катастрофы, простирается міръ уже новый, ей и далекій и чуждый. И вотъ вѣковые итоги старой культуры представителями культурныхъ классовъ волей неволей переносятся за границы эмпирическаго міра; и тайны бытія человѣческаго, и загадка жизни и смерти уже рѣшаются не въ солнечномъ освѣщеніи знанія, ибо знаніе есть освѣщенное поле эмпирической жизни, а въ лунномъ холодномъ свѣтѣ мистическихъ грезъ.

II. НЕПРІЕМЛЮЩІЕ МІРА АНАРХИСТЫ.

I.

О духа бурнаго
Во тьмѣ языки,
Глаголы хáоса,
Нѣмые клики!..
(„Факелы". Хоръ Вяч. Иванова).

Иную позицію на полѣ соціально-политической брани занялъ мистическій анархизмъ. Онъ тоже „не пріемлетъ міра", но требуетъ активнаго отрицанія его, проповѣдуетъ борьбу съ нимъ, рекомендуя примыкать въ каждый данный моментъ къ самымъ лѣвымъ, къ наиболѣе революціоннымъ, политически и соціально,

партіямъ. Правда, трудно теперь разсматривать кампанію изъ „Факеловъ“, какъ нѣчто сплоченное и вполнѣ единое. Но справедливость требуетъ отмѣтить, что не подъ ударами свирѣпой критики враговъ, а наоборотъ, только послѣ шока отъ неожиданныхъ похвалъ друзей, они поспѣшили обособиться въ нѣкоторомъ смыслѣ другъ отъ друга, пріятельски предоставивъ всѣ лавры славы своей одному г. Чулкову, вѣроятно за его скромность. И хотя на страницахъ „Факеловъ“ мы встрѣчаемъ большое разнообразіе мнѣній и большой разбродъ мыслей, но все таки по свидѣтельству В. Иванова.

...Ввысь къ пылающимъ мірамъ
Взлетаютъ вѣстовыя птицы,
И свѣтоносцевъ вѣстовыхъ
Храпятъ въ ревнивой скачкѣ кони,
И внемлетъ молнійной погонѣ
Судилище огней живыхъ
На звѣздо-чуткомъ небосклонѣ...

Правда, въ предѣлахъ земныхъ горизонтовъ эти ревнивыя скачки вѣстовыхъ изъ „Факеловъ“ намъ не представляются въ столь ослѣпительномъ блескѣ, но, прислушиваясь къ храпу коней, мы узнаемъ, что „духъ—въ кольцѣ немиломъ“, что „міръ лежитъ во злѣ“, что „есть въ концѣ путей міръ окрыленнѣй и святѣй“, что господамъ изъ „Факеловъ“ „...у брачнаго дано чертога ждать во полуночи пришельца Бога“...

Какъ и всѣ мистики они тоже религіозны, тоже вѣрятъ въ прорывъ въ сверхъ и надъ природное, въ безсмертіе, въ свободу воли, или точнѣе въ творчество воли, но они не боятся жертвъ, и любовь у нихъ не сладчайшая, какъ у г. Бердяева, а жертвенная. „Любовью ненавидящей огонь омоетъ міръ“,— пророчитъ В. Ивановъ. Устраняя съ поля зрѣнія всѣ конкретныя условія жизни, какъ сковывающія творчество, подчиняющія человѣка необходимости, законамъ естественной причинности, или закономъ соціальной жизни, они объявляютъ бутафорскій бунтъ „противъ цѣлаго природы и цѣлаго общественной жизни во имя свободнаго творчества и свободнаго общенія монадъ“*).

Древній хаосъ потревожимъ
Космосъ скованный низложимъ,—
Мы вѣдь можемъ, можемъ, можемъ!
Только пламеннѣй желанья,
Только ярче ликованья —
Расколдуемъ мірозданье!

(„Факелы“ кн. I. Городецкій, стр. 42).

Въ этихъ не то ироническихъ, не то пифическихъ стихахъ С. Городецкаго—вся философія адептовъ „новой мудрости“. Въ

*) „Факелы“ кн. II. 180 стр. „Прошлое и настоящее Анархизма“ А. Вѣтровъ.

разрушеніи всякихъ формъ политическаго и соціальнаго устройства они видятъ не только положительную задачу, но и средство преодолѣть необходимость, изъ царства причинности прорваться въ міръ нуменальный, міръ вещей въ себѣ, гдѣ человѣкъ выступаетъ самостоятельнымъ, независимымъ, по ихъ мнѣнію, творцомъ. Существованіе же этого сомнительнаго міра ими познается мистически, сверхъопытно. Съ этой точки зрѣнія за соціализмъ можно бороться, поскольку борьба за него ведетъ къ разрушенію наличныхъ формъ жизни, но разъ достигнутая форма должна немедленно быть разрушаема во имя новой. Ничего прочнаго, ничего постояннаго, ничего нормативнаго. Идеаломъ своимъ они ставятъ „преображенное состояніе человѣка и міра". Они борятся не за права, а противъ „права" *). Преображеніе міра наступаетъ не катастрофически, какъ у Архимандрита Серапіона, не по евангелію: міръ у нихъ не сгораетъ въ огнѣ и не тонетъ въ водѣ. Преображеніе міра, или, какъ поясняетъ А. Мейеръ, освобожденіе его отъ закономѣрности идетъ вмѣстѣ съ освобожденіемъ „я". Освобожденіе же „я" совершается, по мнѣнію г. Чулкова, очень просто—смертью. Такого же мнѣнія и Ѳ. Сологубъ, называющій смерть послѣдней ласковой утѣшительницею. Она то и есть истинная жизнь. Иначе смотритъ на дѣло А. Мейеръ. Въ его глазахъ этотъ міръ еще не утратилъ своей прелести, А. Мейеръ, наоборотъ, подчеркиваетъ, что „я" освобождается не тѣмъ, что покидаетъ этотъ міръ или уничтожаетъ его, а только тѣмъ, что уноситъ его съ собою къ свободѣ. Не бѣгство къ нирванѣ и даже не бѣгство „отъ мертвой матеріи къ міру живыхъ духовъ", а преображеніе міра, вѣчная творческая борьба съ нимъ—такова цѣль анархизма и таковъ истинный путь къ свободѣ **).

Статьи А. Мейера и Александра Вѣтрова то и дѣло пестрятъ преображеніями міра, прорывами въ преображенный міръ, въ царство свободы, возстаніями на законы не только человѣческіе и божескіе, но прежде всего на природные. „Я", какъ творецъ, возстаетъ на законы природы. Оно можетъ возставать на нихъ, потому что оно само прорывъ въ преображенный внѣзаконный міръ" ***). „Только прорвавъ творческимъ актомъ рамки закономѣрности,—можно говорить объ освобожденіи личности отъ закона подчиненія праву". Таковъ смѣлый и рѣшительный

*) См. стр. 180 и 104, „Факелы" кн., II.

„Революціонное дѣйствіе, становясь на мѣсто права, не только отрицаетъ право, какъ рамки для свободнаго дѣйствія, но возстаетъ противъ права, какъ противъ необходимаго регулятора сдерживающаго игру свободныхъ столкновеній, ограничивающаго свободу борьбы", - пишетъ А. Мейеръ въ ст. „Бакунинъ и Марксъ".

„Революція, какъ отрицаніе права, а не борьба за право,—въ этой идеѣ слышится, что то въ высшей степени смѣлое и глубокое" (тамъ же).

**) Стр. 102 „Факелы".

***) „Факелы", стр. 100.

языкъ адептовъ „новой мудрости“, какъ они сами себя величаютъ.

Гдѣ вы—гроза, губящая стихія,
Я—голосъ вашъ, я вашимъ хмѣлемъ пьянъ
Зову крушить устои вѣковые,
Творить просторъ для будущихъ сѣмянъ.
Гдѣ вы—какъ рокъ, незнающій пощады,
Я—вашъ трубачъ, вашъ знаменосецъ я,
Зову на приступъ съ боя брать преграды
Къ святой землѣ, къ свободѣ бытія!
Но тамъ, гдѣ вы кричите мнѣ „не болѣ“!
Но тамъ, гдѣ вы поете пѣснь побѣдъ,
Я вижу новый бой во имя новой воли,
Ломать я буду съ вами! Строить—нѣтъ!

Такъ запѣлъ, обращаясь къ крайнимъ лѣвымъ, Валерій Брюсовъ, затесавшись въ воинственную компанію факельщиковъ, „непримиримою волею“ встрѣчающихъ „медузинъ ликъ“ „подлуннаго корабля“,—т. е. земли по Иванову, и вихремъ искрометныхъ словъ прорывающихся въ міры внѣзаконные.

По истинѣ „храпятъ въ ревнивой скачкѣ кони“. Но эти творческіе прорывы и нападенія на законы природные и человѣческіе никакихъ послѣдствій пока не имѣли, и повидимому начались и кончились лишь преждевременнымъ разглашеніемъ плановъ предстоящаго похода мистиковъ-анархистовъ со страницъ „Факеловъ“ въ гущу жизни.

Идеалы беззаконія и понятіе отрицанія, по увѣренію г. Мейера, ничто иное, какъ творческіе принципы. „Заповѣдь разрушенія“ такимъ образомъ не нуждается въ оправданіи какими либо положительными обѣщаніями, какъ заблуждался де, не понимая самого себя, старикъ Бакунинъ. Но чѣмъ же утверждается эта пресловутая свобода творческаго я, свобода не отъ стѣсненій, а свобода, антиномичная необходимости, преодолѣвшая закономѣрность? Александръ Вѣтровъ понимаетъ, что въ дѣлѣ „прорывовъ въ міры внѣзаконные“ и „преображенные“ изъ нашего міра, раба необходимости, — ссылаться на науку нельзя, и что заниматься переливаніемъ изъ пустого въ порожнее, т. е. обосновать такой идеалъ свободы—„возможно только на религіозной почвѣ“ (стр. 176). Чтобы утвердить свободу, антиномичную необходимости, это „чудо творчества“ въ противовѣсъ извнѣ обусловленной необходимости, г. Вѣтровъ рекомендуетъ соціализму перестать быть только научнымъ, не становясь отъ этого противонаучнымъ, какимъ былъ старый анархизмъ и стать религіознымъ. Упокоивъ свой идеалъ на религіозныхъ предпосылкахъ, соціализмъ долженъ утвердить свой идеалъ, какъ идеалъ свободы, идеалъ, не мирящійся ни съ какимъ общественнымъ укладомъ, т. е. стать анархизмомъ (стр. 181). Чтобы окончательно соблазнить соціализмъ на такое головокружительное pas, А. Вѣтровъ приводитъ соображеніе, такъ сказать, гносеоло-

гическаго порядка: „Не все содержаніе дѣйствія опредѣляемо,— и потому существуетъ свобода“. Онъ противополагаетъ свое „я“ своему организму, которое для него нѣкое иное цѣлое, „опредѣляемыя извнѣ дѣйствія еще не всецѣло мои дѣйствія. Это дѣйствія иного цѣлаго. Борьба за свободу есть борьба съ цѣлымъ природы, это завоеваніе у цѣлаго тѣхъ актовъ, которые я хочу сдѣлать своими“ (стр. 179).

Таково двусмысленное и двойственное разрѣшеніе вопроса давно мучившаго метафизиковъ. Не то „я“ лежитъ себѣ въ „преображенномъ“ мірѣ и никакого касательства къ здѣшнему подзаконному міру не имѣетъ, не то оно умудряется таки прорваться и, ввязавшись въ цѣпь явленій, нарушить неуклонный ходъ законовъ природы, отмѣнить ихъ, уничтожить, преобразить міръ. То рѣчь идетъ повидимому совсѣмъ о чудѣ, то наука трактуется, какъ почтенная дама, которая была бы совсѣмъ у мѣста и очень даже мила, еслибы не пыталась своими формулами заткнуть всѣ трещины и не мѣшала бы разгуливать въ головахъ мистиковъ столь дорогому ихъ сердцу сквознячку, какъ счастливо выразился по поводу Ѳ. Сологуба г. Чуковскій. А сквознячокъ таки есть. Съ одной стороны дуетъ отъ признанія правъ соціализма на научность „поскольку онъ не отказывается отъ абстрактной формулы обобществленія средствъ производства, какъ принципа будущаго хозяйства“, съ другой дуетъ отъ „религіознаго постиженія міра, какъ свободы, какъ міра творящихъ монадъ отъ пылинки и до Бога“ (стр. 182). Правда, при этомъ соціализму строго воспрещается всякое конкретизированіе принципа обобществленія, даже такое, какъ предположеніе государства или свободной общины, ибо вѣдь „не все содержаніе дѣйствія опредѣляемо“.

Наука, т. е. міръ, какъ представленіе,—это абстракція, опустошающая, по словамъ А. Вѣтрова, наше дѣйствительное постиженіе міра, какъ творчество. Но увы, какъ ни горько, а все-таки приходится сознаться, что „абстракція такого рода намъ практически нужна, поскольку я еще не я, а явленіе природы“. И на этомъ спасибо, что хоть практику не уничтожили. А счастіе такъ было близко...

Въ этомъ претендующемъ на „новую мудрость“ ученіи не трудно разсмотрѣть грубоватую мозаику изъ Бакунина, евангелія, Фихте, Платона и В. Иванова. У Бакунина взято разрушеніе, у евангелія пренебреженіе къ живому міру, преображеніе плоти и міра, свобода у Платона, творческіе прорывы у Фихте, соборность у В. Иванова. Мѣстами языкъ мистиковъ сбивается на болтовню колдуновъ и маговъ, повелѣвающихъ вѣтрами, „расколдуемъ мірозданье!... „Мы вѣдь можемъ, можемъ, можемъ“... Но тутъ же, эти скромные люди сознаются, что война объявленная ими закономъ природы не простирается на практику,

а, такъ сказать, лежитъ въ предѣлахъ постиженія міра, какъ свободы, т. е. иначе вовсе за предѣлами эмпирическаго міра.

Чрезвычайно характерной чертой является утвержденіе, что „два часа служенія общественному хозяйству—т. е. связаннаго съ напряженнѣйшей внутренней принудительностью гораздо убійственнѣе въ цѣломъ и общемъ для свободной игры живущаго искусствомъ творца, чѣмъ десять часовъ подневольнаго и потому менѣе „обязательнаго“ труда для творчеста человѣка стоящаго на сравнительно болѣе низкой ступени развитія“.

Въ переводѣ на простецкій языкъ это обозначаетъ вотъ что: рабочему нынѣ гораздо легче трудиться 10 часовъ на фабрикѣ подъ угрозой голодной смерти семьи, чѣмъ матерьяльно обезпеченному интеллигенту отдать обществу въ силу нравственной необходимости 2 часа добровольно на трудъ, который ему, интеллигенту, не по сердцу. Такъ ли это или нѣтъ, но антиобщественный инстиктъ въ этой мысли выявился, быть можетъ и противъ воли, но вполнѣ опредѣленно.

2.

Среди мистиковъ однако возвышается своеобразная фигура Вячеслава Иванова, увлеченнаго своими друзьями въ своихъ симпатіяхъ на лѣвый флангъ освободительнаго движенія. Но въ сущности, что ему до гекубы и гекубѣ до него! Курьезенъ онъ здѣсь со своимъ торжественно вычурнымъ архаическимъ языкомъ переложеній съ греческаго на русскій, языкомъ, отъ котораго пахнетъ тлѣніемъ древности, и со своими мечтами о миѳотворчествѣ, объ оркестрахъ, покрывающихъ Россію, о возрожденіи культа Діониса, гдѣ радость и страданіе, освобожденіе и кровавая жертва, торжество жизни и утѣшеніе смерти, пророческій разумъ и изступленное безуміе,—вѣчно питали истоки непрерывнаго экстаза и мучительнаго блаженства. Далекій отъ реальной жизни, весь погруженный въ забытые сны давно угасшаго міра, онъ раскрашиваетъ свой холодный разсудочный оргіазмъ теплыми тонами полуистлѣвшихъ отраженій кипучей жизни давно-минувшаго. У этого человѣка, зарывшагося съ головой въ древне-греческій міръ, нѣтъ вкуса, какъ и у его сотоварищей, къ упорному изученію запутанныхъ отношеній мимо бѣгущей суетливой жизни, а хочется межъ тѣмъ не плыть по теченію, а направлять самому его. Не смущаясь, онъ дѣлитъ исторію на дни и ночи. Днемъ мужественное дерзаніе устремляется де на внѣшній міръ, а ночью, когда мы „въ борьбѣ съ природой цѣлой покинуты на насъ самихъ“,—цитируетъ онъ Тютчева,— становится необходимой добродѣтель внутренняго дерзанія, которая должна стать пламенной колесницей религіозной свободы, гдѣ возница—горящій Эросъ. Средніе вѣка этой

БИБЛІОТЕКА СЕРЕБР

долгая ночь исторіи, не въ смыслѣ мрака варварства, „но въ иномъ смыслѣ, открытомъ тому, кто вѣдаетъ, какъ вѣдалъ Тютчевъ, ночную душу“. Въ XV вѣкѣ день въ разгарѣ а въ минувшемъ XIX вѣкѣ уже повѣяло вѣщей прохладою сумерекъ, время, когда пришелъ часъ для гг. Ивановыхъ и иже съ ними *) заниматься „волшбой“.

Раскромсавъ исторію на дни и ночи и утвердивъ свою ночную мистическую душу, свою мистическую волю, г. Ивановъ въ другомъ мѣстѣ откровенно сознается, что если автономная мистическая воля, эта внутренняя свобода, не опредѣлится въ терминахъ сверхраціональнаго разума, осознавъ себя какъ вѣру въ Бога, то „неизбѣжно предстоитъ при сличеніи со сферой раціональнаго, какъ нѣкое безуміе“.

Но г. Ивановъ не смущается этимъ. „Пусть! Кто изъ сильныхъ духомъ,—восклицаетъ онъ,—не предпочтетъ остаться безумнымъ и свободнымъ въ своемъ внутреннемъ самоутвержденіи и мятежа противъ всего даннаго, нежели разсудительнымъ рабомъ необходимости. Европейская душа не можетъ отказаться и отъ этого безумія, ибо ядъ его—virus христіанства—въ нашей крови“ **).

И по этой дорогѣ плѣнительнаго безумія тѣмъ охотнѣе плетутся мистики анархисты, что путь „богоборствующій“ „солнечности“ и покорствующей Богу „земной планетарности нашей“ оказывается путемъ легкимъ и нетруднымъ, на которомъ Адаму уже не требуется давать имена обставшему его міру“.

„Мы стали звѣздочетами вѣчности“,—говоритъ В. Ивановъ,—„потеряли вкусъ къ частному“... „Или же ловимъ мы бабочекъ—„миги“, — любовники и пожиратели мгновенности“; или еще: „Мигъ — братъ вѣчности. Мгновеніе, какъ вѣчность, глядитъ взоромъ глубины. Мы полюбили наклоняться надъ безднами и терять себя“ ***). Какъ характерны эти мысли, какъ рельефно онѣ обрисовываютъ духовный обликъ современнаго горожанина, потерявшаго тотъ наивный и мнимый смыслъ жизни, который давала ему старая религія, связывая его съ человѣчествомъ и вселенною. Отнынѣ онъ только пожиратель миговъ, нѣтъ у него прочнаго мѣста, гдѣ бы онъ чувствовалъ себя изначально сопричастнытъ плавному ходу жизни. Неумолимая и чужая катится жизнь у его ногъ, захлестывая его своими волнами, увлекая въ свой водоворотъ и выбрасывая на пустынный берегъ покинутости и одиночества. Нѣтъ у него иныхъ цѣнностей, кромѣ цѣнности мига. Въ ткани мгновеній ищетъ онъ потустороннюю тайну и будетъ стремиться растворить въ мигѣ все

---

*) Факелы, кн. II. „О любви дерзающей“.

**) Идея непринятія міра и мистич. анархизмъ. Стр. 11. Предисловіе къ „Мистич. анархизму“ Чулкова.

***) Кризисъ индивидуализма. „Вопросы Жизни“, 1905 г. № 9.

содержаніе доступной ему жизни. Предъ лицомъ мгновенія спадаютъ съ жизни всякія нормы и оковы, анархія—вотъ естественный лозунгъ, возникающій отсюда. „Истинная анархія есть безуміе, разрѣшающее основную диллему жизни: „сытость или свобода“—рѣшительнымъ избраніемъ „свободы“. Ея вѣрные сыны будутъ бѣжать довольства и питаться растертыми въ рукахъ колосьями не ими вспаханныхъ полей, помогая работающимъ на одной нивѣ и насыщая свой голодъ на другой“ *).

В. Ивановъ отрицаетъ преслѣдованія и насилія, въ 1905 году по крайней мѣрѣ; истиннѣйшая область анархіи—область пророчественная: „она соберетъ безумцевъ, не знающихъ имени, которое ихъ связало и сблизило въ общинѣ таинственнымъ сродствомъ взаимно раздѣленнаго восторга и вѣщаго соизволенія“. Индивидуализмъ, героизмъ и трагизмъ, не находящіе себѣ болѣе мѣста въ мірѣ, и пріютятся въ этихъ общинахъ безумцевъ, которые „зачнутъ новый дифирамбъ“, но трагическіе герои не будутъ имѣть уже исхода въ „ярой борьбѣ“. Трагедія будетъ происходить въ глубинахъ духа. „Въ запечатлѣнныхъ сердцахъ совершается тайный рокъ“.

Новый сонмъ старинной мельпомены съ устами страдальчески сжатыми почти бездѣйственными—вотъ что пріятно улыбается г. Иванову изъ далей будущаго. И вотъ, провозгласивъ соборность, какъ девизъ нашего времени, В. Ивановъ приглашаетъ: „утверждать вселенское изволеніе нашего я тѣмъ глубокимъ несогласіемъ и безтрепетнымъ вызовомъ дурной и обманной дѣйствительности, съ какими противосталъ ей Донъ-Кихотъ“... и конечно съ тѣмъ же трагикомическимъ результатомъ.

Такъ, „стоя подъ знакомъ соборности“, расточаетъ словеса одинъ изъ столповъ мистическаго анархизма. Но „дурной и обманной дѣйствительности ни отъ этихъ словесъ, ни отъ „безтрепетнаго“ вызова, разумѣется, ни тепло, ни холодно. Черезъ пышную одежду торжественныхъ словъ проглядываетъ такая глубина скептицизма, отчаянія въ правдѣ жизни и въ смыслѣ ея, которая естественно должна увѣнчаться или призывомъ къ смерти освободительницѣ и утѣшительницѣ, или—къ безоглядному пожиранію миговъ, къ экстазу и къ жертвенной вакханаліи чувственности.

Есть упоеніе въ бою
И бездны мрачной на краю,
И въ разъяренномъ океанѣ
Средь дикихъ волнъ и бурной тьмы,
И въ аравійскомъ ураганѣ,
И въ дуновеніи чумы.
Все, все, что гибелью грозитъ,
Для сердца смертнаго таитъ
Неизъяснимы наслажденья—
Безсмертья, можетъ быть, залогъ...

*) Тамъ же, стр. 58.

Такъ самоутѣшается предъ пастью гибели и смерти В. Ивановъ.

На всемъ протяженіи человѣческой исторіи В. Ивановъ только и узрѣлъ отраднаго, что способность человѣчества предаваться безумнымъ религіознымъ оргіямъ, способность роковую и неизмѣнно повторяющуюся. Если говорили прежде, что человѣкъ тѣмъ отличается отъ животныхъ, что онъ животное религіозное, то В. Ивановъ учитъ, что человѣкъ сознаетъ себя единымъ со своимъ божествомъ только въ состояніи экстаза. Казалось бы въ этихъ словахъ — смертный приговоръ религіи, но нѣтъ. „Способность къ безумію, быть можетъ, опредѣлила впервые разумное сознаніе, и когда животное сошло съ ума — оно стало человѣкомъ". „Первѣе всего человѣкъ—animal ecstaticum", т. е. животное, приходящее въ экстазъ. „Человѣчество не поднимается на мѣста высокія изъ современной низины своей, если не уподобится человѣчеству древнему. Было человѣчество высотъ, и продолжается человѣчество низменности: вотъ раздѣленіе исторіи *). А чтобы уподобиться человѣчеству древнему, нужно возвратиться къ оргійной религіозности, нужно усовершенствовать свою способность къ безумію.

„Зрѣлище мірового страданія, — пишетъ кроткій Вячеславъ Ивановъ:—выносимо для зрителя и соучастника дѣйства вселенскаго (и каждый изъ насъ вмѣстѣ зритель и соучастникъ, и, какъ соучастникъ, — вмѣстѣ жертва и жрецъ) только при условіи живого сознанія абсолютной солидарности сущаго, только въ глубокомъ экстазѣ мистическаго единства, который во всѣхъ ликахъ бытія прозрѣваетъ единый ликъ жертвоприносимаго, жертвоприносящагося Бога" **).

Итакъ весь вопросъ сводится къ тому, какъ убѣжать отъ испорченнаго міра, какъ умалить, заглушить чувство боли при зрѣлищѣ мірового страданія, какъ слиться съ Богомъ... Не трезвый анализъ фактовъ, а тайное желаніе измученной неуравновѣшенной души опредѣляетъ основы міросозерцанія; не мужественный выходъ навстрѣчу всему вражьему воинству природныхъ и человѣческихъ силъ, а малодушное убѣганіе и страусово зарываніе головы въ песокъ, экстазъ, какъ пучина забвенія и потери здороваго самочувствія, здоровой оцѣнки, безуміе, какъ выходъ изъ плѣна—вотъ послѣднее слово этого міросозерцанія. Дряблое и безсильно-покорствующее, но не борющееся, оно прикрываетъ свое убожество цвѣтами краснорѣчія, мертваго и холоднаго вымысла, пріобрѣтающаго для вѣрующихъ сердецъ смыслъ откровенія жертвоприносимаго и жертвоприносящагося Бога. Закатные лучи дряхлой культуры, основанной на покореніи человѣка человѣкомъ, посылаютъ свои послѣдніе отблески.

---

*) Религія Діониса, стр. 140, „Воп. Жизн." кн. 7.
**) Тамъ же, стр. 147, курсивъ нашъ.

Грядущаго они не достигнутъ и для настоящаго они слишкомъ блѣдны, чтобы найти отзвуки въ здоровыхъ умахъ. А тамъ, гдѣ все же найдутъ, не дадутъ желаннаго успокоенія и примиренія. Ибо, именно успокоеніе и примиреніе завѣтная цѣль всѣхъ этихъ бунтарскихъ воинствующихъ „въ духѣ“ вызововъ. Слишкомъ много солнца, слишкомъ много свѣта и тепла заливаетъ современную жизнь, чтобы блуждающіе огоньки, волнующіе „ночныя души“, оставили замѣтный слѣдъ.

3.

Но все же жизнь, непосредственная живая, мимо бѣгущая, лежащая во злѣ, требуетъ отвѣта. Нельзя ее игнорировать, когда она захлестываетъ и бушуетъ, и некуда уйти отъ нея. И отвѣтъ дается: разрушеніе, уничтоженіе, отрицаніе всѣхъ нормъ общественнаго и соціальнаго бытія. Вотъ точка исхода, въ которой гармонически сочетаются—и творчество, не стѣсняемое необходимостью считаться съ конкретными условіями, творчество тамъ, въ постигаемомъ мистически преображенномъ мірѣ,—и присосѣживаніе къ самой революціонной и слѣдовательно самой разрушительной партіи. Конечно, разрушеніе всѣхъ и вся, огульное непринятіе всякаго становленія — для живого міра вещь совершенно безопасная, ибо лишена запаха дѣйствительности и осуществимости. Самый разрушительный анархизмъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и безобиднѣйшій. Добродушный фантазеръ, непримиримый защитникъ угнетенныхъ, счастливо безумный рыцарь Донъ-Кихотъ Ломанчскій, возсталъ изъ гроба и приплелся для новыхъ подвиговъ къ намъ. Но онъ теперь умнѣе. Тяжкій опытъ не прошелъ безслѣдно. Онъ умудрился окончательно изгнать трагедію изъ своей жизни и на одрѣ своемъ не проклинаетъ, а благословляетъ свое безуміе. Убійственное противорѣчіе плѣнительной мечты о воздушной Дульцинеѣ съ ехидной дѣйствительностью, подсовывающей здоровую деревенскую бабу, — упразднено окончательно переносомъ творческихъ подвиговъ за предѣлы „подлуннаго корабля“ въ міръ иной, преображенный, гдѣ и деревенская баба, кто ее знаетъ, въ своей мистической сущности окажется таки Дульцинеей. Такъ вмѣсто трагедіи устанавливается идиллическая гармонія и въ перлъ созданія возводится легковѣсное отрицаніе подлиннаго, а не мистическаго строительства жизни, вѣчное разрушеніе, вѣчная подвижность, вѣчное и безпрерывное нарушеніе всякаго равновѣсія, т. е. собственная природа Донъ-Кихота, этого идеала адептовъ „новой мудрости“. Яркій выраженный индивидуализмъ ихъ стремленій и соціализмъ, къ которому они все же тяготѣютъ, находятъ примиреніе въ соборности, т. е. въ свободномъ мистическомъ общеніи свободныхъ индивидуальныхъ воль. Тутъ нѣтъ ничего при-

нудительнаго, тутъ нѣтъ никакой застывшей формы. Не трудно догадаться, что это ничто иное, какъ нѣсколько раціонализированная и индивидуализированная христіанская идея церкви во Христѣ, въ котораго они не вѣрятъ и противъ котораго въ сущности ведутъ скрытую борьбу во славу Діониса. Устремляясь изъ міра „лежащаго во злѣ“ въ міръ преображенный, они останавливаютъ очарованныя свои очи на смерти, не въ ожиданіи христіанскихъ блаженствъ предвкушенія иного міра и презрѣнія къ плоти, но въ восторгахъ изступленной плоти, сжигаемой на жертвенникѣ чувственнаго наслажденія. Это реакція и протестъ противъ тяжкихъ путъ христіанскаго аскетизма. Проповѣдь свободы отъ всякихъ нормъ половой любви идетъ изъ этого лагеря. Они же воспѣваютъ культъ красоты тѣла и мистическаго постиженія ея въ извращеніи природы, пренебреженіе къ плотскому міру, не потому только, что онъ „испорченъ“ и „во злѣ“, какъ учитъ христіанинъ Бердяевъ, а потому, что онъ, при всѣхъ своихъ хорошо понимаемыхъ ими достоинствахъ, отмѣнно скученъ для ихъ душъ, жаждущихъ свободы,—своею деспотическую необходимостью. Они носятся со своими мистическимъ нуменальнымъ міромъ, какъ съ необычайнымъ откровеніемъ. Трагизмъ жизни и смерти — разрѣшаютъ преклоненіемъ предъ небытіемъ, хотѣніемъ смерти; трагизмъ жажды здоровья и надорванности, бренности человѣческаго тѣла—разрѣшаютъ апологіей безобразнаго, болезненнаго, безумнаго; трагизмъ противорѣчія любви вселенской съ необходимостью для утвержденія жизни существъ кроваваго истребленія другъ друга—разрѣшаютъ культомъ жертвоприносимаго и жертвоприносящагося Бога, къ которому твари возвращаются, разбивъ смертью оковы плѣна испорченнаго міра. Однимъ словомъ, враги трагедіи, они умудряются съ улыбкой смотрѣть ей въ лицо. Даже безуміе, проклятіе человѣчества, имъ оказывается на руку, ибо это единственный путь къ познанію Бога, а въ немъ—преображеннаго міра: конечное и послѣднее ихъ утѣшеніе. „У моего безумія—веселые глаза“— говоритъ Ѳ. Сологубъ. Но печать современности лежитъ на нихъ, и вмѣсто аллилуя, господи помилуй или со святыми упокой, они гордо восклицаютъ: да здравствуетъ единая, россійсская с.-д. рабочая партія!

4.

Въ этомъ въ сущности безобидномъ, сверкающемъ то мистическими, то революціонными побрякушками теченіи есть свой чортъ, своя недотыкомка. Это проповѣдь утонченнаго разврата, поистинѣ выходящаго за предѣлы феноменальнаго міра, и потому приближающагося къ грани безумія, разврата, облагораживаемаго стремленіемъ органически слить элементы явной половой извра-

щенности, полового излишества со всѣмъ, что составляетъ въ человѣкѣ силу его духа и мощь тѣла. Это попытка дать синтезъ героизма, свободы, творчества и красоты, и подвига въ ихъ высочайшемъ напряженіи на почвѣ полового религіознаго экстаза. Подобно тому, какъ изъ губки выжимаютъ сразу всю влагу, такъ изъ жизни человѣка, жизни монотонной и тусклой въ рядѣ дней, разсѣянной въ пространствѣ,– они стремятся сразу выжать весь ея сокъ, сосредоточивъ на мгновеніи всѣ ея силы и возможности, всѣ чаемыя и осуществляемыя по мелочамъ радости и боли наслажденія и страданія. Собравъ, какъ въ фокусѣ, все прошлое, все будущее, все настоящее въ моментѣ экстаза, они думаютъ преодолѣть этимъ и время и пространство, страданіе и умираніе. Смерть и есть логическое выраженіе такого напряженія силъ жизни, трагическій исходъ изъ нея для эмпирика, и прорывъ въ преображенный міръ, освобожденіе—для мистика. Смерть привѣтствуется ими, какъ избавительница отъ кровожаднаго, жестокаго, пошлаго, скучно повторнаго и однообразнаго міра обыденностей. Даже А. Мейеръ и Александръ Вѣтровъ, такъ безмятежно и жизнерадостно уносящіе міръ къ свободѣ, а не отряхающіе его отъ ногъ своихъ, и тѣ по существу своихъ взглядовъ неизбѣжно должны прійти и приходятъ къ признанію, что величайшей цѣнности достигаетъ жизнь именно въ зенитѣ своего напряженія, хотя бы это было на грани между жизнью и смертью! Они тѣмъ легче подходятъ къ такому разрѣшенію вопроса, что трагедія въ конечномъ счетѣ для нихъ не существуетъ, ибо за гранью смерти эмпирической начинается новая жизнь, болѣе свободная и болѣе прекрасная. Какъ заманчивы эти тайны свободной любви, соборнаго общенія преображенныхъ людей, гдѣ преодолѣвается эгоизмъ и одиночество индивидуализма, индивидуальность же напротивъ достигаетъ своего величайшаго напряженія и выраженія! Соборная любовь, эта церковь во Христѣ наизнанку, подобно христіанскимъ, исламитскимъ и инымъ мистическимъ постиженіямъ, покоится на признаніи изначальнаго и непреходящаго неравенства. Неравенство преодолѣвается лишь безконечностью, безконечнымъ и непрерывнымъ приближеніемъ къ Богу. Не всѣ одинаково близки къ нему. Христіанскіе мистики и отцы церкви учили, что божественное откровеніе отмѣчаетъ лишь особо избранныхъ достойнѣйшихъ; и достоинство это отнюдь не измѣряется человѣческою мѣрою добродѣтели, никто не можетъ сказать, кого именно изберетъ Богъ. Человѣку остается только покорно ожидать и принимать божественное откровеніе—этотъ легкій способъ безъ труда и усилій прозрѣвать времена и пространства. Г. Бердяевъ дополнилъ это ученіе тѣмъ, что сдѣлалъ божественное откровеніе доступнымъ всѣмъ, но въ разной степени, отъ нуля до безконечности въ предѣлѣ. Мистики анархисты, присоединившись къ этому, внесли еще новый элементъ—оппозиціи Богу, такъ сказать, борьбу съ

Нимъ за откровеніе. Объявляя войну эмпирическому міру, не пріемля міра въ томъ видѣ, въ какомъ онъ намъ данъ, они не просто уходятъ изъ него, а затѣваютъ съ нимъ жестокую борьбу, они сами завоевываютъ новый свободный міръ уже самымъ актомъ творческаго постиженія. Пассивное постиженіе науки ими не отрицается; но истинную цѣнность предаютъ только творческому постиженію, которое есть сама жизнь, ея горе, ея радости, ея страданія и восторги борьбы, и конечная побѣда освобождающагося отъ законовъ необходимости творческаго „я".

Красивыя слова, красивыя мысли. Но они также прекрасны, и вмѣстѣ безплодны и мертвы, какъ махровый, ярко-окрашенный пустоцвѣтъ, лишенный и запаха, и производителя. Это гордое ученіе, выдвигающее человѣка въ ряды творцевъ, въ сущности трагическая маска безумнаго безсилія предъ грознымъ лицомъ стихійной эмпирической жизни. Какъ древнихъ преслѣдовалъ рокъ и не было исхода, такъ наши мистики, преслѣдуемые настигающей ихъ, бьющей по ихъ нервамъ, неумолимой стихіей жизни вѣка машинъ, пара, электричества, спѣшатъ укрыться отъ грозной встрѣчи, туда въ заоблачныя выси вверхъ и вглубь, по выраженію г. Бердяева, но только не впередъ, не навстрѣчу; въ преображенный міръ, прочь отъ міра тлѣнія и несвободы. Тамъ ихъ не достанешь, тамъ тепло и уютно, тамъ нѣтъ ни смерти, ни могилъ, ни безсмысленныхъ страданій, отъ которыхъ отвращается безсильное предъ ними человѣческое „я". Быть можетъ и тамъ есть трагедія, и тамъ есть страданіе, но онѣ другія, онѣ тѣ, которыхъ человѣкъ хочетъ, при посредствѣ которыхъ человѣкъ преодолѣваетъ самаго страшнаго, самаго непримиримаго своего врага—смерть. Тамъ—ничего навязываемаго вамъ, ничего необходимаго, неотвратнаго. Вотъ мѣсто, гдѣ ужъ во истину страданіе—хитрое средство лучше себя чувствовать. Отсюда всѣ эти призывы къ оргіазму и тайный привкусъ къ садизму. Отсюда эта мощь художественной кисти и красоты картинъ отрѣшенія отъ земного, отмѣреннаго мѣрою, во имя чего-то, неизмѣреннаго никакою мѣрою, кромѣ острой сладости переживанія. Отсюда вся жизнь живая—для нихъ лишь олицетвореніе пошлости и торжества мелкаго бѣса надъ человѣкомъ-богомъ.

III. ИДЕАЛЫ ОДИНОЧЕСТВА И ОТЧАЯНІЯ.

1.

Въ „Дурныхъ Пастыряхъ" Октава Мирбо животно-невѣжественная, раболѣпная, покорная судьбѣ толпа рабочихъ подъ вліяніемъ анархиста подымается на высочайшую ступень нравственнаго просвѣтленія. Они сознательно идутъ на смерть для утвержденія мощной жизни грядущихъ поколѣній. Смерть—осво-

бодительница не для нихъ, а для другихъ, имъ еще невѣдомыхъ, но родныхъ по судьбамъ людей. Эта способность жить душою и умомъ, жизнью дальняго человѣка пріобщаетъ ихъ къ радостямъ, къ свободѣ, къ гордому творчеству дальняго дня. Такъ красота, поистинѣ небесная, красота невидимая глазами, не улавливаемая осязаніемъ, безтѣлесная, отраженная человѣческимъ духомъ, сводится съ горныхъ высотъ будущаго на землю и живетъ въ людяхъ живыхъ. Смерть здѣсь только расчищаетъ дорогу новой молодой жизни, болѣе мощной и высокой, и на ея могилахъ зрѣетъ отмщенье, зрѣетъ любовь къ прекрасному и ненависть къ злому безобразію жизни. Это не жертвенная смерть. Здѣсь нѣтъ жертвъ—ибо остаться въ живыхъ значило бы принести въ жерту животному прозябанію всю цѣнность жизни, все то, чѣмъ дорожитъ въ жизни свободный, гордый соціальный человѣкъ, предъ которымъ всталъ роковой и трагическій выборъ: или мигъ прекрасной человѣческой жизни, или годы животнаго прозябанія.

Но не съ этой точки зрѣнія подходитъ къ смерти одинокій горожанинъ.

Культурная жизнь съ ея пестрымъ, калейдоскопическимъ содержаніемъ, быстрая, напряженная. разнообразная, полная контрастовъ, пріучаетъ цѣнить мимолетный неповторяющійся моментъ, котораго нѣтъ въ деревнѣ, нѣтъ въ глухой и затхлой атмосферѣ тяжелаго труда рабочихъ. Тамъ жизнь однотонна, однообразна и уныло повторяется изъ года въ годъ. Другое дѣло жизнь городовъ. Здѣсь выдѣляется личность изъ цѣлаго, здѣсь она не связана съ цѣлымъ, здѣсь жизнь и смерть личности въ рукахъ случая, и наряду съ повышающейся въ культурной обстановкѣ цѣнностью жизни ростетъ и страхъ предъ неумолимымъ, случайнымъ, но неотвратнымъ врагомъ ея—предъ смертью, здѣсь чаще умираютъ до времени, здѣсь чаще гибнетъ молодость въ борьбѣ съ нуждой, здѣсь чаще случаи голодной смерти. Здѣсь чахотка, сифилисъ свили себѣ прочныя гнѣзда, разрушая организмъ, выводя человѣка на дорогу къ могилѣ. Задолго до послѣдняго счета съ землей видитъ обреченный себя въ гробу, чуетъ приближеніе врага, воочію слѣдитъ за разрушеніемъ своего тѣла и духа. Горожанину нѣтъ спасенья ни въ наивномъ невѣжествѣ, ни въ радостныхъ суевѣріяхъ преданія. Фальшивые, но сладкіе утѣшители эти отходятъ при приближеніи культуры, уступая мѣсто новому невѣжеству, новому суевѣрію, холодному и безъутѣшному, питающему не надежду, а страхъ пустоты. Невольно задумывается онъ надъ смысломъ своей жизни, ни съ чѣмъ и ни съ кѣмъ не связанной. Одинокая жизнь ремесленника, поставляющаго товаръ безликой массѣ, а не живымъ опредѣленнымъ, ему извѣстнымъ людямъ, съ которыми связанъ непосредственно, жизнь размышляющаго паразита на безмѣрно огромномъ тѣлѣ загадочнаго, непривѣтливаго и враждебнаго суще-

ства, именуемаго народомъ,—выходитъ на бой со смертью безъ щита и оружія. Ея участь рѣшена заранѣе. Отъ смерти нѣтъ спасенія, все изолированное, замкнутое въ себя, собой, только собой живущее—обречено на гибель.

2.

Ужасъ горожанина предъ смертью нашелъ яркое выраженіе въ художественной литературѣ послѣднихъ лѣтъ. Подпрапорщикъ Гололобовъ у Арцыбашева сравниваетъ судьбу человѣка съ жизнью приговореннаго къ казни: и рѣшаетъ покончить самоубійствомъ для сокращенія срока ожиданія, для прекращенія унылой жизни приговореннаго къ смерти. Убивая себя, человѣкъ какъ бы занимаетъ единственную оставленную ему позицію свободнаго дѣйствія. Духъ, который и есть де мое „я", совершаетъ насиліе надъ „моей", но чужой все же „мнѣ" природой. „Духъ мой есть именно я, а тѣло только случайное помѣщеніе, не больше",—философствуетъ Гололобовъ.—„Если бы тѣло мое было именно я, то я бы остался жить. Смерть не стала бы тогда приговоромъ къ казни: вѣдь и послѣ смерти мое тѣло остается. Тѣло есть вѣчно". Духъ же исчезаетъ навѣки, даже если допустить загробную жизнь, ибо тамъ уже не будетъ того земного человѣка, о которомъ вѣдь идетъ рѣчь. Гололобовъ возмущенъ неотвратнымъ насиліемъ. „Во мнѣ есть желаніе жить, и весь я приспособленъ къ жизни, и все-таки я умру". Это насиліе и насиліе тѣмъ болѣе страшное и тяжелое, что смерть—законъ природы... „Со всякою иною властью бороться можно, а съ природой и бороться нельзя".

Бѣдный подпрапорщикъ Гололобовъ, очевидно, не знакомъ былъ съ анархизмомъ мистиковъ, объявившихъ войну и законамъ природы. Быть можетъ, тогда онъ не покончилъ бы самоубійствомъ. По воззрѣніямъ Гололобова, представляющему какъ бы мудрость вѣка сего, человѣческое я, оказывается совершенно случайнымъ гостемъ на жизненномъ пиру. Прежде всего оно случайно связано со своей эмпирической формой, со своей но все же чужой для „я" природой, т. е. тѣломъ; слѣдовательно случайны и всѣ его отношенія ко всему міру живому и мертвому, такъ какъ человѣкъ внѣшне общается съ ними лишь при посредствѣ той же чужой природы. У подпрапорщика Гололобова нѣтъ сознанія той интимной, невыразимой словами связи со всѣмъ міромъ, которая является основой всякаго жизнечувствія, которую Койгенъ обозначаетъ словомъ „интимитетъ", христіане—церковью вѣрующихъ, мистики-анархисты—вселенской соборностью, и которую мы знаемъ подъ старымъ именемъ любви, братства и солидарности. Онъ одинокъ, его я—внѣ всякой связи съ міромъ, въ связи съ міромъ только чужое ему его тѣло. Въ этомъ

одиночествѣ по истинѣ смерть страшна, не устоять предъ ней одинокому человѣку. Это чувство глубокаго одиночества порождаетъ необузданную жажду жизни, безумное стремленіе къ вѣчности, т. е. стремленіе преодолѣть свое убогое одиночество въ мірѣ, утвердивъ себя на вѣки неизмѣннымъ, вѣчно единымъ среди смѣнчивыхъ волнъ міровой жизни. И конечно этотъ исполинскій эгоизмъ при жалкихъ рессурсахъ, которыми онъ располагаетъ, терпитъ крушеніе, приводитъ къ самоубійству или къ безумію, и ненависти ко всему міру, или къ уходу изъ него въ міры иные, потусторонніе. Тяжелая и трагическая проблема, поставленная подпрапорщикомъ Гололобовымъ, разрѣшается имъ самоубійствомъ. Остающіеся жить люди въ этомъ разсказѣ рисуются пошляками, которые только потому не чувствуютъ трагизма смерти, что преисполнены самодовольства, животной чувственности, не оставляюшей имъ времени размышлять о смерти, а когда жизнь сама ставитъ вопросъ ребромъ, то укрѣпляются еще не угасшимъ въ нихъ, именно благодаря ихъ природной животности, ощущеніемъ неразрывной своей связи съ живымъ движущимся міромъ.

Къ той же темѣ, ужасу предъ смертью, возвращается Арцыбашевъ въ разсказѣ „Смѣхъ", гдѣ старый докторъ, почувствовавъ приближеніе смерти, незамѣтно сходитъ съ ума отъ ужаса.

Для врача ненавистна мысль, что, быть можетъ, въ вѣчной смѣнѣ формъ бытія повторится комбинація его собственной жизни, или уже даже не разъ повторялись комбинаціи, къ которымъ его нынѣ существующее „я" никакого отношенія не имѣетъ и имѣть не можетъ. Сумасшедшій, палатный паціентъ этого доктора, волнуется при мысли, что вѣчно существуютъ не факты, а идеи. „Я въ первый разъ поцѣлуюсь съ невыразимымъ наслажденіемъ, а когда у меня уже появится вѣчная костяная улыбочка, сладость перваго поцѣлуя переживетъ еще милліоны милліоновъ и больше влюбленныхъ совершенно съ тѣмъ же чувствомъ. Природѣ все равно,—злобствуетъ сумасшедшій.—Мы ей не нужны, „идею" насъ она возьметъ, а что касается насъ лично, то ей въ высокой степени наплевать. И это изволите видѣть послѣ всей той муки, которую я пережилъ"!... Съ безумной яростью и съ бранью сумасшедшій визжитъ, что ему то не все равно. Уличенный докторомъ въ явномъ проявленіи безумія, онъ ловко защищается. Не онъ, а всѣ люди сумасшедшіе или дураки, если могутъ предъ такой штукой, какъ смерть, еще приличія соблюдать, хотя боятся ее до безумія, единственно на страхѣ смерти основавъ свою культуру. Сумасшедшій дѣлится съ докторомъ своимъ открытіемъ, земля по его вычисленіямъ должна погибнуть отъ холода всего черезъ 3 тысячи лѣтъ. Солнце потухнетъ гораздо раньше, чѣмъ ожидаютъ. „При холодѣ какая ужъ красота",—злорадствуетъ онъ. И соблазненный этой безумной и злой радостью докторъ начинаетъ тихо смѣяться,

потомъ присядая хохотать. „И такъ они стояли другъ противъ друга, трясясь отъ злобнаго радостнаго смѣха, пока на нихъ обоихъ не надѣли смирительныхъ рубашекъ“.

Въ разсказѣ „Смерть Ландэ“ умирающій Семеновъ пишетъ своему другу: „А страдать ты всегда будешь одинъ, ибо если у тебя заболитъ животъ, то у самаго лучшаго друга, у брата, у жены не сдѣлается отъ сочувствія отвѣтнаго разстройства желудка... еслибъ ты зналъ, какую ужасную, душащую ненависть возбуждаютъ во мнѣ всѣ... будьте вы прокляты!.. Если бы я могъ, я бы задавилъ всю землю?... Господи, какъ страшно, пусто, холодно“!... Характерна эта философія одиночества, изолированности, отторженности отъ всего міра, отъ самыхъ даже близкихъ и дорогихъ людей. Ужасъ смерти, роковая безпощадность жизни, въ которой люди играютъ часто помимо воли своей, единственно изъ страха, предъ общественнымъ мнѣніемъ, предъ авторитетомъ, предъ силой безличнаго цѣлаго общества-ли, власти-ли,—роль жестокихъ орудій или роль злодѣевъ—вотъ тема, которая привлекаетъ вниманіе г. Арцыбашева. Чужіе другъ другу, рабы необходимости и смерти, люди сближаются между собою лишь въ злобѣ и въ насиліи. Сообща сочувствуя другъ другу, понимая и даже ощущая какую-то природную извѣчную связь, заставляющую трепетать сердце однимъ ритмомъ, подымающую груди однимъ дружнымъ вздохомъ, безъ всякаго сговора, такъ, независимо отъ мысли и воли,—люди могутъ дѣлать только зло, только угашать, отравлять жизнь. Человѣкъ не только одинокъ, но въ его одиночествѣ вся сила и прелесть, весь смыслъ человѣческаго существованія. Лови моментъ—вотъ принципъ жизни одинокаго передъ лицомъ смерти. Надо брать отъ жизни, не разбирая, все, что она даетъ. Вся жалкая мудрость Санина умѣщается въ трехъ словахъ: „жить какъ-нибудь“, которыя г. Арцыбашеву кажутся могущими имѣть „всеобъемлющій, опредѣленный и глубокій смыслъ“. Кто не хочетъ „жить какъ-нибудь“, у кого есть какіе нибудь порывы выйти за предѣлы животной непосредственности, растительной безмятежности, кто не просто отправляетъ всѣ потребности человѣческаго организма, а еще размышляетъ, придумываетъ норму, создаетъ идеалы, или подчиняется имѣющимся, готовымъ, привитымъ съ дѣтства, тотъ въ передѣлкѣ г. Арцыбашева оказывается или идеалистомъ слизнякомъ, кончающимъ самоубійствомъ, или самодовольнымъ ничтожествомъ, или „гнилообразнымъ, наглымъ человѣчкомъ“ и пошлякомъ. Всѣхъ, кто не хочетъ просто „ловить мги“, жить жеребячьей жизнью,—а мучаются вопросами, какъ жить, есть ли право у нихъ жить,—г. Арцыбашевъ преспокойно отправляетъ на тотъ свѣтъ съ первой же оказіей. Оковы быта, долга, морали и эстетики—все истаиваетъ въ огнѣ наслажденія и ловленія миговъ, единственной цѣнности жизни. Такимъ образомъ реалистъ г. Арцыбашевъ вплотную подошелъ

къ тому же отрицанію быта, эмпирической жизни во имя торжества красиваго оголеннаго тѣла, что и иные мистики. Онъ обходится только безъ блестящей фееріи преображеннаго міра, безсмертія и прочихъ соблазновъ вѣрующихъ душъ... Замѣтьте, Санинъ тоже религіозенъ, онъ вѣритъ въ Бога, но не зная что собственно Богу отъ него нужно, и мало заботясь о глубинѣ своего міросозерцанія,—хочетъ лишь одного, чтобы жизнь не была для него мученіемъ. Отсюда открытая дорога всѣмъ „естественнымъ" желаніямъ, добрымъ и злымъ, въ томъ числѣ и оргіастическимъ, и садическимъ, ибо, по изслѣдованіямъ мистиковъ, они ужъ во всякомъ случаѣ не менѣе „естественны"... чѣмъ любовь брата къ сестрѣ.

Тотъ-же вопросъ о смерти волнуетъ и г. Зайцева. „Нѣкто строгій и крамольный" такъ и рычитъ на землю съ неба, гдѣ луна уже окоченѣла: все у васъ погибаетъ. Но у него смерть лазоревая, несущая „глубокое знаніе", вводящая „въ страны мудрости, голосъ у нея „звучащій грудной нотой и скорбный". Попавъ, наконецъ, въ 3-ю книжку „Факеловъ", г. Зайцевъ сразу увѣровалъ въ „радости нетлѣннаго бытія, процвѣтающаго на высотахъ"; и опять то же „истаиваніе декорацій быта", какъ выходъ изъ одиночества и вражды людской.

У Сергѣева-Ценскаго смерти посвященъ бредовой конецъ поручика Бабаева и цѣлая бездарная пьеса „Смерть", въ которой здоровое и мощное пожираетъ „миги", живетъ не долго, но радостно, внезапно, почти безъ мукъ погибая, а больное, хилое переживаетъ здоровое, медленно тлѣя въ безпрерывномъ ужасѣ предъ смертью. Сочувствіе, состраданіе, геройство и самоотверженный подвигъ — только мѣшаетъ пожирать миги другимъ, и, спасая отъ смерти, ускоряетъ ее. Что зажилось на свѣтѣ—глупо и пошло. Смерть надо встрѣчать смѣхомъ и забрасывать цвѣтами. „Вся жизнь — только кража", „крадутъ сытость, радость, солнечные лучи... у ночи крадутъ темноту, у сновъ чудо, у мгновеній — вѣчность"... Гнететъ одиночество предъ хаосомъ жизни. И жажда чуда, безсмертія, смысла сжигаетъ сердце.

Все та-же философія одиночества, отчаянія, приводящая къ пожиранію миговъ.

Своеобразное отношеніе къ смерти обнаружилъ Леонидъ Андреевъ. Смерь это огромный, смѣшной и глупый великанъ, который ходитъ по землѣ, а самъ глядитъ въ небо, спотыкается у порога домовъ, падаетъ и лежитъ вверхъ лицомъ съ огромнымъ открытымъ ртомъ. Ни злобы, ни мести—просто роковая бездушная, нелѣпая сила, игрушка Рока; Рокъ, нѣкто въ Сѣромъ, превращающій, какъ мнится человѣку, въ пыль всѣ человѣческія мечты, полонъ таинственнаго ужаса, но и онъ бездѣйствененъ, онъ только счетчикъ, свидѣтель случайной судьбы человѣческой, тонущей въ хаосѣ дней и ночей, страданій и радости безъ смысла и цѣли. Мрачное отчаяніе — вотъ авторъ

„Жизни человѣка“, суфлеръ, подающій реплики. Тутъ полное крушеніе смысла жизни для тѣхъ, кто вступая въ борьбу за существованіе, вооруженъ лишь одной вѣрой въ знаніе, кто въ этой борьбѣ одинокъ, чьи радости и горе не раздѣлены. Это не человѣкъ вообще, а человѣкъ опредѣленной эпохи, опредѣленной соціальной среды и положенія. Это современный культурный человѣкъ, который разбилъ всѣ миражи человѣческаго дѣтства, осмысливавшіе жизнь, придававшіе ей гармоничное единство, но, не пріобрѣвъ ничего взамѣнъ, оставилъ онъ себѣ одинъ миражъ—гордаго и властнаго сердца, миражъ своей независимости, дерзкаго вызова всему міру за свой личный страхъ. Онъ равнодушенъ къ другимъ: красота и радость — его Богъ, но не любовь. Онъ отрѣзанъ и отъ чужихъ радостей, и отъ чужого горя, онъ принимаетъ сочувствіе и восторги предъ собой, но не даетъ самъ другимъ ничего прочнаго, ничего настоящаго, цѣннаго. Весь міръ, живой и мертвый, существуетъ только для него; и люди хороши только тѣ, которые цѣнятъ его, ему поклоняются. Онъ бросаетъ Року перчатку, равнодушный къ тому, кто же этотъ Рокъ, добро или зло, или сама жизнь. Ему важно быть побѣдителемъ — одинокимъ и гордымъ въ своемъ одиночествѣ. „Я побѣдилъ, злой врагъ мой, ибо до послѣдняго дыханія не призналъ я твоей власти“... мечтаетъ онъ. Вотъ этотъ то эгоистъ, глубочайшій индивидуалистъ, равнодушный ко всему, кромѣ себя — это онъ потерпѣлъ крушеніе, современный культурный человѣкъ, жадный и честолюбивый пожиратель миговъ.

Голъ современный человѣкъ предъ лицомъ жизни; безоруженъ предъ ея нелѣпымъ великаномъ—смертью. Наивное суевѣріе и религіозность—они вооружены. Миражами загробнаго міра преодолѣваютъ они роковое одиночество человѣка. Но мы не вѣримъ ни въ тотъ свѣтъ, ни въ его миражи. Съ открытой грудью встрѣчаемъ страшнаго врага, съ перемѣннымъ счастіемъ боремся съ его слѣпотой, убивающей все безъ разбора... Медленно, шагъ за шагомъ отвоевываемъ отъ него молодую жизнь, оставляя ему дряхлую. И въ этой трагической борьбѣ необходима ясность и смѣлость мысли и гордое презрѣніе ко всякому подслащиванію трагизма. У Леонида Андреева этого подслащиванія нѣтъ. Страшны глаза Елеазара, отразившіе въ зрачкахъ своихъ тайну смерти, и тихо умираетъ, гаснетъ неотвратимо все подъ тяжелымъ взоромъ Елеазара. Но божественный Августъ дѣлаетъ вызовъ смерти. По его приказанію Елеазаръ поднялъ свой тяжелый взоръ на него. И раскрылась предъ нимъ бездна прошлаго и грядущаго, и обрушивались въ нее вѣка міровъ, царствъ и народовъ, и угасла въ императорѣ воля къ жизни... Но вспомнилъ родную страну, свой долгъ предъ нею... и силою воли ожилъ.

Въ его лицѣ жизнь побѣждаетъ смерть. Прекрасное, цвѣ-

тущее, молодое, сильное, все, желающее жить—отвоевано у нея любовью къ людямъ, солидарностью съ ними. И выколовъ глаза Елеазару, черезъ которые она могла смотрѣть на всѣхъ, онъ лишилъ смерть возможности губить то, что ей не принадлежитъ.

Какъ рѣзко и опредѣленно отходитъ Леонидъ Андреевъ въ этой жизненной постановкѣ вопроса отъ тѣхъ, кто какъ бы старается снова вставить Елеазару глаза и сдѣлать ихъ очаровательными или страшными.

3.

У Ѳ. Сологуба смерть это единственная канва, на которой онъ вышиваетъ свои узоры. Ядовито и сладострастно рисуетъ онъ мелкую пошлость, низкую злобу, тупость и глупость городской захолустной жизни среднихъ классовъ. Въ его „Мелкомъ Бѣсѣ", подымающемся до высоты гоголевской силы изображенія—величайшая пошлость жизни рисуется спокойно и мертво, безъ тѣни сарказма, безъ улыбки, безъ малѣйшаго юмора, точно это надгробный памятникъ человѣчеству, точно преуспѣвающій педагогъ Передоновъ, этотъ скрытый вырождающійся психопатъ, — символъ человѣческой обыденной жизни вообще... Трудно было бы написать болѣе безпощадную характеристику такъ называемыхъ „образованныхъ" людей, отъ которыхъ ничего не дождешься кромѣ тлѣнія и пошлости. И надъ этимъ моремъ безъисходнаго хамства, черпающаго наслажденіе въ мучительствѣ, завистливаго, мелко властолюбиваго, рабскаго и порабощающаго, проникающаго даже въ дѣтскія души въ ихъ нѣжномъ возрастѣ — сурово возвышается одна неземная, ослѣпительная сила. Это смерть — примирительница. Она одна возвышаетъ человѣка надъ пошлостью земной жизни и, освобождая его отъ тлѣнной оболочки, уводитъ въ иные міры, гдѣ нѣтъ ни тлѣнія, ни рабовъ необходимости: Задолго до статей г. Бердяева волнуютъ, у г. Сологуба, дѣтей вопросы о жизни и смерти: „гдѣ я, что я, откуда я и почему я?..." „Но что бы то ни было, какъ хорошо, что есть она, смерть—освободительница!" И мучитъ героевъ Ѳ. Сологуба какая-то жажда мукъ, физической боли для того, чтобы заглушить боль души отъ вѣчной борьбы свободнаго порыва со всѣмъ условнымъ бытомъ, дѣлающимъ для человѣка жизнь рабствомъ и тюрьмою. Его герои и героини любятъ красивое голое тѣло, героини любуются нагишемъ сами собою въ зеркалѣ (герои пока еще до этого не дошли), вытягиваясь на манеръ Леды г. Каменскаго, который впрочемъ свою голую даму вѣроятно, вмѣстѣ съ г. Арцыбашевымъ позаимствовалъ именно у Ѳ. Сологуба.

Устами своихъ героевъ Ѳ. Сологубъ ставитъ надъ жизнью

крестъ. Люди „не понимаютъ того, что одно достойно любви,— не понимаютъ красоты,— говоритъ Елена, героиня разсказа „Красота“—О красотѣ у нихъ пошлыя мысли, такія пошлыя, что становится стыдно, что родилась на этой землѣ. Не хочется жить здѣсь“ (курсивъ нашъ). Или еще: „Построить жизнь по идеаломъ добра и красоты съ этими людьми и съ этимъ тѣломъ!—горько думала Елена,—невозможно! Какъ замкнуться отъ людской пошлости, какъ уберечься отъ людей. Мы всѣ вмѣстѣ живемъ, и какъ бы одна душа томится во всемъ многоликомъ человѣчествѣ. Міръ весь во мнѣ. Не страшно, что онъ таковъ, каковъ онъ есть,—и какъ только его поймешь, такъ и увидишь, что онъ не долженъ быть, потому что—онъ лежитъ въ порокѣ и во злѣ. Надо обречь его на казнь,—и себя съ нимъ“.

Ѳ. Сологубъ солипсистъ. Онъ не признаетъ выхода изъ своего созерцанія въ міры другихъ людей. Вся жизнь многоликая—это только то, что въ немъ и что съ нимъ. При такомъ взглядѣ, при вѣрѣ въ безсмертіе—живой эмпирическій міръ какая-то заколдованная западня, темница для человѣка. Смерть разрѣшаетъ узы, открываетъ восхищенному взору новыя равнины проникновенныхъ незамкнутыхъ плотью существованій... Но есть моментъ жизни, когда какъ бы спадаютъ завѣсы и путы—это переживанія экстаза, эстетическаго восторга, это любовь дерзающая, ни передъ чѣмъ не останавливающаяся. И Елена, раздѣвшись до нага, ежедневно любовалась передъ зеркаломъ „волнистыми линіями“ своихъ голеней и бедеръ, мечтала о „безгрѣшныхъ ласкахъ, о невинныхъ поцѣлуяхъ, о нестыдливыхъ хороводахъ на орошенныхъ сладостной росою лугахъ подъ ясными небесами, гдѣ сіяетъ кроткое и благостное свѣтило“. Но все погибло, ее подсмотрѣла горничная Макрина и спугнула эти миражи своими обывательскими намеками, что такую красавицу всякій де замужъ возьметъ, Елена поймала на лицѣ прислуги „нечистую улыбку“, и душа ея замутилась, и вотъ откуда тѣ черныя и безутѣшныя мысли, которыя мы привели выше. „Можно ли жить, когда есть грубыя и грязныя мысли? Пусть онѣ и не мои, не во мнѣ зародились,—но развѣ не моими стали эти мысли, какъ только я узнала ихъ? И не все ли на свѣтѣ мое, и не все ли связано неразрывными узами?“...

Таковъ безнадежный исходъ изъ этой мертвой философіи одиночества, несущаго нераздѣленное бремя жизни. Елена закололась красивымъ кинжальчикомъ, „прекраснымъ орудіемъ смерти“, какъ подумала она, улыбаясь.

Въ прелестномъ разсказѣ Ѳ. Сологуба „Утѣшеніе“ та же погребальная нота.

— „Какъ во снѣ живемъ,—медленно говорила Дуня, глядя на близкое и блѣдное небо,—и ничего не знаемъ, что къ чему. И о себѣ ничего не знаемъ, если мы, или нѣтъ. Ангелы сны видятъ страшные,—вотъ и вся наша жизнь.“

Такъ говоритъ юная дочь работницы, Дуня, мальчику Митѣ, ученику городского училища. Митя глядѣлъ на Дуню, улыбаясь и радостно, и покорно. Онъ чувствовалъ теперь, что не больно умирать: только покоряйся тому, что будетъ...

Это все та же философія одинокого разобщеннаго съ людьми и со всѣмъ міромъ человѣка, замкнутаго въ безвыходномъ кругѣ лишь своихъ переживаній. Весь міръ ему представляется лишь только какъ зрительный, слуховой, осязательный образъ, какъ продуктъ его собственнаго воображенія и мысли. Онъ уже не различаетъ сна отъ того, что есть, своей мечты отъ вещи и сомнѣвается даже въ своемъ собственномъ существованіи... Весь міръ сплошной кошмаръ мучительнаго одиночества и бездушной жестокости. Въ „Утѣшеніе" мрачная, звѣрски-тупая пошлость съ личиной мнимаго благообразія преслѣдуетъ несчастнаго Митю и наяву, и въ бреду, до послѣдняго вздоха. Его выпороли для его же блага по распоряженію благодѣтельной хозяйкѣ, у которой его мать служитъ кухаркой. Никто не понимаетъ души ребенка, потрясенной смертью крошки Раи, упавшей съ окна 4-го этажа на его глазахъ.

Даже родная мать не понимаетъ души своего ребенка, присоединяется къ мучителямъ. Его преслѣдовали и дома, и въ школѣ, мучили, благодѣтельствуя. Мальчикъ психически заболѣлъ. Ему чудилось, что за нимъ гонятся разъяреные учителя и школьники съ ревомъ и хохотомъ, дразнясь, крича и кривляясь. Онѣмѣлыми ногами взбирается онъ по лѣстницѣ къ своимъ друзьямъ. А впереди несется прозрачный образъ Раи.

„Уже когда настигали его и Митя чувствовалъ за собой злое людское дыханіе, Рая остановилась, повернулась къ Митѣ, вся занялась пламенемъ и сказала:

— Не бойся.

Грозный для міра—голосъ ея былъ словно громъ, рожденный со страшной болью и великимъ восторгомъ, какъ бы въ самой Митиной головѣ. Рая взяла Митю за руку и черезъ тѣсную дверь вывела она его на свѣтлую дорогу, гдѣ пламенѣли дивныя розы,.. Блѣдный мальчикъ съ усиліемъ влѣзъ на подоконникъ въ четвертомъ этажѣ, окно было открыто... Цѣпляясь руками за верхнюю перекладину въ рамѣ, онъ повернулся лицомъ къ лѣстницѣ и спиною наружу, началъ вылѣзать изъ окна. Ноги его скользнули по узкой желѣзной полоскѣ и сорвались. Мгновенный послѣдній ужасъ охватилъ его, и онъ сдѣлалъ безполезное усиліе удержаться руками за раму. Начиная падать, онъ уже почувствовалъ облегченіе. Сладкая жуткость подъ сердцемъ быстро возрастая, погасила сознаніе прежде, чѣмъ онъ коснулся камней. Падая онъ крикнулъ:

— Мама.

Но горло захватило, крикъ прозвучалъ коротко, слабо и рѣзко,—и вслѣдъ за нимъ на пустомъ и безмолвномъ дворѣ тихо, но явственно раздался трескъ отъ разбитыхъ о камни Митиныхъ костей"...

Конецъ Мити, разбившагося отъ паденія едва ли не самый счастливый моментъ его жизни. Сладкая жуткость умиранія—это обычный удѣлъ умирающихъ у Ѳ. Сологуба. Изъ шести разсказовъ въ сборникѣ „Жало смерти" въ трехъ—четверо кончаютъ самоубійствомъ, въ одномъ дѣтское убійство, въ одномъ есте-

ственная смерть и въ одномъ лишь мальчикъ ходитъ по краю могилы, но удерживается и возвращается вяло и неувѣренно къ жизни... Смерть, смерть и смерть.

Революція отразилась на мрачныхъ разсказахъ Ѳ. Сологуба. Въ его „Истлѣвающихъ личинахъ"—этихъ классическихъ, по неизъяснимой пластичной красотѣ, разсказахъ *)—смерть теряетъ свой безсмысленный характеръ, но все-таки это смерть не за жизнь, а смерть для смерти, но съ протестомъ и вызовомъ кровожадному порочному міру. Этотъ протестъ ввелъ въ заблужденіе нѣкоторыхъ критиковъ, узрѣвшихъ въ немъ поворотъ Ѳ. Сологуба въ сторону признанія жизни.

— Если бы я все это зналъ, ни за что я не хотѣлъ бы быть человѣкомъ,—говоритъ маленькій пролетарій Гриша въ „Рождественскомъ Мальчикѣ". Не смотря на свой нѣжный возрастъ онъ уже глубоко разочарованъ жизнью и впереди ничего не видитъ:

— Пойти бы всѣмъ вмѣстѣ, дошли бы до такого мѣста, гдѣ земля новая и небо новое, и левъ свирѣпый не кусаетъ и змѣйка скоропейка не жалитъ. Да нѣтъ намъ свободы, никуда не пойдешь. **)

Гриша зоветъ барина, отыскавшаго этого бездомнаго сироту по таинственному сну,—идти къ рабочимъ, выйти вмѣстѣ съ ними. На возраженіе, что вѣдь убьютъ, онъ отвѣчаетъ:—И пусть убьютъ. Развѣ ты боишься? Умремъ вмѣстѣ. Не стоитъ жить съ этими злыми людьми, не хочу быть съ ними (курсивъ нашъ).

Вмѣстѣ умремъ!—вотъ все то хорошее, что еще можетъ дать жизнь по Сологубу.

Этотъ глубокій пессимизмъ, это растерянное отчаяніе предъ злобной и кровожадной пошлостью бытовой жизни примиряетъ со смертью. Смерть уже не зло, она освободительница отъ плѣннаго тлѣна бездушной матеріи, оковавшей насъ путами необходимости, она избавительница отъ дьявольскаго духа этой матеріи, отъ всего живущаго на землѣ истребленіемъ и мучительствомъ. Она открываетъ освобожденную дорогу къ новому небу, къ новой жизни.

— Кровью тутъ у васъ пахнетъ, а я этого запаха не люблю—говоритъ духъ, хозяинъ елки, зелененькій крошечный Елкичъ, семилѣтнему Симѣ. Елкичъ тоскуетъ, зачемъ срубили его елку злые люди и жестоко мститъ. Онъ докажетъ наивному Симѣ свою правоту. Онъ увлекаетъ его обѣщаніемъ показать кровь. Подстрекаемый Елкичемъ Сима вырывается изъ рукъ растерявшейся гувернантки навстрѣчу толпѣ и падаетъ убитый

---

*) „Чудо отрока Лина", „Январьскій разсказъ", „Рождественскій Мальчикъ"
**) „Рождественскій мальчикъ".

январьской пулей, прошептавъ радостно и нѣжно: „миленькій Елкичъ“.

— Я пойду къ нимъ навстрѣчу, и пусть они убьютъ меня одного, я и не хочу жить въ этомъ презрѣнномъ мірѣ, гдѣ совершаются такія жестокія дѣла,—говоритъ отрокъ Линъ, какъ бы повторяя собой рождественскаго Гришу. Отрокъ Линъ бросилъ безполезный, безумно дерзкій вызовъ римскому отряду, умертвившему мужей страны отрока, боровшихся за свободу своей родины. Напрасно умоляютъ его не задѣвать проѣзжающій мимо отрядъ обробѣвшіе сверстники, дрожащіе за свою жизнь. Въ этомъ прелестномъ разсказѣ не только люди звѣри, но и само солнце—„Драконъ, торопящій къ убійству, распаляющій жаркую солдатскую кровь, багровымъ дымомъ ярости застилающій воспаленные глаза воиновъ, уже радовался, уже готовъ былъ безпощадными лучами змѣиныхъ своихъ очей облобызать невинную дѣтскую кровь и гнойнымъ зноемъ небесной злобы залить изрубленныя жестокими и широкими мечами беззащитныя тѣла“.

Римскіе воины убиваютъ всѣхъ, хотя отрокъ Линъ выступилъ противъ нихъ одинъ и отвѣтъ взялъ на себя одного. „Нельзя оставить въ живыхъ змѣиное отродіе,—потому что слова дерзкаго мальчишки запали въ ихъ мятежныя души. Убивайте ихъ всѣхъ безъ пощады, большихъ и малыхъ, и даже едва только научившихся лепетать“—такъ сказалъ старый центуріонъ, предводитель отряда.

Но много разъ пришлось воинамъ убивать и рубить тѣло отрока Лина, каждый разъ онъ вставалъ и окровавленный настигалъ ихъ вновь съ крикомъ.

— Убійцы, убійцы невинныхъ. Вамъ нѣтъ прощенія, нѣтъ пощады! И всю ночь метались на коняхъ войны по долинѣ вокругъ груды дѣтскихъ тѣлъ, и убивали, и не могли убить, пока предъ восходомъ солнца не примчались къ морскому берегу, гдѣ и погибли въ волнахъ.

„А тамъ, на далекомъ полѣ, у дороги, гдѣ убиты были всадниками отрокъ Линъ и другія дѣти, лежали тѣла ихъ, окровавленныя и непогребенныя. Ночью трусливо и осторожно пришли къ поверженнымъ тѣламъ волки и насытились невинными и сладкими тѣлами людей“ (Чудо отрока Лина).

Не смотря на яркій своеобразный колоритъ этого поэтическаго разсказа, онъ является удивительно монотоннымъ повтореніемъ того же призыва къ смерти, того же отрицанія испорченнаго міра, какое мы встрѣчаемъ во всѣхъ разсказахъ Ѳ. Сологуба, блестящій талантъ котораго придаетъ все таки интересъ къ варіаціямъ одного и того же мотива. Но есть здѣсь и нѣчто новое. Въ „Чудѣ отрока Лина“ врагъ погибаетъ отъ миража, отъ руки сверхъестественной силы. Нѣтъ помощи здѣсь на землѣ, гдѣ само солнце хочетъ убійства, гдѣ пируютъ

одни трусливые и осторожные волки! Ѳ. Сологубъ очень осторожно, точно крадучись, подбирается къ читателю, постепенно, а не сразу раскрывая горизонты своихъ кошмарныхъ воззрѣній на жизнь. А быть можетъ это онъ самъ такъ прогрессируетъ? Во всѣхъ разсказахъ сборника „Жало смерти“ отвратительный обликъ жизни и лучезарный, привѣтливый ликъ смерти являлись какъ бы кошмаромъ больной нездоровой жизни. Предъ нами проходили типы дѣтей и взрослыхъ: или психически больныхъ, или потрясенныхъ сильнымъ горемъ, или вырождающихся вслѣдствіе алкоголизма и нравственнаго помѣшательства родителей. Авторъ какъ бы внушалъ мысль о томъ, что совсѣмъ иной должна быть жизнь здоровая. И только въ разсказѣ „Красота“ были брошены болѣе явственные намеки на скрытую пока сущность воззрѣній автора. Въ „Истлѣвающихъ личинахъ“ развертывается уже открыто мистическая основа. Кошмарный бредъ, вѣщій сонъ, галлюцинація само безуміе—это реальная связь міра живущихъ съ мірами давно угасшими и міромъ грядущимъ. Не лихорадка мучитъ человѣка, не бредъ въ жару болѣзни, убивающей организмъ человѣка, и агонія смерти предъ нами,—это страшныя дикія чудовища, прорвавшіяся сквозь заклятыя стѣны тлѣннаго матерьяльнаго міра изъ бездны вѣчности, изъ жизни угасшей тысячи лѣтъ тому назатъ,—разгуливаютъ теперь среди насъ и сводятъ старые счеты съ нами. Ибо въ насъ возродились души когда-то жившихъ людей, эти души умершихъ распадаются на части, не мирящіяся другъ съ другомъ, и воплощаются каждая въ отдѣльномъ человѣкѣ. И во снѣ намъ угрожаетъ не воображаемый кошмаръ, нѣтъ это рождается будущее, или мы вспоминаемъ старое, это изъ мертвыхъ глубинъ давно минувшей жизни встаютъ невоплощенныя души и требуютъ насъ къ отвѣту, сводятъ старые счеты съ нами и мы погибаемъ, а люди говорятъ, что насъ сразила болѣзнь.

Больное, безумное, бредовое—это болѣе реальное, чѣмъ та жизнь, которую мы считаемъ дѣйствительной. Это и есть тотъ прорывъ, расторгающій цѣпи тлѣннаго міра, въ „міръ преображенный“, гдѣ человѣкъ—свободный творецъ, какъ увѣряютъ теоретики мистическаго анархизма. Такъ уничтожается всякая раздѣлительная грань между бредомъ и дѣйствительностью, между сномъ и жизнью—все сливается въ одинъ сплошной кошмаръ, въ которомъ свѣтло и прекрасно то, что мы называемъ бредомъ, и угрожающе мрачно, безобразно то, что принято считать за дѣйствительность. „Прощай иная, невѣдомая тайная жизнь. Надо жить дневными скучными переживаніями и, когда придетъ ночь, спать безмысленно и тяжело“...—заключаетъ съ видимымъ сожалѣніемъ авторъ разсказа „Два Готика“, гдѣ грезы мальчика о его двойникѣ, о его путешествіяхъ по ночамъ въ чудный замокъ Селениты, разлетаются какъ дымъ: оказалось горничная переодѣвалась въ его платье и бѣгала по ночамъ на

пирушки, а Готикъ, уличаемый родителями и сопоставлявшій ихъ улики со своими снами и впрямь вѣрилъ, что это онъ уходилъ по ночамъ къ Селинитѣ.

Только въ своихъ грезахъ, метчахъ и снахъ, но не въ своей жизненной правдѣ прекрасенъ міръ, а самъ онъ сплошной кошмаръ пошлости и злобы. Въ подлинной жизни „все на мѣстѣ, все сковано, звено къ звену, на вѣкъ зачаровано, въ плѣну, въ плѣну“ *).

Но какъ ни прекрасны формы, оживающія подъ ударомъ рѣзца художника,—все же предъ нами „преображенная“ жизнь „инобытія“ является сказкой дикаря о побѣдѣ надъ смертью и страданіемъ. Это та же вѣра въ воскресеніе именно въ томъ видѣ, въ какомъ тебя убьютъ или самъ умрешь, вѣра, посредствомъ которой дикарь свою боль и свое пораженіе превращаетъ въ радость и побѣду.

4.

Съ каждымъ новымъ произведеніемъ талантливый авторъ „углубляетъ“ свое міросозерцаніе. Въ „Навьихъ чарахъ“ Ѳ. Сологубъ доходитъ до самой низкопробной магіи. Появляются таинственныя призмы, флаконы съ таинственной зеленоватой жидкостью, волшебные ходы, волшебное феерическое освѣщеніе, зеркало, превращающее людей въ сѣдыхъ стариковъ, безцвѣтная жидкость, вновь дѣлающая ихъ молодыми и прекрасными, таинственные блѣдные мальчики, не то еще живыя жертвы тайнаго порока, не то тѣни умершихъ, магическая комната, гдѣ „ужасъ и восторгъ живутъ вмѣстѣ“, волшебная палочка, магическій кругъ, вызовъ и заклятіе надъ усопшими душами, мертвецы—пьяные, безобразные сторонники стараго режима, и проч. и проч. И вся эта несуразная магическая чертовщина пересыпана лѣвыми и правыми діалогами, съ эсдэкскими и октябристскими физіономіями И опять передъ зеркаломъ плотское страстное тѣло дѣвушки, слегка изогнутыя линіи живота, упругія колѣни... И ждетъ страстная дѣвушка отвергнутаго ею влюбленнаго. „О еслибы онъ пришелъ ночью! къ тайно пламенѣющему, великому огню расцвѣтающей плоти... Гдѣ любовь, тамъ и великое должно быть дерзновеніе. Развѣ любовь сладкая, кроткая, послушная? Развѣ она не пламенная? Роковая, она беретъ, когда хочетъ, и не ждетъ“,—такъ мечтаетъ не то дѣвушка, еще не познавшая любви, не то самъ Сологубъ за нее.

Но почему же, почему передъ зеркаломъ у всѣхъ нашихъ беллетристовъ любуются линіями своего живота и бедеръ только дѣвушки, а не и мужчины? Что за странная односторонность!

*) См. „Въ Плѣну“.

Древніе греки любили красивое тѣло и у мужчинъ, не только у женщинъ. Отъ голыхъ тѣлъ проходу нѣтъ въ современной литературѣ. Культъ природныхъ влеченій доводитъ до такихъ подвиговъ, какъ использованіе, походя, четырехъ женщинъ то въ каютѣ, то въ вагонѣ, то на площадкѣ вагона („Четыре"—Каменскаго), какъ увлеченіе Арцыбашевскаго Санина поочередно то своей родной сестрой, то ея подругой, то деревенской дѣвушкой. По истинѣ бычачью природу воскрешаютъ, путь порока усыпаютъ цвѣтами, воображая, что возрождаютъ античный духъ, античную любовь къ красотѣ. Но вмѣсто строгаго и восторженнаго античнаго отношенія къ красотѣ человѣческаго тѣла получается банное смакованіе избалованнаго излишествами сладострастія.

Вотъ, напримѣръ, картина, написанная такимъ тонкимъ эстетомъ, художникомъ слова, какъ Ѳ. Сологубъ.

Соціалдемократка учительница, Алкина, по „партійному" дѣлу у таинственнаго, „не очень партійнаго" помѣщика Триродова. Дѣло окончено.

„Спросила спокойно.

— Георгій Сергѣевичъ, вы меня приласкаете?

Триродовъ улыбнулся. Онъ сидѣлъ спокойно въ креслѣ, смотрѣлъ на нее прямо и спокойно и немного медлилъ отвѣтомъ. И Алкина спросила опять съ печальною и кроткою покорностью.

— Можетъ быть, вамъ некогда? или не хочется?

Нѣтъ, Катя, я радъ вамъ, спокойно *) отвѣтилъ Триродовъ".

Стали торговаться, гдѣ ей раздѣться. Она предпочла тутъ же, на глазахъ:—„Мнѣ радостно,—чтобы вы на меня долго смотрѣли„!

И потомъ:

„Проворно и ловко раздѣлась. Нагая, стала передъ Триродовымъ. Подняла руки,—и была вся длинная, гибкая, какъ бѣлая змѣя. Сжала скрестивъ пальцы вытянутыхъ рукъ и потянулась всѣмъ тѣломъ, такая стройная и гибкая, что казалось, вотъ вотъ совьется бѣлымъ кольцомъ".

А Триродовъ все смотрѣлъ спокойно, пока она не упала въ его объятія.

„Поцѣлуи казались невинными тихими, какъ сестра цѣловала брата. Такая нѣжная и упругая подъ его руками была ея кожа. И прильнула къ нему покорнымъ отдающимся движеніемъ.

Перенесъ ее къ мягкому широкому ложу"...

Но оставимъ ихъ здѣсь пока съ г. Сологубомъ, ихъ духовнымъ отцомъ. По истинѣ картина старческаго воображенія, черпающаго силы въ спокойной „наглядкѣ". Куда тутъ Каменскому съ его глупой голой Ледой, проповѣдывающей ходить дома нагишемъ, поносящей „отвратительную комнатную любовь съ ея приспущенными лампами". Леда—сама невинность, пошловатая, правда, но все-таки невинность же.

---

*) Курсивъ вездѣ нашъ.

Удивительное дѣло: и у г. Арцыбашева, и у г. Каменскаго, и у г. Сологуба—какъ только героиня оголится, такъ сейчасъ же заломитъ руки и давай потягиваться всѣмъ тѣломъ. Движеніе сладострастія—вотъ что прежде всего бросается въ глаза нашимъ доморощеннымъ воскресителямъ античнаго отношенія къ красотѣ.

Есть одна черта рѣзко отдѣляющая Ѳ. Сологуба отъ г. Каменскаго, герои котораго даже къ неодушевленнымъ предметамъ питаютъ родъ вожделѣнія. Это жертвенность любви. Характеренъ въ этомъ отношеніи разсказъ „Царица поцѣлуевъ", написанный прекраснымъ въ своей наивности языкомъ въ стилѣ новеллъ Боккачіо. Героиня этого разсказа съ помощью злого духа становится въ одинъ прекрасный день царицей поцѣлуевъ и раздѣвшись до нага уходитъ изъ дома ревниваго старика мужа, который тщетно стерегъ ее. На улицѣ въ пыли отдавалась она, сзывая неистовымъ, звонкимъ, какъ свирѣль, голосомъ всѣхъ юношей города, на виду у всѣхъ горожанъ. И сбѣгались къ ней красивые и сильные со всей страны и напрасно старались почтенные граждане старцы уговорить неистовавшую и завывавшую отъ страсти молодежъ отнести безумную Мафальду въ домъ къ ея супругу, почтенному Бальтасару. Пришлось призвать воиновъ. Но и воины, когда дорвались до тѣла прекрасной Мафальды, не устояли передъ ея свирѣльными призывами. Но они были грубые люди и не могли дожидаться очереди, какъ дѣлали это учтивые и скромные юноши того города, хорошо воспитанные ихъ благочестивыми родителями. Мафальду брали съ боя, и многіе были убиты и ранены, одинъ отогнанный солдатъ легъ на камни и, накрывшись плащемъ, взвылъ отъ стыда и муки безсильнаго желанья; но вотъ тихо проползъ онъ между ногъ боровшихся,—ощупалъ горячими руками похолодѣвшія ноги Мафальды и вонзилъ ей въ бокъ кинжалъ. Тутъ только, воспользовавшись замѣшательствомъ, старцы, застрахованные отъ соблазна своей дряхлостью, отнесли мертвую Мафальду въ домъ ея супруга. А ночью къ ней прокрался ея убійца солдатъ, и мертвая Мафальда разомкнула для него свои холодныя руки и обняла его крѣпко и до утра отвѣчала поцѣлуями холодными и отрадными, какъ сама смерть, и до утра наслаждались они ласками любви, утромъ нашли ихъ обоихъ мертвыми. „Я знаю,—заканчиваетъ свой разсказъ Ѳ. Сологубъ—что найдутся неразумныя жены и дѣвы, которыя назовутъ сладкимъ и славнымъ удѣлъ прекрасной Мафальды, царицы поцѣлуевъ,—и найдутся юноши столь безумные, что позавидуютъ смерти ея послѣдняго и наиболѣе обласканнаго ею любовника. Но вы, почтенныя, добродѣтельныя дамы, для поцѣлуевъ снимающія одни только перчатки, вы, которыя такъ любите прелести семейнаго очага и благопристойность вашего дома, бойтесь легкомысленнаго желанія, бѣгите отъ лукаваго соблазнителя".

Итакъ, такая смерть не только прекрасна, но и завидна. Санинъ изнасиловалъ Красавину,—потомъ говорилъ ей, что онъ отдалъ бы ей свою жизнь, если бы могъ. Такъ стараются трагизмомъ смерти, азартомъ крупной ставки облагородить и возвысить животную чувственность, провести грань между культомъ здороваго чувственнаго тѣла и распущеннымъ пошлымъ сладострастіемъ. Конечно, порочные и трусливые сластолюбцы не пойдутъ на эту ставку, предпочитая развратничать, не рискуя ни головой, ни общественнымъ положеніемъ. Но развѣ отъ этого дѣло мѣняется, и развѣ неистовство Мафальды и юношей стало привлекательнымъ оттого, что перешло предѣлы не только разврата, но безумія? Трудно переодолѣть отвращеніе здороваго человѣка къ кричащей оголенной животности, подмалеванной ли Сологубовскимъ трагизмомъ смерти или наоборотъ солнечной жизнерадостностью г. Арцыбашева. Это протестъ и реакція противъ христіанскаго взгляда на плоть, но протестъ не здоровый, идущій отъ среды, не связавшей свою жизнь съ суровымъ дыханіемъ труда, и потому антисоціальный, проникнутый сплошнымъ сладострастіемъ. И когда у г. Сологуба дочь говоритъ отцу, требующему ея любви:—„отбросимъ ветхое слово“ (отецъ), и отдается ему, то мы не видимъ въ этомъ той борьбы со всякой нормой, о которой говорятъ теоретики мистическаго анархизма, а просто голый призывъ къ сладострастію. Лови моментъ наслажденья, хотя бы цѣною смерти, ибо жизнь коротка и ужасна, все равно умрешь! или: бери все, что она даетъ, безъ разбору, некогда разбирать, торопись жить. Такова философія и мораль пирующихъ во время чумы. Культъ наслажденія, отвращенія ко всему, что связано съ долгимъ трудомъ, что стоитъ на пути личныхъ переживаній—такова основа этой морали.

Г.г. Бердяевы, Чулковы и прочіе, шествуя по стопамъ Владиміра Соловьева, полагаютъ, что истинная, высочайшая любовь—съ одной стороны даетъ человѣку безсмертіе, а съ другой дѣлаетъ ненужной „дурную“ безконечность: безсмертіе рода. Истинная, возвышенно прекрасная, мистическая любовь,—учатъ они,—не чадородна, не оставляетъ потомства. „Все совершенное и безмѣрно прекрасное есть достиженіе вѣчности, не дробится, не продолжается въ рожденіи изъ себя несовершенныхъ частей“, говоритъ г. Бердяевъ*). „И увы! огромной части человѣчества знакома только вульгарная Афродита“, ибо люди, рабы необходимости, находятся во власти рода... Имъ нужны дѣти, а не безсмертіе. Они не понимаютъ „блаженства соединенности“, не различаютъ злое сладострастіе, „сладострастіе разъединенности“, отъ сладострастія хорошаго, прекраснаго, „добраго сладострастія“,

*) Стр. 164. „Нов. рел. соз. и общ.“

постижимаго лишь въ мистическомъ опытѣ. Тутъ какъ разъ и совершается прорывъ въ вѣчность *).

Такъ сладострастіе и мистика подаютъ другъ другу руки и пьютъ, по выраженію Гейне, брудершафтъ. Такъ предъ лицомъ смерти ищутъ спасенія въ апологіи безумной чувственности, выходящей своимъ безуміемъ за предѣлы нравственной оцѣнки, въ апологіи смерти, какъ освободительницы, ведущій въ иной лучшій міръ.

Въ своемъ послѣднемъ разсказѣ „Смерть по объявленію" г. Сологубъ умудряется даже изъ послѣдней минуты пріѣвшейся и надоѣвшей жизни извлечь острое наслажденіе сладострастія. Пожилой господинъ нанимаетъ проголодавшуюся женщину быть его смертью. Она такъ хорошо исполняетъ свою роль, что онъ начинаетъ робѣть, она убиваетъ своихъ дѣтей „смертенышей, какъ она называетъ ихъ, а затѣмъ въ разгарѣ половой страсти въ объятіяхъ убиваетъ его отравленнымъ сладкимъ ядомъ кинжаломъ и кончаетъ съ собой.

Въ „Пляскѣ смерти" Ведекинда его герой, убѣжденный идейный основатель „рынка любви", громящій буржуазную мораль и приглашающій женщину властвовать надъ мужчиной продажной любовью, говорилъ, что онъ борется съ цивилизаціей изъ-за единственнаго въ мірѣ, чистаго небеснаго цвѣтка на пропитанномъ потомъ и кровью пустырѣ нашей жизни. „Это—чувственное наслажденіе, это—солнечное, смѣющееся чувственное наслажденіе. Чувственное наслажденіе является лучомъ, небеснымъ цвѣткомъ, потому что это единственное неомраченное счастье, единственная радость, которую даритъ намъ земная жизнь".

И если, что удерживаетъ Касти-пьяни отъ самоубійства,—такъ только „преклоненіе передъ этимъ, отъ души смѣющимся счастьемъ, дарованнымъ людямъ чувственнымъ наслажденіемъ за всѣ муки ихъ жизни".

Но когда Касти-пьяни убѣждается, что и чувственная любовь имѣетъ свои муки, когда онъ къ ужасу знакомится съ явленіями садизма,—то кончаетъ съ собой. Бѣдный, онъ не

*) Поразительно убоги оригинальной мыслью наши философскіе мистики, довольствуясь комбинированіемъ и переживаніемъ мыслей Вл. Соловьева и Достоевскаго. Соловьевъ утверждалъ, что истинная любовь не совмѣстима со смертью. Отсюда истинная любовь ведетъ къ индивидуальному безсмертію. Истинная любовь всегда трагична, а если и благополучна—то не чадородна—вселенная для Бога—это его другое—имѣетъ образъ вѣчной женственности. И Онъ хочетъ чтобы этотъ образъ былъ не только для Него, но чтобы онъ воплощался и реализовался для каждаго существа, способнаго съ нимъ соединиться.

„Въ половой любви, истинно понимаемой и истинно осуществляемой, божественная сущность получаетъ средство для своего окончательнаго крайняго воплощенія въ жизни человѣка". (См. т. 6, стр. 405, О Смыслѣ любви).

Къ сожалѣнію осторожный философъ благоразумно умалчиваетъ о томъ, въ чемъ и какъ истинно осуществлять любовь.

согрѣтъ былъ мистическимъ свѣтомъ Сологубовскаго анархизма. Голая Алкина въ объятіяхъ Триродова говоритъ ему, что не ушла бы отъ своего мужа, если бы онъ ее билъ, таскалъ за косы, хлесталъ бы чѣмъ нибудь. — Сладко? — спросилъ Триродовъ. Алкиной не нравится „такая прѣсная жизнь". Ей хочется „забыть бы, завизжать бы отъ тоски, отъ горя, отъ боли нестерпимой".

Но такъ какъ Триродовъ не поддавался, то она ему бросила:

— Точно дѣломъ занимаемся. Скучно же такъ, безъ всякихъ фіоритуръ

— Чего же вы хотите,—спросилъ Триродовъ.

— То, что мы дѣлаемъ, въ сущности очень добродѣтельно,—говорила Алкина,—меня бы порадовалъ хотя бы самый легкій налетъ извращенности.

Изгибаясь змѣиными движеніями, она забилась на широкомъ ложѣ.

Триродовъ сказалъ спокойно:

— Если вы хотите боли,—что же, кто не любитъ мгновенныхъ болей бичующихъ, тотъ не умѣетъ жить. Боль, какъ и голодъ, близятъ насъ къ смерти, и въ этомъ ихъ истина. Голодъ ужасенъ, но кто не проголодался, тому скученъ обѣдъ. Ужасна и боль, но безъ нея скучна безоблачность жизни... Боль нужна уже потому, что она экстатична...

Алкина опустилась на колѣни у ногъ Триродова прижалась къ нему и сказала:

— Теперь у меня одна мечта, одна мечта,—лежать передъ вами, связанной такъ, чтобы не пошевелиться, и чтобы падали ударъ за ударомъ на голое тѣло съ нестерпимою болью, и вопить во весь голосъ въ экстазѣ невыносимой муки.

Что это, бедламъ? Нѣтъ это „творимая мною (слова самого Сологуба) легенда объ очаровательномъ и прекрасномъ".

Какъ скученъ и пошлъ со своей философіей г. Триродовъ, поучающій нагую даму о томъ, что безъ боли скучна „безоблачность жизни". Да гдѣ же эта безоблачность жизни? Кто могъ обронить подобную фразу, какъ не паразитъ и рантье, измышляющій на досугѣ искусственные способы возбуждать въ себѣ человѣческія страсти, ощущенія, переживаемыя тамъ въ бурныхъ глубинахъ борящейся и трудящейся жизни, отъ которой онъ оторванъ. Это своего рода тренировка, спортъ души, подобно физическому спорту, къ которому прибѣгаютъ тѣ, кому паразитическій образъ жизни угрожаетъ вырожденіемъ и атрофіей тѣла.

IV. ПАРАМОНЪ ЮРОДИВЫЙ И ЕГО ПОСЛѢДЫШИ.

1.

Мистическія теченія въ русской литературѣ и въ жизни имѣютъ далекіе корни. Идеологически они тѣсно связаны съ христіанской мистикой. Вообще христіанское ученіе до середины прошлаго столѣтія оказывало не разъ могучее вліяніе на развитіе соціальныхъ идеаловъ. Самъ соціализмъ черпалъ въ немъ

свое вдохновеніе. Только научный соціализмъ не только не воспользовался идеями христіанскаго потребительнаго коммунизма и небеснаго идеализма абсолютной нравственной свободы личности, но и первый нанесъ рѣшительный и мощный ударъ этому чужеядному, нездоровому пережитку, извлекавшему все новыя и новыя силы изъ противорѣчія церковныхъ ученій—евангельскимъ завѣтамъ, между ученіемъ всепрощенія и любви—и завоевательнымъ ходомъ полной мощи и насилія культуры. Религіозная вѣра сотенъ милліоновъ не могла остаться безслѣдной для отдѣльныхъ умовъ. Избѣгая неравнаго конфликта съ широкими массами, реформаторы отдѣляли евангеліе и ученіе Іисуса отъ исторической церкви и, перенеся громы ударовъ на послѣднюю, пытались укрѣпить свои революціонныя соціальныя попытки и идеалы на первомъ. Не замѣчали, что и то, и другое было тѣсно и органически связано въ жизни, опредѣляя собой сущность христіанства, какъ соціальнаго лицемѣрія. Вѣдь евангеліе не знало уваженія ни къ труду, ни къ положительному устройству жизни соціально и политически. „Царство Мое не отъ міра сего". Не трудъ, не строительство многоцвѣтной жизни завѣщало оно,—а полное пренебреженіе и къ тому, и другому. Не имѣя силы активнымъ вмѣшательствомъ переустроить или, вѣрнѣе, переродить міръ, оно отрывало людей отъ ихъ соціальной среды, обращало ихъ въ бродячихъ и потому праздныхъ проповѣдниковъ, но это въ идеалѣ, для подвижниковъ; для пріобщенія къ себѣ широкихъ массъ оно облегчило свое бремя, позволивъ имъ вести жизнь по двойной бухгалтеріи, земной и небесной. Не проповѣдуя абсолютнаго отрицанія мірскихъ радостей и потребъ, оно унизило ихъ, мирясь съ ними какъ съ неизбѣжной и необходимой данью низшей природѣ человѣка. Радость и веселіе міра для христіанина были нравственно безразличны и потому малоцѣнны, но они осуждались какъ зло, если становились поперекъ дороги исканія царства Божія, достиженія внутренней гармоніи. Лучше бы человѣку обойтись безъ нихъ. Апологія чистаго духа человѣческаго насчетъ плоти, понимая подъ ней всю матеріально духовную культуру націи, дала христіанству возможность опереться при первыхъ своихъ шагахъ на культурные отбросы античной жизни. Рабы и мытари, нисшіе сельскіе, невѣжественные, чуждые религіозному закону и національной идеѣ классы, наиболѣе презираемые въ еврейскомъ народѣ и наиболѣе чуждые національной культурѣ—вотъ первые адепты ученія, встрѣченные съ нескрываемымъ презрѣніемъ и ненавистью ремесленныхъ и образованныхъ классовъ тогдашняго еврейства. Также относились къ нимъ и интеллигентные умы среди римлянъ, съ отвращеніемъ отмѣчавшихъ крайнее невѣжество первыхъ христіанъ, ихъ убогое пренебреженіе къ знаніямъ и нетерпимость ко всякой отрезвляющей критикѣ, ко всѣму тому, что мѣшало ихъ экстазу осѣнявшаго

ихъ божественнаго откровенія. По словамъ Апостола Павла, мудрость міра сего есть безуміе предъ Богомъ, кто хочетъ быть мудрымъ, онъ совѣтуетъ стать тому безумнымъ, чтобы быть мудрымъ, „Богъ избралъ немудрое міра, чтобы посрамить мудрыхъ, и немощное міра избралъ Богъ, чтобы посрамить сильное. И незнатное міра, и уничиженное, и ничего незначущее избралъ Богъ, чтобы упразднить значущее,—для того, чтобы никакая плоть не хвалилась предъ Богомъ". (Первое Посл. къ Коринѳ. гл. 3, ст. I). Это была религія рабовъ и черни въ полномъ смыслѣ этого слова. Они унизили разумъ и знаніе, орудіе ихъ враговъ, и положили начало или вѣрнѣе углубили основы новаго источника знанія: божественнаго откровенія. „Устами младенцевъ глаголитъ истина", т. е. устами совершенно невѣжественными. „Первые да будутъ послѣдними и послѣдніе да будутъ первыми", т. е. рабы, послѣдовавшіе новому ученію, проповѣдь котораго „не въ убѣдительныхъ словахъ человѣческой мудрости, но въ явленіи духа и силы" (Ап. Пав.),—оказывались самыми высокими, самыми почетными и достойными людьми. Возродивъ вѣру въ воскресеніе и преображенную жизнь, христіанство окончательно укрѣпило власть надъ невѣжественными темными слоями низшихъ классовъ, въ религіозномъ экстазѣ съ восторгомъ встрѣчавшихъ мученическую смерть, какъ освободительницу. Съ непримиримой враждой отнеслось оно къ солнечной чувственности, къ наукѣ и искусству древнихъ. Это была религія смерти, религія, учившая, и дававшая возможность умереть счастливымъ, и поднявшая рабовъ на высочайшія вершины человѣческаго духа.

2.

Двумя путями проходитъ вліяніе христіанства черезъ всю европейскую жизнь—путемъ мистики и путемъ аскетизма. Мертвой и широкой струей влился въ русскую жизнь черезъ Византію аскетизмъ и оставилъ глубокіе слѣды въ народной душѣ—и въ низахъ, и въ культурныхъ слояхъ. Аскетизмъ русскихъ революціонеровъ шестидесятыхъ годовъ весьма характерная иллюстрація отраженія христіанскихъ идей даже въ атеистической средѣ русской интеллигенціи. Во имя грядущаго счастья, во имя грядущаго иного („преображеннаго" на языкѣ мистиковъ) строя—глубоко презиралась культурная многоцвѣтная, радостная, веселящаяся жизнь. Пренебреженіе къ искусству, даже къ наукѣ, ко всему тому, что казалось ненужнымъ страдальцу народу, и къ чему потомъ повторилъ уже запоздало, вражду Левъ Толстой,—ознаменовало первые шаги къ сближенію интеллигенціи съ народомъ. Аскетизмъ, самоотреченіе, жертва искупленія и покаянія (кающійся дворянинъ)—эти идеи властвуютъ

надъ умами вплоть до появленія „Народной Воли“, первой политической партіи въ Россіи. Послѣ пораженія народовольцевъ въ затхлой атмосферѣ тяжелой реакціи выростало толстовство, пролагавшее путь метафизическимъ и мистическимъ влеченіямъ, къ которымъ глуха была интеллигенція 80-хъ годовъ, воспитанная въ атмосферѣ политической борьбы и соціальнаго переустройства. Крѣпкіе завѣты матеріалистическаго позитивизма 60-хъ годовъ глушили вліяніе мистическихъ идей Владиміра Соловьева и Достоевскаго, не смотря на огромную популярность этихъ именъ, кромѣ того они не были достаточно доступны пониманію широкихъ круговъ. И только въ наше время, съ появленіемъ на свѣтъ мечтательнаго кабинетнаго мистицизма на почвѣ разложенія стараго матеріализма и позитивизма, нашлись адепты и популяризаторы. Левъ Толстой со своимъ „Разумѣніемъ“, этимъ особымъ видомъ полумистическаго, полуметафизическаго высшаго, настоящаго знанія, основная предпосылка котораго любовь,—вотъ властитель мелкихъ униженныхъ душъ 80-хъ годовъ, раздавленныхъ высокомѣріемъ и властностью обновленнаго самодержавнаго строя. Крайній радикализмъ, граничившій съ анархіей ученія Льва Толстого, привлекалъ ихъ симпатіи, не требуя отъ нихъ взамѣнъ никакихъ обязательствъ подвига или борьбы. Истерическіе послѣдователи наводнили страну, торжествуя свою побѣду духа надъ плотью, а слѣдовательно и побѣду безъ борьбы надъ неурядицей жизни. Изъ ничтожныхъ пылинокъ, отбрасываемыхъ и отметаемыхъ, то произволомъ власти, то стихійнымъ напоромъ неудержимо наростающихъ новыхъ формъ жизни на развалинахъ крѣпостничества,—они превратились въ спасителей міра, въ дѣлателей вѣчной, справедливой, дѣйствительной, а не мнимой и плотской жизни, въ которой торжествовалъ врагъ, стали владѣльцами всемірнаго средства спасенія народовъ. Не всѣ толстовцы были мистики, но мистицизмъ былъ самой характерной чертой толстовства. Ихъ собранія напоминали трогательную и тоскливую атмосферу катакомбъ первыхъ христіанскихъ общинъ. Мистическое отношеніе другъ къ другу, мистическое пониманіе, просвѣтляющій истинный разумъ любви, мистическое обожаніе Льва Толстого и его ближайшихъ апостоловъ, трогательная, проникновенная, полная неизъяснимой пепельной евангельской грусти и слезъ радости, ихъ взаимная переписка оставляла неизгладимое впечатлѣніе въ самыхъ позитивистическихъ душахъ. Надгробное рыданіе звучало въ любви этихъ людей и въ ихъ просвѣтленныхъ восторгахъ обрѣтенной истины. Эта сторона была мало отмѣчена въ литературѣ, поведшей борьбу противъ толстовства по линіи дѣланія малыхъ дѣлъ. Послѣдователи толстовства—это мелкіе помѣщики, мелкіе чиновники, неудачники интеллигенты, лица свободныхъ профессій, съ плохой или вовсе безъ практики, однимъ словомъ интеллигентствующій пролетаріатъ, наиболѣе

бездомный, безпріютный въ соціальномъ отношеніи и наиболѣе *остро переживающій безправіе*, несправедливую тяготу, бездушіе и холодъ новыхъ отношеній, вторгшихся съ пріобщеніемъ Россіи къ общеевропейской культурѣ и властно и безпощадно опрокидывавшихъ все на своемъ пути. Еще ликвидировались остатки крѣпостного права, еще отмирали обрывки старой жизни, и безпріютно метались ихъ послѣдыши.

3.

У Л. Толстого былъ свой геніальный предшественникъ, почти современникъ Достоевскаго, Парамонъ Юродивый Глѣба Успенскаго, крестьянинъ, пошедшій искать Бога и Правды. Это было тяжкое время реакціи 40-хъ годовъ. „Пропадешь!—кричали небо и земля, воздухъ и вода, люди и звѣри... И все ежилось и бѣжало отъ бѣды въ первую попавшуюся нору". Люди не смѣли думать, боялись дышать, жили съ камнемъ на шеѣ, потеряли смыслъ и аппетитъ къ жизни, увѣренность въ правѣ на нее. Кто же приносилъ освобожденіе въ эту мрачную жизнь, такъ что „духъ захватывало отъ простора", кто приносилъ радость, кто дѣлалъ унылыхъ себялюбивыхъ рабовъ людьми, мечтающими о всеобщемъ счастіи?..—Парамонъ Юродивый, человѣкъ съ чугунной полупудовой обшитой сукномъ шапкой на головѣ, съ полутарапудовой чугунной палкой въ рукахъ, съ массивными перекрестно опоясывавшими и впившимися до ранъ въ тѣло желѣзными веригами, съ чугунной доской на спинѣ съ надписью: „азъ язвы Господа моего ношу на тѣлѣ моемъ". Когда онъ жегъ на огнѣ ради подвига пальцы, капли холоднаго пота невольно выступали на лбу, а глаза горѣли блаженствомъ и лицо становилось прекраснымъ отъ неземного выраженія, такъ глубоко вѣрилъ онъ въ ожидаемое вѣчное блаженство, въ „вѣчную славу", выше которой ничего нѣтъ въ жизни человѣка ни на землѣ, ни подъ землей. Онъ убилъ все, чѣмъ могли его мучить и тиранить. Онъ отказался отъ семьи, отъ мѣста въ общественномъ трудѣ, отъ всякой радости земной. И ему перестали быть страшны гнетъ, и безправіе, и насиліе, и шпицрутены, онъ былъ выше ихъ. Дорогой цѣной купилъ онъ свою свободу. Онъ сталъ сыномъ и исповѣдникомъ мертвой жизни, изъ гроба сдѣлалъ рай, изъ мукъ наслажденіе.

Аскетическое ученіе Л. Толстого съ его презрѣніемъ къ плоти вторично освободило маленькаго униженнаго человѣка.

И вотъ теперь послѣ разгрома освободительнаго движенія, вышибленные за бортъ съ красивыхъ „творческихъ" позицій радикальные и революціонные элементы, не связанные плотью и кровью съ глубинами народной жизни, блудные сыны культурныхъ привилегированныхъ классовъ, пытаются подмѣнить

тяжелые вериги, чугунную палку и шапку Парамона Юродиваго бременемъ легкимъ и удобоносимымъ—словеснаго непринятія сего міра. Прямые потомки и продолжатели дѣла Парамона, они тоже, какъ и онъ, живутъ тамъ за гробомъ, смерть ласкаетъ ихъ ожиданія, но ношу свою на землѣ, они не утягчаютъ, а облегчаютъ. Лишенные возможности активнаго воздѣйствія на жизнь, совершенно растерявшіеся предъ ея загадочной сложностью формъ и путей, разбитые на голову, разочарованные въ силѣ пролетарскихъ массъ, на которыхъ надѣялись, въ которыя вѣрили, считая себя формовщиками этой сѣрой жертвенной пыли, щепки на поверхности моря, осенніе листья въ вихрѣ революціи и реакціи,—они не могли и не могутъ примириться со своимъ собственнымъ убожествомъ, своимъ безсиліемъ, своимъ соціальнымъ безличіемъ, и торопятся уйти въ міръ свободы, „преображенный міръ", снисходительно улыбнувшись на прощанье наукѣ, пріобрѣвъ болѣе щедрый источникъ знанія—откровеніе, и самымъ фактомъ отрицанія всѣхъ и вся, всего соціальнаго быта и политическаго строя и воинственнымъ вызовомъ природѣ и культурѣ уже мнятъ себя упразднителями вселенской закономѣрности и творцами новой жизни. Такъ просто и легко, точно по мановенію палочки волшебника, изъ щепокъ, летящихъ, гдѣ лѣсъ рубятъ, они стали почти богами, творцами, свободными гражданами преображеннаго міра и иныхъ міровъ,—правда только въ своихъ лишь собственныхъ глазахъ.

Безпощадная реакція, съ ея массовыми убійствами, непрерывающимися казнями, превратила всю жизнь сплошь въ человѣческую живодерню. Глазами Елеазара, воскресшаго и утаившаго въ очахъ своихъ невыразимый смыслъ смерти, смотритъ дѣйствительность на растерянные и дрогнувшіе ряды „строителей" новаго строя. И подъ загадочнымъ ея взоромъ тухнутъ и гаснутъ ихъ живые, плотскіе интересы, и въ великомъ смущеніи бормочутъ они: чаю воскресеніе мертвыхъ! Ужасъ смерти встаетъ надъ ними и некуда уйти отъ нея. Жизнь обыденная, отодвигающая мысль о смерти куда то далеко, давно ужъ отошла отъ нихъ. Мысль о смерти стоитъ надъ ними, сама смерть стережетъ ихъ, и висѣлицы, усѣявшія русскую землю, встаютъ предъ очами, какъ нѣкогда скелетъ у древнихъ египтянъ во время ихъ пира, чтобы напоминать, что и они, еще пирующіе, умрутъ.

Подобно дикарямъ, примиряющимъ и гармонирующимъ жестокую дѣйствительность религіозными вѣрованіями, поступаютъ эти растерянные люди. Тамъ гдѣ экономическая необходимость вызвала къ жизни тяжкій обычай убійства стариковъ, тамъ вѣрятъ, что человѣкъ на тотъ свѣтъ перебирается именно въ томъ видѣ, въ какомъ умретъ. Поэтому старики даже торопятъ дѣтей своихъ вовремя убить ихъ. Вмѣсто мукъ пораженія получаютъ радость побѣды. Вѣра есть хитрое средство превратить самое несчастіе въ радость, скажемъ и мы, пародируя г. Бер-

дяева. Смерть прекрасна, люди безсмертны, ибо воскресаютъ вмѣстѣ съ плотью, но воскресшая плоть уже не будетъ знать устали въ своихъ усладахъ, существующій же эмпирическій міръ насквозь испорченъ, пропитанъ тленіемъ отъ дьявола, по г. Бердяеву, отъ законовъ природы, по Вѣтрову и Мейеру... Какъ все хорошо, сладко и совсѣмъ не трагично. Трагедія оставлена тамъ, внизу, для широкихъ пролетарскихъ массъ, въ безумномъ ослѣпленіи все еще протягивающихъ руки къ хлѣбу земли, къ „мѣщанскому благополучію" въ испорченномъ мірѣ, вмѣсто того чтобы отряхнуть прахъ его отъ ногъ своихъ и потянуться въ иные міры за хлѣбомъ небеснымъ.

Вмѣсто земного хлѣба они получаютъ смерть, и смерть холоднаго гроба, не согрѣтаго дыханіемъ христіанина Бердяева, не побѣжденнаго творческимъ стремленіемъ „я" къ міру преображенному Александра Вѣтрова.

Это послѣднее слово, лебединая пѣсня вырождающихся культурныхъ элементовъ сытыхъ и образованныхъ классовъ.

Они въ сторонѣ отъ борьбы, они чужды мукамъ пролетарскихъ массъ, но они чужды и хищнической радости и муки въ погонѣ за наживой, въ процессѣ выжиманія человѣческаго труда. Это рантье, либеральные чиновники, люди свободныхъ профессій, чувствующіе себя неуютно и чуждо въ современномъ строѣ. Тускло проходятъ ихъ дни, безпомощны и безсильны они предъ лицомъ стихійнаго цѣлаго современнаго общества, но властолюбивы они,—имъ надо найти мѣсто, гдѣ онѣ будутъ чувствовать себя вожатыми и творцами. И они находятъ его въ преображенномъ мірѣ. Голое отрицаніе быта, ветхихъ словъ: отецъ, сестра, братъ, отрицаніе всего положительнаго, созидательной жизни, отрицаніе ad hoc, принципіально отождествляется съ положительнымъ творчествомъ, понимаемымъ, конечно, не позитивно, но религіозно. Тѣни людей, жалкіе прихлебатели жизни, пѣна на ея поверхности, они пытаются сохранить свое лицо, свое мѣсто въ исторіи—и находятъ его только въ умѣломъ и сладострастномъ смакованіи смерти. Стоя внѣ борьбы, но выросши всецѣло изъ нѣдръ капиталистическаго буржуазнаго общества, — они апологеты не того или иного класса, а самой сути буржуазнаго строя, защитники абстрактныхъ интересовъ, идеаловъ, тенденцій огромнаго цѣлаго, на чьемъ тѣлѣ они лишь скучные и вялые паразиты. Вѣдь эта проповѣдь—замаскированный призывъ къ красивой смерти; вѣдь она выражаетъ вынужденную ликвидацію жизненныхъ интересовъ, безнадежно упершихся въ одну точку—чувственное наслажденіе. Пусть же идутъ дорогою гибели тѣ, кому суждено погибнуть, пусть не заражаютъ своимъ присутствіемъ здоровыхъ. Эта апологія чувственности, эта проповѣдь святости и обожествленія разнузданной плоти не угрожаетъ здоровымъ росткамъ общественности. Гдѣ она имѣетъ успѣхъ? Не среди ли сытыхъ и обезпеченныхъ, не среди ли тѣхъ, для

кого Рокъ устранилъ изъ поля жизни борьбу за существованіе, трудъ, склоняющій къ могилѣ? Праздная, сытая жизнь заметалась въ предсмертномъ страхѣ у порога народнаго раззоренія, въ кровавомъ туманѣ звѣрства и насилій. Эта расплата. Смерть, о которой забывали, напомнила о себѣ, она незримо присутствуетъ всюду, гдѣ жива память. Некуда дѣться, некуда бѣжать, нельзя забыться, погружаясь въ тину житейской пошлости, когда въ воздухѣ рѣютъ предъ очами саваны повѣшенныхъ, мертвые глаза растрѣлянныхъ, когда не смолкаютъ вопли замученныхъ, заморенныхъ, обреченныхъ на голодную или насильственную смерть тысячь прекрасныхъ, полныхъ силы жизней. Когда умираетъ ветхая старость, потерявшая вкусъ къ жизни, и тѣло которой могильная плита надъ трупомъ души любимаго близкаго человѣка,—это не только не тяготитъ, но освобождаетъ, облегчаетъ живыхъ. Но когда умираетъ родной народъ, умираетъ въ своихъ лучшихъ, красивѣйшихъ сынахъ,—съ этимъ не можетъ помириться иной разъ и черствое сердце.

Ужасъ смерти сковалъ ихъ уста, грознымъ призракомъ смерть встала и вѣетъ крылами надъ ихъ головами, и вчерашніе марксисты поклоняются святой Троицѣ, вмѣсто Карла Маркса уже шепчутъ имя Христа, стараясь себя увѣрить въ своей искренности, ища поддержки для своей вѣры въ другихъ. Страхъ смерти дѣлаетъ ихъ изобрѣтательными, но не обогащаетъ скудной мистической фантазіи. Духи, нежити, двойники, переселенія душъ, раздробленіе души, мистическій реализмъ, мистическій анархизмъ, христіанская политика, Діонисъ и Христосъ, смерть и безсмертіе. Вѣчная гармонія, и сладострастный экстазъ муки и блаженства, любовь къ ногамъ и рукамъ, единая любовница, двуединая, триединая — какъ залогъ безсмертія, проклятіе соціалдемократіи, благословеніе ей же—вотъ весь скудный и противорѣчивый мистическій багажъ. И въ одномъ только согласіе, въ одномъ только весь этотъ сумбурный вздоръ пропитывается единствомъ—въ отрицаніи живого міра, какимъ мы его видимъ, слышимъ, чувствуемъ, любимъ. Ему объявляютъ непримиримую войну во имя запредѣльной вѣчной жизни. По истинѣ трагична эта пестрая и безсильная толпа арлекиновъ, размахивающая картоннымъ мечемъ мистики, противъ мельничныхъ жернововъ грозной стихіи жизни. Но придутъ новыя волны и отметутъ прочь эту накипь паразитической жизни, и свѣжіе бодрые люди, выросшіе въ атмосферѣ борьбы и труда, горя и радости жизни, борящейся со смертью,—внесутъ новую здоровую струю въ русскую литературу.

Пусть ликвидируютъ свои дѣла остатки радикальной безпочвенной буржуазіи, поторопившейся присосаться къ революціи и раздавленной реакціей. Въ великой борьбѣ пролетаріата еще не разъ эти гордящіеся своимъ „внѣклассовымъ“ положеніемъ элементы будутъ растерты въ прахъ сталкивающимися жерновами революціи и реакціи, каждый разъ будутъ они воспѣвать

сладострастную смерть, и будутъ прислушиваться къ нимъ больные духомъ соціальные отбросы, пытающіеся и на хребтѣ борьбы, какъ и въ спокойное время, упрочить свое красивое благополучіе. Напрасно ищутъ они сочувствіе пролетарскихъ массъ и увѣряютъ, что мы на поворотѣ къ новой жизни; напрасно соблазняютъ они эту единственную движущую впередъ силу современной исторіи таинственными, мистическими, надъ человѣкомъ и природой стоящими, силами, которыя де ими открыты. Слишкомъ хорошо знаетъ рабочій мощь своей руки, чтобы искать поддержки у г.г. Триродовыхъ ради ихъ прекрасныхъ глазъ, гипнотизирующихъ казаковъ. Ему не нужны ни высшія силы, ни подобные посредники.

Какъ бы ни опошляли своими очаровательными поэмами и прелестными сказками талантливые Сологубы пролетарское движеніе и интеллигенцію, ставшую на его сторону—чары ихъ безсильны. Умирайте вмѣстѣ, но безъ меня—вотъ жестокій отвѣтъ, который несетъ имъ дѣйствительность.

М. Морозовъ.

М. Горькій.

О цинизмѣ.

...Темпъ жизни міра становится быстрѣе, ибо все глубже въ тайныя нѣдра ея проникаетъ могучая тревога весенняго пробужденія, всюду ясно чувствуется мятежный трепетъ—потенціальная энергія сознаетъ свою творческую мощь и готовится къ дѣянію.

Медленно, но неуклонно ростетъ въ народѣ самосознаніе, загорается солнце соціальной справедливости, и подъ дыханіемъ грядущей весны замѣтно таетъ холодный и тяжкій покровъ лицемѣрія и предразсудковъ, безстыдно обнажается уродливый остовъ современнаго общества—тюрьмы человѣческаго духа.

Милліоны глазъ сверкаютъ радостнымъ огнемъ, всюду сверкаютъ молніи гнѣва, освѣщая вѣками накопленныя тучи глупости и ошибокъ, предубѣжденій и лжи; мы—наканунѣ праздника всемірнаго возрожденія народныхъ массъ.

Придавленный къ землѣ, окованный цѣпями рабьяго труда, народъ поднимаетъ голову, уже видны черты его вѣчно юнаго лица.

Люди, которые знаютъ, что народъ есть неизсякаемый источникъ энергіи, единственно способный претворить все возможное—въ необходимое, всѣ мечты—въ дѣйствительность—эти люди—счастливы! Ибо въ нихъ всегда было живо творческое чувство своей органической связи съ народомъ, нынѣ это чувство должно вырости, наполнивъ ихъ души великой радостью и жаждой творчества новыхъ формъ для новой культуры.

* * *

Признаки возрожденія человѣчества—ясны, но „люди культурнаго общества“ якобы не видятъ ихъ, что, впрочемъ, не мѣшаетъ мѣщанамъ чувствовать неотразимую близость мірового пожара.

Тупыя орудія процесса накопленія богатствъ, сознательные участники насилія надъ волею народа они осуждены защищать

Въ послѣдній моментъ, уже во время набора книги, мы получили для сборника статью М. Горькаго, написанную имъ для французскаго журнала „Documents du Progrès“, но еще нигдѣ не появлявшуюся въ печати. *Ред.*

свои безнадежныя позиціи и прячутся въ тѣсную клѣтку своей культуры, которой называютъ внушенное имъ и умертвившее ихъ души убѣжденіе въ томъ, что власть капитала—на вѣки законна, невсегда незыблема, они теперь даже и не рабы своего хозяина, а домашнія животныя его.

Рабы—перерождаются въ людей—вотъ новый смыслъ жизни! И потому владыки должны исчезнуть, ибо владыка только паразитъ раба.

Здѣсь нѣтъ парадокса—рабъ и владыка—два конца одной и той же психологической линіи, рабъ живетъ смутной мечтой о власти, владыка же—страхомъ за свою власть. Но когда рабъ понялъ цѣну свободы, почувствовалъ свое право на нее—онъ становится человѣкомъ, а человѣкъ—безстрашенъ, и власть надъ подобными себѣ противна ему.

Пришло время, когда разумнѣе уступить силѣ необходимости, чѣмъ способствовать накопленію законнаго гнѣва и жестокости, которую можетъ вызвать онъ...

Но было бы безполезно разсказывать слѣпымъ отъ рожденія объ игрѣ красокъ на лицѣ моря, еще болѣе безполезно убѣждать командировъ жизни и мѣщанство—армію ихъ—въ томъ, что они враги самихъ себя.

Мѣдныя головы этихъ людей не знаютъ иныхъ аргументовъ, кромѣ золота и желѣза, свинца и другихъ металловъ, изъ которыхъ скованы цѣпи ихъ власти.

* * *

Жизнь ростетъ, и современное общество ощущаетъ судороги почвы подъ ногами своими—это ясно звучитъ во всей его психологіи, а яснѣе всего видимо въ общемъ страхѣ предъ завтрашнимъ днемъ.

Душа человѣка сегодня—пустыня, и онъ съ невольнымъ трепетомъ ждетъ, что завтра въ ней явится нѣчто невѣдомое, враждебное ему, оно встанетъ въ душѣ, какъ сфинксъ и повелительно предложитъ человѣку рѣшить назрѣвшую соціальную задачу.

Предчувствуя этотъ роковой визитъ необходимости, сознавая себя мертвымъ предъ нею, мѣщанинъ хочетъ спрятаться гдѣ нибудь, хочетъ заполнить чѣмъ нибудь трясину внутри себя—ему страшно лишиться привычнаго покоя и уюта, хотя этотъ покой скорѣе самогипнозъ, чѣмъ реальность.

Любимые уголки, куда прячется мѣщанство отъ жизни, давно извѣстны ему—это Богъ, метафизика и цинизмъ.

Но Богъ только для того, кто можетъ создать его въ душѣ своей силою вѣры и оживить огнемъ ея—въ маленькой душѣ современнаго человѣка погасли всѣ огни и во тьмѣ ея нѣтъ мѣста не только Богу, но даже идолу тѣсно.

Метафизика хороша послѣ побѣды, а передъ боемъ необходимо точное знаніе, метафизика не можетъ успокоить сердца, смятенныя предчувствіемъ пораженія.

Когда человѣкъ хочетъ узнать—онъ изслѣдуетъ, когда онъ хочетъ спрятаться отъ тревогъ жизни—онъ выдумываетъ.

Наши суровые дни не даютъ времени для выдумокъ, и попытки мѣщанства скрыться въ туманахъ метафизики неудачны.

Наконецъ—метафизика есть творчество. Какъ всякое дѣяніе, она требуетъ вдохновенія и силы—любви или ненависти, а мѣщанство ничего не любитъ и не имѣетъ силы для ненависти.

Отрицать это трудно, ибо оно само устами своихъ поэтовъ и писателей не однажды сознавалось и все чаще сознается въ томъ, что переживаетъ духовный кризисъ, банкротство духа. Слѣдуетъ сказать—агонію духа.

* * *

Средствомъ самозащиты противъ напора исторической справедливости мѣщанство избрало цинизмъ.

Офицеры, участники послѣдней войны, разсказывали, что когда русскимъ солдатамъ приходилось сдавать позиціи врагу, они старались не только разрушить все, что поддавалось разрушенію, но загрязнить и запачкать даже землю, защищавшую ихъ.

То же самое наблюдается въ литературѣ и жизни нашихъ дней—предчувствуя близость сдачи позиціи народу, будущіе побѣжденные усиленно стараются испачкать все, что можно.

Разумѣется, среди разрушаемаго есть много стараго, изжитаго, все это давно нужно бы уничтожить—и такимъ образомъ, мѣщанство выполняетъ часть той необходимой грязной работы, которую должны были бы выполнять побѣдители, когда имъ придется очищать мѣсто, гдѣ г.г. культурные люди насиловали другъ друга.

Я не утверждаю, что мѣщане грязнатъ жизнь сознательно: развратъ больного ума и изношеннаго тѣла, съ одной стороны, результатъ дегенараціи и пресыщенія благами жизни, съ другой—выраженіе жуткаго отчаянія, вызваннаго близостью общественной катастрофы.

Человѣкъ взбѣсился отъ страха, оголилъ въ себѣ животное и буйно рветъ соціальныя путы.

Такъ или иначе —однако циники, разлагаясь, замѣтно портятъ воздухъ и какъ скажешь, что въ этой ихъ работѣ нѣтъ смутнаго желанія отравить побѣдителя, прививъ ему всѣ болѣзни своей души и тѣла?

Можетъ быть существуетъ мысль еще неоформленная сознаніемъ

— Вы—побѣдили, но—погибнете въ грязи, которую мы оставимъ въ наслѣдство вамъ...

* * *

Современный цинизмъ одѣвается разнообразно—всего грубѣе и наименѣе умно—въ черный плащъ пессимизма.

„Суета суетъ и всяческая суета!"—бормочетъ мѣщанинъ мертвыя слова, романически драпируясь въ лохмотья своей дряхлости.

Жизнь трепещетъ въ жаждѣ свободнаго творчества, тысячи героевъ свято и гордо гибнутъ въ борьбѣ за осуществленіе великой мечты всемірнаго братства—циникъ это знаетъ.

— Родъ приходитъ и снова уходитъ,—говоритъ онъ, спрятавъ лицо свое въ древнюю книгу, гдѣ мятежная мысль человѣка пробовала силу Бога, созданнаго ею, пробовала и горько сомнѣвалась въ силѣ и красотѣ Его.

Когда видишь, что за этой навсегда красивой, гордой книгой прячется жалкая фигурка трусливаго циника, прячется и тупоумно клевещетъ на мудраго, ради оправданія лѣни своей или безсилія своего—обидно за книгу.

Когда то красивый и круглый, созданный любвью и гнѣвомъ искреннихъ людей—теперь пессимизмъ изжеванъ болтунами, испачканъ слюною мѣщанъ, захватанъ ихъ грязными пальцами и превратился въ безформенное мѣсиво избитыхъ пошлостей—ихъ стыдно слушать.

— Мы никогда ничего не узнаемъ, мы не можемъ разгадать тайны, окружающія жизнь,—говорятъ циники—и погружаются въ болото разнузданности.

Но когда циники слышатъ, что кто то, неустанно изслѣдуя тайны жизни, обогатилъ мысль человѣчества новой догадкой, придалъ работѣ изученія природы новую энергію—это ихъ видимо раздражаетъ.

— Всѣ ваши усилія безполезны, вы ничего не знаете, вашъ познавательный аппаратъ навсегда несовершененъ,—почему то волнуясь сердито доказываютъ они.

Здѣсь циникъ похожъ на кривого нищаго, который сказалъ кузнецу, назвавшему его кривымъ:

— А ты тоже уродъ—у тебя два глаза!...

— Стоитъ ли жить?—спрашиваетъ циникъ.

Затѣмъ онъ приводитъ массу доказательствъ въ стихахъ и въ прозѣ въ пользу того, что жить не стоитъ и—живетъ долго, охотно, сытно и спокойно.

Ибо—если ужъ рѣшено, что жить не стоитъ, тѣмъ менѣе слѣдуетъ дѣлать что нибудь для ускорѣнія хода жизни, для роста милой красоты и простой, свѣтлой правды ея. Можно только

просто жить, просто сосать чужіе соки, надѣлать кучу ошибокъ, защищая свое личное бытіе и собственность—главное, собственность! — укрѣпить старые предразсудки, создать нѣсколько новыхъ, развращать женщинъ, насорить вездѣ, напачкать, затѣмъ въ холодномъ ужасѣ предъ неизбѣжностью слить пустоту своей души съ пустотой вѣчности, долго умирать въ трусливыхъ судорогахъ, въ жалкихъ крикахъ и наконецъ очистить землю отъ своего присутствія на поверхности ея, оставивъ въ наслѣдство народу еще болѣе осложненную своимъ участіемъ тяжкую путаницу клейкихъ лжей, мертвыхъ словъ, дрянныхъ предубѣжденій и кучу прочаго хлама.

— Стоитъ ли жить человѣчеству?—спрашиваетъ циникъ и, хватая отовсюду искалѣченныя имъ мысли, быстро рѣшаетъ, опираясь на кости мертвыхъ:

— Нѣтъ...

Это нѣсколько преждевременное рѣшеніе вопроса—онъ можетъ быть рѣшенъ такъ или иначе лишь тогда, когда вся масса бѣлыхъ, желтыхъ и черныхъ людей познаетъ всѣ блага жизни, испытаетъ всѣ наслажденія духа и тѣла, разсмотритъ всю гигантскую работу человѣчества за вѣка его бытія, пойметъ всю силу любви, страданій и подвиговъ прошлаго, оцѣнитъ всѣ великіе завѣты своихъ предковъ, равномѣрно раздѣлитъ между всѣми и каждымъ весь неизмѣримый опытъ ихъ.

Можетъ быть тогда люди единогласно постановятъ взорвать земной шаръ—это ихъ право.

Но когда паразиты на тѣлѣ нѣмого великана рѣшаютъ вопросъ о цѣнности бытія его—это противно и смѣшно, это—цинизмъ!

* * *

Человѣкъ почти все свое можетъ сдѣлать красивымъ, нѣкогда онъ и цинизмъ свой показывалъ міру въ очертаніяхъ яркихъ, сильныхъ, но цинизмъ нашихъ дней удивительно уродливъ и пошлъ.

Ироды трепещутъ за власть свою, зная, что родилась новая религія, они спѣшатъ истребить всѣхъ вѣрующихъ въ возможность царствія человѣческаго на землѣ, которую Ироды привыкли считать на вѣки царствомъ мерзости своей.

Смерть глотаетъ тысячи жертвъ, погибаютъ люди наиболѣе нужные для цѣлей жизни, ибо гибнутъ вѣрующіе. Объ этомъ истребленіи людей можно говорить только съ гнѣвомъ, только съ отвращеніемъ или же памятуя, что народъ безсмертенъ, мужественно молчать; здѣсь нѣтъ мѣста стонамъ, и жалость такъ же оскорбительна, какъ необходима месть.

Но въ убійствахъ не смерть виновата, а безуміе тѣхъ, кто озвѣрѣлъ отъ страха.

Когда же смерть законно является во время свое, когда она просто и спокойно приходитъ убрать съ дороги жизни вѣтхое, отжившее, уже полумертвое—что, кромѣ благодарности, можно питать къ ней?

Можетъ быть иногда она заслуживаетъ осужденія, ибо порою невнимательна къ дѣлу своему—многіе люди живутъ слишкомъ долго, видимо забывая, что мудрый долженъ умереть во время.

Но все здоровое и простое чуждо циникамъ, и они, конечно, не могутъ представить себѣ, какъ отвратительна была бы жизнь, будь мѣщанство безсмертно.

Страхъ жизни понуждаетъ ихъ много говорить и думать о смерти, они усердно лижутъ ея кости трусливыми языками и, точно нищіе, просятъ у нея милостыню вниманія къ нимъ. Въ сужденіяхъ о ней у нихъ всегда звучитъ нѣчто холопское, какъ будто лакей, боясь, что госпожа уличитъ его въ кражѣ сахара, заранѣе старается смягчить гнѣвъ ея грубою лестью.

Смерти боятся и, вѣроятно, боятся искренно; должно быть день и ночь мѣщане носятъ въ себѣ тяжкій гнетъ жуткаго ужаса предъ нею и слагаютъ въ честь ея лживые гимны, осыпаютъ скелетъ ея бумажными цвѣтами своей холодной фантазіи, кланяются ей и ползаютъ у ногъ, не смѣя взглянуть въ спокойное и мудрое лицо, бормочутъ о великой силѣ и мрачной красотѣ смерти, но представляютъ себѣ ликъ ея безобразнымъ.

Говорятъ ей:

— Мы ждемъ тебя, приди, желанная!

И думаютъ:

— О, подожди! Еще денекъ, еще немного, добрая!

И смерть съ презрѣніемъ отвертывается отъ нихъ — она, должно быть, брезглива, судя по тому, какъ долго не прекращаетъ противныя страданія пораженныхъ сифилисомъ, проказою, прогрессивнымъ параличемъ и не обрываетъ тягучую, липкую нить жизни пошляковъ.

У циниковъ есть страхъ предъ смертью, но—еще больше игры съ нею—все той же игры въ прятки съ жизнью.

Жизнь требуетъ отъ человѣка дѣяній, подвиговъ, силы, красоты—циники говорятъ:

— Нѣтъ жизни,есть только смерть...

Нѣтъ идеаловъ, нѣтъ воли создать ихъ, но осталась жива рабья привычка опускаться на колѣни, она создаетъ идоловъ, и въ молитвахъ имъ циники удобно прячутся...

Иногда, притворяясь искренно страдающимъ, циникъ стонетъ:

— Вкушая, вкусихъ мало меда и се азъ умираю!...

Лжетъ!—Долженъ сказать:

— Я пожралъ отъ всего, что мнѣ казалось сладкимъ и отравленъ пресыщеніемъ.

— „Жизнь и смерть двѣ вѣрныя подруги, двѣ сестры родныя времени безсмертнаго безсмертныя дочери“. Одна вся въ солнеч-

ныхъ лучахъ, окрыленная чудесными и тайными мечтами, вѣчно горитъ пламенемъ творчества, безумно щедрая, всегда влюбленная. Другая—рядомъ—задумчивая, скромная, вся бѣлая и гордо чистая, какъ море тихою ночью, величественно строгая, съ глубокими глазами цвѣта ясныхъ небесъ лѣтняго вечера, и въ глазахъ ея тихо мерцаетъ добрая дума о жизни, мягкая улыбка трудамъ ея.

Жизнь неустанно сѣетъ по землѣ сѣмена свои и все трепещетъ радостью на путяхъ ея, ростетъ, цвѣтетъ разнообразно ярко, поетъ и смѣется, опьяненное солнцемъ. Но творя—жизнь ищетъ, она хочетъ создавать только великое, крѣпкое, вѣчное и когда видитъ избытокъ мелкаго, обиліе слабаго, говоритъ сестрѣ своей:

— Сильная, помоги! Это—смертное.

„Смерть покорно служитъ дѣлу жизни“...

* * *

Цинизмъ является передъ людьми въ пестрыхъ одеждахъ „новой красоты“.

Мѣра жизни—красота!—возглашаетъ циникъ чужія слова, глубокій смыслъ которыхъ враждебенъ цинизму.

Вокругъ уродливыя дѣти выродившагося мѣщанства, дѣти безъ крови въ жилахъ, полубольныя женщины, въ которыхъ умерло чувство красоты, изнуренные развратомъ юноши, разбитые ревматизмомъ, искалѣченные подагрою, полоумные старики...

На улицахъ—живые памятники творчества мѣщанъ: безголовые хулиганы—ихъ дѣти, гнилыя проститутки—ихъ жертвы—красота!

И отовсюду смотрятъ полуслѣпые, гнойные глаза нищеты, вездѣ развѣваются ея заразные лохмотья, со всѣхъ сторонъ тянутся за милостыней тысячи грязныхъ, костлявыхъ рукъ—какая красота!

Въ хаосѣ полумертваго отъ голода тѣла, въ черномъ вихрѣ рубищъ, вертится обожженный развратомъ и болѣзнями циникъ, съ безсильными мускулами, съ размягченными костями, съ безумной, предсмертной жаждой острыхъ наслажденій и тусклыми глазами на желтомъ лицѣ подъ голымъ черепомъ, это—„новая красота“?

Онъ ходитъ по городамъ, какъ мародеръ по полю битвы, какъ воръ по кладбищу и говоритъ:

— Служу красотѣ!

И становится на колѣняхъ передъ кучей пестрыхъ пустяковъ, прячется отъ безобразія окружающаго за груды жалкихъ выдумокъ—тутъ рисуночки, игрушечки, статуэточки, изящныя книжечки—маленькіе плоды напряженнаго труда мелкихъ душъ. Вся эта мелочь, сдѣланная наскоро, ввиду сильнаго спроса, запол-

няетъ комнаты и души циниковъ, ослѣпляя глаза пестротой красокъ, оглушая звономъ пустыхъ фразъ, пріятно раздражая тупые нервы своей пряностью, и за нею тихо исчезаютъ, становятся неясными образа великихъ творцовъ вѣчной красоты. Гаснутъ святые гимны поэтовъ прошлаго, забываются ихъ имена, заглушенныя громкимъ базарнымъ шумомъ жрецовъ „новаго искусства" покорнѣйшихъ слугъ мѣщанства.

„Новая красота", говорятъ циники, углубляясь въ созерцаніе мелочей и стараясь забыть, что красота безсмертная—въ любви, а не въ похоти, въ дѣяніи, а не въ покоѣ, въ ростѣ духа человѣческаго, въ воплощеніи мечты.

Раскололи мѣщане маленькія души свои на мелкія куски и все болѣе раскалываютъ ихъ, и живутъ въ розницу, плѣненные крошечными забавами своими.

А вокругъ нихъ все болѣе часто, все болѣе обильно и всюду льется яркая кровь того гиганта-поэта, который создалъ всѣхъ боговъ и Прометея, Мойру и птицу Фениксъ, Христа и Сатану, Фауста и Агасфера, тысячи сказокъ, сагъ, легендъ, пѣсенъ. Льется кровь того, кто и донынѣ не превзойденъ въ творчествѣ.

Мы назвали безсмертными тѣхъ, кто умѣлъ красиво и просто пересказать намъ великія творенія народа, а народъ—первѣйшаго творца красоты по силѣ и по времени—народъ низвели на степень орудія нашей жадности ограбили силу его, исказили безсмертную душу и теперь циники говорятъ:

— Грубъ онъ и глупъ, народъ; жестокъ и развратенъ!

Справедливо сказано, что въ чужой странѣ каждый видитъ только то, что приноситъ въ себѣ самомъ!

Говоря такъ о народѣ, циники представляютъ себѣ ту массу дегенератовъ, которыхъ они же расплодили въ жизни и которые соціально болѣе близки имъ, психологически болѣе понятны, чѣмъ народъ, далекій отъ нихъ, непостижимый отъ нихъ въ своей глубоко скрытой цѣломудренной духовной жизни...

Народъ могъ-бы отвѣтить циникамъ словами Іова:—„Сколько знаете вы—знаю и я не хуже васъ. Но я хотѣлъ-бы ко Вседержителю говорить, я хочу состязаться съ Богомъ!"

Вотъ теперь онъ снова начинаетъ сознавать силы свои и свое право на свободу, онъ поднимается съ земли, рветъ путы свои, а циники прячутъ головы передъ лицомъ его и, косноязычные отъ страха, говорятъ другъ другу:

— Идутъ варвары... культурѣ грозитъ гибель... наша культура!

Все это—ложь и клевета, это цинизмъ и только!

Развѣ культура—ваша любовь и страсть, развѣ она—ваша религія, развѣ она священна для васъ?

Смотрите—народъ жаждетъ культуры, это за обладаніе ею борется онъ, а—гдѣ вы?

Вы или прячетесь отъ участія въ борьбѣ за возрожденіе и

свободу духа, или идете вмѣстѣ съ явными врагами народа противъ культуры.

Лжете вы, говоря, что любите ее, ничего вы не любите и даже самихъ себя не умѣете любить.

Всѣ вы родились голыми и такъ живете, и нѣтъ лжи, которая скрыла-бы безобразіе наготы вашей.

Лучше-бы родится вамъ честными или не рождаться совсѣмъ, не осквернять-бы прекрасную трагедію жизни своимъ жалкимъ вмѣшательствомъ!

И не говорить-бы вамъ о красотѣ, ибо вы можете изнасиловать, но безсильны оплодотворить!

Свобода любитъ красоту, а красота—свободу.

Но—развѣ вы свободны?

И развѣ—красивы?

* * *

Цинизмъ прикрывается и свободой—исканіемъ полной свободы - это наиболѣе подлая маска его.

Литература, устами наиболѣе талантливыхъ писателей единогласно свидѣтельствуетъ, что когда мѣщанинъ, устремляясь къ полной свободѣ, обнажаетъ свое „я“ —передъ современнымъ обществомъ встаетъ животное.

Очевидно это явленіе неизбѣжное и независимое отъ воли авторовъ. Ихъ усилія почтенны и ясны—имъ хочется дать поучительный образъ человѣка совершенно свободнаго отъ предразсудковъ и традицій, связующихъ мѣщанъ въ цѣлое, въ общество, стѣсняющее ростъ личности, имъ хочестя создать „положительный типъ“, героя, который беретъ отъ жизни все и ничего не даетъ ей.

Герой, являясь на страницахъ романа, болѣе или менѣе остроумно доказываетъ свое право быть тѣмъ, что онъ есть, совершаетъ рядъ подвиговъ ради самоосвобожденія изъ плѣна соціальныхъ чувствъ и мыслей, и если окружающіе персонажи во время не задушатъ его или онъ самъ не убьетъ себя, то въ концѣ книги непремѣнно является передъ читателемъ изъ мѣщанъ, какъ новорожденнный поросенокъ—какъ поросенокъ—это въ лучшемъ случаѣ,

Читатель хмурится, читатель не доволенъ. Тамъ, гдѣ есть „мое“, непремѣнно должно существовать совершенно автономное „я“, но читатель видитъ, что полная свобода одного „я“ необходимо требуетъ рабства всѣхъ другихъ мѣстоименій — старая истина, которую каждый усиленно старается забыть.

Мѣщанинъ слишкомъ часто видитъ это, ибо въ практикѣ жизни, въ ежедневной свирѣпой борьбѣ за удобное существованіе человѣкъ становится все болѣе жесткимъ и страшнымъ, все менѣе человѣчнымъ.

А въ то же время такіе звѣри необходимы для защиты пресвятой и благословенной собственности.

Мѣщанинъ привыкъ дѣлить людей на героевъ и толпу, но толпа исчезаетъ, превращаясь въ соціалистическія партіи, а онѣ грозятъ стереть съ лица земли маленькое мѣщанское „я"—мѣщанинъ зоветъ героя на помощь себѣ—приходитъ вороватое и жадное существо съ психологіей бѣшенаго кабана или россійскаго помпадура.

А для этого монстра, призваннаго на защиту священнаго права частной собственности не существуетъ священныхъ правъ человѣческой личности, да и на самую частную собственность онъ смотритъ глазами завоевателя.

Съ одной стороны, многоглавая красная гидра, съ другой, огненный драконъ разверзъ ненасытную пасть, а посреди нихъ распутно мечется маленькій человѣчекъ со своей нищенской собственностью.

И хотя она для него—кандалы каторжника, ярмо раба—онъ ее любитъ, онъ ей вѣрно служитъ и всегда готовъ защищать цѣлость и власть ея, всей силой лжи и хитрости, на какую способенъ, всегда готовъ оправдывать бытіе ея всѣми средствами отъ Бога и философіи до тюрьмы и штыковъ!

Но это мало помогаетъ и, чувствуя близость конца своего, въ отчаяніи,—можетъ быть, безсознательномъ—скромный мѣщанинъ превращается въ циника воинствующаго.

— Такъ поживу же я какъ хочу!

Начинаетъ жить какъ можетъ. Потому что животное соціальное онъ обладаетъ „памятью вида", многообразнымъ наслоеніемъ общественныхъ инстинктовъ, смутнымъ чувствомъ своей связи съ людьми, которое онъ иногда называетъ совѣстью или стыдомъ и которое всегда мѣшаетъ ему жить такъ откровенно-гнусно, какъ онъ хотѣлъ бы.

Для того, чтобы на закатѣ дней бытія свободно проявить всѣ желанія своей изъязвленной души, всѣ похоти и пороки истрепаннаго тѣла, онъ понуждаемый совѣстью, находитъ необходимымъ прикрывать свои безобразія вуалью нѣкоторыхъ высшихъ соображеній.

— Ищу послѣдней свободы!—торжественно возвѣщаетъ онъ, проповѣдуя и демонстрируя однополую любовь.

А насилуя мальчиковъ провозглашаетъ возрожденіе эллинской красоты и философствуетъ на тему о томъ, что природа создала женщину, преслѣдуя свои цѣли, но ея цѣли—узы и цѣпи для человѣка, а потому...

— Долой узы!

Но не брезгаетъ и женщиной, развращаетъ и ее, по мѣрѣ силъ своихъ.

Женщина же все еще не можетъ сбросить съ плечъ своихъ

тяжкій гипнозъ исторіи, не убила въ крови воспоминанія о быломъ рабствѣ.

Природа надѣлила человѣка половымъ инстинктомъ, а женщина создала любовь, но она, видимо, не помнитъ объ этомъ, ея уваженіе къ себѣ самой все еще слишкомъ слабо противъ атавистическихъ переживаній рабыни.

Циники знаютъ это и умѣютъ пользоваться этимъ, они сулятъ неизвѣданное, обѣщаютъ открыть въ любви величайшія тайны, говорятъ о свободѣ и еще о свободѣ и иллюзіями, которыя она любитъ такъ же страстно, какъ блестящія бездѣлушки, успѣшно и легко заманиваютъ въ грязную тьму извращеній своей похоти.

Непобѣдимо сильная способностью любить, всегда охваченная стремленіемъ почувствовать любовь еще болѣе глубокой и прекрасной, она легко поддается острымъ раздраженіямъ циниковъ и когда ей подносятъ ядъ въ красивой чашѣ, пьетъ его охотно.

Дѣятельность циниковъ всего энергичнѣе протекаетъ въ области половыхъ отношеній—развратъ не требуетъ много силы. Въ этой области они работаютъ успѣшно—и какъ это извѣстно—достигаютъ блестящихъ результатовъ, о чемъ между прочимъ, свидѣтельствуетъ „Milit.-Polit. Korrespondenz", сообщая, что „во многихъ гвардейскихъ германскихъ полкахъ *вводится въ качествѣ учебнаго предмета просвѣщеніе рекрутовъ насчетъ опасностей и соблазновъ, связанныхъ съ гомосексусальными извращеніями*". Развѣ это не успѣхъ?

— Я погибаю, но—передъ гибелью моей изгажу все, что успѣю изгадить!

Повторю, можетъ быть циники не думаютъ столь опредѣленно, но оскверняя жизнь такъ усердно всюду, гдѣ могутъ, они невольно заставляютъ наблюдателя объяснять себѣ ихъ гадости не только желаніемъ наслажденій, но и намѣреніемъ испортить все, что поддается порчѣ.

Я не моралистъ, и если бы вся эта анархія дрянныхъ инстинктовъ и больного духа, вся эта гниль и грязь не выходила за предѣлы общества мѣщанъ, она была бы для меня только процессомъ самоистребленія въ средѣ тѣхъ, кто не нуженъ и враждебенъ жизни.

Но буря животной распущенности, мятежъ обезумѣвшихъ, можетъ захлеснуть своей волной драгоцѣннѣйшее въ жизни—часть того юношества, которое ростетъ и поднимается къ вершинамъ духа изъ почвы его, изъ глубинъ народа.

Вотъ почему берешь на себя противную задачу посильно освѣтить тотъ процессъ разложенія человѣка, который льстецы именуютъ психологіей современнаго культурнаго общества.

* * *

Иногда циникъ гордо заявляетъ:

— Я хочу достичь духовной цѣльности, я стремлюсь къ совершенству...

Онъ лжетъ, конечно, но ему могутъ повѣрить, ибо мечта о цѣльности духовной—красивая мечта.

Но подъ маркой индивидуализма предлагается все тотъ же, болѣе или менѣе ловко поддѣланный соціальный цинизмъ.

Представимъ себѣ цѣльнаго человѣка, какъ существо, въ которомъ всѣ здоровыя свойства его психо-физики развиваются гармонично не противорѣча одно другому.

Возможенъ ли подобный человѣкъ въ условіяхъ битвы за сытость? Ростъ каждаго „я“ необходимо ограниченъ затратою всѣхъ силъ на пріобрѣтеніе и охрану собственности.

Въ борьбѣ за цѣлость ея можно сдѣлать свое „я“ только болѣе узкимъ, спеціализировать его на изобрѣтеніе военныхъ хитростей, принизить гордость свою, но не развить ее, отдать себя въ плѣнъ жадности, зависти, злобы, но не вырваться на свободу.

Для достиженія даже маленькихъ удобствъ, человѣкъ долженъ дѣлать большія подлости и только въ подлостяхъ онъ достигаетъ совершенства.

Циники не очень глупы: они знаютъ, что въ современныхъ условіяхъ битвы всѣхъ со всѣми, человѣкъ дробится на куски, хочетъ онъ этого или нѣтъ.

Имъ извѣстно, что духовная цѣльность не возможна и гармонизація своего „я“—не достижима у человѣка, нѣтъ для этого ни времени, ни мѣста,

Но они всетаки зовутъ, заманиваютъ и толкаютъ въ эту сторону—одинъ изъ пріемовъ ихъ борьбы съ неизбѣжнымъ.

— Свобода—тамъ!—говорятъ они и указываютъ мѣсто около себя и, можетъ быть, сбивая людей съ прямого пути, количественно ростутъ.

Свобода всегда впереди и всегда—далеко!

Истинный индивидуализмъ въ будущемъ, онъ—за соціализмомъ, онъ не можетъ быть достигнутъ человѣкомъ нашихъ дней и онъ—не по фигурѣ ему, какъ рыцарскіе латы не по фигурѣ горбуну.

Не „я“, но—„мы“—вотъ начало освобожденія личности! До поры, пока будетъ существовать нѣчто „мое“—„я“ не вырвется изъ крѣпкихъ лапъ этого чудовища, не вырвется, пока не почерпнетъ въ народѣ столько силы, сколько надо, чтобы сказать всему міру—

— Ты мой!

Тогда, наконецъ, человѣкъ почувствуетъ себя воплощеніемъ

всего богатства, всей красоты міра, всего опыта человѣчества и равнымъ духовно всѣмъ братьямъ своимъ!

Личность цѣлостная возможна лишь тогда, когда исчезнутъ герои и не будетъ толпы, когда явятся люди, связанные другъ съ другомъ чувствомъ взаимнаго уваженія.

Это чувство должно возникнуть изъ воспоминаній о великой коллективной работѣ которую народъ совершилъ въ прошломъ, ради своего возрожденія, это чувство должно укрѣпиться сознаніемъ единства опыта у каждаго со всѣми и солидарности задачъ всѣхъ и каждаго.

А со временемъ это чувство уваженія человѣка къ человѣку претворится въ религію, ибо религіей человѣчества должна быть прекрасная и трагическая исторія его подвиговъ и страданій въ безконечной, грандіозной борьбѣ за свободу духа и за власть надъ силами природы!

М. Горькій.

3

Оглавленіе.

	стр.
Вмѣсто предисловія	3
Ю. Стекловъ. Соціально-политическія условія литературнаго распада	5
Ю. Каменевъ. О Ласковомъ Старикѣ и о Валеріи Брюсовѣ	58
П. Юшкевичъ. О современныхъ философско-религіозныхъ исканіяхъ	93
Ст. Ивановичъ. Пресса-Модернъ	122
А. Луначарскій. Тьма	148
Л. Войтоловскій. Итоги русскаго модернизма	173
Н. Троцкій. Франкъ Ведекиндъ	196
В. Базаровъ. Личность и любовь въ свѣтѣ „новаго религіознаго сознанія“	213
Михаилъ Морозовъ. Предъ лицомъ смерти	231
М. Горькій. О цинизмѣ	287

Stanford University Libraries
3 6105 004 688 243

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

DOC JUL 20 1994
OCT 12 1994
DEC 10 1997